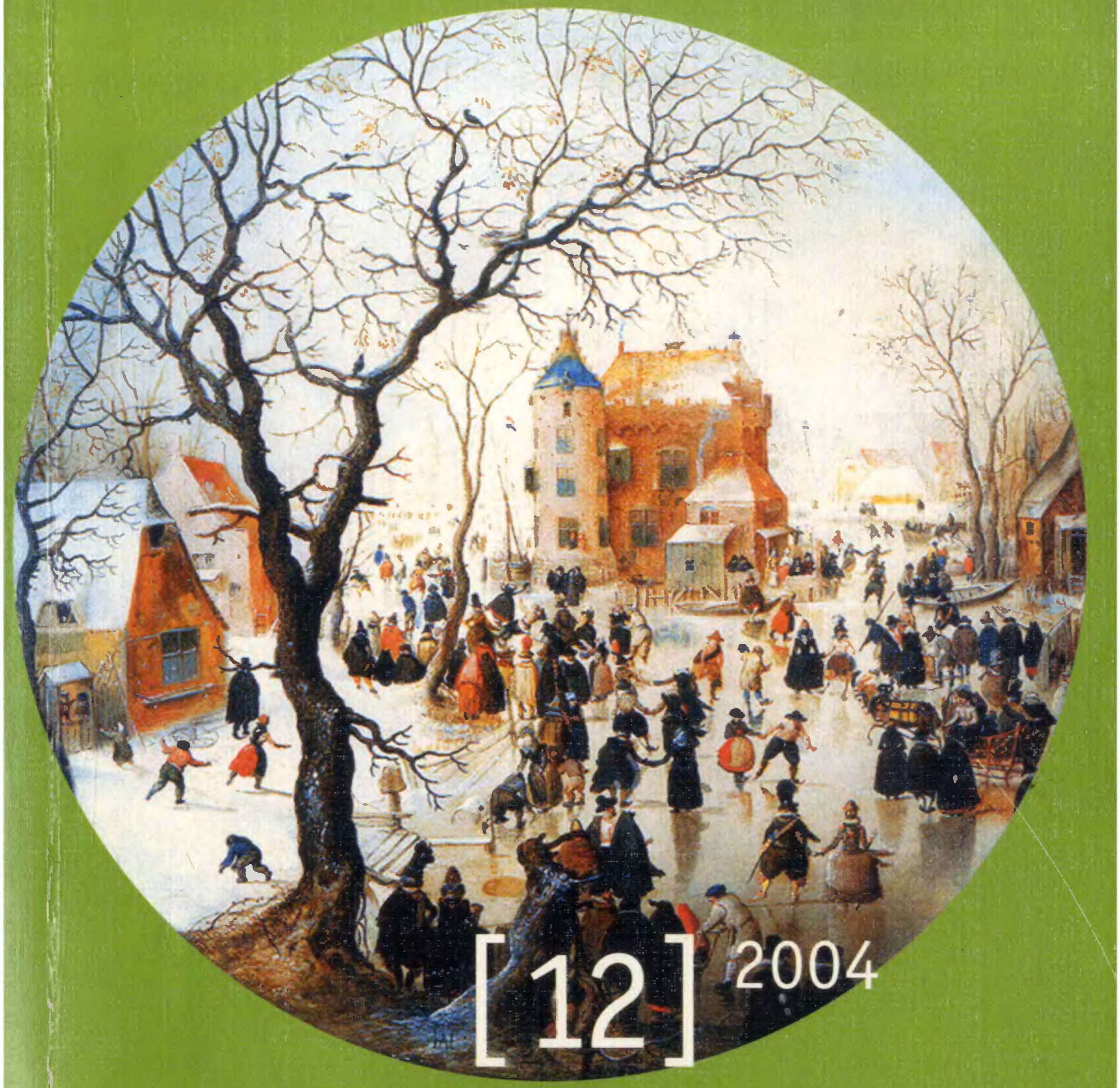
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[12] 2004

РОМАН БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ "СОГЛАСНО КУИНИ" / ПОЛЬСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ В РУБРИКЕ "ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ" / СТИХИ ЯНА ЛЕХОНЯ И ГУН ОВОГТ ГУН-ААЖАВЫН АЮРЗАНЫ / РОМАН ИСПАНСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЭНРИКЕ ВИЛА-МАТАСА "ТАКАЯ ВОТ СТРАННАЯ ЖИЗНЬ" / "ВИЗАНТИЙСКАЯ УТОПИЯ" АЛЕКСАНДРА ГЕНИСА В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

[12]

2004

Ежемесячный литературно-художественный журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Берил Бейнбридж. *Согласно Куини.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц. Вступление А. Ливерганта

124 Гун овогт Гун-Аажавын Аюурзана. *Стихи.* Перевод с монгольского Евгения Колесова. Вступление Л. Скородумовой

129 Ян Лехонь. *Стихи.* Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула

№

136 Энрике Вила-Матас. *Такая вот странная жизнь.* Роман. Перевод с испанского и вступление Н. Богомоловой

Портрет в зеркалах "Витольд Гомбрович"

209 Борис Дубин. *От составителя*

211 Витольд Гомбрович. *Дневник. 1957–1961.* Фрагменты книги. Перевод с польского Юрия Чайникова

230 Чеслав Милош. *Кто такой Гомбрович?* Перевод с польского Т. Казавчинской

237 Эрнесто Сабато. *"Фердыдурке".* Перевод с испанского Бориса Дубина

242 Сьюзен Сонтаг. *"Фердыдурке".* Перевод с английского Бориса Дубина

248 Пьер Паоло Пазолини. *Витольд Гомбрович. "Дневник. 1957–1961".* Перевод с итальянского Елены Балаховской

252 Рикардо Пиглья. *Борхес и Гомбрович.* Перевод с испанского Бориса Дубина

Наши интервью

257 Е. Тарасова. *"Улисс" forever.* Екатерина Гениева. *О несостоявшемся священничестве и состоявшемся писательстве*

Письма из-за рубежа

263 Александр Генис. *Византийская утопия*

Среди книг

265 Елена Гальцова. *Романы мысли: творчество Маргерит Юрсенар.* Елена Гречаная. *"Контекст спора на бутылку шампанского"*

БиблиофИЛ

272 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

274

Авторы номера

277

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2004 год [1—12]

281

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

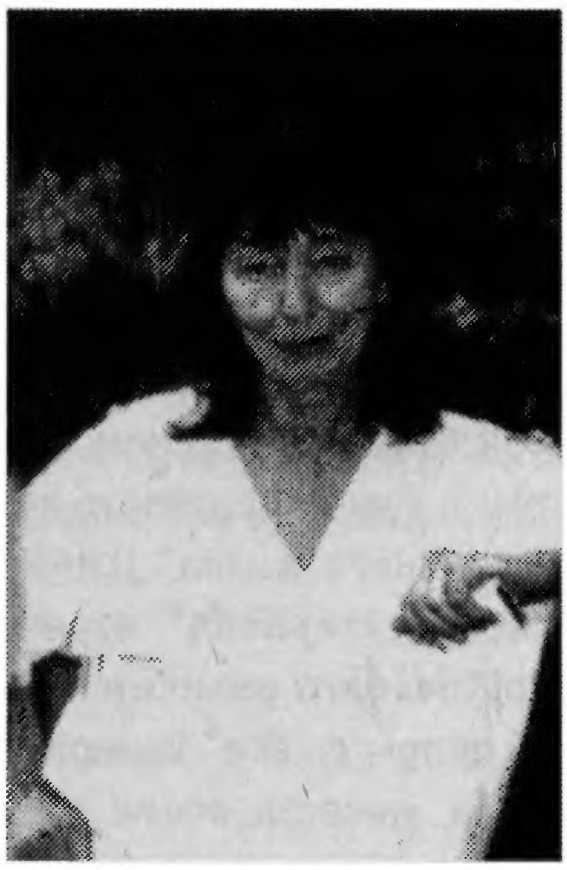
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. В. Нестеров
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Берил Бейнбридж



Согласно Куини

Роман

Перевод с английского Е. Суриц
Вступление А. Ливерганта

Согласно Берил Бейнбридж

Союз двух писателей, из которых один — автор, а другой — герой его книги, не нов и издавна — и в русской и в зарубежной литературе — "обречен на успех".

Романизированные биографии, на обложке которых под именем М. Булгаков стоит имя господина де Мольера, под именем Ю. Тынянова — имена Пушкина, Вазир Мухтара или Кюхли, а под именем Моруа — имена Дизраэли, Бальзака или Монтеня, такие давно уже вошедшие в золотой фонд мировой классики романы, как "Лисы в винограднике" Лиона Фейхтвангера или "Лотта в Веймаре" Томаса Манна, даже сейчас, во времена, не самые к чтению располагающие, не залеживаются на полках книжных магазинов. И то сказать, кому как не писателю сочинять биографию другого писателя? Ему, как говорится, и карты в руки.

Лучше всего "поддаются" романизированным биографиям те писатели (художники, ученые, музыканты, государственные деятели), которые прожили яркую, полную незабываемых событий жизнь, — вот почему литераторы с такой охотой берутся за жизнеописание Байрона, Караваджо, Петра Первого или Черчилля. Однако привлечь биографа может и великий человек вроде Гоголя, Свифта или Канта, чья жизнь довольно скудна на события и при этом есть в ней — как не быть — какие-то темные, неизведанные места, которые позволяют подменить документальное свидетельство художественным вымыслом.

Таким темным местом в жизни авторитетнейшего английского просветителя, законодателя литературных мод восемнадцатого столетия Сэмюэля Джонсона (1709—1784), равно талантливого лексикографа, публициста, критика, поэта, драматурга, были его отношения с Эстер Трейл, женой его близкого приятеля пивовара Трейла, в чьем доме он часто и подолгу гостил. Известно, что Джонсон

© Beryl Bainbridge, 2001
© Е. Суриц. Перевод, 2004
© А. Ливергант. Вступление, 2004

был очень привязан к семье Трейлов, к их детям, принимал участие в их воспитании, особенно же был расположен к миссис Трейл, с которой дружил, переписывался и которую, по своему обыкновению, обучал житейской мудрости. Сведений о том, что великого английского писателя и жену пивовара, мать восьмерых детей, связывали отношения более близкие, не существует или, во всяком случае, не сохранилось, и это, помимо естественного интереса к незаурядной личности доктора Джонсона, и явилось, надо полагать, творческим импульсом для современной английской писательницы Берил Бейнбридж.

Впрочем, пальма первенства в жизнеописании Сэмюэля Джонсона принадлежит вовсе не ей. Первая, давно ставшая классической биография Джонсона сочинена более двухсот лет назад шотландским юристом и тоже писателем, другом и почитателем автора прославленного "Словаря английского языка" Джеймсом Босуэллом (1740—1795), который многие годы "конспектировал" изречения своего кумира, открыв тем самым популярный жанр "бесед с великим человеком", в котором написаны не менее знаменитые "Разговоры с Гёте" Эккермана.

Джеймс Босуэлл и Берил Бейнбридж (награжденная, кажется, всеми возможными литературными премиями, кроме разве что одной из самых престижных в сегодняшней Англии премии Сэмюэля Джонсона за лучшее произведение в жанре non-fiction) идут, однако, путями совершенно разными. Вопреки названию, в "Жизни Сэмюэля Джонсона" Босуэлла суждениям великого человека, непревзойденного острослова, которого англичане и по сей день цитируют ничуть не реже, чем мы Пушкина или Грибоедова, уделяется места не в пример больше, чем его жизни; в "Согласно Куини", напротив, в фокусе авторского внимания не взгляды почтенного классика, а его жизнь — последние, самые тяжелые и беспросветные годы жизни.

На страницах романа Бейнбридж, не раз, кстати сказать, отдававшей в своем творчестве дань истории, биографиям известных людей и описанию событий прошлого (в ее книгах фигурируют первооткрыватель Северного полюса капитан Скотт, гибель "Титаника", перипетии Крымской войны), доктор Джонсон мало похож на героя классического босуэлловского труда. Словно отталкиваясь от неустанного, хотя порой и трогательного славословия Джеймса Босуэлла, Бейнбридж рисует своего героя не живым памятником, третейским судьей, подавляющим умом и эрудицией своих собеседников, а сумасбродным, запальчивым стариком, который ведет себя так, "как будто рядом нет ни живой души", человеком, по меткому выражению миссис Трейл, "припечатывающим свои сужденья". Опускает Бейнбридж с небес на землю и прочих великих людей эпохи, друзей и соратников доктора. Признанный классик английской литературы и театра Оливер Голдсмит у Бейнбридж "слишком уж рисуется", он то умен, то непроходимо глуп. Знаменитый исполнитель Гамлета и Отелло, переигравший все главные роли шекспировского репертуара, Дэвид Гаррик на страницах романа большей частью фиглярствует; нелеп, карикатурен и Хогарт, пославший в подарок Эстер Трейл обезьянью лапку на серебряной подставке. Босуэлл же (выведен в "Согласно Куини" и он), по меткому выражению того же Голдсмита, и вовсе "не стоит разговора". Джеймсу Босуэллу важнее было дать не портрет эпохи, на что он в сущности не претендовал, а портрет своего кумира. Читатель же книги Бейнбридж с первых страниц погружается в английский — столичный и провинциальный — быт восемнадцатого столетия, воссозданный писательницей весьма искусно и правдоподобно.

Согласно Куини, дочери женщины, которую вымышленный Джонсон страстно и безответно любит, и в самом Джонсоне, и в людях, его окружающих, трагизма, пожалуй, не меньше, чем эксцентрики. По версии Бейнбридж, Джонсон тяжко болен, ощущает себя неудачником, теряет ореол все знающего и все постигшего, все более проникается "тщетой людских желаний", тогда как босуэлловский Джонсон выступает в литературных и житейских спорах в роли эдакого deus ex machi-

na[1]. У Бейнбридж, иными словами, Джонсон — живой человек, из плоти и крови; из плоти и крови и век Джонсона. Прочитавший роман едва ли узнает благопристойный, солидный, умиротворенный английский "век разума". У Бейнбридж это, скорее, век безумия, век суеверий, пороков и чудовищных политических и литературных предрассудков, которые консерватор Джонсон, этот "Калибан от литературы", как метко прозвал его один из современников, не только разделяет, но и нередко насаждает.

Именно таким — горьким, лишенным иллюзий, сугубо современным, несмотря на искусно архаизированную речь персонажей и тщательно выписанные старинные обычаи и нравы — постскриптумом к панегирику Босуэлла и читается Жизнь доктора Джонсона, согласно Берил Бейнбридж.

1784

Пролог

В конце 1784 года, утром декабря 15-го дня, под свинцовым, предвещавшим снегопад небом крытая телега прогромыхала по булыжникам Болт-корта и остановилась пред нумером восьмым. Трое мужчин скрылись в доме и погодя вернулись, как таран неся свернутый потертый ковер.

Миссис Десмолинз, кутаясь в шаль, стояла на крыльце и силилась вызвать на глаза слезы. Хотя и горевала, она слишком была стара, слишком свыклась со смертью, чтобы плакать без усилия. Рядом с нею никого не было, кроме черного в белых отметинах кота, занятого умыванием. Несколько соседей вышли и, склонив головы, ждали, когда скроется из виду телега. Из отворенного окна нумера шестого летело нестройное бренчание спинета. Неизвестно, то ли мистер Кранах, всю зиму и все лето напролет носивший плащ, подбитый белым волком, отдавал дань усопшему, то ли всего-навсего ежедневным своим упражнениям.

Телега свернула на Флит-стрит, стайка сорванцов пустилась вслед, норовя уцепиться за борта, покуда кучер не размахнулся кнутом. Фрэнсис Барбер, идя за телегой, проводил своего хозяина до самой церкви Климента Датского, что на Стрэнде; но тут острый холод раннего часа продрал его до костей, и он сдался, отправясь искать прибежища в трактире.

Достигнув Уиндмилл-стрит, телега, гремя, свернула во двор Анатомической школы Уильяма Хантера. Ковер снесли на самый верхний этаж и там положили на анатомический стол. Огонь урчал в камине, воздух напитался духом трав, из которых всего острее пахла мята. В углу уютной этой комнаты наполовину освежеванная собака свисала с крюка, вбитого в потолок; сверху на слуховое окно давило серое небо.

В то утро в Школе были медики Хеберден, Броклесби, Баттер, Уилсон и Круикшанк. Им помогали сын мистера Уилсона Артур и мистер Уайт, оба покуда не оказавшие успехов на стезе медицины.

Мистер Уайт развернул ковер, распутал простыню. Артур Уилсон сделал первый надрез, от горла вниз. Из грудной полости излилась вода и просочилась на пол. Мистеру Уайту было велено подбросить трав в огонь, дабы заглушить зловоние распада.

1. Бог из машины (*лат.*).

Доктор Хеберден сделал второй надрез, на сей раз поперек живота. Доктора мучил кашель, и когда он слишком низко склонился над своим усопшим пациентом, от удерживаемого и вырвавшегося его дыхания мертвые веки дрогнули, и мистер Уайт побелел и покачнулся. Мистер Круикшанк, заметив его бледность, велел ему выпить немного бренди.

Затем, под присмотром отца, Артуром Уилсоном был составлен следующий отчет:

Вскрыта грудная полость. Легкие не опали, как обычно они опадают, как бы утеряв способность к сокращению.

Сердце весьма сильное и большое.

В брюшной полости обнаружено начальное перитоническое воспаление и асцит.

Печень и селезенка уплотненные.

Из желчного пузыря извлечен камень величиной с голубиное яйцо.

Поджелудочная железа увеличена.

Одна почка (левая) в сохранном состоянии. Правая сморщена.

Левое ядро сохранно, но покрыто кистозными образованиями. То же и правое. Спермопротоки крайне увеличены и варикозны.

Тело, при жизни дородное, теперь как бы усохло, исключая левую ногу, вздутую водянкой. На правой ноге остался шов после недавней самому себе нанесенной покойным раны.

Левое легкое удалено для изучения Джоном Хантером, также и часть мошонки и желчный камень. Ткани помещены в банки. Мистер Уайт, зашивая труп, порезал средний палец. На другой день по всей руке его распространились красные полосы, и он слег в легкой лихорадке.

Потом огонь погас и зажгли свечи. Мистер Хоскинс с Сент-Мартинс-лейн явился на Уиндмилл-стрит, отряженный сэром Джошуа Рейнолдсом, и взобрался по ступеням, чтобы снять посмертную маску. Когда воск остыл и он удалял слепок, веки отворились; он так был поглощен разглядыванием подобья, что не заметил, как смотрит на него образчик.

Погасли свечи, дверь заперли, и мертвый человек и мертвый пес остались в темноте и ждали, глядя вверх, туда, где на слуховое окно теперь мело и осыпались звездами снежинки.

1765

Кризис
Перелом, переворот, решительная пора́ переходного состояния.

Сей час есть кризис всей судьбы твоей;
Добро иль зло; бесславие иль слава,
Всей жизни цвет твоей зависит
От часа этого.

Драйден *"Испанский жених"*

Одинокие ночи его страшили; когда спускалась тьма, разум, как глаз, утрачивал дневную способность явственно различать предметы, и смущенный мозг рождал черные мысли. Вот почему он норовил сумерни-

чать до самых до предутренних часов, тем сокращая время до нового рассвета.

Хорошо, что кое-кто из знакомых готов был бодрствовать с ним вместе, а иные даже и за честь почитали. Он знал: это воистину так, не тщеславьем нашептано. Знакомство его с Трейлами случилось тому уж год, в печальном январе, стараниями старого друга, ирландца Артура Мерфи[1]. "У них открытый дом, — искушал его Мерфи, — и отменный стол".

О хозяине своем знал он немного, только, что тот успешный владелец пивоварни на Дедменс-плейс, в Саутуорке, и недавно женился. Был там еще какой-то дом в Стретэме, с курами, с теплицами.

Мерфи считал, что поймал его на удочку, посулив общество поэтичного сапожника Джеймса Вудхауса, наделавшего тогда шуму своими стихами, но, что ни говори, его прельстило обещание славного обеда.

Когда он воротился, миссис Уильямс, не ложась спать, его ждала и на огне кипел чайник. Поневоле она жила затворницей, и ей не терпелось набраться впечатлений о жизни в свете.

— И занимательно было? — спросила она. — Стоило труда?

— По крайней мере нас музыкой не угощали, — ответил он и вдруг, сам того не желая, выпалил: — Миссис Трейл женщина необыкновенная.

— Что так? — встрепенулась миссис Уильямс. — Собою хороша? Умна?

Когда бы, забыв про осторожность, он выложил все, что на душе, он бы признался, что приметил блестящие глаза миссис Трейл, и узенькие плечи, и острый ум, ученость на женский лад, лестное внимание к его особе, а также истеченье молока из правой гру́ди.

Но он сказал:

— Джеймс Вудхаус запинается и мямлит, что, впрочем, к лучшему, ибо едва ли способен он сказать что-нибудь дельное. Стихи он сочиняет скверно, но, нимало не разумея изящного, может статься, прелестно тачает сапоги.

— Сколько было за столом? — пытала миссис Уильямс. — Как рассадили?

— Из верхнего окна, — ответил он, — миссис Трейл показывала место Шекспирова театра. И уверяет, что несколько бревен еще стоят.

— И ты их видел? — крикнула миссис Уильямс.

— Я ничего не видел, — ответил он. — Ночь была темная.

И четверти часа не прошло, как, из опасения себя выдать, он, сославшись на усталость, объявил, что идет спать. Разочарованно опустив уголки рта, миссис Уильямс пошла впереди него по лестнице — пример тому, как слепой поводырь ведет полуслепца.

Меж тем новый год приближался, визиты его в городской дом Трейлов делались чаще, и скоро он уже всякий четверг у них бывал. С конца сентября за ним стали присылать карету, а как день становился короче и портилась погода, несколько раз его уговорили остаться на ночлег. Миссис Трейл даже выделила ему комнату над конторой и распорядилась о полках для книг его, буде он пожелает их сюда доставить.

Он был не дурак. Он очень отдавал себе отчет в том, что его присутствие приманивает в Саутуорк других гостей, не то бы уклонялся от этих посещений, несмотря и на отменные обеды. Удовольствие, однако, не во-

1. Артур Мерфи (1727–1805) — драматург, автор многочисленных комедий и одного из жизнеописаний Джонсона. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

все было невзаимно, ибо у Трейлов был ребенок, дочка, возрастом чуть больше года. Однажды под вечер, сойдясь лицом к лицу с его башмаком на повороте лестницы, она не завизжала, не стала карабкаться прочь, только подняла к нему важный, строгий взгляд. Чепчик съехал набекрень, из-под него над ушком торчал клок волос цвета мокрого песка.

— Ягодка, — сказал он и нагнулся.

— Ба-ба, — ответила она и поползла дальше на четвереньках.

До этого знаменательного мига всегда он себя мыслил членом клуба; теперь, кажется, стал частью семейства.

Потом как-то в среду вечером на третьей неделе апреля, поднимаясь к себе в спальню в Джонсон-корте, он почуял, что Черный Пес затаился на площадке, болтая тенью высунутого языка над лестничным пролетом. Зловонное дыханье просочилось в спальню. Он с силой дернул окно, впуская воздух ночи, но вонь уже отравила все вокруг; он сидел торчком в подушках, зажимая обе ноздри рукой.

Наутро проснулся он не в духе. Он бы остался у себя, развлекся арифметикой, если бы на его внимание не посягнула миссис Десмолинз; опять она повздорила с миссис Уильямс. Голова у него болела, он с трудом дышал, но себя осилил и с ней поговорил спокойно.

В тот вечер карета Трейлов дожидалась у подъезда. Дважды подходил он к двери и возвращался. На третий раз Фрэнк Барбер, подсмотрев, как он стоит на верхней ступеньке, рассыпая из-под мышки книги, взял его под локоть и усадил силком в карету. Усталый до смерти, он все равно бы вылез, да карета уже сворачивала на Флит-стрит; вдобавок у него урчало в животе.

Приехал и пожалел, ибо вел себя плохо. Теща Трейла опять к нему пристала с нудными расспросами, на сей раз выпытывая его сужденья о беспорядках на Спиталфилдс по случаю ввоза французского шелка, и тут он не выдержал и грубо ей ответил. Разумеется, она бы и святого вывела из себя, но лучше бы сдержаться; он очень был несчастлив.

Миновала полночь, и миссис Трейл его убеждала остаться до утра. Пустила в ход новый полог, зеленый полог, какой купила для его постели. “Темно-зеленый, не броский, — она соблазняла, — с изящными кистями”.

Он отказался ночевать более резко, чем следовало бы.

— Но у вас нездоровый вид, — настаивала она.

— Сударыня, — он возразил, — вот уж пятьдесят лет как я не выгляжу здоровым.

Выйдя в темноту двора, он услышал, как плачет в верхнем этаже ребенок.

Несмотря на поздний час, домашние его еще были увлечены перебранкой, когда он явился. Оказывается, миссис Уильямс споткнулась и поранила колено, чему причиной, по ее словам, был мистер Левет, забывший сумку со своими медицинскими инструментами в самом низу лестницы. Фрэнк Барбер клялся, что Левет никак не мог быть виновен, ибо после часа вышел черным ходом и лицом вниз упал на кухонный стол.

— Зачем я буду врать, — шипела миссис Уильямс, свирепая, как боевой петух.

— Да он и теперь там, — не сдавался Фрэнк. — Сумку к ногам положил, голову на руки.

Миссис Десмолинз подлила масла в огонь, крикнув, что все эти придирки и наветы ни к чему, что все они должны поддерживать друг друга... в стремленье к общему счастью.

Тут он окончательно вышел из себя, прогремел: "Довольно, сударыня" — и, раздав всем сестрам по серьгам, протопал к себе наверх.

В одинокой спальне ярость его утихла и сменилась знакомым упадком духа, когда мысли сносит, как перья на сквозняке. За отупеньем — он пристально рассматривал толстые волоски парика, с размаху брошенного на подоконник, — следовали физические позывы, которых природу слишком хорошо он знал.

Отчаянным усилием воли он поборол оторопь и несколько раз крякду стукнул себя по лбу, чтобы отбить, предотвратить постыдное сползание в похоть. Слегка оправясь, он занялся починкой надтреснутого ящика для угля, который успешно доломал.

В следующий четверг он послал Фрэнка Барбера на пивоварню с запиской, в которой объяснял, что приглашен в другое место. То была ложь, но поведай он правду о том, почему не может явиться, его, пожалуй, стали бы жалеть. Все детство он вызывал к себе это ненавистное чувство, даже страшно было вспомнить.

Ужасно, что миссис Десмолинз ввела к нему доктора Адамса в тот вечер, когда он уже вовсе не владел собой. Он помнил, что Адамс смотрел, как он метался из угла в угол, но из разговора ничего не помнил, только собственный свой вопль, что, если один из членов повлечет его к помутнению рассудка, он согласится тот член отсечь. Как издалёка, он слышал собственные всхлипы, стоны.

Доктор Адамс ушел, и тогда он положил на ложку крупицу опия и, держа над краем чашки с холодным чаем, проглотил. Он вспомнил милую, покойную Тетти и как он ей выговаривал, бывало, за такое потворство собственным слабостям.

Той ночью снился ему старый сон, в том сне он ластился к матери у нее на постели в комнате над отцовской лавкой. Младенец-брат спит на ее руке. Мать переворачивает страницы детской книжки о всеобщем спасении. И говорит, что после смерти люди попадают в одно из двух мест, хорошее место зовется рай, плохое место — ад. Она читает и водит пальцем от слова к слову, а он еще раньше узнаёт их смысл, но гонит от себя. На странице рядом дьявол валит в вечное пламя маленьких человечков. "Господь все сотворил для Себя, — говорит мама, — и даже злых сотворил для дня погибели, чтобы те знали гнев Господень и страдали вечно".

Он закричал от ужаса, тотчас проснулся, и большой палец на ноге дергало в жару. Подагра всего-навсего, но он содрогнулся. И вот тут Черный Пес, учуяв страх, кинулся в спальню и вспрыгнул к нему на грудь.

— Нет, я не в силах этого вынести, — сказала миссис Уильямс, расплескивая чай с подноса на халат. Давала понять, что больше всех страдает от обстановки в доме. Обе женщины поднялись чем свет, хотя ни одной незачем было расставаться с теплой постелью. Миссис Десмолинз кипела из-за стычки с утра пораньше и молчала. Причиной препирательства стал надрезанный каравай. "Вы забыли прикрыть его от мышей", — ворчала миссис Уильямс, слепо шаря пальцами по полке. Крошки, как снежинки, осыпáлись на пол.

Миссис Десмолинз твердила, что знать ничего не знает, и кивала на Фрэнка Барбера.

— Все он, — бушевала она, тыча в него пальцем, но он, недвижно сидя за столом, высунул розовый язык и не сказал ни слова.

Горячность нрава миссис Уильямс, и в лучшие-то времена заметная, теперь еще усугубилась. Даже мистер Левет, с кем она так часто и упорно видалась с глазу на глаз, вышел из фавора. Третьего дня, наткнувшись на привычно распростертую под кухонной лестницей его фигуру, она взялась его пинать, чтоб добудиться. Пинала она его не больно́, но душу отвела. Он, в простоте своей, на четвереньках отполз к камину и, проурча́в "Мама", тотчас опять заснул, обняв ведерко с углем. Несколько минут спустя миссис Уильямс, сокрушаясь, осведомилась, где он. "Ушел, — солгала миссис Десмолинз и дальше расцветила: — Кровь изо рта пошла".

— Нет, я не в силах этого вынести, — повторила миссис Уильямс, но голос на сей раз был у нее надтреснутый и рука тряслась.

— Не вам одной тяжело, — сказала ей миссис Десмолинз. И все же протянула руку по скатерти и положила на эти трясущиеся пальцы. Сама понимала — под влиянием Сэмюэля; не то бы, пожалуй, фыркнула, и все.

— Слухом-то я небось не повредилась, — отрезала миссис Уильямс, — вечное ваше нытье и стоны замечаю. — Руки, однако же, не отняла.

Чуть погодя миссис Десмолинз вышла в садик за домом и села на скамейку под смоковницей. Прохладный воздух нежил разгорячившуюся кровь. Она слышала, как в доме рядом мистер Фиппс отчитывал жену. В том доме был разлад... но, может быть, у всех такое?

Этот Фиппс в Клернкенуэлле держал любовницу. Однажды миссис Фиппс была в деревне, разрешалась шестым младенцем, а он привез ту девку средь бела дня и на виду честны́х людей провел по двору. И прижила она ребеночка, мальчика, умер по третьему году, глазки бусинами, губа с ямочкой — вылитый папаша. Бывало, видели: мальчишка этот с помощью законных братцев на соседнем дворе пытался запустить юлу.

Сэмюэль, узнав про смерть ребенка, сунулся к миссис Фиппс выражать соболезнование. Вернувшись, уронил слезу. Говорил, что Фиппс этого бедного мальчика больше любил, чем всех своих детей. Миссис Десмолинз на себя напустила грустный вид.

— Бедный отец, — охнула она. В душе, однако, порадовалась, что покойник-муж, точь-в-точь такой же, как этот Фиппс, дай-то бог еще горит в геенне.

С заледенелыми ногами сидя на скамейке, она гадала, сколько еще Сэмюэль будет торчать у себя в спальне. Он добровольно заточился, вернувшись от этих Трейлов, тому уж пять недель. Еще утром, кажется, был как всегда. В полдень она улучила минуту, чтобы ему сказать, что миссис Уильямс пеняет ей за расточительство, свечи, дескать, жжет без счета.

Сэмюэль стал убеждать ее — мол, надо быть великодушной. Пагубное следствие образованности, он толковал, а именно открывающееся богатство обольщений мира, надежды, основываемые более на книгах, чем на фактах, оставили миссис Уильямс в заблуждении, что ей впору хоть бы на радуге кататься. Миссис Десмолинз его оспаривала: речь о воске, не о радужных цветах. Куда! Только зря старалась. Он и миссис Уильямс — два сапога пара, оба ослеплены словами.

А ночью, вернувшись после обычного своего визита на пивоварню, он разбушевался, придравшись к каким-то ее словам. Насколько могла припомнить, она, стараясь сгладить ссору между миссис Уильямс и Фрэнком, возьми да и скажи, что каждый человек стремится к счастью. Тут-то и промахнулась.

— Счастье, — он взревел, — в том, чтобы рассчитывать на самого себя. Никогда нельзя с уверенностью полагаться ни на кого, кроме себя.

И сразу, всегда будучи добросовестен по части ссылок, признался, что только передал в иных словах мысль Аристотеля. Огорошенная, она подумала, однако, как это странно, что, желая выразить себя, великие люди вечно прибегают к мыслям тех, кого давно уж нет. Он еще много чего наговорил, обидного наговорил, но она посчитала, что он, как видно, метит в миссис Уильямс и Фрэнка, а не в нее.

На другое утро он поднялся рано, нет, не к добру это: чтоб он, да и проснулся, покуда еще полдень не наступал. Все в доме не выспались; он разбил ранние часы упорным стуком. Фрэнк, отважно сунувшийся к нему в спальню, застал его за плотницкой работой. Хоть истомленная, миссис Уильямс признала, что счастье еще, он не пустился в свои электрические опыты, не то найти бы им его обугленного в постели.

День целый они слушали, как он ходит из угла в угол, но так он и не вышел, даже своими булочками с маслом не прельстился. Миссис Уильямс объясняла, что, видно, он не оправился еще после недавних своих трудов по приведению в порядок Шекспира.

Позже она вспомнила, что близится годовщина смерти Тетти, и в самом деле, в тот же вечер в гостиной, снизу, услышали молитвы, стоны, вопли — все вперемешку. Миссис Уильямс, не вынеся столь громких изъявлений горя, пальцами зажала уши. Миссис Десмолинз чуть было не выпалила в сердцах, что Тетти уж десять лет как умерла, но прикусила язык. В ее глазах кончина Тетти была скорее избавление, чем повод горевать; от жизни она устала, напивалась под конец, а он — стонать-то он горазд, а где он был, пока она на нет сходила?

После этих изъявлений горя, если именно так обстояло дело, он все не выходил из комнаты; и никого не желал видеть, даже мистера Мерфи и мистера Рейнолдса, а он ведь их любил и они его у себя всегда привечали. Однажды мистер Хокинс, решительно поднявшись по лестнице, постучался тростью к нему в дверь и попросился войти, но Сэмюэль, миссис Уильямс подслушала, крикнул: “Etiam oblivisci quid sis, internum expedit”[1]. Миссис Десмолинз понятия не имела, что бы это могло значить, но заметила, что Хокинс спустился вниз весь бледный и ушел, не сказавши ни единого слова.

Что же до мистера Трейла, тот слал одну записку за другой, но все оставались не читаны. В их дружбе был уже разрыв однажды, когда Сэмюэль, приглашенный в летнее их обиталище в Брайтелстоне, поцеловал замок, ибо хозяева вернулись в город, но, миссис Уильямс ей рассказала, все обошлось, Трейл был прощен, объяснив, что поспешил в Лондон потому, что вдруг его выдвинули в парламент.

Птицы загадили садовую скамейку, и миссис Десмолинз вернулась в дом, бродить по лестничной площадке под дверью Сэмюэля. Вдруг, она и затаиться не успела, дверь распахнулась, и он выплеснул урыльник. Одетый был, хоть и босой, и, она заметила, от злости у него аж ноги покраснели. Он глянул прямо ей в лицо — и не увидел. Щетина на щеках, изборожденный лоб, круги под глазами — у ней даже сердце зашлось. Сразу же он отступил; и на весь дом грохнул своим засовом.

1. “Порою полезно забыть, что ты есть” (*лат.*).

Она кинулась вниз, к миссис Уильямс. К чему теперь все эти счеты, кто для него важней, кто ближе. Миссис Уильямс клевала носом в своем кресле у камина.

— Идите к нему, идите, — кричала миссис Десмолинз. — Он не в себе.

— Не впервой, — отрезала миссис Уильямс. — Потом всегда отходит. В подобных обстоятельствах женское вмешательство только усугубит его тревогу. — И даже бровью не повела; хотя при эдакой при светлой масти — уж какие брови.

Миссис Десмолинз даже поразилась тому, как мало ученость помогает в решительную минуту; миссис Уильямс знает французский, итальянский, стихи кропает, а помрачение рассудка не может различить.

— Он не в тревоге, — взвизгнула она. — Он не в своем уме.

— Не нам соваться, — объявила миссис Уильямс и глаза закрыла, хоть и открытые они не видели ровным счетом ничего.

Миссис Десмолинз носилась как безумная по коридору, ломала руки, причитала. Как позже признавалась она Левету, которого в иное время не баловала беседой, ее терзало страшное виденье: Сэмюэль борется с дьяволом. "Не нагрянь мистер Дилэп в тот самый час, — она заключала, — мы бы его, быть может, потеряли на веки вечные".

Мистер Дилэп, столь счастливо явившийся, выслушал ее пени и не выразил готовности вмешаться. Мистер Джонсон, он говорил, был всегда подвержен приступам унынья, и кому ж понравится, чтобы его видели в таком плачевном состоянии. Говоря, он обращался к груди ее, а не к лицу, но у Сэмюэля, кстати, такой же был обычай. Миссис Десмолинз не отступала; и даже преградила ему дорогу, когда он попытался улизнуть. Он нехотя поднялся по ступеням.

К удивлению ее, не успел он постучать, раздался грохот отодвигаемого засова. Дверь отворилась да так и осталась незакрытой, но сперва голоса звучали тихо-тихо, какое-то жужжанье, не разобрать. Потом вдруг Сэмюэль заговорил громко, но так путано, так сбивчиво, ни складу ни ладу. Стараясь перекричать дикие эти речи, собеседник, она слышала, умолял его успокоиться. Потом Сэмюэль заорал: "Клянусь, впредь я навеки возненавижу всякого, кто мне предложит утешение", и тут уж мистер Дилэп взялся читать "Отче наш", и Сэмюэль, слава богу, угомонился.

Миссис Десмолинз, припав к перилам, шепотом вторила молитве, но когда дошла до "хлеб наш насущный даждь нам днесь", во входную дверь громко постучали. И почти сразу Фрэнк ввел в прихожую высокого краснолицего господина и маленькую бледную женщину с блестящими глазами. Тут только миссис Уильямс проснулась наконец, вышла из гостиной и по имени адресовалась к миссис Трейл.

Дальше, на глазах у всех, разыгралась дикая сцена. Мистер Дилэп явился на верху лестницы, за ним Сэмюэль, с жалкими, упорными воплями. Он издавал какие-то совсем уже не человеческие звуки. Миссис Десмолинз припомнился цепной медведь в Личфилде, бедняга, его на площади привязывали в ярмарочные дни — и в тот же миг несчастный рухнул на колени и стал мотать головою, как медведь.

Мистер Дилэп, в ужасе, пытался его поднять, но безумец слишком был тяжел; он еще больше скрючился и, обхватив мистера Дилэпа за ноги, молил Бога о пощаде. "Боже милосердный, — он взывал, — только не лишай меня рассудка". Внизу пораженные свидетели стояли, будто обратившись в камень.

Мистер Дилэп, заметив, что на него смотрят, рванулся изо всех сил и побежал по лестнице вниз. Белые чулки его выдернулись из-под бриджей и складками собрались на щиколотках.

Распрямясь, шатаясь, Сэмюэль погромыхал за ним. Не замечая тех, кто пятился при жутком его приближении, он настиг мистера Дилэпа, схватил за полу; снова он бросился на колени, снова молил Бога, чтобы не попустил его сойти с ума. Не одна миссис Десмолинз опасалась, что просьба, быть может, запоздала.

И полились полоумные самоуничиженья, перечень грехов, дикое биенье себя в грудь, будто с целью вовсе сокрушить ее. Свои ектеньи выкрикивал он с таким страданьем в голосе, с такою мукою в глазах, что мистер Трейл не мог этого вынести; выступя вперед, рукой зажал рот Сэмюэлю. Спасаясь бегством, путаясь в спущенных своих чулках, трусил через двор мистер Дилэп.

Скоро ушел и мистер Трейл, под бременем ли дел или из деликатности. Миссис Уильямс объясняла, что скорей второе; какому порядочному человеку приятно пялиться на позор друга. Прежде чем уйти, он попросил жену увезти Сэмюэля в Стретэм, где тот будет окружен ее заботой и вполне избавлен от тягот городской жизни.

Миссис Уильямс стала собирать в узелок белье и платье; его, впрочем, немного оказалось: спальная рубаха да выходной камзол с застывшим на петлях свечным салом. Конфузясь, она взялась оправдывать отсутствие чистого белья тем, что Сэмюэль сидел так долго запершись, ей невозможно было от него забрать исподнее для стирки.

Миссис Трейл ее уверила, что большой беды в том нет, вполне еще годные вещи в Стретэме поооставляли гости; мистер Лэнгтон, например, он хоть и тощий, как скелет, но и повыше ростом, чем мистер Джонсон.

Во все время этих хозяйственных хлопот больной сидел в гостиной под присмотром Фрэнка. Оттуда вышел он тихий и, кажется, пристыженный. Смотря себе на ноги, разглядывая раздувшиеся пальцы, он всё их поджимал, как ступающий в волну ребенок, и хмыкал. Миссис Уильямс пошла наверх, за носками; в них обнаружилось, однако, уж слишком много дыр.

Наконец все было готово и послано за кучером, чтобы помог идти больному; тот шел босиком и ни разу не оглянулся. В последнюю минуту миссис Уильямс, вспомнив про парик, велела Фрэнку бежать вдогонку.

Мистер Левет в тот вечер вернулся рано, трезвый. Рассказы миссис Десмолинз и миссис Уильямс о событиях дня отчасти не согласовались. Миссис Уильямс описывала, как она стирала пыль в столовой, когда услышала наверху голоса. “Я узнала голос мистера Дилэпа, — был ее рассказ, — и не придала этому особенного значения, разве что удивилась и обрадовалась, что мистер Джонсон его к себе впустил”.

— Вы спали в гостиной, — внесла поправку миссис Десмолинз. — И показались, только когда приехал мистер Трейл.

— Едва ли я могла заснуть, — не сдавалась миссис Уильямс, — при шуме, который вы подняли.

— Я шла к себе, — рассказывала миссис Десмолинз, — и вдруг на лестницу выходит мистер Джонсон. И кричит: “Я так страдаю. Лишь ты одна можешь мне помочь”. И в этот самый миг Фрэнк вводит мистера Дилэпа. Понятно, что тут уж я не выдержала, поскольку он духовная особа.

— Понятно, да, — сказала миссис Уильямс и улыбнулась без веселости.

— Не приди он, — продолжала миссис Десмолинз, — Дьявол бы одолел.

Далее она описывала, как, согнувшись на ступенях, вторила мистеру Дилэпу, читавшему "Отче наш", и как на словах "хлеб наш насущный даждь нам днесь" явились Трейлы, на самых на этих словах явились. И она стукнула по столу кулаком так, что миссис Уильямс содрогнулась.

— И не иначе как по воле Провидения, — заметил мистер Левет, — ведь Сэм со вторника не ел.

Прежде чем удалиться на ночь, миссис Десмолинз прокралась в его пустую спальню.

Постель была вся скомкана, на наволочке — выжатый апельсин. На столе у окна, вдоль обреза открытой книги, лежали измельченные завои кожуры; один кусочек она спрятала к себе в карман, для утешенья. Взбираясь по ступеням, она заметила, что кот мяучит на второй площадке. И пнула его, не со зла, от ревности; часто зверюга этот, завидя Сэмюэля, зарывшегося в книги, вскакивал к нему на колени и часами там урчал себе.

Смоковница припала к самому чердачному окну. Ветер трепал ветки, они ужасно скребли по стеклам, эхом отзываясь на грызь в ее душе. Терзаемая как изнутри, так и снаружи, она заснула.

И почти тотчас почувствовала, как его рука обвила ее плечо, другая схватилась за спальную кофту и сама она зажата пленницей на его груди. Он говорил все непонятно, зато покряхтыванья и смешки выказывали нежность. Ласки его были неуклюжи, да что ей в том? Она вдыхала горьковатый, милый запах его кожи и боялась, как бы стуком сердца всех в доме не перебудить.

А потом она проснулась под рассветный звон Святой Бригитты — горестное пробужденье; он лежал теперь под чуждым кровом, а те сладкие броски минувших лет стали добычей снов.

Мисс Летишиа Хокинс
Сайон-роу
Туикенем
Сент. 21, 1807

Милая мисс Хокинс,

Ваше любезное письмо пришло 18-го числа сего месяца, к дате, которую Вы полагаете — *не по собственной Вашей вине* — нашим общим днем рождения, хоть он предвосхитил мое явление на этот свет более чем на полвека. Я твердо убеждена, что родилась в 17-й день сентября, и уж потом только матушке взбрело на ум приурочить мое рождение к дате более удачной.

Да, разумеется, я помню тот обед, который Ваш отец сэр Джон давал в честь шестьдесят шестой годовщины Доктора. То было, насколько помню, за три дня до 16-го числа, намеченного моим отцом и мистером Баретти для начала путешествия в Париж. Мы с Вами, помнится, привлекли строгие взгляды взрослых, неприлично прыснув, когда мистер Джонсон встал на четвереньки, чтобы получше разглядеть новые туфли мисс Рейнолдс. В тот самый вечер я мучилась тоской, в которую меня вогнало не в меру откровенное замечание Вашей милости. Разглядывая в стенном зеркале наши ребячьи отраженья, Вы объявили мое лицо красивым, но слишком круглым. Года идут, а кое-что — все суета сует и всяческая суета — как напечатанное остается в памяти.

Вы выказываете намерение взяться за перо, полагая, что "Окружение Сэмюэля Джонсона" может иметь успех у читающей публики, но боюсь, что от меня Вам будет мало проку. Мне не было и года, когда доктор Джонсон впер-

вые появился на пивоварне на Дедменс-плейс, и всего на год больше, когда отец мой ему предложил прибежище в Стретэм-парке. Не имея склонности рассматривать Ваши догадки — мне бы не хотелось воскрешать воспоминанья, которые, вследствие некоторых обстоятельств, пробуждают лишь грусть в моей душе, — я постараюсь разрешить Ваши сомнения, касаемые только фактов.

Упомянутый Вами ларчик находится теперь во владении матери моей, миссис Пьоцци, равно как глобус, купленный доктором Джонсоном с целью обучать меня географии. Каракули в области Америки исполнены моим братцем Гарри, за что матушка как следует его высекла. Доктор Джонсон был тогда в отсутствии, но, узнав про наказание, сказал, что *это слишком.* Мистер Баретти, напротив, присутствовавший при экзекуции, был куда решительней. Помню, он схватил розгу с полки в детской и растоптал ногами.

Хоть мистер Босуэлл и миссис Пьоцци наперебой твердят, что имя Куини дал мне мистер Джонсон, я убеждена, что милый мой отец первым так меня назвал. Сначала я стала его Куин Хестер[1], потом его Хетти, потом Куини, перемена, происшедшая на третьем моем году.

Собака, сидящая в гостиной Солзбури у моей бабки на полотне Зоффани, звалась Красоткой, по причине своих ста́тей, хотя и храбрая была и бешеного нрава. Она же и совершила известное преступленье, сожрав намасленный тост доктора, покуда тот хлебал свой чай.

Названия книг, Вами указанных и тоже находящихся во владении моей матери, суть следующие: "Сочинения Метастазио"[2] в шести томах, комедии Теренция, латинская грамматика и Вергилий. Что до "Диалогов" мистера Баретти, они и в самом деле начинаются посвящением мне на восьми страницах, из которых доктор Джонсон в дальнейшем перевел заключительные фразы английскими стихами. Скромность мне не велит полностью их привести, довольно и того, что начинались они: "Живи же долго, моя радость Хетти..." В своих "Анекдотах" миссис Пьоцци приводит эти строки, ничуть не озаботясь ссылкой на их происхождение. И коль скоро мы с нею тезки, многие могли предположить, что посвящение адресовано к ней самой.

"Обет Куини" хранится у меня, но я бы не хотела его предавать гласности. Он составлен в форме обещания, под диктовку доктора Джонсона, что каждый день я буду подниматься рано и заниматься по-итальянски... *Пребывая в самом добром расположенье духа, я не стану озираться по сторонам с усталым и скучливым видом,* и так далее и тому подобное. Все это мной подписано и скреплено подписью доктора Джонсона.

Сестра моя миссис Мостин пребывает в добром здравии, хотя и обеспокоена возможным переселением нашей матушки поближе к ней. Мы было надеялись, что она осядет в Стретэме, но ходят слухи, будто она собралась его отдать внаем. Иметь ее под боком радость невеликая. Как кто-то справедливо заметил, истинное несчастие составляется из памяти прошедших и страха грядущих бед.

Прощайте, милая мисс Хокинс.

Преданная вам
Х. М. Трейл

1. Куин Хестер — то есть Царица Эсфирь из Книги Эсфири Ветхого Завета.
2. Пьетро Метастазио (1698–1782) — итальянский поэт и драматург.

1766

Возобновить (возобновлять, изновлять, восстановлять).
Приводить ветхое, старое в прежний вид или порядок; начинать сызнова.

Переход от несогласия к согласию с привязанностию сопряжен, имеющей обычай изновляться после размолвки.

Фрэнсис Бэкон
"Естественная история"[1]

Миссис Трейл, поднявшись рано из-за Куини, смотрела в окно спальни на лужок, сверкающий росой. Собаки, спущенные с цепи, носились по траве в алмазных брызгах.

Когда она вошла в детскую, Куини еще спала. Рот был открыт, пот блестел на переносье. Старая Няня сказала, что изо рта у девочки все еще кислым пахнет. Два раза ночью на горшочек сходила, хотя животик не болел.

— А сыпь на грудке? — допрашивала миссис Трейл.

— Парши-то нет, — сказала Старая Няня, но сослепу она могла и не заметить.

Миссис Трейл осмотрела ручку и с облегчением заметила, что вздутие немного опало. Когда доктор Саттон делал свой прокол, Куини с испугу дернулась, и результатом явилась воспаленная царапина.

Дымка уже слетела с буков в парке, когда миссис Трейл спускалась к завтраку. Лучи пробивали малиновые шторы на лестничной площадке и делали багровыми ступени.

Заметно было, как безоблачность небес воздействовала на матушку и на супруга. Миссис Солзбури объявила о намерении отсрочить отъезд свой в город, мистер же Трейл, наведавшись на кухню ради последних указаний поварам по части нынешнего ужина, распрощался с женой, против обычая почти не скрывши нетерпенья.

— Вернусь в четыре, — вот все, что он сказал, потом, вплоть к ней приблизя грустное лицо, сухими губами чмокнул в щеку. Клевок какой-то, но не в его обычае было целоваться, а в трезвом виде и подавно.

— В четыре, — эхом отозвалась она, не радуясь, не огорчаясь, и рукавом утерла лицо. Человек он был добрый, она с ним свыклась, любовь же ей представлялась чувством, противоречащим естественному ходу отношений мужчины с женщиной.

Мать, постоянно сидя на диете из овощей с водой, едва ли могла быть заподозрена в порывах, возбуждаемых спиртным и мясом, однако часто относилась о покойном мистере Солзбури как о "чудовище, которое она без памяти любила". И миссис Трейл, видя свет страсти в ее глазах, тогда завидовала. По воскресеньям в церкви она, не слишком, впрочем, истово, молилась иногда, чтобы наслали на нее любовь.

В полдень, когда Куини проснулась, погода держалась дивная, и миссис Трейл велела Старой Няне вынести ее на воздух. Сама она тоже со-

1. "Естественная история" — последнее произведение Фрэнсиса Бэкона(1561—1626), опубликована в 1627 г., то есть через год после его смерти.

бралась было гулять вместе с миссис Солзбури, но тут спустился сверху мистер Лэнгтон. Долго стоял он на крыльце, томно водил туда-сюда рукой, испытывая температуру воздуха, и наконец-то изъявил желание их сопровождать. Когда они ступили на гравий, Старая Няня и Куини уже исчезли из виду.

Гулять с длиннющим Беннетом Лэнгтоном было удовольствие сомнительное. Лишь бы не отстать, обеим невысоким дамам приходилось то и дело пускаться прямо неприличною рысцой. Дарить восторгами небесную лазурь безоблачного неба, восхищаться игрою солнца на листве, вдыхать чудесный запах юных роз, разнеженных над ледником на клумбе, — какое! Приходилось беречь каждый вздох, чтоб не упасть, а то и вовсе не распрощаться с жизнью. Мистер Лэнгтон, надо отдать ему должное, время от времени спохватывался, умерял машистый свой шаг, чтобы применяться к дамам, но скоро снова забывался. Миссис Трейл поглядывала вверх, на Лэнгтона, на шляпу, пеструю от теней буков, и думала, что, приведись скакать с жирафой взапуски, у ней, по крайней мере, будет опыт.

Кажется, он прочитал ее мысли, ибо взялся рассказывать анекдот про себя самого и мистера Гаррика[1], которого тоже в тот вечер ждали.

— Дело было зимой, — он начал, — нас с Дэви пригласили на ужин к одним знакомым. Я опоздал... была ненастная погода...

Миссис Солзбури с дочерью хитро переглянулись. Беннет Лэнгтон всегда и всюду опаздывал. Все друзья знали про этот неудобный его обычай и принимали свои меры. Если ждали гостей к пяти, Лэнгтону говорилось, что надо явиться к трем.

— Вот я являюсь, и Дэви вскакивает на стул и со мной здоровается. Вышло уморительно...

— И неучтиво, — вскрикнула миссис Солзбури, отдуваясь.

— Не важно. Зато я славно, кажется, его отделал. Здравствуй, говорю, здравствуй... и не успел он соскочить со стула, я опускаюсь на колени и протягиваю ему руку.

— Он, конечно, ростом маловат, — заметила миссис Солзбури, — и это помнит. — Она остановилась. Приставив палец к подбородку, будто обдумывая анекдот, на самом деле она пыталась отдышаться.

Миссис Трейл промолчала. Историю эту она слыхала раз сто, уж кажется, своими глазами все это видела. Если ей не изменяла память, Гаррик в долгу не остался — мигом отвечал цитатой из "Бури": "Давай руку. Во мне просыпаются кровавые помыслы"[2].

Ударившись в воспоминанья, она разволновалась и отдалась печальным мыслям. Еще и года не прошло, как Трейлы похоронили вторую дочь, и пусть хилое дитя недолго пробыло на этом свете и мало по себе оставило следа, подобный опыт нелегко дается матери. Теперь, на четвертом месяце тяжелая третьим ребенком, вечно она себя терзала всякими ужасами. Вот и сейчас: Куини, она уверена была, вырвалась от Старой Няни и в этот самый миг топочет к озеру. Старая Няня, слепая от старости и солнца, воображает сдуру, будто девочка сидит с ней рядом и обрывает головки первоцветам.

— Куини выздоравливает, — объявила она вслух и понеслась по тропке, не обогнав, однако, мистера Лэнгтона. Миссис Солзбури выбыла из

1. Дэвид Гаррик (1717—1779) — знаменитый английский актер. Прославился в пьесах Шекспира, играл Гамлета. Большой друг Джонсона.
2. Шекспир. Буря. Акт 4, сцена 1. Перев. Т. Л. Щепкиной-Куперник.

гонок и, споткнувшись об опрокинутое ведро, забытое работниками, нанятыми пристраивать конюшни, упала, спиною к солнцу, закрыв глаза, рукой сжимая колотящееся сердце.

Миссис Трейл, сама не своя, не успела спуститься по ступеням, уводящим к кустам сирени, как увидала, что мистер Лэнгтон со Старой Няней, держащей ребенка на руках, идут навстречу.

— Куини, детка, — крикнула она, метнулась к дочке, хотела прижать ее к себе. Но встретила отпор; никакие шлепки, щипки не могли тронуть этого ребенка.

Вся красная, решительная Куини глядела с вызовом и только крепче обнимала за шею Няню. Чепчик съехал набекрень, блеск озера тронул серебром кудряшки. Сменивши радость облегчения на гнев, миссис Трейл, конечно, уж хорошенько бы отшлепала упрямицу, когда бы рядом не маячил Беннет Лэнгтон.

— Узы между няней и ребенком, — заметил он некстати, — порой бывают крепче, чем те, что почитаем мы естественными.

— Солнце чересчур печет, — отрезала миссис Трейл. — Дома нам всем будет уютней. — И снова пошла, и зацепилась подолом за куст сирени, и чуть не разрыдалась от обиды.

Миссис Солзбури, дремавшую на опрокинутом ведре, потревожил звук шагов по гравию. Открыв глаза, она увидела дородную фигуру доктора Джонсона, огибавшего стену свинарника, верней, пристройки, возведенной любителем свинины Генри Трейлом, чтоб приютить чеширского кабанчика, которого, впрочем, зарезали недавно за то, что оказался дик, нежирен и так свиреп, что представлял собой опасность.

Продвиженье мистера Джонсона по дорожке, хотя не менее рассеянное, было еще извилистее, чем всегда. Обычную свою раскачку сменил он на зигзагообразный ход и в каждую новую диагональ пускался, как только врежется ногой в траву. Несколько раз он, видно, слишком круто забирал, потому что возвращался и все проделывал сначала. Если бы не законы света, миссис Солзбури пустилась бы наутек, чтоб не столкнуться с ним нос к носу.

С мистером Джонсоном они были не в ладу. Когда впервые он появился за столом у зятя, в городе, она было обрадовалась, что свела знакомство с таким ученым человеком. У'ней скопилась такая пропасть вопросов, и только он, с его-то знаниями и не ханжа, на все мог дать ответ. И с самого начала — спросила, что он думает о шелковых бунтах, да и осталась в дурах. Так оно и повелось. Поживши в Стретэм-парке, где дочка, Хестер, с ним носится как с писаной торбой, смотрит ему в рот, здоровье свое он поправил, ан нет чтобы исправить нрав. Теперь хоть не будит всех посреди ночи, не мечется по коридорам с бормотаньем; слуги с перепугу, бывало, выскакивали из постелей, а то бродили до утра, боялись, что приставит к шторе зажженную свечу да и спалит весь дом. А с нею все такой же невозможный. Не раз она его ловила: нарочно измышлял ответы на ее расспросы о той, иной ли политической загвоздке. Сперва она впала было в заблужденье, что смешки, какими он пересыпает речь, и взгляды, какими он постреливает вдоль стола, и то, как сыплет соль через плечо, — проявления чудачества, и только. Довольно; теперь уж она его раскусила: просто невоспитанный.

Дочь толковала: их вражда объясняется тем, что он ревнует. Он, мол, нуждается в безраздельном ее внимании, он-де одолеваем демона-

ми, а лишен той материнской ласки, той поддержки, какая есть у ней самой. Миссис Солзбури верила в искренность дочери; она ее любила, старалась к ней с наставлениями не лезть. Все так, да ведь и сама она в глубине души мучилась ревностью из-за прямо неприлично растущей власти вечного доктора Джонсона, который в этот самый миг, бубня себе под нос, зигзагами на нее надвигался. Снова она закрыла глаза и тем ниже оседала, чем громче он бубнил.

Он прошел так близко, что рукавом задел ее чепец, она ясно услышала странные слова — *октябрьский ветер мачту гнет,* — потом взял круто вправо и прошел. Осторожности ради она поджала ноги — хоть отдави он их, и то бы не заметил, уж можно не сомневаться. И вовсе не его плохое зрение ее превратило в невидимку, а то, что она не интересней ему мраморных урн, понатыканных вдоль дорожки. Обернувшись, она увидела, что крепкие его белые икры без чулок и он в домашних хлопанцах. Шарканье на поворотах делалось слабей, слабей и замерло совсем, когда он ступил под сень дубов и скрылся.

Не сразу она стала сознавать другие звуки: заливистый лай скакавшей вдоль птичника Красотки, жужжание до роз охочих пчел, свист воздуха под крыльями у птиц. И снова она задремала, и вот уже на шорох крыльев эхом отзывались волны у берега Пулхели, те волны, что ластились к ее узорчатым от соли туфлям, когда не вполне бесспорный мистер Солзбури бухнулся на колени в мокрый песок и попросил ее руки. Как поживешь без ласки, думала миссис Солзбури, повыпустишь шипы. Она не об одном мистере Джонсоне думала.

Никого вокруг не встретив, кроме миссис Солзбури, на которую наткнулся, когда она присела на дорожке справить малую нужду, он затосковал. Встав с постели, он спустился вниз, обнаружил в пустом доме только слуг и вот теперь репетировал, как станет корить миссис Трейл, когда снова они встретятся.

Любезная хозяйка, он скажет, улыбкой стараясь смягчить упрек, *я надеялся увидеть вас за завтраком.* Она: *Друг мой, солнечный свет меня призвал, привлек, выманил меня,* etc. Он: *Сударыня, солнце будет светить вечно, наше же скромное озарение, боюсь, угаснет столь же скоро, как с дерева спадает лист.* Не вполне довольный этим разговором, он сделал выпад тростью по дубовым листьям.

Четыре месяца минули с того дня, когда, как будто нежные колокола вдруг забренчали грубо и не в лад, разум его помрачился и он был доставлен в Стретэм-парк. Долгих пять недель не выходил он из комнаты и никого не видел, кроме миссис Трейл. Ни по природе, ни по воспитанию в них не было сродства, однако ж только ей он поверял те мысли, что привели к недугу. Правда, не все, не все...

Со времени этого вынужденного затвора он довольно уже поправил свое здоровье, чтобы вернуться к прежнему образу жизни. Хотя и проводя большую часть недели в сельской сей глуши, каждую пятницу вечером старался он теперь уехать в Лондон, чтобы оказать помощь и поддержку нелегким обитателям Джонсон-корта. По субботам принимал он посетителей и ужинал в кругу друзей. По воскресеньям, удостоверясь, что все домочадцы хорошо поужинали, собрав их всех в гостиной у камина, он им рисовал связавшие их общие превратности судьбы.

Понедельник был потрудней, ибо в полдень приезжала карета Трейлов, и либо миссис Десмолинз, либо миссис Уильямс, а то и обе вместе

его старались удержать, перебирая несчетные вины доктора Левета. Как ни желал судить без пристрастья, он скорей сочувствовал Левету, чем слепой миссис Уильямс или чересчур всевидящей миссис Десмолинз. Левет, по крайней мере, не пускал в ход слезы.

Он возвращался домой — так он привык думать о Стретэм-парке — к лестным заботам, какими окружали собственную его особу. Стоило ему заметить вскользь, что он любит пирог с дичью или жареного омара, как то и другое являлось на обеденном столе. Если мимоходом он бросал, что бюро в его комнате удобно, но маловато, тотчас к его услугам было более просторное бюро. Сознавая, что на подобном цветочном ложе легко произрастают сорняки безделья, он каждый вечер бросался на колени, решал исправиться, вставать пораньше — покуда безуспешно. Полуденное солнце обыкновенно заставало его по-прежнему в постели.

Камешек попал ему под пятку, он остановился, чтоб его вытряхнуть, и, недоумевая, обнаружил, что он в домашних хлопанцах. Надо думать, он благоразумно оставил дома туфли — ради серебряных пряжек, которые ему презентовал тому четыре недели Генри Трейл.

И кроме этой обувки ему было за что ценить Трейла; тот недавно ему показывал чертеж библиотеки, какую намеревался он пристроить в западном крыле дома. "План ее, Сэм, — тогда сказал он, — будет мой... но выбор книг на полках уж я оставляю за тобой".

Прямота Трейла, завидная откровенность — он являл собою парадокс: будучи образован, читать любил не очень — были достойны восхищенья. Многие богачи, и это всем известно, собирают библиотеку, а потом других винят в ее пробелах.

Задача требовала прилежанья и терпенья, ибо библиотека замышлялась скорей "готическая", нежели современная, но просьба не была чрезмерна, учитывая гостеприимство, столь щедро приправленное дружбой и приязнью. Никто не любит другого, не ожидая отзыва.

Стоя так под дубом, он понял, что чувствует себя вполне здоровым. Дышится легко, нет тяжести в желудке, нет той боли, что мучила чресла.

И вдруг, ни с того ни с сего, просто чтоб испытать легкие, он бросился бегом и добежал до самого озера. Одинокая утка всплеском крыльев его приветствовала. Запыхавшись, но не слишком, он нашарил в кармане апельсиновую корку и запустил по воде, подняв волну. И утка, покорно общему закону, поплыла по расходящимся кругам.

Он хотел уж повернуть по направленью к дому, как вдруг его вниманье привлекло что-то, запутавшееся в тростнике. Он решил было, что это бревно, но, присмотревшись, разглядел сверток, перевязанный бечевкой. Он хотел поддеть его тростью, сверток вырвался, запрыгал прочь.

Недолго думая, он сорвал с себя одежду, бросился в воду, но оказалось, что она ему едва доходит до колен. Сверток, правда, он успел подцепить прежде, чем тот пошел ко дну. Он выбрался на берег, проверил содержимое; в ткань завернут был, собственно, пустяк, старинный веер, выложенный стеклянными пластинами, в которые вправлены были три круглых предмета. Он принимал их за монеты, покуда, оттеревши грязь, не обнаружил, что это пуговицы, и на каждой изображенье скачущей собаки.

Он растирался насухо рубашкой, и солнце било в амулет на шее, выбивая пламя, как вдруг показалась на тропе близящаяся фигура. С такого расстояния, по поступи судя, он заключил, что это один из пожилых рабочих из Саутуорка, которых наняли для усовершенствований и при-

строек, однако на его глазах тот повернул и метнулся прочь, размахивая руками так, будто за ним гонятся дикие звери.

Я не одинок, сказал он сам себе. Мир полон сумасшедших.

Из Лондона в тот день приехали мистер Джексон с супругой, мисс Рейнолдс, Артур Мерфи и еще иезуит, мистер Фицпатрик, старый друг Генри Трейла, как и химик Хемфри Джексон. С обоими травливал он вместе лис в ту свою холостяцкую пору, когда держал охоту в Кройдоне. Привезти мисс Рейнолдс обязывался Гаррик, но в последнюю минуту Мерфи его заменил.

— В три часа, — рассказывал Мерфи, — хозяин Ковент-Гардена присылает за Дэви в Друри-Лейн[1] с просьбой срочно быть по причине беды, постигшей мистера Куина[2], когда изобличал он Дездемону.

— Какой беды? — спросила миссис Солзбури, которая до того момента, полулежа в кресле, мечтала лечь в постель.

— Комического свойства, — сказал Мерфи.

— Ах, расскажите, расскажите! — взвизгнула миссис Джексон.

— Оказывается, — продолжал Мерфи, — вот уже несколько лет десны Куина в плачевном состоянии...

— Отчего миссис Форд так рьяно обмахивается веером, — вставила миссис Трейл.

— С отменным самообладанием он произнес: "Яго, гляди, я дую на свою ладонь и след любви с себя как пух сдуваю"[3], но как время подошло ему уходить со сцены, он так распалился, что, забыв всякую предосторожность, завопил: "О нет, проклятье ей, гулящей твари, проклятье ей![4]" — и вот тут последние его зубы выскочили из гнезд и полетели на сцену.

— Полетели, — эхом отозвалась миссис Солзбури.

— Врассыпную, — подтвердил Мерфи.

Смеялись долго, особенно мистер Джонсон, тот просто трясся от смеха. История так его развеселила, что он вскочил и стал ходить взад-вперед, декламируя слова Отелло. Даже мисс Рейнолдс позволила себе легонько улыбнуться над бедным Куином. Что странно; из-за своих домашних обстоятельств она обычно сочувствовала потерпевшим. Несмотря на общую веселость, миссис Трейл знала, что нет среди присутствующих никого, ее не исключая, кто украдкой не пробегал бы языком по деснам.

Она была довольна, что все так славно складывается. Не всегда легко растормошить гостей, покамест не оказало действия вино, и почти вовсе невозможно, если дуется Джонсон; когда он во мраке, тень падает на всех.

А Беннет Лэнгтон все не шел, а миссис Джексон из вежливости справилась о здоровье Куини, и Генри Трейл распорядился, чтобы ребенка принесли из детской. Она пришла, он усадил ее к себе на колени, она сидела довольная, спокойно принимала знаки внимания гостей. И даже позволила матери отереть пот с ее горящих щечек.

— Прививки против оспы так помогают, — объявила миссис Трейл. — Доктор Саттон меня уверил, что всякая опасность миновала.

1. Дэвид Гаррик возглавлял Друри-Лейн в течение тридцати лет (1747–1776).
2. Джеймс Куин (1693–1766) — английский актер, представитель так называемой декламаторской школы.
3. Шекспир. Отелло. Акт 3, сцена 3. Перев. Б. Пастернака.
4. Там же.

Наслушавшись восторгов о дочкиной красоте – какие глазки, какой прелестный ротик, – она не удержалась и стала хвастаться более важными достоинствами Куини. Она сказала:

– Она знает компас не хуже любого моряка, овладела солнечной системой и знаками Зодиака...

– Просто маленькое чудо, – пролепетала миссис Джексон.

– ...и в совершенстве постигла разницу между эклиптикой и экватором. Она вдобавок может назвать все столицы Европы, сказать "Отче наш", назвать три христианских добродетели...

– Чудо, чудо, – повторяла миссис Джексон, которая не имела своих детей и радовалась этому.

– ...и четыре главные добродетели на латыни, – последние слова миссис Трейл почти утонули в том ужасном клекоте, с которым мистер Джонсон прочищал горло.

Она взглянула на него, увидела, что он нахмурился, и сразу поняла причину: он ей как-то говорил, что, будучи умным ребенком, страдал ужасно, когда отец выставлял его напоказ. Однако она не видела резона в том, чтоб подавлять собственную материнскую гордость. Возвысив голос, она сказала:

– За последние месяцы она научилась рассказывать почти без запинки про суд Париса и про Персея с Андромедой.

Мистер Джонсон издал прямо-таки грозный рык, ибо иначе этот звук невозможно было обозначить. Красотка, засопев у ног миссис Солзбури, вскочила и шатаясь побрела к порогу. Мистер Джонсон вытащил книжку из кармана и повернул всем спину.

– Пожалуйста, пусть девочка нам почитает, – взмолилась дура миссис Джексон.

– Она не умеет читать, – созналась миссис Трейл и велела отнести Куини в детскую.

В половине восьмого часа, на час позже назначенного из-за опоздания Лэнгтона – тот божился, что виноват не постучавший в дверь слуга, – все пошли к столу. Трейл велел оставить окна отворенными, и над столом роились мухи. Спор завязался, закрыть ли окна или нет, но большинство склонялось к свежему воздуху, и вдобавок – такие райские запахи текли из меркнущего сада.

Мисс Рейнолдс рассказывала, что в городе спасенья нет от насекомых, миссис Джексон, сказав: "Да, да, поистине", залилась пронзительным хохотом. Она глаз не могла отвести от мистера Джонсона, который, размахивая стаканом для устрашенья мух, щедро поливал лимонадом скатерть.

Миссис Трейл даже жалела миссис Джексон, та явно сидела как на иголках. Конечно, ее не подготовили к встрече с Джонсоном, конечно, муж ее предупредил, что она будет сидеть за одним столом с великим лексикографом и поэтом, но едва ли он потрудился нарисовать подлинный портрет. Живой Джонсон, его лицо, повадка, рубцы на шее и щеках, широкие, вечно шамкающие губы, засаленный камзол, и тесный паричок с обугленной макушкой, и тик, и бормотанье, и эта манера так себя вести, как будто рядом нет ни живой души, – все шло вразрез с тем тонким образом, какой приписывает гению ум заурядный.

Беседу за столом приходилось направлять самой миссис Трейл. Муж, и всегда немногословный, окончательно немел, едва перед ним поставят тарелку. От Джонсона и Лэнгтона тоже не стоило ждать вклада в

разговор, покуда уста жуют, стало быть, заняты более важным делом. Она взглядом поискала поддержки у Артура Мерфи: человек театра, тот любил собственный голос.

Не обманывая ее надежд, Мерфи стал пересказывать забавную сплетню о его преподобии мистере Додде и скандальной связи последнего с хозяйкой пирожной лавки на Флит-стрит. Миссис Джексон повизгивала очень кстати при каждом повороте фабулы. Доктор Фицпатрик по исчерпании ее заметил, что Додд плохо кончит, да так ему и надо.

— А вот и нет, сэр, — рявкнул Джонсон и больше ни слова не прибавил.

Чтобы смягчить оторопь, вызванную столь дикой выходкой, миссис Трейл осведомилась у Мерфи, пишет ли он сейчас новую пьесу. Он отвечал, что нет — будто она сама не знала, — но признался, что только накануне вечером прочитал удивительную комедию, писанную безвестным юношей из отдаленной деревеньки близ Дувра.

— Отчего же удивительную? — осведомился Хемфри Джексон.

— Ах! — крикнул Мерфи. — Да оттого, что он ни разу не был в городе, он сын священника и, по всем отзывам, всегда вел уединенную жизнь.

— И в деревне можно найти много забавного, — не уступал мистер Фицпатрик.

— Не более, однако, чем в этой пьесе, — сказал Мерфи, — ибо в ней семь актов и всех героев убивают в третьем.

— И в самом деле, необыкновенно, — признал мистер Джексон.

— Смерть от кинжала, яда и от удушенья, — перечислил Мерфи.

— Но как же это? — недоумевала миссис Джексон. — Кому же остается дальше произносить слова?

— В последних четырех актах, — объяснил Мерфи, — герои являются уже в виде духов. Последняя казнь особенно ужасна... раскаленные щипцы втыкают в нос, до самого мозга.

— Довольно, — не выдержала миссис Трейл, ибо миссис Джексон сидела белая как полотно, а миссис Солзбури вся вытянулась как струна, держа на отлете вилку. За отворенными окнами розовые облака парили в потухшем небе.

В самом начале десятого часа явился Дэвид Гаррик, и дамы ушли в гостиную. Двери на волю распахнули, позажигали фонари, и, сойдясь на террасе, мужчины аплодировали Гаррику, уморительно изображавшему незадачу Куина.

Миссис Трейл заметила, как пристально мать смотрит куда-то в сад; лицо у нее было бдительное, как будто в мерцающей тьме видела она не просто тени. Миссис Трейл решила поделиться своей тревогой с Фрэнсис Рейнолдс. Она сказала:

— Она слушала мистера Мерфи с такими блестящими глазами, я даже испугалась. У самой у ней жизнь была не без мучений, батюшка мой нравом был крут даже до жестокости.

Мисс Рейнолдс отвечала, что о человеке столь близком едва ли можем мы судить без пристрастья.

— Мне представляется, — сказала она, следя глазами за тем, как мотыльки штопают воздух над свечой, — миссис Солзбури скорей устала, чем испугана.

Миссис Трейл доверилась сужденью мисс Рейнолдс, чье дружелюбие было подернуто печалью, как у всякого, кто много страдал. В том винили братца, который имел обычай делать ее мишенью своего язвитель-

ного острословия. Джонсон тоже к ней благоволил, но по другой причине: она ему напоминала миссис Уильямс — поэтического друга.

И вдруг миссис Солзбури сказала громко:

— Хестер, я, чай, покуда не оглохла. Поверь, щипцы в носу меня нимало не тревожат, иное дело этот разговор про духов...

— Но это суеверие одно, — крикнула миссис Трейл.

— Сам доктор Джонсон, не кто-нибудь, однако думает иначе, — отрезала миссис Солзбури. — Тоже небось настолько легковерен, что выслеживал то привидение с Кок-лейн. — Речь шла о беспокойном духе некоей Фанни Лайнз, которая, считалось, тому несколько лет явилась одиннадцатилетней девочке в Смитфилде.

— Ну что же, и выслеживал, — не выдержала Фрэнсис Рейнолдс, — но оттого, что все его занимает, и клеркенуэллский пастор так на него насел.

— Мог бы отказаться, — отрезала миссис Солзбури.

— Безучастность не в его природе, — сказала мисс Рейнолдс. — Пытливый ум всегда занят поисками истины. Впрочем, он выяснил, что все поскрипыванья и постукиванья, которые слышала девчонка, были ее собственных рук делом.

— Ну, я-то поскрипываний и постукиваний никаких не слыхала. Мой призрак поднялся из озера, нагишом, зато залитый таким сияньем, я чуть не ослепла.

Ни Хестер, ни мисс Рейнолдс не слышали ее последних слов: тут как раз явились мужчины, причем Гаррик ехал верхом на Лэнгтоне. Грянул хохот, и миссис Солзбури, ни в ком не пробуждая сожалений, удалилась спать.

Ближе к полуночи стали играть в разные игры; любимая игра была — для каждого из присутствующих подобрать цвет, какой бы лучше выражал его характер. Мисс Рейнолдс, понимая жестокость сей забавы, сочла за благо уклониться от участия.

Мистер Джексон назвал свою жену багровой — Генри Трейл нашел ее же розовой, разнежился и, похлопав по руке, склонился головой к ней на плечо. Мистер Джонсон единодушно был окрашен фиолетовым самого темного оттенка, покуда миссис Джексон не отменила свое решение и отважно его не объявила бурым. "Таким скорее светло-бурым, она поясняла, как осенний пожухлый лист, как пятна на рябом яйце". Джонсон был так тронут, что подошел к ней вплотную и пощупал ее платье.

Трейл выбрал для жены зеленовато-желтый тон, яростно оспариваемый Джонсоном, который его находил противным.

Потом и дальше валяли дурака: на какое растение или цветок кто больше всего похож. Трейл назвал миссис Джексон редчайшего сорта орхидеей, Хестер же — диким шиповником. Миссис Джексон была и польщена и смущена; ей не хотелось быть причиной разлада между супругов. Смигивая пудру с век — изучая ее платье, Джонсон дважды ей встряхнул шиньон, — она стрельнула туманным взглядом по миссис Трейл и с удивленьем обнаружила, что та улыбается. "Не то она глухая, — решила миссис Джексон, — не то святая".

— Сэмюэль крапива, — сказал Мерфи, — а Хетти миртовая ветка. — И Джонсон, вдохновясь, любезно присовокупил: — ...которая, чем больше ее мнут, тем слаще благоухает.

Еще позже, когда Генри Трейл уже свалился под стол и лед в блюдце таял на его груди, мистер Джонсон объявил, что нынче утром у озера набрел на два незначительных предмета в прибрежных камышах. И они с

Дэви Гарриком изобразят находку, и всем присутствующим позволено задать по два вопроса с тем, чтоб отгадать, что это было. Соответственно Гаррик, подбочась, стал семенить по комнате, туда-сюда помавая рукой. А рядом скакал на четвереньках Джонсон, захлебываясь от восторга, в съехавшем на глаза парике.

Лэнгтон, понаблюдав его, крикнул:

— Ричард Третий... изувеченный, грубый, про́клятый до своего рожденья.

— Это описание, не вопрос, — возразил Джонсон.

— Миссис Форд пытается развеять дыханье Куина? — предположила миссис Трейл.

— Или та женщина в Чипсайде, — крикнула мисс Рейнолдс, — которая подпалила сиротский приют, бедняжка, и плясала на пожарище.

— Не то, не то, не то, — пел Гаррик, поглядывая на нее из-под растопыренных пальцев и хлопая ресницами; потом он встал на цыпочки и сделал ловкий пируэт.

Правильного ответа не было, Джонсон повалился на спину — как жук, легонько дрыгая ногами, — а затем были представлены веер с пуговицей и передавались из рук в руки. Миссис Трейл доказывала, что, помянув миссис Форд, она почти попала в точку, Гаррик не соглашался, и тут из-под стола вылез Генри Трейл, кое-как распрямился и потребовал, чтобы ему показали пуговицу. Он долго ее осматривал, потом шагнул к открытой двери и вышвырнул во тьму. Вдруг он откачнулся назад; ветер порывом налетел с террасы, пустил вскачь тени. Миссис Джексон вцепилась в мужа, открыла рот в беззвучном вопле.

Когда Трейл снова повернулся лицом к комнате, он отчаянно вверх-вниз водил ладонью по своему камзолу, будто усиленно стирал раздраженье с кожи. Всех поразило, как странно он вдруг весь усох; в длинных тенях свечного пламени щеки стали впалыми, он будто постарел.

Гаррик и доктор Фицпатрик усадили его в кресло, тотчас явился стакан бренди. Придя в себя, хотя по-прежнему все тер рукой колено, он постарался объяснить в излюбленном своем высоком слоге, что́ так поразило его.

Сто лет тому назад, поведал он, некто Джордж Фардингейл... наследник громадного состояния... соблазнил одну молодую девушку... и бросил. “У девушки была собачка... которая ходила за нею по пятам. Вот прошли недели... и девушка исчезла. Собачку отыскали, она металась взад-вперед по берегу озера и в зубах сжимала веер”.

— Гав-гав! — тявкнул Гаррик и запрыгал, руки держа как лапки.

— Богач одумался, — продолжал Трейл, — вернулся и узнал, что девушка та утопилась. Мучимый раскаянием... он заказал для своего камзола пуговицы с изображением скачущей собаки. Не успели пришить их к ткани...

Гаррик, с быстротою молнии преображавшийся из скачущей собаки в плывущее тело, муку на лице сменяя на блаженную улыбку, меж тем вскочил с ковра и принялся вдевать невидимую нить в невидимую иглу.

— ...потом тот человек... в несколько недель... заболел и умер.

— И я полагаю, сэр, — сказал Джонсон, — собака, содравши с трупа камзол и облачась в него, бросилась в то озеро.

— О собаке... история умалчивает, — сказал Трейл.

Немного погодя Джонсон, с мрачным видом, ступая нетвердо, как будто проверяя землю под ногами, вышел на террасу.

— Почему мистер Гаррик топился с таким веселым видом? — шепотом допытывалась миссис Джексон у мисс Рейнолдс.

— Верно, от испорченности, — отвечала мисс Рейнолдс едко.

— Разве угадать, что за их словами кроется, — вздохнула миссис Джексон и передернула плечами.

Скоро миссис Трейл отправилась на поиски. Джонсон стоял в дальнем конце террасы и как-то непонятно ухал. Когда она приблизилась, он прижал палец к губам, склонив набок голову. Кроме гула голосов из гостиной, она не слыхала ничего и начала ему об этом говорить.

— Ш-ш-ш, — взмолился он, и вот из темноты пришел ответный крик совы. Вне себя от восторга Джонсон всплеснул в ладоши и перевернулся на одной ножке.

Когда он слегка угомонился, она спросила:

— Что думаете вы про эту историю с пуговицей?

— Да ничего я не думаю, — сказал он, — она не стоит мыслей человека разумного.

— Мой супруг иного мнения, — отрезала она, — он из-за нее прямо занемог.

— Причиной его недуга перегруженный желудок, — ответил Джонсон.

— Но ладонь же вздулась там, где прикасалась к пуговице.

— Там, куда его ужалила сонная оса. Такое время года. Что же до его рассказа, озера здесь не бывало и тридцать лет назад, не то что сто. Копать начал ваш свекор и лишь недавно окончил Генри.

— Но там за полем есть еще пруд, — она сказала. — И какая разница... озеро, пруд, в том году, в другом?

— Терпимость, — он разворчался, — в вопросах истины всего лишь извиняет наши собственные слабости. Потакая глупости, чем ее осуждать, вы скоро сами начнете подражать ей. Нужно всегда быть начеку, любезная моя Хозяйка, ибо, как гласит испанская пословица, если копыто лязгает, значит гвоздь потерян.

— Фу ты, — вспыхнула она, — уж гвоздей-то нам не занимать.

Он тронул ей щеку пальцем, будто преграждая путь непролитой слезе, и глянул на нее так нежно, с такой печалью, что она вздрогнула; в его больших глазах плясал блеск фонарей.

— Хоть утешение небольшое, — он сказал, — но стоит помнить, что горе есть подтвержденье самой жизни. — И, собрав ладони лодочкой вокруг рта, он низко, переливчато заухал.

Все гости, кроме Беннета Лэнгтона и мисс Рейнолдс, разъехались из Стретэм-парка в четвертом часу утра. Перед тем как подсадили его в карету, Гаррик обнял Джонсона. Так и качались они на гравии: маленький уткнулся головой большому в грудь.

— Сэм, Сэм, — причитал Гаррик, на сей раз не находя других слов.

— Ну, ну, Дэви, душа моя, — бормотал Джонсон, — Господь с тобой, — и стоял, и махал, когда уже был не слышен скрип кареты.

Шум колес разбудил девочку в детской. Она заплакала, но Старая Няня спала и дальше крепким сном.

Джонсон поднялся к себе наверх, задернул шторы от света, уже пробивавшего смутную вязь ветвей. Он лег и почти тотчас провалился в сон и во сне увидел, как идет с Дэви из школы домой через базарную площадь в Личфилде. Капустный кочан валяется в сточной канаве, крыльями распластав листы, он его пинает, запускает по булыжникам, через ог-

радку, в нижний этаж, а там книжная лавка. Он сбегает по ступеням, заглядывает в окно и видит: кто-то сидит, обняв руками голову, грудью навалясь на закиданный бумагами стол. Потерев стекло и приглядевшись, он узнаёт отца. А за спиной у него доктор Суинфен пиликает на скрипке. Он барабанит в окно, чтобы отец обернулся, на него глянул, и тот смотрит, и у него глаза мертвого человека. Надо скорей бежать наверх сказать Дэви, что домой пора; нельзя, чтобы Дэви увидал эти глаза. Но стон той скрипки их настигал, и делался все громче, и забирался все выше, выше, пока не превратился в долгий вопль.

Тотчас он проснулся, уставил взгляд на каминную полку; книжные корешки были все в крови. Бред, он подумал, и причина — мучительный разлад с самим собой. Но, поворотясь к окну, увидел, что в шторы бьет заря.

Ужасный случай произошел два дня спустя, за час до того как Джонсон уехал в Лондон. Миссис Трейл, спускаясь по второму маршу, увидела Куини с Красоткой рядом. И что-то в странной окоченелости ребенка заставило ее остановиться.

— Куини, — позвала она, но девочка смотрела мимо, выпучив глаза, вся потемнев.

Тотчас миссис Трейл вспомнила, что такое же лицо было у бондарева сына, когда тот подавился рыбьей костью. В ужасе она метнулась вниз, надвое согнула дочь и с силой стукнула по голове. Вдруг Куини кашлянула, плюнула и — завизжала; пуговица, так переполошившая Генри Трейла, вылетела у нее изо рта и покатилась по ковру. Миссис Трейл, вдруг ослабев, упала на пол и разрыдалась. Все еще визжа, Куини поползла дальше по ступенькам, и Красотка тыкалась мордой ей в пятки.

Через несколько мгновений миссис Трейл, сменивши страх на гнев, отыскала Старую Няню и надрала ей уши; тут Куини, совсем оправясь, если не считать приступа икоты, выскочила из угла и лягнула мать в лодыжку.

— Плохая, плохая девочка, — всхлипывала миссис Трейл, ковыляя из детской.

Она не сомневалась, что Джонсон слышал шум и ждет ее взволнованно в прихожей, но вместо этого нашла его за завтраком; парик уютно присоседился к масленке.

— Какой ужас, — крикнула она. — Я чуть от страха не задохнулась...

— Я должен вам кое-что сказать... — перебил он.

— Если бы я не подоспела... не окажись я рядом в самый миг...

— ...чрезвычайно важное, — он гнул свое. — Не могло остаться незамеченным, что последние несколько дней я был сам не свой.

— Много чего остается незамеченным, — отрезала она. — И кое-что куда важней другого.

Отпихнув свой стул, он ей сказал, что лучше им поговорить на воле. Погода держалась необыкновенно жаркая, и она возразила, что лучше им остаться здесь; он тряс упрямой головой. Вдруг ей захотелось, чтобы он уехал. Он так ее извел вечными посягательствами на ее время, требованиями, чтобы она сидела с ним ночью чуть не до рассвета, чаю ему подливала.

— Вы даже отдаленно не можете вообразить, что я перенесла, — она сказала.

– Мы тешимся воображением, когда оно приятно, – ответил он. – Покуда оно наконец не победит наш разум, – и, стряхнув крошки со рта, вышагал из комнаты.

"Ну где вы еще видали, чтоб кто-то так припечатывал свои сужденья", – думала она, поневоле плетясь за ним.

Остановясь на гравийной дорожке, он сказал:

– Кое-что в правом нижнем ящике моего бюро... предназначенное только для ваших глаз... я бы хотел оставить вам на хранение... Я не хотел бы, чтобы вы об этом заводили речь, когда я вернусь... и в любое иное время... пока я сам не заговорю.

– Но что это такое? – она спросила, но он только торжественно заклинал ее побожиться, что она никогда не выдаст его тайну, которую вот-вот разделит.

– Даю вам слово, – она сказала, и потемнело от пота платье у нее под мышками.

Он схватил ее руку и осыпал поцелуями, глядя на нее снизу вверх с таким страданием в глазах, что сразу она забыла все докуки, которые он ей причинял, и помнила одно – как предана ему.

Когда наконец-то он уехал – дважды гоняли слугу назад, за париком и за корзиной с персиками, забытой на крыльце, – она вошла к нему в спальню. Оса буравила переспелый инжир на его подушке. На бюро белел одинокий лист бумаги, прижатый апельсиновой кожурой.

С трудом, ибо рука его дрожала, она разобрала:

Безумцы все сладострастны на первых ступенях помрачения... но как сделаются совсем больны, удовольствие для них становится слишком слабо, и они ищут боли. Дальше было оставлено пустое пространство, а под ним единственная, подчеркнутая строчка на латыни: *De pedicis et manicis insana cogitatio*[1].

Открыв окно – отбывший обитатель придерживался того мнения, что свежему воздуху место снаружи, – она швырнула апельсиновые корки в душный день, потом, почти страшась того, что обнаружит, выдвинула нижний правый ящик.

Мисс Летишиа Хокинс
2, Сайон-роу
Туикенем
Дек. 3-го дня, 1807 года

Милая мисс Хокинс,

не знаю, право, как и отвечать на последнее письмо Ваше, Вас не обидев. Поверьте, милая мисс Хокинс, я не имею намерения Вас огорчить, но я устала повторять, что обстоятельства, сопровождавшие начало моей жизни, были такого свойства, что иные события я не могу припоминать, не подвергая мою душу опасности серьезного расстройства.

По этой одной причине я должна оставить первые Ваши два вопроса без ответа и сразу перейду к беглому отчету о том, как миссис Солзбури увидела якобы привидение близ озера в Стретэме. В парк она выбежала, мне говорили, повздорив с моей мамой, и потому склонна была к фантазиям. Огненный нимб, который, уверяла она, окружал привидение, доктор Джонсон позже объяснил игрою света, тем, что солнечный луч ударил в амулет, – дарованный

1. О петле и оковах безумцы помышляют (*лат.*).

ему королевой Анной, когда он страдал золотухой, — который на цепочке болтался у него на шее. В ту же самую ночь, разбуженная тем, что почему-то приняла за звуки скрипки, я сползла вниз по лестнице, где меня застигла моя мать. Она, как позже стало мне известно, приревновала моего отца к одной особе среди гостей, которую он назвал редчайшего сорта орхидеей, вскипела и, обвиняя меня в том, что я-де украла пуговицу с его камзола, подвергла меня жестокой взбучке.

Как справедливо Вы заметили, мать наша усердно занималась образованием своих детей. Груз этого обучения тяжелей давил меня, ибо братец Гарри был менее податлив. Не так давно пришла я к мысли, что прилежание мое к наукам в детстве происходило не столько от природной любознательности, сколько от страха порки.

Доктор Джонсон часто говорил, что старание умудрить детей прежде естественной поры есть труд напрасный. Положим, он говорил, они обретут больше знаний к пяти, шести годам, чем их ровесники, — и что с того? Какая будет им от этого польза?

Сам будучи в ранние годы прилежным книгочеем, часто он говаривал, что как ни печально это наблюдение, зато и верно, ибо в восемнадцать лет он знал немногим больше, чем в пять. И кажется мне, он прав, ибо за последние тридцать лет едва ли я сильно обогатила свои познанья.

О характере Дэвида Гаррика я, пожалуй, не составила определенного суждения. Когда я была маленькая, вечное оживление в его чертах и быстрые в них перемены меня часто ставили в тупик. Никогда нельзя было сказать с уверенностью, что у него на душе. Он легко меня смешил, но за смехом этим всегда близко стояли слезы. Я верю, что на сцене трогал он сердца естественностью и простотой; только вне сцены заметно было, что он играет. Да, еще говорили, что он терпеть не мог ссужать доктора Джонсона книгами, ибо возвращались они всегда в плачевном, неудобочитаемом виде, с загнутыми страницами, с печатью, обесцвеченной от апельсинового сока. То, что он все же продолжал их ему давать, — свидетельство щедрости душевной.

С грустью узнала я о смерти Вашей тетушки. Поколения, милая мисс Хокинс, листве подобны, и вот мы наблюдаем, как сухие листья опадают вокруг нас.

Благодарю за поздравления по случаю предстоящего мне бракосочетания с адмиралом лордом Кейтом и остаюсь еще на один месяц

преданной Вам
Х. М. Трейл

Да, я, кажется, помню, как мистер Голдсмит, прилепив себе к пальцам куски бумаги, меня учил играть в ладушки. Увы, я все равно его не полюбила, слишком уж он рисовался.

1772–3

Ягодка
1. Уменьш. от ягоды; ягода есть мелкий мякотный плод.
2. Ласковое обращение к девушке.

Стой, ягодка, зачем бежать далече;
Пути кончаются любовной встречей.

Шекспир *Двенадцатая ночь*[1]

Девочка выскочила в сад за конюшнями, пробежала немного к топкому берегу реки и так быстро закружилась, что с нее свалился чепчик. Она была сердита, она хотела весь мир пустить юлой; если вертеться быстро-быстро, можно больше не видеть маму, ее ложку, вскапывающую утреннее яйцо, и этот шрам, который розовеет у нее над верхней губой после падения с лошади. Когда мама злится, шрам делается заметней; когда ей грустно — он белеет.

Уже две недели откладывался их отъезд в Стретэм. Мама сама же обещала, что в начале июня они поедут, а сегодня вдруг объявила, что об этом не может быть и речи из-за волдыря у Софи на шее.

— Его придется вскрыть, — она сказала, и пузо нависало над столом, и мелькал язык, слизывая яичный желток с подбородка. — Меня уведомили, что безрассудно пускаться в путь. Даже и такой короткий.

— А я тебя уведомляю, что Софи надо здесь оставить, — выпалила Куини, — мало ли ты меня бросала, — и, отпихнув стул, она кинулась прочь из комнаты. Сама знала, что так нельзя, но как тут будешь вежливой, если мама совсем не беспокоится о том, чтобы держать слово.

Весь месяц в доме было неладно. Мама целыми днями сидела запершись в конторе с Перкинсом, главным приказчиком, или строчила за своим бюро записки мистеру Джонсону, а тот гостил себе в Ашборне у доктора Тэйлора. И мама все рассказывала, как ужасно тут по нему скучают. О папе она что-то не очень скучала, хоть он домой почти не приходил и даже в церковь не ходил по воскресеньям. Новая Няня объяснила, что он занят чересчур — в карты режется и веселую жизнь ведет.

На воле, хоть в воздухе застрял тяжелый дух перебродившего зерна, стук и грохот теперь затихли, а трубы пивоварни, вываливавшие, бывало, в городское небо густые клубы дыма, пускали только хилую, жалостную закорючку. И папины баржи, теперь порожние, ленясь даже шелохнуться на волне, как влипли в темный студень Темзы.

Скоро голова у Куини закружилась, она упала на коленки и стала в сердцах рвать траву. Не нравилось ей в этом Саутуорке; деревьев мало, ни тебе полазать, а киска, которую ей подарила бабушка, сжевала свой синий бантик, обратилась диким котом и бродит теперь по грудам ячменного зерна, охотится на крыс. Поиграть тоже не с кем, никого, подходящего по возрасту и мыслям, а итальянский учитель, мистер Баретти[2], которого выискал для нее доктор Джонсон, пока и не думает ей

1. Акт 2, сцена 3.
2. Джузеппе Марк Баретти (1719–1789) — итальянский критик и лексикограф; открыл в Лондоне школу итальянского языка. В 1769 г. ударил ножом прохожего и был судим.

давать уроки. Мистер Баретти человек с ужасным прошлым, он был судим за убийство — фруктовым ножом заколол того, кто оскорбил его, ущипнув за яйца, — и ушел от виселицы только благодаря заступничеству мистера Джонсона и его друзей.

Задумавшись о том, каково это, когда тебя повесят, она взяла себя обеими руками за горло, сдавила изо всех сил. Но ничего особенного не случилось: грудь по-прежнему поднималась и опускалась.

Скоро, уж она-то знала, придут ее искать. Найдут, ей будет выговор за дерзость, потом начнутся поцелуи, потом, кто его знает, может быть, отшлепают. Мама такая капризная. Иногда мистер Джонсон это объясняет тем, что у нее чересчур много забот, а иногда тем, что ей нечем себя занять. Однажды, после схватки из-за того, как следует лечить уши Люси, он ее сравнил с гремучей змеей — так она шипела. Когда вырасту, думала Куини, буду ворковать голубкой.

И вот, сплетая гнездышки из трав, она услышала, что ее кличет Магридж.

Крестили ее Хестер, как маму, но все звали Куини. Мистер Джонсон, учитель, часто звал ее иначе, и это имя доказывало его нежное расположение — она была Ягодка. Он говорил, что давно уж так ее прозвал, и в первый раз — когда она еще ползала на четвереньках.

— Как это было? — она спросила, ей важно было прошлое. — Где... в какое время?

— На лестнице в Саутуорке, — ответил он, — когда солнечный луч пробил окно.

— И я поняла? — она хотела знать.

— О, разумеется, мисс, — сказал он, — вы подмигнули.

Он любил ее больше трех других сестричек, уж в этом она не сомневалась. Люси была такая уродина и без конца ревела из-за болезни обоих ушей, Сюзанна неуклюжа, а Софи, при всем своем нарыве, мала еще, чтоб представлять собою интерес. Что до братца Гарри — тот боялся мистера Джонсона из-за звуков, какие тот издавал, когда крепко задумается. Мама ему объясняла, что эти свист и стоны суть проявления высокого ума, но Гарри мучили кошмары, в которых мистер Джонсон, кыча как сова, гнался за ним по темным коридорам. И все, между прочим, знали, что это Гарри сбегал по лестнице как сумасшедший, сшиб с ног бабушку и довел до рака.

— Мисс Куини, — снова крикнул Магридж. Его взяли на пивоварню, когда еще дедушка был жив. В молодости он работал на мельнице, обмолачивал зерно; теперь, старый, с мятым синим носом, выносил ночные горшки, снимал свечной нагар да к детям приставал.

При его приближении — вечно он ее дергал за тесемки чепчика — Куини закричала надменно:

— Ступай, сама приду, когда мне надо будет.

Потом, провожая взглядом сутулую шаркающую фигуру, она припомнила, как мистер Джонсон говорил, что с человеком низшего положения или необразованным никто не станет обращаться неуважительно, кроме истинного невежды. И запоздало крикнула:

— Пожалуйста.

Да только зря старалась, он давно оглох.

Полчаса спустя она вернулась в дом, готовясь к взбучке, но там встретилась ей Новая Няня и сообщила, что, если она будет хорошо вести, тихо вести, Хозяйка ее возьмут с собою за реку, бабушку проведать.

— Я буду хорошо вести, — выпалила девочка. — Очень-очень хорошо и тихо.

Побыть с мамой, одной, без этих младших, которые цыплятами чирикают вокруг маминого подола, — было такое счастье! И она стояла тихо-тихо и даже не взвизгнула, пока Новая Няня выбирала у нее из волос колючки.

Из ворот пивоварни выехали под дождем. На подступах к Питт-бриджу дорогу совсем размыло, и когда достигли они заставы, окна кареты совсем заляпало. Сквозь рябое стекло ничего было не видать, лишь тонкий серый слой реки под коркой плачущего неба.

Помня, что утром они с Куини поссорились — хотя, ей-богу, не вспомнить из-за чего, — миссис Трейл старалась ее разговорить.

— Мистер Джонсон, — она сказала, — собирается тебе купить ларец, чтоб ты туда складывала всякие антики, например кости животных, старые черепки. Еще есть такая обезьянья лапка на серебряной подставке...

Тут, заметя, что Куини странно зажимает рот рукой, она заботливо спросила, не болят ли у ней зубы. Куини затрясла головой, но руки от губ не отняла.

— Бабушка взяла эту лапку на сбережение, — продолжала миссис Трейл, — хотя она ей не нужна. Она бы украсила коллекцию... мне ее мистер Хогарт подарил... за то, что я сидела тихо, пока он писал мой портрет.

Ответом ей было молчание, и она снова приступилась к дочке, на сей раз ища сочувствия в восхищении своем умственными успехами сыночка Гарри. Сужденье Куини, несмотря на нежный возраст, имело некоторый вес. Ведь недаром, когда она была всего шести лет от роду, знания ее о сочинениях Драйдена и Попа проверял не кто-нибудь, а сам директор Абингдонской частной школы, и он признал, что, ведись экзамен на латыни, ее могли бы удостоить диплома Оксфордского университета.

— На мой взгляд, — щебетала дальше миссис Трейл, — Гарри недостает сосредоточенности. Стремление к знаниям стоит у него на втором месте после фехтования с конюхами. Тебя, — она польстила, похлопав дочку по колену, — еще с пеленок влекло к книгам... хоть следует признать, ты иногда рвала страницы.

И снова Куини не произнесла ни слова.

Миссис Трейл обомлела. Господи помилуй, подумала она, я боюсь собственного ребенка.

Она сказала:

— А хорошо, что мы не в Стретэм-парке. Мне сообщили, что пыль от строительства папиной библиотеки такая, что забивает легкие. Перья у моего бентама посерели, и коза кашляла, люди говорят.

Глазами-льдинками Куини смотрела прямо перед собой.

Потеряв терпенье, миссис Трейл отдернула эту ладошку от дочкиного рта, с досадой сжала эти пальчики и после во весь путь молчала.

По Дин-стрит насилу они пробрались; вооруженные отряды охраняли улицы из-за будто бы заговора якобитов, в котором был замешан епископ Рочестерский. Дважды останавливали карету, сперва блюститель закона и порядка — губы цвета ежевики, поведенье наглое, — потом головорез с повязкой на глазу. Из этих двоих миссис Трейл уж предпочла бы второго: распахнувши дверь кареты и увидя Куини, по-прежнему зажимавшую рукою рот, Одноглазый тотчас отпрянул и приказал их пропустить.

Перед домом миссис Солзбури был обнесенный частоколом сад. Цветы на клумбах, львиный зев и прочее, были в плачевном виде, зато

буйно разросся дикий кервель. И чахли в оконных ящиках бедные примулы.

Миссис Трейл застала мать внизу, на диване; Красотка воцарилась на шелковой подушке у ее ног.

Миссис Солзбури сказала, что слабость у нее большая, зато болей нет.

— Нынче у меня хороший день, — она сказала, но голос был совсем больной.

Миссис Трейл схватилась за колокольчик. Комната простыла, огонь в камине выгорел дотла. Когда на зов ее явились, она велела принести ведро с углем и таз с горячей водой; в углах губ у миссис Солзбури застыла слюна.

Куини стояла у окна, лицом прижавшись к шторе. В прошлом году Старая Няня отдала Богу душу, вместе с Дидкотом, младшим садовником и одной посудомойкой, которая уж слишком налегала на слабительное, чтобы избавиться от прижитого ребеночка.

Мама ее тогда водила посмотреть на Старую Няню: та в саване лежала на подмостях в кладовке Стретэм-парка, ждала, когда ее свезут в могилу, и был июньский зной, и трупная муха вилась над черной бородавкой на подбородке. Испустив последний вздох, Старая Няня стала всего лишь пустым сосудом, местами треснутым, как треснутая ваза, которая касалась реденьких волос на ее сморщенном черепе. "Не поправишь", — пробормотала мама, но, кажется, она имела в виду не Старую Няню, а горшок.

— Поцелуй бабушку, — велела миссис Трейл. Девочка нехотя приблизилась и чмокнула воздух над щекой старухи; потом упала на колени, обняла Красотку и осыпала ее морду поцелуями. От Красотки запах шел поприятней; от бабушки воняло смертью.

Потом пошли рассуждения про банковские займы, про химические растворы. Мистер Перкинс, по мнению миссис Трейл, повел себя идеально, идеально, когда распорядился приостановить работу, покамест мистера Трейла не отстранят от управления. Мистер Джонсон тоже считает, что без спасительной смекалки Перкинса им грозило верное разоренье. Дела по-прежнему оставляют желать лучшего, но удалось хотя бы пресечь эти нелепые потуги варить пиво без солода и хмеля.

— Вздор совершенный, — вздохнула миссис Солзбури, — диву даешься, и как мистера Трейла угораздило клюнуть на такую дичь.

— Перкинс вдобавок настоял, чтоб продали немедленно ту землю в Ист-Смитфилде, что прикупили ради этого прощелыги Хемфри Джексона с его разорительными опытами...

— Он мне всегда был подозрителен, — сказала миссис Солзбури, — а жена — то-то пустая женщина.

— И верно, что пустая, — согласилась миссис Трейл. — Спросили бы нас с Перкинсом, уж мы бы им растолковали, что, если не принимать во внимание червей на дне судна...

Речь ее была прервана хихиканьем Куини.

Раздраженная, но и довольная тем, что дочь, кажется, сменила гнев на милость, она сказала:

— Речь идет о водных средствах сообщенья, мисс, о судах, и днища этих судов были изъедены червями... и ничего смешного нет в затее, которая привела твоего облапошенного отца на грань банкротства.

Но Куини только опять фыркнула.

— Я-то думала, — сказала мать, — что уж кому-кому, а тебе черви не покажутся поводом для веселья.

Оскорбленная намеком на ее беду, девочка залилась краской. Доктор Саттон объяснял, что глистов она набирается от животных, нельзя кормить козу с руки, поить кошку из своей чашки, да что он понимает? Едва мама заметит, что она ерзает на стуле, она ее пичкает александрийским листом, а от него только во рту противно и понос. Вот когда вырасту, думала она, сколько захочу, столько и буду вертеться.

Тут раздался стук у входной двери, и скоро заявилась мисс Рейнолдс. Под шумок — обмен любезностями, поцелуи, вскрики удивленья, восторга, несколько натянутые со стороны миссис Трейл из-за того, что платье матери выпачкано едой, а мебели серые, пыльные, — Куини незаметно скользнула в прихожую.

Мисс Рейнолдс разволновалась: ее карету на пути к Тауэру обступила толпа, негодовавшая из-за ареста Джорджа Келли. Миссис Трейл ведь знаком Джордж Келли, секретарь несчастного епископа Рочестерского? Он человек известный в свете, но страдает таким ужасным раздраженьем кожи... с ним невозможно разговаривать, он вечно так себя скребет. Манжеты у него, бывает, в пятнах крови. Она с ним познакомилась, когда он сопровождал епископа в студию к брату в Лестер-филдз. Джошуа отменил сеансы: сам стал страдать от зуда, боялся за свои руки.

— И мою карету останавливали, — сказала миссис Трейл. — Благодаря присутствию Куини нас, к счастью, сразу пропустили.

Миссис Солзбури вздремнула, и мисс Рейнолдс зашептала, что приходит сюда в третий раз за последние три дня. Как призналась она миссис Трейл, запинаясь, обинуясь, ее смущала... ее беспокоила миссис Маунтджой... и недостаток заботы... выказываемой ею к миссис Солзбури.

— Вижу, вижу, — простонала миссис Трейл, стуча по спинке софы, на которой лежала мать, и следя глазами за взвихрившейся пылью.

Глядя в огромное брюхо миссис Трейл, добрая мисс Рейнолдс поскорей пробормотала, что ее-то никто, конечно, ни в чем не упрекнет. "Ваши беды на пивоварне, — она лепетала, — ваше положение..."

— Нет для меня ничего важнее, чем счастье матери, — крикнула миссис Трейл. — Я намерена забрать ее в Стретэм, как только уладятся эти дела с банком. Окажите мне любезность, прошу вас, посидите с нею, покамест я выскажу миссис Маунтджой все, что о ней думаю.

Не успела дочь шагнуть за порог, миссис Солзбури проснулась; кое-как уселась и сказала:

— У Хестер побуждения добрые, но мы с миссис Маунтджой друг друга понимаем. Давно уж минула для нас обеих та пора, когда блестящий стол мог облегчить страданья телесные.

И как же она права, подумала мисс Рейнолдс. Боль жизни пыльной тряпкой не сотрешь.

Выскочив на улицу, Куини сама не знала, куда бы ей пойти, только бы подальше от мамы, которая так бессердечно издевалась над ее глистами. Дождь, правда, перестал, но в рытвинах дороги скопились лужи, она и оглянуться не успела, как ее желтенькие башмачки стали цветом как горчица.

Она много раз была на Дин-стрит, но последние месяцы не бывала и удивилась, как много домов почти снесли и сколько новых строят. Повсюду лестницы, телеги с кирпичом, а на прежней лужайке для игры в шары, где росла такая ровненькая травка, мальчишка торговал вяленой рыбой, поставив прямо в грязи лоток. Возле нумера 29-го леса́, упав, за-

дели шелковицу, и ветки на ней теперь повисли как лохмотья. А окна в прекрасном доме сэра Джеймса Торнхилла стали до того мутные, что, как ни вглядывалась, она не могла разглядеть знакомого попугая с синими лапками, который сиживал на жердочке за стеклом.

Мама водила Куини к леди Торнхилл летом, однажды поутру. Ей ли не помнить тот случай; ведь папа только что ей подарил янтарные бусы, те самые, которые теперь оживляли черную кружевную мантильку у ней на плечах.

Ее ввели тогда в гостиную леди Торнхилл, а этот попугай давай качаться на жердочке и кричать, что она хорошенькая девочка. Его поймали где-то в джунглях, в Бразилии, один путешественник поймал, которому платили за то, чтоб он привозил разных редких птиц Джону Хантеру, медику, который хотел знать, в чем состоит жизнь, и вечно их взрезал, доводя до смерти. Но даже этот медик пришел в восторг от его рыжих перьев и, отложив в сторону свой смертоносный нож, перепродал попугая сэру Джеймсу.

Другие гости пробовали разговорить попугая, но он разевал свой клюв только ради Куини. Она-то знала почему: она одна к нему не приставала; она и сама упрямилась, если ее выставляли напоказ. Мама, конечно, лопалась от гордости, когда попугай признавался Куини в своем почтении, что лишь доказывало все мамино невежество, ведь мистер Джонсон объяснял, что птицы различают только цвета, не лица.

Когда она пересекала Комптон-лейн, снова полило. Если бы не этот соломенный капор с малиновой ленточкой, она бы повернула и пошла обратно на Дин-стрит; капор был новенький, маме бы не понравилось, если бы он раскис. И, завидя сводчатый вход в церковь Святой Анны, она туда вбежала.

Внутри было темно — кирпичной пылью запорошило окна. Дюжине свечей было не под силу развеять мрак, и сперва Куини показалось, что она тут одна. Она не очень-то хотела слишком углубляться внутрь, во-первых, из-за темноты, а во-вторых, из-за того, что в таких местах вечно водятся разные бедняки со всякими болезнями, которым больше некуда податься. Папа однажды взял ее с собой в церковь Святого Георгия, так там она видела одного старика, безумного, в горячке, и тот старик хотел залезть на колени к лежавшему без чувств в объятьях ангела морскому капитану. Сил у него для этой цели не хватило, он соскользнул вниз и головой ударился о каменный выступ. Папа сказал, что старика отвезут в больницу, там его вылечат, но она-то видела, как тихо он лежит, и грудь не шевелится под лохмотьями, и лужа крови цвета вишни натекает ангелу под ноги.

Потом, рассказав об этом происшествии мистеру Джонсону, она спросила, как же может папа говорить неправду, а он ответил, мол, в зрелые года, противу прежних предрассудков, пришел он к выводу, что долг отца — оберегать ребенка от ужасов жизни. Человек, он ей сказал, постоянно помнит о неотвратимой смерти, однако надеждой льстится на будущую награду. В том его отличие от животного, которое, надежды не имея, стремится избежать смерти, само не зная почему и не ведая, что такое смерть. “Без знания надежды, — он заключил загадочно, — нельзя узнать и горе. Папа был прав, тебя оберегая, ведь жизненные беды не замедлят нахлынуть на тебя”. И в заключение своей зловещей речи он рукавом смахнул набежавшую слезу и предложил Гарри взапуски бежать босиком по траве.

Куини не стала уж очень задумываться над его словами, потому что давно заметила: хоть вовсю сияй на небе кругло-золотое солнце, пой весь сад на разные птичьи голоса — старые люди все равно увидят мир в унылом, мрачном свете.

Приглядевшись к полумраку, она различила дальше по нефу скрюченную неподвижную фигурку. Мертвец, подумала она, поверженный Провидением, но в этот самый миг фигурка встала, шагнула со скамьи в проход и с распростертыми руками побежала к алтарю. Куини решила было, что это мальчик, из-за стриженых волос решила, но когда он повернулся у перил и, пританцовывая, двинулся обратно, оказалось, что это девочка, лет десяти всего, и лицо у нее круглое, как луна, и совсем бессмысленное. Один глаз сидел ниже другого, и пока она шла по нефу, из открытого рта у нее вылетало какое-то бульканье, будто она пьет и пьет из чашки и та никак не опустеет.

Куини хотела убежать, да ноги не послушались; и она глаз не могла оторвать от этого перекошенного лица. Она знала, что так смотреть невоспитанно, но что-то как защелкнулось внутри, невозможно повернуть голову. Я — соляной столб, она думала, мраморный столб... а идиотка была уже совсем рядом. Откуда-то снаружи Куини услышала стук молотка, и в ту же самую секунду с шеи у нее содрали янтарные бусы. Вся снизка исчезла в жадной горсти, странное созданье подняло кулак ко рту, будто готовясь надкусить яблоко, и тут бусы треснули; бусины выскакивали из-под стиснутых пальцев и как горох запрыгали по паперти, по плитам.

Целую вечность стояла Куини в тени церковной двери, и сердце у нее бухало от страха. Больше из-за того, что скажет мама, когда заметит ее отсутствие, чем из-за этой сумасшедшей. Она не стала собирать остатки бус, она ломала голову над тем, как бы половчей утихомирить мамин гнев. Может, рассказать, пробормотать таким еле ворочающимся языком — будто она рехнулась, — как, сбежав от ужасного бабушкиного вида, она перешла улицу, хотела помахать своему другу попугаю... и тут, мол, из-за угла как хлынет целая толпа. Она испугалась, побежала в другую сторону... Если при этом состроить рожу, как у плясавшей по церкви идиотки, мама, конечно, и не вспомнит про потерянные бусы и будет рыдать от счастья, что Куини вернулась жива и невредима.

Полная решимости, готовя в уме слова поубедительней, она встала на цыпочки и потянулась к дверному молоточку миссис Солзбури, как вдруг дверь распахнулась и оттуда, вся взбудораженная, выскочила миссис Трейл.

— Скорей, — она велела. — Мисс Рейнолдс говорит, что мистер Джонсон вчера вернулся из Ашборна.

Толкая дочь перед собой, она так понеслась по тропе, что юбкой обезглавила разнежившуюся у калитки наперстянку.

Мистер Джонсон жил в Джонсон-корте, на задах Флит-стрит, невдалеке от дома на Гоу-сквер, где работал он над своим “Словарем”.

Миссис Десмолинз впустила миссис Трейл и задержала на пороге. Сказала, что мистер Джонсон опять уехал, но тут миссис Уильямс, услышав знакомый голос, крикнула, что миссис Трейл всегда здесь желанный гость, и провела ее в прихожую. Да, мистера Джонсона и в самом деле дома нет, но он всего лишь пошел к своему книгопродавцу и через час будет обратно; мистер Голдсмит и сэр Джон Хокинс его уж дожидаются в гостиной. Куини, усмехаясь, плелась за матерью.

Миссис Трейл кое-как терпела Джона Хокинса, Оливер же Голдсмит был, по ее мнению, когда умен, когда смешон. Хокинс был сух и замкнут, Голдсмит любил покрасоваться. Оба и сейчас вели себя каждый согласно со своей натурой, первый сидел, прямой, как кочерга, недвижный, как софа под ним, второй картинно расположился у камина, являя взору натянутые на бедрах бриджи.

Миссис Трейл всегда, характер уж такой, старалась разрядить обстановку, не дожидаясь, пока все само уладится. За несколько минут она улестила Джона Хокинса, расцеловав в обе щеки и уверив, что все друзья в восторге от недавно пожалованного ему королем рыцарского достоинства. И ведь не кривила же душой; хоть нудный до безумия, этот Хокинс был честный судья и музыкальный человек в придачу. Ну а Голдсмита она заставила отбросить позы, затронув его дивное чувство юмора. Скоро все трое хохотали вместе, как самые близкие друзья.

Миссис Десмолинз, сидя в уголку, оседланная девчонкой, глаз не могла отвести от миссис Трейл. Ума и остроумия сей дамы, которыми доктор Джонсон им уши прожужжал, она как-то не заметила, да и весь разговор ее сплошь состоял из сплетен. Свернув на Джошуа Рейнолдса, с чьей бедною сестрой она, оказывается, сегодня уже успела повидаться, она не упустила помянуть бренную природу красок, якобы употребляемых художником, и прочитала эпиграмму, которой ее попотчевал Артур Мерфи:

> Издревле мастера тому искусство посвящали,
> Чтоб предков тленные черты вовек сияли,
> Но, опрокинув план, завещанный от века,
> Его портрет ветшает прежде человека.

Господа аплодировали, что миссис Десмолинз считала бессердечным, ведь они пользовались славным хлебосольством сэра Джошуа. Да и красивой эту миссис Трейл она б не назвала, и цвет лица плохой, ресницы такие жиденькие, над верхней губою шрам... и все же, все же, тут ничего не скажешь, что-то такое во всей повадке, что-то прямо неотразимое. Сэр Джон и мистер Голдсмит сидели как околдованные оба, иначе не назвать. Миссис Десмолинз и сама чувствовала, как приподнимаются у нее уголки рта, и презирала себя за это.

Скоро миссис Уильямс ввела Фрэнка Барбера, который нес тяжелый чайник. Куини не понравилась миссис Уильямс: малиновое шелковое платье, каких сто лет уже не носят, кружевной чепец, две стылые волны волос над обоими висками, и вся такая старая, бледная, сморщенная. И неприятно, когда на тебя уставится тот, кто ничего не видит; Куини показалось даже, как будто сама она исчезла.

Фрэнка Барбера она тоже никогда еще не видела, хоть знала, что он слуга мистера Джонсона. Его сто раз гоняли по всяким делам в Саутуорк, но вечно ночью, так что мудрено увидеть из окон детской. Когда был маленький, он воспитывался на счет мистера Джонсона в Бишопс-Стортфорде[1]. Способностей больших не выказал, но мистер Джонсон все равно его любил. Когда он отнял руки от чайника, она увидела, что ладони у него того же цвета, что ее промокшие башмачки.

1. Бишопс-Стортфорд колледж — мужская привилегированная частная средняя школа.

Когда Фрэнк Барбер выходил из комнаты, снизу донесся какой-то дикий вой. Сэр Джон, сопровождавший миссис Уильямс к креслу, весь дернулся в тревоге.

— Пустяки, — сказала миссис Уильямс. — Это всего лишь Пол Кармайкл.

Больше она ничего не объяснила и стала разливать чай, в каждую чашку окуная мизинец, чтобы удостовериться, что налила довольно.

Миссис Десмолинз попыталась быть поласковей с этой девчонкой, с Куини, которую мистер Джонсон считал чудо-ребенком. Маленькая барышня была вся в мать, такая же некрасивая и самоуверенная, несмотря на свой этот клеклый капор с заляпанными лентами. Обратишься к ней — ответит учтиво, а в глазах чертики прыгают. Спрашивают у нее, как ей понравилось в городе, а она: "Очень понравилось, благодарю вас. Бабушка скоро умрет, но я к этому готова".

Наконец вернулся мистер Джонсон. Вошел, сжимая фунтик из окровавленной газеты. Мистер Голдсмит заметил, мол, странную добычу принес он от книгопродавца, а мистер Джонсон ответил, что ходил за пропитанием для своего кота, не желая унижать Фрэнка Барбера хлопотами о четвероногом. Миссис Уильямс, задрав подбородок так, будто принюхивалась к дыму, велела миссис Десмолинз снести вниз на кухню эти внутренности.

Мистер Джонсон стал тормошить Куини, похлопал ее по руке, выразил надежду, что она здорова, и потом только обратился к остальным гостям. Сначала обнял Голдсмита, потом Хокинса, потом, не глядя ей в лицо, поклонился миссис Трейл. Куини, следя за матерью, заметила, как та побледнела и как теребит перчатки: скомкает пальцы, опять разгладит.

Мистер Джонсон рассказал о том, как жилось ему у доктора Тейлора, старинного друга еще по школе в Личфилде. У мистера Тейлора были олени в парке, фазаны в птичнике, самый крупный в Англии рогатый скот, а один бык, возможно, самый громадный бык на свете.

— Все говорят, что он большой чудак, — сказал сэр Джон. — В суде же лорда-канцлера определили, что столь странный образ мыслей не согласуется с родом его занятий.

— Фу ты! — фыркнул Джонсон. — Я принимаю его таким, каков он есть, и таким люблю, хотя и в самом деле, сэр, о большинстве предметов наши суждения противоположны.

— Но как же так? — вмешался Голдсмит. — С тем, кто любит или презирает не то, что ты, дружба истинная невозможна.

— Было бы трудно... — начала миссис Трейл.

— И очень даже возможна, сэр, — усмехнулся Джонсон. — Следует только избегать предметов, на которые смотрите вы по-разному. Например, я прекрасно могу ладить с Берком[1]...

— И в самом деле, он необыкновенный человек... — вставила миссис Трейл, и снова ее перебили.

— ...потому что я ценю в нем знания, талант, широту суждений, но не стану же я с ним толковать о Рокингеме[2].

1. Эдмунд Берк (1729–1797) — английский политический деятель; публицист, юрист, философ, член парламента; входил в кружок Джонсона.
2. Чарльз Рокингем Уотсон-Уэнтуорт (1730–1782) — государственный деятель, в 1765–1766 гг. премьер-министр, политический оппонент Берка.

— Когда людям приходится умалчивать о чем-то, в чем они несогласны, — не сдавался Голдсмит, — тут уж недалеко до сказки о Синей Бороде, помните: "Ты можешь заглядывать в любую комнату, кроме одной".

— Я и не утверждаю, что *ты* можешь жить в дружбе с человеком, с которым в чем-то несогласен, — выкрикнул Джонсон, — я только говорю, что *я* могу.

— Кто хочет еще чаю? — спросила миссис Уильямс, но никто ей не ответил, и даже мистер Джонсон, который, как известно, мог вылакать четырнадцать чашек в один присест.

После недолгого молчания миссис Трейл сказала:

— Ваше пребывание у доктора Тейлора, кажется, не очень вас успокоило, сэр.

— Сударыня, — он возразил, — я не покоя там искал, всего лишь развлеченья, и не был обманут в ожиданиях. Своим великодушием доктор Тейлор намного превосходит *всех, кого я знаю.*

Куини удивил неприязненный намек в его словах, а еще больше то, как он подействовал на маму. Нимало не опешив от этой грубости, она перестала терзать свои перчатки и спокойно, пристально смотрела на мистера Джонсона, и тут уж он, кажется, потерялся; отвернулся, разразился сардоническим смехом и несколько раз кряду стукнул себя кулаком в грудь.

Перед уходом Голдсмит приклеил бумажки к большим пальцам и стал хлопать руками по ладошкам Куини. Она хихикала, хоть и не одобряла его затею, полагая, что в ладушки уместней играть с теми, кто еще не вышел из пелен. Да и не очень-то приятно сидеть рядом с человеком, если у него так выпирают ляжки.

Когда за драматургом закрылась дверь, сэр Джон Хокинс сказал:

— Вечно ему бы спорить.

А мистер Джонсон сказал:

— Голди так много говорит лишь для того, чтоб мы вдруг не забыли о его присутствии.

— Что до меня, — возразил сэр Джон, — я больше люблю слушать, как он болтает — просто и беспечно.

— О, разумеется, сэр, — согласился Джонсон, — но если бы он это услышал сам, ему бы не понравилось.

Когда сэр Джон тоже ушел, миссис Трейл насела на миссис Уильямс, чтобы та взяла Куини с собой — вместе искать кошку. "Она так любит кошек, — она уверяла. — У ней одна в Саутуорке и три в Стретэм-парке".

— Я предпочитаю кошкам собак, — сказала Куини. — Те не такие независимые и не так быстро растут.

Ей не очень хотелось уходить с этой миссис Уильямс, которая, вполне возможно, была ведьма, но она же видела, что мама хочет от нее избавиться. Вдруг, непонятным образом, ей показалось, что в комнате нет потолка, над домом — крыши, и она сидит прямо под открытым небом, и в нем мчатся, вьются, перекраиваются тучи. Мистер Джонсон стоял у камина и мотал головой из стороны в сторону, будто старался прочистить разум; мама улыбалась. Оба молчали, но все равно они обменивались мыслями. На полу, как волшебные следы, к двери вели бумажки, оставленные мистером Голдсмитом. Делать нечего, Куини встала и поплелась за миссис Уильямс в прихожую.

Ступеньки были узкие, крученые. Миссис Уильямс спускалась боком, простерши одну руку вперед, и платье шелестело, задевая стену. Миссис

Десмолинз была внизу, на кухне, сидела за столом против Фрэнка Барбера, и тот соскребал грязь с сапог, а рядом с ним горела свечка. В углу у камина на трехногом табурете кашлял какой-то скрюченный старик.

Миссис Уильямс, унюхав горящий воск, подошла к столу и свечу задула. У миссис Десмолинз вытянулось лицо, но она смолчала. Старик, теперь невидимый, снова кашлянул; угли зашипели: это он на них харкнул.

— Я привела мисс Трейл, — доложила миссис Уильямс.

— Мы сами видели, — ответила миссис Десмолинз, — покуда вы не погрузили нас во тьму.

— Мы ищем кошку, — сказала миссис Уильямс.

— Мама хочет, чтоб я на нее посмотрела, — сказала Куини, озадаченная истерическим хохотом и воплями, несшимися снизу, из судомойни.

— Ну, значит, маму надо слушаться, — сказала миссис Десмолинз, а в голосе была издевка. Но все равно, Куини она больше нравилась: человек как человек, не слепая, не черная и не плюется; она обрадовалась, когда миссис Десмолинз встала из-за стола, чтоб тоже ловить кошку.

Кошку обнаружили в судомойне, она умывалась в двух шагах от молодой особы растерзанного вида, которая билась головой о дверной косяк и голосила.

— Киска, киска, — позвала миссис Уильямс, принюхиваясь, и тут особа издала такой душераздирающий вопль, что кошка метнулась прочь по коридору.

— Полл, — крикнула миссис Уильямс. — Веди себя прилично, у нас гости.

Полл на это даже внимания не обратила; только показала язык и опять стукнулась головой об дверь, да так, что разбила себе лоб и струйка крови потекла вдоль носа.

— Что с ней такое? — спросила Куини.

— Зубы болят, — был сжатый ответ миссис Уильямс.

— Пьянство и мужики, — не согласилась с ней миссис Десмолинз, сверкнув глазами.

Подталкивая в спину, миссис Уильямс вывела Куини за порог.

Есть разные способы избавляться от тяжелых воспоминаний, рассудила Куини, по старой памяти нащупывая янтарные бусы у себя на горле.

Перед самым днем рожденья Куини, за два дня всего, миссис Трейл разрешилась восьмым ребенком. Хотя и запертая в классной, Куини слышала мамины крики в верхнем этаже; такие звуки, будто схватили за задние ноги поросенка. Приникнув к итальянской грамматике, Куини обещала Богу, что во веки веков будет послушной девочкой, если мама не умрет. Мистер Баретти, заметив ее бледность, во весь голос запел корсиканскую балладу про доярку, которую лишил невинности пастух.

В три часа пополудни явился домой мистер Трейл; младенцу было два часа от роду. То была девочка, темная личиком, она не умела правильно дышать и к полуночи умерла. Мистер Баретти сказал, что нечему тут удивляться, ведь миссис Трейл такого натерпелась в последние несколько месяцев. “Твоей маме, — сказал он Куини, — пришлось расхлебывать дела на пивоварне, перенесть удаление ушей Люси, ухаживать за твоей бабушкой. Ты уж постарайся ее беречь и не причинять ей волнений”.

Куини намотала на ус его слова, ведь обычно он осуждал миссис Трейл, считал слишком строгой со своими детьми, во всем же прочем слишком легкомысленной. А потому, когда ей разрешили повидать маму,

она скользнула в спальню и нежно-нежно ее поцеловала. От мамы плохо пахло, но она гладила Куини по щеке и бормотала, что любит ее больше всего на свете. Мертвая девочка, осыпанная травами, лежала в колыбельке в ногах постели, и личико было прикрыто муслином. Ее хотели окрестить Пенелопой, но не услыхать ей было своего имени.

Целую неделю потом Куини была мила с братиком и сестричками, даже с Сюзанной, при всех ее кривых ногах и грыже, из-за которой она стала до того капризная, что все звали ее Злючкой, только папа звал Совушкой — за острый носик.

Мистер Джонсон задержался в Личфилде, потому, как говорила миссис Трейл, что она слишком слаба, чтоб окружать его всечасной своей заботой, но мистер Баретти говорил, что он трудится над новым изданием "Словаря". И все же он прислал в Стретэм с Фрэнком Барбером тот ларчик для хранения антиков, который давно посулил своей Ягодке.

Ларчик был чудо как хорош: четыре ящичка за дверцей, а сверху еще ларчик, поменьше, и в этом двенадцать отделений. Куини приходилось влезать на стул, чтобы доставать до верхнего ларца; она наполнила два ящичка раковинами, какие собирала в Брайтелмстоне на пляже. Мама покуда не раздобыла у бабушки ту обезьянью лапку, зато папа представил связку волос, якобы принадлежавших самому мистеру Попу, а миссис Уильямс прислала поэму, сочиненную без всякой помощи мистера Джонсона.
Ни поэма, ни этот клок Куини нисколько не понравились, поэма вся была про закат, один сплошной багрянец, а клок как будто у белки выдрали из зада. Поразмыслив, она обследовала корзину с рукодельем Старой Няни и выбрала там ленту с надписью "Фрэнсис Трейл, рожденная в сентябре в году 1765, умерла октября 6-го дня, в году 1765". Когда-то и в самом деле была у нее сестрица с таким именем, но так давно, что могла считаться антиком по праву.

В ноябре мистер Джонсон написал Куини письмо, в котором спрашивал ее о здоровье своей любимой курицы и извещал о смерти черного кота мисс Портер. "Так все на свете приходит и уходит, — он рассуждал, — поколения, по слову Гомера, листве подобны, и вот мы наблюдаем, как сухие листья опадают вкруг нас".

Мама прочитала письмо и сказала, что мистер Джонсон просто вежлив. Гости, она сказала, часто затевают переписку с детьми своих хозяев; так приносят они благодарность, однако не выказывая особенного подобострастия. Усердные излияния признательности тотчас выдали бы, что им до вас нужда, а в этом мужчины никогда не любят признаваться. Письмо, она объяснила, собственно, писано к ней самой, в благодарность за ту заботу, какую видел он к себе под этим кровом. Ответа он, разумеется, совсем не ждет, да и зачем его тревожить какими-то детскими каракулями.

Когда миссис Трейл уехала в город решать дела пивоварни с Перкинсом, Куини пошла к папе в кабинет и спросила, не будет ли это невежливо, если не ответить на письмо мистера Джонсона. Папа, весь красный, обмяк меж двух бутылок красного вина над останками гигантской индейки; Куини сразу поняла, что это из-за банка, который отравляет ему жизнь, он так проголодался.

— И что ты хотела написать Сэмюэлю? — спросил папа.

— Что мне очень жалко кота мисс Портер, — ответила она, — и попросить чего-нибудь, что можно в ларчик положить.

— И почему же мама этого не хочет?

– Потому что он такой важный человек.

– Истинная правда, – сказал папа, отирая жир с усов.

– Так значит, мне не надо писать?

– Напротив, – сказал папа, – возможно, ты не менее важный человек... и мама это знает, – после чего он улыбнулся, хоть его глаза не показались ей веселыми. Сказав, что присмотрит за тем, чтоб Джонсон получил ее письмо, он налил полный стакан и сглотнул вино так, будто вот только что вернулся из пустыни; это из-за банка, который отравлял ему жизнь, он так страдал от жажды.

Две недели спустя Куини получила еще письмо. Маме не понравилось его содержание, хоть она и притворилась, будто бы довольна. Мистер Джонсон сетовал, что миссис Трейл так жестоко поступила с ними обоими, помешав Куини ему ответить. Он писал, что, когда вернется он домой, все они будут весело играть и никто не будет плакать, даже Люси, и кончал тем, что объявлял себя покорнейшим слугою Куини.

В декабре Джонсон покинул Личфилд и воротился в Лондон. Хоть он обедал с Генри Трейлом, а порой и оставался на ночлег в старых комнатах его над конторой, в Стретэм его не приглашали. Миссис Трейл в тех редких случаях, когда нагрянет он на пивоварню, кажется, ему радовалась, но о возвращении в Стретэм и не заикалась, а сам он не напрашивался из гордости. Приходилось довольствоваться письмами, в которых она ему сообщала, что мистер Баретти с Куини прекрасно ладят и довольны оба итальянскими уроками. Сначала Куини выдавались словарные списки – имен, глаголов, прилагательных, предлогов и артиклей, – но она оказывала столь быстрые успехи, что учитель перешел теперь на диалоги, воображаемые споры, какие могли бы вести между собой козлы и куры на скотном. Когда Баретти объяснил, что важно само искусство разговора и можно любую чушь молоть, Куини, негодница, тотчас его поймала на слове и объявила, что “все мы пустомели”. Еще сообщалось в письме, что ушко Люси стало хуже и что миссис Солзбури совсем плоха, уже не может жить одна на Дин-стрит и нуждается в заботе в Стретэм-парке. Из всего этого он заключил, что его присутствие было бы лишнею обузой, и позавидовал Баретти, так скоро сделавшемуся необходимым.

В Лондоне ждала его нелегкая жизнь, часто отлучаясь из Джонсон-корта, он становился менее терпим к вздорным домочадцам; миссис Уильямс ненавидела всех; Левет презирал миссис Десмолинз и недолюбливал миссис Уильямс; Полл не любила никого и была вдобавок грязной потаскухой. Недели проходили в этом обществе, хандра все более его одолевала, портила ему характер. Единственное утешение был доктор Левет, который, всеми тремя дамами презренный, сидел с ним вместе за столом, пока он завтракал. Ни чая, ни хлеба не принимали сухие губы доктора, ибо нутро его обыкновенно бунтовало после возлияний, какими возмещал он горечь ежевечерних своих забот о низких обитателях Хаунсдитча[1]. От него не требовалось, чтобы он был заметен, поддерживал беседу, назначением своим скорее был он близок старому, заслуженному шкафу, который, стоя себе на месте и обрастая пылью, стал до того привычен, что взгляд соскальзывает с него.

Гости Джонсона, те, кто являлся к предписанному часу, не находили Левета столь незаметным, уж слишком ярко все в нем изобличало опа-

1. Район Лондона, издавна облюбованный ростовщиками.

ленного жизнью человека. Миссис Десмолинз очень кстати и остро заметила однажды, что с него бы впору писать подмастерье алхимика: кожа нечистая, будто он дышал парами тигля, платье в подпалинах, будто в него летели искры. Раздирающий кашель, пожалуй, не вызывал доверия к его искусству врачевать, и все равно Джонсон его любил. Бедный, но честный — одно это, как Голдсмит напоминал смущенным членам клуба, вполне служило рекомендацией для Сэмюэля.

В один прекрасный день, насмотревшись на мрачное лицо Джонсона и наслушавшись его вздохов, Левет спросил, не вызывает ли его недовольства книга, которую он читает.

— Не могу вам сказать, — был ответ, — ибо я не в силах вникнуть в ее смысл.

— Я слышал, что знание может быть иногда источником печали, — сказал Левет. Не часто он вступал в беседу, но жалость подсунула ему слова.

— Что знание в иных случаях бывает источником печали, я признаю, — сказал Джонсон, — однако знание per se[1], бесспорно, есть цель, к которой всякий человек должен стремиться, хотя, возможно, часто и не дает себе труда ее достигнуть.

— Но почему вы не в силах вникнуть в ее смысл? — не отставал Левет.

— Довольно, сэр, — рыкнул Джонсон, — оставьте меня в покое. И почти тотчас он выскочил из-за стола и, потрепав Левета по плечу, попросил прощения за грубость.

— Напишите к ней, — сказал Левет. — Напишите, как нужно вам вернуться.

— Вы изъясняетесь загадками, — взревел Джонсон и столь надолго впал в суровость, что Левет замолчал и скоро ушел по своим делам.

Весь следующий месяц Джонсон ждал приглашения от Хестер Трейл. Дни свои проводил он в обществе Хокинса и Артура Мерфи, а то ужинал в Миртовой таверне и спорил с Голдсмитом и Беннетом Лэнгтоном. Хвори его допекали, мучила зараза, попавшая в здоровый глаз. Вдобавок бесила мерзость некой газетенки, разбросанной по столикам в "Голове турка" и заявлявшей, что *один знаменитый пивовар ревностию томим к известному автору томов тяжелых и замечает сходство с ним в старшем своем сыне.* Ни у одного из членов клуба недостало духа заговорить об этой клевете, молчал даже неосторожный Голдсмит; но он кипел в душе. Три кряду вечера под проливным дождем бродил он с Джеймсом Босуэллом по городу и ничего не видел на запруженных толпою улицах такого, что не поставляло б доказательств ничтожества и упадка рода человеческого.

На четвертый вечер, ужиная вместе с Босуэллом в доме генерала Паоли[2], он втянулся в спор о том, естественно ли для человека брачное состояние. Он придерживался того мнения, что неестественно, и, пожалуй, слишком рьяно его отстаивал, ссылаясь на то, что к женитьбе два есть побуждения: любовь и деньги, — первое неразумно, второе низко. Тут генерал предположил, что союз мужчины с женщиной по законам живой природы был бы куда счастливей, чем в цивилизованном обществе, будучи свободен от стеснений, какие общество полагает необходимыми для поддержания сего союза. Дурацкое это предположение так взбесило Джонсона, что он крикнул:

1. Как таковое (*лат.*).
2. Паскуале Паоли (1725—1807) — борец за независимость Корсики. Какое-то время жил в Англии. С Босуэллом познакомился в 1764 г., когда тот был на Корсике.

— Дикарь с дикаркой будут столь свободны от стеснений, сэр, что, едва новая особь больше понравится мужчине, он тотчас бросит прежнюю.

Он заметил, как переглянулись Босуэлл с генералом, и вообразил, что они приписали его взрыв тому, что якобы он недоволен милой, бесценной Тетти. Но, говоря так резко, разумел он Левета, который, после темного ухаживания в угольном чулане на Феттер-лейн, связал себя с бабой, вскоре пойманной на карманной краже. Не имея ни терпенья, ни охоты изъясняться со своими слушателями, ярясь сразу на них и на себя, он тотчас вышел из-за стола.

На Флит-стрит в спину ему задышала лошадь, которую гнали во весь опор, не замечая пешеходов; ему пришлось отпрыгнуть в сторону. И вот, непрошеное, всплыло воспоминанье: они с невестой скачут к церкви. Она то натягивает повода, то отпускает и плетется сзади; наскучив этим, пришпорив своего коня, он мчит галопом, скрывается у нее из виду за поворотом и поджидает в тени дуба; гнус тогда укусил его в левый мизинец. Когда Тетти его догнала, по солнечной ряби на ее щеках, он видел, катились слезы.

Размышляя о женской чувствительности, он продолжал свой путь, и скоро образ жены ушел, смещенный мыслями о Хестер Трейл.

Добравшись до Джонсон-корта, он постоял немного на крыльце, глядя вверх, на дымное небо. А в Стретэм-парке — там вся ночь в звездах, сияет, как глаза милой его хозяйки. Как же мечтал он погреться в свете той улыбки.

Кошка, не его кошка, кралась по двору за крысой, брюхом отирая булыжники. Вдруг на него нахлынул ужас, он вспомнил, что когда-то написал он в последнем выпуске "Ленивца"[1] о природе концов: "Во всякой жизни есть перерывы, остановки... повороты, когда кончается один ход действий и начинается другой; превратности фортуны, смена занятий, перемена мест или потеря дружбы вынуждают нас говорить: *это конец*".

Войдя в темный дом, поднялся он по лестнице к себе в спальню и там, отбросив гордость, взялся за перо и в письме молил миссис Трейл его принять. Он дождаться не может той минуты, писал он, когда снова будет со своей Дорогою Хозяйкой, и надеждою себя льстит, что сумеет ее развлечь немного и утешить. Вдруг сквозняк задул свечу. Сочтя это дурным предзнаменованьем, он стал метаться из угла в угол.

Не в первый раз давила его мысль, что весь путь его жизни был направлен ложно, что самого себя разочаровал он больше, чем других. Гул славы не слышен под гробовой плитой. Дни его и годы текли в пустых делах, пустых суетах, поставленным перед собою целям он попускал дремать, покуда время действий миновало. Когда сравнивал то, что он сделал, эти статьи, стихи, эту прохладно принятую драму, которую еле-еле втащил на подмостки Дэви Гаррик, и составленье "Словаря" с тем, что оставил он несовершенным, он чувствовал то, что всегда, верно, сопровождает сравнение мечты с действительностью — презренье к себе за лень, отвращенье за недостаток решимости.

Что по себе оставит он — какой след своего существованья, что он прибавит самой жизни, он, от юности до поздних лет скользивший вместе со льстивою толпой, не делая усилий из нее выбиться?

Хуже — он пренебрег желаньями отца, впустую расточал время в Оксфорде, не заметил братней мольбы о помощи, промотал деньги Тетти,

1. Журнал, издававшийся Джонсоном с апреля 1758-го по апрель 1760 г.

не приехал на похороны матери, попускал нечистым мыслям мрачить свой разум и подвергал сомнению возможность загробной жизни.

Вот и теперь, встав на колени и изготовясь для молитвы, ощутил он взмыв в чреслах, с каким не в силах был совладать. Возбуждение в нем поднималось, и чудилось: порханье юбок, круглота бедра, знак восклицанья над недовольной губкой. Когда, уступив неодолимому, он поднял руки, опущенные для самоутоленья, догадался он, что не столько безумие его одолевает, сколько сама природа. Дух человека, так рассуждал он задыхаясь, намного отстает от его телесности.

Миссис Трейл прислала за ним карету спустя неделю.

Миссис Солзбури, как ни была слаба — грудь у нее ужасно взбухла, почернела, — всякий день упрямо сходила вниз шатким шагом, отвергая помощь слуг.

— Небось я на ногах еще держусь, — объявляла она дочери, когда та, сама не своя от страха, пятясь и распростерши руки, ждала ее ступенькой ниже. Дважды миссис Солзбури падала без памяти, к счастью, на самой нижней ступеньке, где и подхватывал ее мистер Баретти.

Джонсон ни одного из этих случаев не видел, до полудня валяясь всегда в постели. Неотвязный кашель его мучил, зараза в здоровом глазу все больше допекала. Он примирился с миссис Солзбури тому уж не один год, он ее даже полюбил, но поневоле смотрел на нее как на соперницу, у него отнимавшую заботы своей дочери. Миссис Трейл понимала, что он сам не рад быть в тягость, но в том-то и беда, что его не баловали в детстве.

И больше никого не было в доме, кто мог бы его развлечь. На Баретти легла забота держать малышей подальше от обреченной бабушки, а Генри Трейл, из мужчин единственный, кто мог совладать с Джонсоном, сбежал в Саутуорк, не терпя в женщинах болезней. Исключая краткого визита Фрэнсис Рейнолдс и скучнейшего из всех немногих соседей Стретэм-парка, гости в дом больше не захаживали. Джонсон по-прежнему давал Куини латинские уроки, но боль в глазу то и дело его выводила из себя, и он устал каяться перед ученицей.

Он взял себе манеру ходить за миссис Трейл из комнаты в комнату, пытаясь завязать с ней разговор. Если она не сразу отвечала или взгляд ее соскальзывал с его лица, он, озлясь, топал ногой. Если, затворясь у себя в спальне, она не откликалась на его надсадный стук, он бродил по коридору рядом, громко ворча между приступами кашля.

Однажды в теплый день, когда она отдыхала в гостиной — снова она ждала ребенка и у ней болела спина, — мать дремала на кушетке, Куини читала за столом, Джонсон вошел на цыпочках, прижав палец к губам и выразительно показывая знаками, что ищет книгу, забытую на подоконнике. Не заметя спящей собаки, он наступил прямо на нее, Красотка разразилась мерзким лаем, миссис Солзбури вздрогнула от ужаса, а миссис Трейл крикнула:

— Этак невозможно, сэр, — и разрыдалась в голос.

Потом она пришла к нему, с ним помирилась. Он сидел за бюро и кучками сгребал апельсиновую кожуру. Она-то думала, он станет ее корить, но он только трогательно радовался, что его простили, и осыпал ей руку поцелуями. Она не уверена была, что эта приниженность ей нравилась, ведь резкость, незыблемость суждений были, на ее взгляд, такие увлекательные свойства.

Слуга внес таз с горячей водой, и она нежно промыла глаз Джонсону.

— Разве я, — она сказала, — меньше забочусь о вас, чем прежде, просто я занята матушкой и Люси. Матушку, я знаю, мне суждено потерять... Хоть бы Люси спасти.

И тут он расплакался в три ручья. Когда снова обрел дар речи, он сказал, что написал ей письмо и просит, чтобы она его прочитала, когда будет одна. Письмо не предназначено для случайных глаз и писано по-французски.

— Почему по-французски? — она спросила.

— Чувства, в нем заключенные, легче выразить не на родном языке.

Она дождалась, покамест миссис Солзбури заснет, прежде чем приступить к чтению. Правда, она не была одна, Куини сидела по другую сторону постели, держа бабушку за руку, но разумеется, ни эту девочку, ни эту старуху нельзя было означить как "случайных".

Слова Джонсона нелегко было разбирать, из-за ослабленного зрения рука была нетвердой. Начиналось с жалоб на небрежение, прикрытых заверениями о собственном своем ничтожестве и о благородстве ее души. Коль скоро он не хочет быть никому обузой, не могла ли бы она придумать распорядок, при котором он впредь не был бы грозой покоя домашнего? Поскольку предполагается, что ему необходимо *проводить несколько часов на дню в глубоком уединенье, не стоит ли ему себе предписать узкие пределы в этом доме?* Разве в недавнем прошлом он не *снабдил ее средствами, с помощью которых она могла бы достичь подобного ограниченья?* Было бы более достойно *хозяйки,* буде она взяла все хлопоты на себя, его избавя от сих трудов. Он станет сидеть у себя взаперти... ей придется лишь дважды на дню поворачивать ключ в замке. По вечной изменчивости своей натуры она забыла все обещанья помощи и вынуждает его то и дело вымаливать ее вниманья, совсем отбрасывая гордость, а это так ужасно. Заключал он надеждой, что она и впредь будет его держать *в том рабстве, которое вы знаете одна, как сделать счастливым.*

Прочтя письмо, миссис Трейл сначала удивилась, потом озлилась — скомкала бумагу в кулаке, — а после опечалилась и уж тогда разгладила листок, как будто утешала птичку с поломанным крылом. Несмотря на дерзкие фразы, на властный тон, то было письмо поверженного человека... или, если подумать хорошенько, — да, избалованного дитяти, так, пожалуй, будет верней.

Тотчас она встала с намерением его успокоить, но не успела ступить на лестницу, он показался на площадке сверху. Уже смеркалось, слуги еще не зажигали ламп; он держал в руке свечу, и тень плясала на стене.

Куини, любопытствуя, зачем это мама вдруг убежала от постели бабушки, пошла за нею. С удивлением увидела она, что мама дерется с мистером Джонсоном на лестнице. Кажется, они боролись за обладание цепочкой с каким-то к ней прикрепленным металлическим предметом, который все стукался о косяк окна.

Мистер Джонсон вопил:

— Вам это пригодится!

Мама кричала:

— Не-е-ет! — Но в этот самый миг из детской вырвался ужасный плач; то была Люси, несчастная жертва заразы в ухе. Мама бросила эту цепочку и помчалась наверх.

Куини разглядывала мистера Джонсона. Он держал свечное пламя слишком близко к голове, и от парика, с макушки, шел крошечный виточек дыма. Он стукнул себя кулаком по лбу и тяжело вшагнул к себе, а

кругленький предмет за ним проволокся на цепочке, как дохлая собака на поводке.

Наутро Куини спросила, из-за чего так разволновался мистер Джонсон, и мама ответила, что он опечален из-за миссис Солзбури. "Мысль о смерти его страшит, — она объяснила. — Своей ли, бабушкиной. Я стараюсь его уговорить, чтобы поехал с мистером Босуэллом в Шотландию".

Куини не была знакома с этим Босуэллом, но знала, что он адвокат, боготворит мистера Джонсона, ловит каждое его слово и мечтает залучить его на свои Гебриды. Мистер Гаррик сравнивал Босуэлла с паясом Панталоне, мистер Голдсмит говорил, что тот не стоит разговора, но папа считал, что так легко его не сбросить со счетов.

В тот же день миссис Трейл написала ответное письмо мистеру Джонсону и оставила на своем рабочем столике, когда отправилась ухаживать за миссис Солзбури. Письмо не было сложено, вот Куини его и прочитала; и сочла, что тут мама сильно пересаливает. Спрашивает, какой еще заботой может она окружить своего дорогого мистера Джонсона, какой еще нежностью его подарить? Развлечение станет ему лучшею врачбой, лучшим лекарем Босуэлл. Письмо кончалось просьбой к нему быть здоровым и благополучным, а дальше еще было: *не ссорьтесь же со своей гувернанткой из-за того, что она мало пускает в ход розги.* Куини решила, что последняя фраза, верно, должна считаться остроумной; кто же взрослого человека, не ребенка, сечь будет.

А все же, она подумала, какая странная мысль — писать письмо тому, с кем живешь под одной крышей.

Мисс Летишиа Хокинс
2, Сайон-роу
Туикенем
Дек. 6-го дня, 1807

Вы стоите на своем, милая мисс Хокинс, и каждый Ваш вопрос меня далеко отбрасывает назад, в те годы, какие было бы лучше для меня совсем забыть. Увы, я не много могу Вам сообщить подробностей о банкротстве пивоварни; мне было тогда от роду всего восемь лет, и батюшка счел, верно, что посвящать меня в дела есть вещь излишняя. Могу только сказать, что, вследствие широких замыслов матушки касательно и Стретэм-парка и пивоварни, батюшка был принужден занимать деньги под непомерные проценты и нажил долги, от каких не мог он избавиться девять долгих лет — ноша эта, бесспорно, подорвала его здоровье. В роковой же час матушка, хотя и надо полагать, что без злого умысла, всецело взяла сторону Перкинса, главного приказчика на пивоварне, который в своекорыстных целях все грозился оставить должность, чем еще ухудшал положенье батюшки.

На расстоянье стольких лет я не могу припомнить имя кота мисс Портер, чью смерть почтили мы особой церемонией при свечах, под шелковицей. У мистера Джонсона, в самом деле, была ручная курица. Звалась она Сократ по той причине, что непрестанно кудахтала.

Бабушка умерла в своей постели в Стретэме, на следующий день после того, как батюшка носил ее на руках смотреть завершаемую библиотеку.

Спор, который Вы поминаете, спор между мистером Джонсоном и Голдсмитом — об отслоении масляной краски, и речь шла тогда о малиновом колере на полотнах сэра Джошуа Рейнолдса, завязался в Болт-корте. У меня есть

свои основания помнить все происходившее тогда, ибо в то самое утро батюшка мне подарил янтарные бусы, какие я свято берегу и ношу по сей день.

Остаюсь
преданною Вам
Х. М. Трейл

Не помню, чтобы мистер Джонсон говорил о Фрэнке Барбере иначе как в самых приязненных выражениях. Когда миссис Десмолинз однажды в моем присутствии отнеслась о нем как о черном арапе, доктор Дж., весьма раздраженно, велел ей попридержать язык.

1774

Вчера
Накануне сегодня, день предшедший нынешнему.

Мы дни за днями шепчем: "Завтра, завтра".
Так тихими шагами жизнь ползет
К последней недописанной странице.
Оказывается, что все "вчера"
Нам сзади освещали путь к могиле.

Шекспир *Макбет*[1]

Забежав в детскую, чтоб поцеловать на прощанье маленького Ральфа — у него была большая голова, а изо рта сочилась слюна, хотя еще не резались зубки, — миссис Трейл спустилась в прихожую и стояла на крыльце, глядя, как муж распоряжается закладкою кареты. Сквозь бледный туман пробивалось блеянье овец и птичий щебет.

— Что-то не то с его соображением, — она сказала, ни к кому, собственно, не обращаясь.

Так отнеслась она о ребенке, толстенькие щечки которого только что чмокала и в чьих глазах не уловила и проблеска рассудка. Мелькнула мысль, что его пронзительные крики напоминают писк птенцов в грачином гнезде... и кто же отличит, от голода ли писк, от пустоты ли?

Правда, быть может, все эти страхи у нее из-за напряженья, суеты: перед путешествием пришлось пристраивать детей. Вчера только сплавила Софи в пансион миссис Каннинз в Кенсингтоне, где содержалась уже Сюзанна. Смерть миссис Солзбури и почти тотчас за ней утрата милой, милой Люси ей застудили сердце; сама чувствовала, что теперь уж меньше способна на любовь и не будет чересчур скучать по обеим крошкам — по вздорной Софи и не столь уж пленительной Сюзанне.

Главная ее забота был Гарри; хоть ему нравилось в школе Святого Фомы, ночевать он там наотрез отказывался, даже грозился, что, если не отвезут его домой спать, мол, сбежит в дальние края. Он унаследовал этот ужасный отцовский аппетит, и она боялась — вдруг в ее отсутствие возьмет манеру сам распоряжаться за столом и обжираться на ночь. Что, если

1. Акт 5, сцена 5. Перевод Б. Пастернака.

слуги не смогут отказать ему, такому чу́дному? Правда, Новая Няня, давно уж превратившаяся в Старую Няню, божилась, что не даст ему потачки.

Карету подали, и пришлось дважды посылать за мистером Джонсоном. Лакей докладывал, что мистер Джонсон совсем готовы, только не знают, какие книги брать, какие оставлять. Зато, когда наконец появился, он сбежал по ступеням с живостью, с веселым, радостным лицом. После того как съездил с Босуэллом в Шотландию и завершил дневник путешествия на Гебриды — тому всего неделя, как он отослал типографу просмотренные листы, — он заделался рьяным сторонником передвижений и вдобавок предвкушал, как представит дорогому Хозяину и дорогой Хозяйке свой родной Личфилд. Тем не менее, когда в карете уже теснились, освобождая ему место, вдруг он резко повернул и направил свои стопы к двери библиотеки в боковой стене. Он облачился в свой праздничный камзол, однако сзади вылез край рубахи. Эта комическая оплошность побудила Генри Трейла угостить мистера Баретти одним из анекдотов Гаррика о злосчастных потугах Джонсона вскоре после свадьбы вести классы в Стаффордшире.

— Всех учеников было трое... Дэви старший. По ночам... юные джентльмены завели привычку подсматривать через замочную скважину в спальню к Джонсону. Однажды они видят... он сидит за столом... и слышат... Тетти молит его скорее лечь в постель. Что-то свисает с кресла, Сэм это принимает за рубаху... запихивает в штаны и вышагивает по комнате, громко декламируя только что им начертанное... Тетти, трепеща, старается выручить исчезающую простыню...

— Так его и вижу, так и вижу, — кричал Баретти, хлопая себя по ляжкам.

— Пени ее становятся все громче... Сэм, неверно истолковав эти отчаянные вопли... сбрасывает рубаху, полный ожиданья... и кричит: “Иду, иду, Тетти”.

Тут Баретти зашелся таким оглушительным хохотом, что миссис Трейл платком заткнула ему рот. Хорошо еще успела: в ту самую минуту опять выскочил Джонсон, пропыхтел мимо кареты, взбежал на крыльцо и трижды стукнул кулаком по каменной башке грифона перед дверью.

Снова миссис Трейл вспомнила про ребенка в детской; стучи не стучи — не достучишься.

На пути в Лондон Генри Трейл и Джонсон всё клевали носами, будучи не склонны оба к оживленью до полудня. Куини всё ерзала и кашляла. И когда подъехали к реке, наконец спросила у отца, зачем же мистер Гаррик подглядывал в щелку, ведь это невоспитанно. К счастью, Джонсон спал, а сонный Трейл не в состоянии был языком пошевельнуть, хотя взрыв ликования мистера Баретти мог разбудить и мертвого. Не сиди он рядом, миссис Трейл отшлепала бы Куини.

Этот Баретти был ненадежен, притом с такими странными понятиями о воспитании детей. Вечно прячет ее свисток слоновой кости, служащий для созыва младших на расправу; да, и разве можно забыть, как он схватил и надвое переломил ту розгу, когда она отстегала Гарри, разукрасившего глобус мистера Джонсона своими каракульками. Она даже побаивалась порой, как бы итальянец сгоряча вновь не схватился за фруктовый нож, который его чуть не довел до виселицы.

Подъехали к студии Джошуа Рейнолдса на Лестер-филдс, и Баретти с ними распрощался. Ушел позировать для заказанной Трейлом серии, призванной увековечить обитателей Стретэм-парка, из которых двое,

Гаррик и милый, покойный Голдсмит, уже были вывешены для обозренья на стенах библиотеки.

Джонсон, выказывая из-под камзола край рубахи, кинулся за Баретти вслед, проводил его до верхней ступени и там, по замечанью Трейла, тряс руку друга так, будто им более не суждено свидеться по сю сторону могилы. Мисс Рейнолдс мелькнула в дверях; заметила карету и тотчас скрылась вновь, но миссис Трейл успела разглядеть, как она взъерошена; не иначе снова ругались с братом.

Озадаченная странным воем и воплями, летящими из сада через площадь, Куини выкарабкалась из кареты. Она разволновалась и уж конечно кинулась бы на расследование, не удержи ее миссис Трейл за полу.

Воротясь и узнав, отчего так возбужден ребенок, Джонсон рассказал, что там, через дорогу, живет Джон Хантер, и пообещал как-нибудь взять ее с собою к нему в гости. Звериные вопли, летящие из сада, он объяснил, суть крики тигра и собрания гибонов — это особый род обезьян, серого цвета, почти лысых, причем задние ноги у них такие, что позволяют им прыжками покрывать большие расстояния. Была бы она здесь неделей раньше, услышала бы лай множества собак: многим из них взреза́ли желудок и наполняли теплым молоком, прежде чем их повесить.

— Зачем? — спросила Куини, вытаращив глаза.

— Опыт позволял удостовериться в том, что жир всасывается через лимфатические сосуды брюшины в торальные протоки.

— Зачем? — твердила Куини.

— Ради науки, Ягодка, — сказал Джонсон. — На другой день, как сообщил Левет, мистер Хантер вскрыл брюшную полость одного старика и обнаружил, что сосуды там наполнены белой жижей вместо красной крови.

— И мистер Хантер этого старика тоже повесил? — спросила Куини.

— Ну, будет, — приказала миссис Трейл насупясь, глянула на Джонсона и затащила Куини в карету.

Усевшись и адресуясь уже к миссис Трейл, Джонсон признался, что не знаком с анатомом, а только слушал вместе с Леветом две его лекции, и обе пришлись ему по вкусу. В первой речь шла о состояниях рассудка, притом допускалось, и кто же станет отрицать, что рассудок часто не в ладу с самим собой и то состояние его, которое сильней, всегда одержит верх над тем, которое слабее.

— Как это верно, — вздохнула миссис Трейл, думая о рассудке самого Джонсона, особенно о том его опасном состоянии, когда одерживала верх хандра.

— Во второй лекции, — рассказывал ей Джонсон, — речь шла о сексуальном выборе. Мужчине, согласно Хантеру, присуще желание любить всех женщин сразу, но едва рассудок его прилепится к одной-единственной, желание и радость отсрочиваются до той поры, покамест... — тут он уловил укор во взгляде миссис Трейл и смолк на полуслове.

Всего несколько минут спустя, однако, когда карета свернула с площади, он заметил:

— Чувство стыда воздействует на кожу...

— Как вот когда краснеешь, — подхватила миссис Трейл.

— Именно так. Секреция ядер, и даже отсутствие ее, имея место при особом состоянии рассудка...

— Довольно, сэр, — рявкнула миссис Трейл, и тут он смолк уже надолго.

Добравшись до Сент-Альбана, они остановились и славно отобедали у Ралфа Смита, кузена Трейла. Миссис Смит прошла по всем ступеням (от полного недоуменья ко все возрастающей почтительности), какие доводилось одолевать каждому, впервые увидевшему Джонсона. Как потом поверяла она миссис Трейл, из-за этого парика набекрень, и гиканья, и незаправленной рубахи — не говоря уж о тряском вскидывании ног — она было перепугалась, уж не собираются ли к ней посадить за стол какого-то идиота. А потом они так славно засиделись в гостях, насилу выбрались, чтоб продолжать свой путь к Личфилду.

Карета подъезжала к Офли, и миссис Трейл, разнежась, предалась воспоминаниям. Здесь девушкой провела она не одно лето в доме дяди по отцу, сэра Томаса Солзбури. Карета, прокатив проселками, замедлилась у деревянного мостка через ручей, и вспомнилось, как увязалась однажды за отцом рыбу удить, пристроилась на муравчатом угоре с ивовым прутом в руке, с которого на бечеве свисал крючок.

— Бросай, бросай, — шипел отец, но бросок был слаб, бечеву снесло вспять, она застряла в водорослях. — Ах, чтоб тя черт побрал! — взвыл отец, кулаком угрожая горизонту. Она пустилась наутек, сочтя себя причиной его гнева, потом уж только матушка растолковала, что это сэра Томаса он клял, который, возвращаясь с дальней охоты, грохотал поверху на дрожках.

— Остановите... остановите карету, — приказала миссис Трейл.

— Уж не больна ль ты, Хестер? — крикнул муж, когда она вышагнула на вечернюю тропу. Она не отвечала, и он последовал за ней, правда лишь с целью помочиться в живую изгородь.

Миссис Трейл глядела вверх и в мчащихся по небу тучах угадывала подобье мгновенному пробегу миновавших лет. Еще ей повезло, она решила, годы в своем мельканье ничего ей не поднесли такого, что стало бы причиной долгих мук, — и даже пожиная ее детей, ведь смерть событие естественное, случается по Божьей воле.

Вернулась она в карету повеселев и даже бросилась целовать хлюпающую Куини в обе щеки. Джонсон едва сдерживался; всякая нежданная отсрочка на пути к Личфилду его бесила.

Ночь провели они в Данстабле, на постоялом дворе неподалеку от приходской церкви. Заведение было не из приятных, комнаты грязны, еду подали на щербатом блюде. Вдобавок с промедлением, по той причине, что у хозяина недоставало одной ноги, каковая утрата, он давал понять, его постигла, когда корабль, на котором он служил отечеству, пошел ко дну близ Провиденса, Род-Айленд, при атаке патриотов[1].

Простуда Куини разыгралась — то кашель нападет, то чих, и миссис Трейл поспешила уложить ее в постель. Горничных девушек она с собою не взяла и принуждена была сама хлопотать вокруг ребенка. Что, впрочем, не так ее раздражало, как могло бы, поскольку Джонсон успел их уморить, пичкая сведениями о городишке, копаясь в подоплеке названья каждой улицы и рассуждая, зачем да почему его построили монахи-августинцы XII века на месте, где издревле процветала торговля шерстью. Ни стычки в Северной Америке, ни ткачество в Бедфордшире не

1. В 1772 г. жители Провиденса, борясь за независимость, сожгли корабль англичан.

увлекли ее воображенья, так что она ретировалась, препоручив разговорившегося Джонсона заботам осоловелого Генри Трейла.

Лишь к десяти часам наутро компания покинула Данстабл. Джонсон, уверявший с вечера, что отправляться следует никак не поздней шести, еще четыре часа целых не мог вылезти из постели. И даже не подумал извиниться, правда, судя по тому, что он оставил свою булочку нетронутой, миссис Трейл догадывалась, как ему неловко.

Была уже лунная полночь, когда карета, гремя по булыжной мостовой, въехала на постоялый двор "Лебедь", что в Личфилде.

Не успела Куини проснуться, миссис Трейл ей принесла миску теплого хлеба с молоком. От невозможного чиханья молоко расплескивалось на одеяло. Изо всех сил бодрясь и давясь кашлем — мама была ярый поборник клизм и пилюль, — Куини уверяла, что совсем поправилась. Несмотря на все эти ухищренья, миссис Трейл объявила, что различает затрудненность ее дыханья, и пригрозила, что придется, верно, смазать грудь гусиным салом.

Одетая, собираясь спуститься по ступеням, миссис Трейл, к своему удивлению, обнаружила, что Джонсон меряет шагами прихожую внизу. Завидя ее, он взбежал наверх и, свирепо оглядев ее наряд, вскричал:

— Нет, нет, так не годится!

На недоуменные расспросы он ответил, что это летнее платье слишком мрачно и следует переодеться во что-то посветлей и попышней. Непостижимо, как человек при таком ужасном зрении, вдобавок сам ходивший огородным пугалом, мог быть столь строг к чужой оснастке.

Озлясь, но сообразив, однако, что ему хочется, чтобы она понравилась личфилдским его знакомцам, миссис Трейл покорилась просьбе и вернулась в голубом шелковом платье с кринолином и оторочкой из лебяжьих перьев. Мистер Трейл разворчался, зачем, мол, она так вырядилась, дело идет к дождю и жители Личфилда, верно, все одеты с сельской простотой.

— На всех не угодишь, — сказала она в сердцах, на что Трейл возразил:

— Хорошо еще, я добрячок.

Едва это слово слетело с его губ, миссис Трейл вся побелела, ведь оно служило заглавием пьесе бедного Голдсмита, который совсем недавно умер весь в долгах, а под конец и помрачась рассудком[1]. Прижавши руку к сердцу, она тревожно глянула на Джонсона. Заметя ее беспокойство, он выговорил хрипло:

— Голди я любил, и хоть могу *сказать*, что по нему тоскую, я не могу поклясться, что это *чувствую*.

Со вздохом облегчения, ибо, ударься он в угрюмость, все путешествие в Личфилд было бы испорчено вконец, Трейлы вышли с постоялого двора за ним следом.

Едва оказались они на улице, Джонсоном завладели бесчисленные встречные, и каждый уверял, что близко знал его в детстве. Кто плескался с ним в пруду, дремал за партою с ним рядом; кто стаивал на страже, покамест он обирал сады в Джордж-лейн, или бежал и гикал у него под боком — той порой, когда стада с полей влеклись домой[2]. Он был явно

1. Оливер Голдсмит умер в апреле 1774 г.
2. Строки из поэмы Александра Попа "Одиссея".

польщен вниманием, ему оказанным, хоть в сторону бурчал, что от роду не видывал кое-кого из тех, кто с таким одушевленьем тряс его руку.

Чтобы вознаградить Куини, которая выказывала столько мужества в надежде избегнуть маминых медицинских попечений, Джонсон первонаперво повел их в музей Грина за собором. Там увидели они прелюбопытное собрание природных и рукотворных редкостей, среди которых главным был скелет некоего дикаря Оронуто из Эфиопии, чьи кости поросли дикобразьими иглами. Сие невиданное чудище, было указано, во всем мире не имело себе подобных.

Мистер Грин отсутствовал, когда они явились. За ним послали, он рысью прибежал, рассыпался пред Джонсоном в любезностях и стал угождать гостям так рьяно, что уже через четверть часа Генри Трейл объявил, что утомился, и был препровожден мистером Грином в святая святых музея, где и соснул на древнем ложе, якобы принадлежавшем некогда императору Нерону.

Куини пришла в восторг от каменного пса Цербера, который, хоть и лишившись двух из своих голов, охранял трон Аида, и настояла на том, чтоб ей позволили потрепать его за ушком. Она сочла, что уцелевшая голова — ну вылитая Красо́тка, такая же злющая пасть. С мистером Джонсоном она поделилась своей досадой, что подобные предметы не уместишь в ее ларце, а раковины из Брайтелмстона и клок мистера Попа могут служить им разве что слабою заменой. Он с нею согласился и обещал подыскать что-нибудь столь же необыкновенное, хоть и размерами поменьше, когда снова он будет в Оксфорде. Миссис Трейл ущипнула Куини в знак порицания за эту откровенность и поскорее увлекла от статуи подальше, поскольку сопроводительная надпись с большой подробностию сообщала, как царь подземного царства сильничал Персефону.

Джонсон — правда, когда не слышал Грин, — распалился из-за вовсе незаслуженного титла чудища, невиданного ли, или нет, каким заклеймили Оронуто. Буде бедняга и впрямь имел несчастье отрастить такие иглы вместо волос, он рассуждал, куда бы лучше закопать его поглубже в землю, чем выставлять эти бедные останки невеждам напоказ. К тому же он сомневался и в подлинности экспоната, ибо подобный феномен видел на выставке у мистера Лири в Хампстеде. "Это копия, — он гаркнул, с грохотом пройдясь по скелету тростью, — и скверная к тому же".

Он так побагровел, что миссис Трейл даже забеспокоилась, тем более что угадывала причину этой вспышки; разве сам Джонсон с ранних лет не служил предметом любопытства? При мысли о его мальчишеских страданьях на глаза ей выступили слезы, и тотчас она изобразила интерес к внутренностям осетра. Всегда зоркая Куини заметила, как она сжимает губы, давя зевок.

Потом отправились в собор, где, сославшись на свои затекшие суставы, Трейл объявил, что лучше прогуляется в ограде и полюбуется дворцом епископа. Куини взмолилась, чтобы ее отпустили с папой, но миссис Трейл и слышать не хотела.

— Нет, ты непременно должна пойти в собор, — она сказала, — и глянуть на то место, где мистер Джонсон мальчиком чуть не погиб, когда обвалилась крыша. Представь себе... грохот кирпичей... густые клубы пыли... а маленький Сэмюэль карабкается вверх, чтоб выпрыгнуть в окно.

Выслушивая это, Джонсон в притворном отчаянии тряс головой.

— Как всегда у женщин, Ягодка, и у мамы твоей в особенности, рассказ начинен неточностями. Крыша обвалилась, верней известка осыпалась, на самом деле, в церкви Святой Марии на базарной площади...

— Та церковь, другая церковь, — крикнула миссис Трейл, — не все ли вам равно?

— ...и после легкой этой неприятности отец взял меня за руку и вывел за дверь.

— Главное — соль рассказа, — не сдавалась миссис Трейл, и мистер Джонсон готов был яростно оспорить это сужденье, но к нему уже подплывал младший регент собора, сдержанный господин, чудесным образом не помянувший о встречах на школьном дворе, всего лишь выказав знакомство с его славой.

Куини плелась за ними следом так медленно, что скоро оказалась совсем одна. Тотчас она повернула и бросилась за дверь, на поиски отца. Она выбежала в ограду, вороны сразу снялись с деревьев и, каркая, парили в вышине. И хлопали крыльями так оглушительно, что она замерла на тропке и заткнула уши; ей казалось, что с неба ссыпают камни. И тут из-за угла епископского дома вышел папа; он к ней приближался. И улыбался. Она к нему побежала; у папы была такая чудная улыбка, как улыбнется — сразу ничего не страшно. Он ей рассказал, что встретил смешного старика, чеканщика по серебру, и этот тоже божится, что в детстве был другом Джонсона.

— И ты поверил? — спросила Куини. — Он тебе рассказал, как плавал с ним в одном пруду и в школе пользовался одной грамматикой?

— Ни обученье, ни вода не поминались, — ответил папа, — только то, что Сэм был мастак лазать по деревьям.

Тут солнце выкатило из-за туч, и он повел ее в удобное местечко, и вместе они нежились в золотых лучах и развлекались детскими стишками. Хоть и считала, что давно уж стала слишком взрослой для таких ребяческих забав, Куини покорилась ради папы. Да не такая уж это была и каторга: папа совал палец в рот, изображая Джека Трубача[1], и она хихикала.

Час спустя миссис Трейл и мистер Джонсон вышли из собора. Они так долго прощались на ступеньках с младшим регентом, что у Трейла лопнуло терпенье и он крикнул грубо:

— Полно тебе, Хестер, утро почти прошло!

Мистер Джонсон поспешил к нему куда проворней, чем миссис Трейл. Запыхавшись, он спросил, не будет ли Трейлу любопытно глянуть на дом, где друг его появился некогда на свет, и тот любезно отвечал:

— Душа моя Сэм, какое любопытно! Да я на крыльях готов лететь. Веди же нас туда скорей, будь добр.

Они двинулись в сторону базарной площади, но вдруг Куини взвизгнула от боли. Мама, несясь сзади, наступила ей на пятку.

— Не отставай, — кинула она и нет чтобы остановиться.

Улицы делались людными, Джонсон то и дело озирался, проверяя, рядом ли его спутники. Увидев ковыляющую Куини, он повернул назад и спросил, что случилось. Она в слезах ответила, что мама ее ударила туфлей по ноге — на чулке даже есть красненькое пятнышко.

— Болит? — спросил он.

1. Маленький Джек Трубач — герой старинного детского стишка.

– А то не болит! – всхлипнула она. – Вдобавок мама и не подумала попросить прощенья. – Она печально глянула вперед, туда, где папа огибал базарные ряды и за ним, качаясь на мамином чепце, уплывали перья.

Мистер Джонсон сказал:

– Но попроси мама прощенья, разве боль от этого бы стихла?

– Нет, – согласилась Куини, – но пусть бы мама хоть понимала, что́ она наделала.

– Разве извинением заговоришь ушиб?

– Небось на вас не наступили, – возмутилась Куини.

– Истинная правда, – сказал он, – а потому мы утаим от мамы твою рану, не то она погонит нас обратно в "Лебедь", чтобы ее промыть. И не видать нам дома, где я родился.

– Да и какая это рана, – смягчилась Куини. – Царапина просто.

– Вот именно... и не всегда у мамы легкая рука, особенно если она волнуется.

Всмотревшись, Куини заметила, как дрогнули его большие губы, какая боль метнулась в зеленых глазах. И вовсе он не такой самонадеянный, как может показаться.

Она сказала:

– Боже упаси, зачем мне быть обузой, – и захромала за ним следом через площадь. Они похожи, он и мама, она думала, оба эгоисты.

Дом, в котором родился Джонсон, окнами смотрел на церковь Святой Марии и на торговые ряды. Построил этот дом отец, книгопродавец, и Джонсон так его и оставил за собой. Мисс Портер, дочь Тетти от первого брака, здесь жила до смерти его матери; наследовав деньжат от дяди, она съехала, перебралась на независимое житье. Теперь дом занимал нищий школьный учитель, который, известясь о прибытии хозяина, почел за благо на день отлучиться.

Размеры постройки удивили миссис Трейл; она считала скромным происхожденье Джонсона. Сдуру так ему и сболтнула, но он отрезал:

– Слово "скромный", в значении безропотного приятия своей судьбы, в применении ко мне, сударыня, не радует мой вкус. Стесненные обстоятельства – вот выражение, точнее соответственное последним годам отца.

Вдруг – миссис Трейл повезло – он заметил, что проржавели какие-то колья вокруг схода в погреб. Досада его, следственно, переметнулась на другое, и он стоял, и бормотал, и вскидывал руками так, будто бы, утратя эти железки, дом непременно рухнет. Тут уж Трейл взял его под локоть и поволок к дверям.

Водя друзей по дому, Джонсон их потчевал воспоминаниями своих ранних дней. На этой вот ступеньке, например, братец Натаниэль – маленький Натти – споткнулся, гонясь за мышью, кубарем свалился вниз и в кровь раскроил себе лоб. Рана пустячная, но он прикинулся, что лежит без памяти. Свое возвращение в чувство обставил он такими жалостными стонами и трагическими взорами, что куда там Дэви Гаррику. Сцена эта так живо сохранилась в воображении Джонсона по той причине, что мать сочла его виновным в злосчастии Натти и в виде кары заточила на несколько часов в угольный чулан. Вышел он оттуда, он рассказывал, темный, как Фрэнк Барбер, но не только снаружи темный; от такой несправедливости у него дочерна помрачилось сердце.

На кухне он им показал тот самый стул, на котором сидел он, читая "Гамлета, принца Датского", и, дойдя до сцены, когда является призрак

покойного короля, так перепугался, что отбросил книгу и выскочил на улицу, от призраков подальше.

– Ежевечерне в соседней комнате, – он продолжал, – отец мой откладывал счета и, оставя нашу дверь гнить на петлях, взбирался по ступеням, дабы запереть от воров парадное.

Вспомнив о двух этих обстоятельствах, из которых одно свидетельствовало об избытке фантазии, другое – о ее отсутствии, он покатился со смеху.

– А по-моему, сердце не может почернеть, – сказала Куини. – Разве что при зараженье крови.

Перехватив взгляд Генри Трейла, скорей тревожный – эти перепады чувств его всегда смущали, – Джонсон доблестно взял себя в руки. Смахнув слезу, он поспешил прибавить:

– Что-то есть такое в ритме этих слов "Прощай, прощай и помни обо мне", что по сей день у меня от них мороз по коже.

Миссис Трейл, угадав, что Джонсону неловко, ободрила его улыбкой. Веселость часто не к месту на него нападала – от полноты души.

Она порадовалась, что зрение его так слабо: дом был в плачевном виде – панели обветшали, все потолки в сырых разводах, и ни один ковер не обошла своим вниманьем моль. Будто прочитал ее мысли, Джонсон сказал:

– Кажется, учитель наш не из тех, кто рожден сражаться с паутиной.

Потом подпрыгнул, сделал выпад тростью и прибавил:

– Как, впрочем, и я, – и то была истинная правда.

– Я слыхала, – сказала миссис Трейл, пальцами отдирая от щеки липкую нить, – будто паучихи очень заботливые матери.

Замечание это развеселило Куини, она хихикнула.

Миссис Трейл ничего не могла с собой поделать, но ей неловко было бродить по дому, она боялась не совладать с этой неловкостью при входе в комнату, где родился Джонсон. Он так много ей рассказывал о своих первых днях, что тотчас обступили ее призраки былого, ведь та же стояла здесь кровать, на которой леживали они с братом Натти, покуда мать читала им про геенну огненную.

У изголовья на стене был выжженный квадрат – слишком близко держали свечное пламя, что ли. Пытались, видно, затереть, да только больше расплылось линялое пятно. Она глаз не могла отвести от этого пятна, и скоро ей привиделась на его месте голова ребенка: рот разинут, искаженный немою мукой. За окнами, туманя очертанья церкви, где крестили Джонсона, шел дождь, и в тонком шелесте по стеклам ей слышалось потрескивание огня.

У ней подкосились ноги, она упала в кресло, хромое вследствие утраты одного из своих колесиков. Джонсон объявил, что не время спать, придется ей воспрянуть, она еще не осмотрела верхних комнат, где жил когда-то мистер Суинфен, скрипач и отец миссис Десмолинз.

Стараясь скрыть свои чувства, миссис Трейл прилгнула, что слушает шумы базарной площади, какие, верно, сам он слушал в детстве.

– Какие шумы? – допытывался он.

– Ну, рев бедных животных, – брякнула она наобум, потому что Куини зашлась-таки в приступе кашля. – Как тот медведь ревел, которого мучили на базарной площади.

– Какой медведь? – осведомился он.

— Тот, про которого упомянула миссис Десмолинз, — она сказала, — когда доктор Дилэп удрал по лестнице, а мы вас увезли домой из Джонсон-корта.

— Вы изъясняетесь загадками, — он прогремел. — В Личфилде на базаре никогда не было медведей, пытаемых или иных, — одни быки.

Скоро они ушли из этого дома — их ждут, он сказал, у мисс Портер, до полудня. Миссис Трейл не очень-то хотелось тащиться пешком под этим ливнем, но Джонсон объявил, что она глупо будет выглядеть, одолевая столь краткий путь в карете. Она добивалась, чтоб он хотя бы ей разрешил вернуться в "Лебедь" — надеть галоши. Он ее попросил не суетиться, он на нее взмахнул рукой, как муху отгонял. Она решила, что он волнуется перед тем, как ее представить мисс Портер, и прикусила язык.

В тесных проулках, запруженных толпой, они кое-как пробивали себе дорогу. Миссис Трейл кляла свой кринолин. Когда колокола собора прозвенели, отмеряя час, вороны, клевавшие с булыжников объедки, все разом взмыли и пролетели так близко от ее чепца, что она даже вскрикнула. Вдобавок то и дело приходилось озираться, удостоверяясь, что Куини безопасно держится стены; девчонка отказалась идти вперед и хромала, чтобы привлечь к себе внимание.

Мисс Портер застали они за картами с тремя престарковатыми дамами, сестрами между собой, и господином, у которого была повязка на глазу. Дамы, не чинясь, оглядывали миссис Трейл с головы до пят; невежи даже из-за стола не вышли ей навстречу.

Миссис Трейл прелестно улыбалась, чтоб им понравиться. Ей было любопытно в дочери найти черты покойницы-жены: понять, что же нашел в ней Сэм. Кроме Гаррика, она никого не знала из знакомых Тетти; была еще, конечно, миссис Десмолинз, старинная подруга, но ту, все страждущую заблужденьем, будто бы Трейлы похитили у ней Джонсона, с трудом можно было склонить и к вежливости, не то что к откровенности.

Куини изумили выходки мисс Портер. По рассказам мистера Джонсона она вообразила, что они так любят друг друга, и вот, пожалуйста, на забаву своим личфилдским дружкам мисс Портер поворачивает ему спину и давай выкатывать глаза, гримасничать — показывать, каким его считает чудаком. Сам Гарри не мог бы вести себя ужасней. Хорошо, что мистер Джонсон только раскланивался, целовал ручки и ничего не замечал.

Со всеми перезнакомясь, он безраздельно отдал свое внимание падчерице и одноглазому господину, которого, как обнаружилось, знал в молодые лета и который предпринял путешествие из Бирмингема, дабы возобновить знакомство. Общества новых для него людей он не терпел, исключая юных и прекрасных дам, к каковому разбору ни одной из трех сестриц даже и при самых смелых усилиях фантазии никак нельзя было отнесть.

Дальнейшая беседа коснулась того, как изменился город со времени последнего приезда Джонсона, хворей и немощей мисс Портер и неумолчных сплетен вокруг миссис Мернз, которую все подозревали, хотя как докажешь, что она отравила мужа с помощью медовых пряников.

Тут мистер Джонсон воодушевился; сказал, что первое классическое описание смерти от меда можно найти у Ксенофонта: "Анабасис", книга 4, глава 7[1]. На подступах к Трапезуну солдаты нашли многое множество

1. Ксенофонт Афинский (ок. 430—355 г. до н. э.) — древнегреческий писатель, ученик Сократа. "Анабасис" — название его исторического труда об отступлении 10 тысяч греческих воинов через всю Малую Азию к побережью Черного моря.

пчелиных ульев... всякий, кто отведал краденой сласти, уподобился пьяному; кто же больше ее вкусил, стал как безумный и умер с грязной бранью на устах.

— Неприятность какая, — сказала мисс Портер, передавая сухарницу с печеньем.

Куини не все разбирала, что они говорили, и папа тоже, его сбивали с толку их эти растянутые гласные. Мама — та все улыбалась и кивала, но это она, конечно, притворялась. К речи Джонсона они привыкли, как он произносил "суль" вместо "соль", и его "пышки" от "пушек" было не отличить, но этот господин с повязкой и вовсе говорил на собственном каком-то языке. Когда предложили ему третью рюмку вина, он ответил что-то вроде:

— Не нужно, не закучало б на вулнах, уж я-то штурмягу эту знаю.

Папа сказал:

— Я не улавливаю вашу мысль, сэр. Вы моряк?

— Н-нэт, — был ответ. — А что, похож?

И тут одна из старух вмешалась:

— Он хочет сказать, сэр, что, если перепьется, как бы вас ему не облевать.

Папа нашел это забавным и громко расхохотался. Мистер Джонсон был, кажется, доволен; диалога он не слышал, но радовался, что папе весело.

Дождь перестал, и когда солнце, как забавно она выразилась, вышло поиграть, мисс Портер предположила, что Куини, верно, хочется осмотреть сад за домом. "С тобой пойдет миссис Скейз", — она сказала. Куини больше хотела бы пойти сама, хоть эта миссис Скейз с виду была не такая страшная, как ее сестрицы; волосы, торчавшие из-под чепца, местами были рыжие, и она твердо держалась на ногах.

Путь в сад был через кухню, и там на полке, среди кастрюль и сковород, пристроился стеклянный ящик с одной-единственною рыбкой, посверкивавшей чешуей и выпученным глазом в солнечном луче. Миссис Скейз сказала:

— Наконец хоть чем-то тебе угодила — вот ты и улыбнулась, — и, выведя наружу, усадила ее на скамейку — нетесаную доску на двух бочонках, один больше другого. Куини устроилась там, где повыше, и стала болтать ногами.

Сиденье было довольно необыкновенное, как и сад, между прочим, — никаких цветов, на клумбах сплошь капуста, и листья все чем-то перепорчены. На тропе, подле вянувшего в своем горшке растенья, лежала мертвая птица с выеденной грудкой.

И миссис Скейз тоже была не совсем обыкновенная, потому что говорила с Куини как с равной, спрашивала ее мнения, не снисходя, о городе, о людях, с которыми она тут познакомилась, и о мистере Джонсоне. Ожидая ответа, старушка смотрела ей не в глаза — на губы, будто удостоверяясь, что слова идут оттуда. Куини отвечала, что город произвел на нее довольно приятное впечатление, но она покамест ни с кем почти не познакомилась. Что же до мистера Джонсона, она настолько с ним сжилась, что сужденья давно уж заместились чувствами, — и тут миссис Скейз похлопала ее по коленке и крикнула:

— Молодец, барышня!

Сама миссис Скейз все знала о Джонсоне, вернее о том мальчике, каким он был когда-то. Ее тетушка, она сказала, давно покойница, была

родственница с одной женщиной, так та хвастала, что вхожа к мистера Джонсона матушке. Почти все из этих рассказов Куини уже знала, но у миссис Скейз было такое интересное воображение. Шрамы у него на шее и на щеке, она говорила, — от свищей, заразы, которую, доктор Суинфен объяснял, подхватил он от кормилицы, у ней было гнилое молоко, и свой младенчик тоже заразился. Говоря, она когтила воздух пухлым пальцем, чтоб было убедительней; рядом порченая капуста стонала на ветру.

Миссис Джонсон, как ни кичилась своим высоким происхождением — Форды на голову выше родни книгопродавца Майкла Джонсона, — пустила слух, якобы болезнь эта у них в роду, чтобы вину с себя снять, что отдала ребеночка в такие дурные руки. Шрамы эти потом еще сильней повыступили, и будто мало этого, так он еще почти оглох, чуть не ослеп на один глаз, да и в другом слабое зрение. Тетка Форд, как в первый раз его увидела, сказала, что, мол, на улице бы такое жалкое создание не подобрала.

— Чудо еще, что он не умер, — прошептала Куини, разглядывая гнющую на тропке птицу. Черные перья на солнце отливали синим. Она думала про Люси, у которой всего-навсего гноились уши, и про Пенелопу в колыбельке, которая погибла вообще неизвестно от чего.

— Мать его в Лондон отвезла, чтоб к нему прикоснулась королева, — сказала миссис Скейз, и Куини ответила, что про это знает и много раз щупала медаль, которую мистер Джонсон носит на шее.

— Миссис Джонсон посчитала, что касание это его спасло, но мистер Суинфен, человек предусмотрительный, настоял на своем, и мальчику сделали на руке надрез — чтобы заразу выпустить, так он с открытой раной и проходил до полных до шести годов.

Бедная ручонка, подумала Куини, устыдясь, что подняла такой переполох из-за какой-то царапины на пятке.

— Он уж и тогда такой смышленый был, — сказала миссис Скейз, — все наизусть выучит, стишки складывает и тому подобное. Да только мало ему было радости от этого, домашняя обстановка гнела, из-за того, что на отца находила страшная тоска, и часто находила. Ну и матушка тоже была не сахар, ума у ней потому что не хватало ни мальчика понять, ни мужа.

Как часто это бывает, печально размышляла Куини, разглядывая крапчатую капусту.

— А еще он в детстве ужасно как вскипал, это, конечно, из-за того, что мозг чересчур большой.

— Он и теперь вскипает, — сказала Куини, — хотя после он часто просит прощения.

— Особенно один был случай, — продолжала миссис Скейз, — когда ему всего три годика исполнилось. Тетушкиной родственницы соседка своими глазами видела — она поросенка ходила продавать. Мальчика отдали учиться в пансион к мадаме метрах в ста всего от базарной, и каждый полдень за ним туда служанка приходила. Как-то утром, месяц май был, ставила она на огонь котелок да возьми и обожги углем палец, и долго потом прыгать ей пришлось, его чтоб остудить. Сэмюэль пошел домой сам, а вплоть за ним мадама, очень она за него тревожилась... вдовая женщина, своих схоронила шестерых, все оспой умерли, она после того даже заикаться стала. На перекрестке Сэмюэль, сослепу ничего не видя, плюхается на четвереньки и давай пробираться по сточному жело-

бу — прямо посередине улицы, — держит путь к отцовой лавке. Голубая курточка над локтем вся черная стала... это он руку поранил и кровь из нее текла. Мадама кричит: "С-С-Сэм! С-с-стой!" Рябая курица как выскочит из базарной выгородки, прыскает прямо перед ним и головой туда-сюда мотает... тетушкиной родственницы соседка до своего смертного часа ту курицу не могла забыть...

— Некоторые курицы особенно запоминаются, — сказала Куини. — У мистера Джонсона была ручная курица по имени Сократ.

— Мадама, опасаясь, как бы под телегу он не угодил, к нему кидается, давай его поднимать, а он как ногой брыкнет ее, ну прямо бешено. Мать потом устроила ему хорошую взбучку за то, что так обошелся он с мадамой, и знаешь, что ответил этот карапуз?

Куини затрясла головой.

— Что когда тебе скверно, то и ведешь себя ты негодяем. И — в слезы, до того еще, как его выпороли.

— А курица? — спросила Куини. — Что сталось с курицей?

— Ничего не известно, — сказала миссис Скейз, — хоть я так думаю, кто-нибудь сварил ее на обед. — И она облизнулась, изображая, будто смакует курятинку. Куини стало весело; она тоже стала изображать: подпрыгнула и локтями замахала, как крыльями. Прыжок этот положил конец их посиделкам — доска съехала, и миссис Скейз плюхнулась в капусту.

На последовавшие отчаянные вопли в сад приковыляли сестры. Не так уж и расшиблась миссис Скейз, но вела себя так, как будто рухнула с ужасной высоты, и жалостно стонала, пока сестры помогали ей подняться. Женщина она была упитанная, и, втащив ее в комнаты, обе они просто тряслись от напряженья. Мисс Портер, разговаривая с мистером Джонсоном, едва на них взглянула, а папа и господин с повязкой теперь дремали, так что только мама одна и могла всполошиться из-за миссис Скейз.

— Лодыжка? — она вскрикнула, изо всех сил выказывая беспокойство.

— Я повредила зад, — простонала миссис Скейз, и тут старый господин фыркнул. Возможно, что-то ему приснилось, потому что глаза у него были закрыты.

Мама пыталась вклиниться в монолог миссис Скейз.

— Возможно, — она сказала, — следовало бы послать за лекарем, чтобы проверить, не переломаны ли кости.

Мисс Портер ответила:

— Насколько мне известно, зад не содержит в себе костей, — и продолжала разговор с мистером Джонсоном.

Она ему рассказывала о соборе, о том, как братия грозилась подать жалобу на настоятеля из-за плачевного состоянья крыши. Мистер Джонсон смотрел мрачно и досадливо пофыркивал. Вдруг он вскочил, объявил, что они званы к обеду к четырем часам у Питера Гаррика, и пора им отправляться. Мама довольно грубо ткнула папу в плечо; проснувшись, он угостился из сухарницы оставшимися крохами печенья.

Мисс Портер провожала их до двери. На полпути мистер Джонсон вдруг повернул обратно, бормоча, что забыл проститься с сестрами. Куини оглянулась, когда он открывал дверь в залу, и ясно увидела: миссис Скейз, сидя прямо, как струна, мотает головой, как готовый боднуть бык, и возит ногами по ковру. То есть она изображала — довольно похо-

же, хоть и перегибала палку, — жеманство только что отбывших, как она думала, гостей. Пойманная с поличным, миссис Скейз закрыла лицо руками.

Могла и не беспокоиться; у самого порога на мистера Джонсона, как это с ним бывало, напало вдруг желанье перевернуться на одной ножке прежде чем его переступить, и он ничего не видел. Перецеловав ручки всем смущенным сестрам, он откланялся.

Уже на улице он выразил недовольство мисс Портер. Миссис Трейл, желая узнать причину, ускорила шаг, чтоб от него не отставать. Она надеялась, что это личные обиды, и была разочарована, когда выяснилось, что раздражение вызвано нападками на настоятеля.

— Если кровлю и впрямь сняли, — сказал он, — то у меня нет сомнений, что произведено это было ради помощи обездоленным.

На это миссис Трейл не стала отвечать, давно уж убедившись, что о бедняках Джонсон печется, как никто другой. Однажды проходя с ним мимо дешевеньких харчевен, тесным рядом на особицу выстроившихся вдоль аллеи Ковент-Гардена, — они собирались выпить чаю с Дэви Гариком, — она заметила, что это место можно бы назвать "Обжорный ряд", и вдруг он отрезал грубо — негоже, мол, шутить над тем, что так для многих важно. Она ответила, что он решительно ее не понял, и, ужаленная его тоном, вслух усомнилась, не позирует ли он теперь, когда собственные его обстоятельства так поправились, столь себя отождествляя с теми, кому меньше улыбнулось счастье. Уж столько воды утекло, теперь не вспомнить, что он тогда ответил, одно запомнилось — он весь побагровел.

— Мне понравилась мисс Портер, — она сказала, не вовсе лицемеря, — и, может быть, особенно тогда, когда пресекла мое поползновенье вызвать лекаря.

— Она мало похожа на Тетти, — сказал Джонсон, — если у вас это на уме.

Когда пришли на Дэм-стрит, он кивнул на пансион, в который он ходил. Больше ничего не прибавил, заметил только, что здесь выучился грамоте. Пройдя еще вдоль нескольких домов, он остановился и, тростью указывая на крыльцо, попросил спутников склонить головы и возблагодить Бога за глухонемого по имени Дайот. Этому человеку следовало бы памятник поставить, ибо не кто иной как он во время Гражданской войны прикончил лорда Брука, предводителя сил парламента, когда шальною пулей из своего мушкета вышиб из него мозги и уложил его на эту вот самую ступеньку.

Куини с особенным вниманием осматривала крыльцо и даже провела по доскам облизанным пальцем, будто потом надеясь на нем обнаружить пятна крови. Миссис Трейл строго ее одернула, но Джонсон сказал, что в детстве поступил он точно так же и никогда не следует подавлять воображение.

Миссис Трейл в долгу не осталась.

— Царство фантазий постепенно крепнет, — продекламировала она. — Покуда существенность совсем не уступает мечтаниям. Сначала правят они нами властно, потом и деспотически. Ложные понятия совсем завладевают умом, и жизнь тогда проходит в снах, полных восторга или муки.

— Вы порядок спутали, сударыня, — сказал он, а сам сиял из-за того, что она заучила, что́ некогда он написал.

Воротясь на постоялый двор, миссис Трейл взбежала по лестнице наверх, переодеться в другое платье — на этом от дождя обвисли перья.

— Куини, — она вздохнула, глядя в зеркало на туалетном столике, — какое несчастье принадлежать к слабому полу. Ни папа, ни мистер Джонсон, как мы видим, не бегут охорашивать свою одежду или подправлять свой цвет лица.

— А почему мисс Портер такая старая? — спросила Куини. — У миссис Стрикленд тоже дочь от первого брака, так той еще семнадцати нет.

Жена мистера Джонсона, Тетти, — объясняла миссис Трейл, — была двадцатью годами его старше и уже не молода, когда они венчались, на что Куини, разглядывая материнское отражение, заметила:

— Как он мил, что ему нравятся старые женщины, ведь правда? Часто они чем старее, тем злей, да?

Глаза миссис Трейл глянули из зеркала печально. Ах, не все ли мне равно, решила Куини; у нее опять разболелась пятка.

Джонсон ради поездки в Ограду сменил парик. В Стретэме частенько подсылали лакея, чтобы, подстерегши, когда выйдет он из комнаты, сменил на нем будничный парик, изрядно сверху подпаленный, на нечто более пристойное для ужина с гостями. Приходило время, Джонсона убеждали наконец ретироваться, и тот же затаившийся лакей сдергивал это украшение с головы его, дабы оно не пострадало от свечи, склоняемой над книгой в часы полуночных бдений. Кроме того на нем были: темный камзол с пуговицами из конского волоса и туфли с серебряными пряжками.

Миссис Трейл надела серое и слушать не хотела возражений. Мистер Трейл, заметя состояние жены, распорядился, чтобы ее снесли в Ограду в портшезе; Куини устроилась у ней на коленях. Дождь перестал, но злобный ветер трепал на конном дворе каштаны. Сам Трейл жаловался на недомоганье, но Джонсон уверял, что быстрая пешая прогулка его как нельзя лучше исцелит.

Торги закрылись, на базарной площади никого не оставалось, кроме мусорщиков. Трейл заметил желчно, что личфилдцы не отличаются усердием. Джонсон возразил, что это жители Бирмингема работают только руками, а личфилдцы пускают в ход мозги. Генри Трейла позабавило, что столь ярый поборник земляков счел, однако, нужным в ранней молодости их покинуть.

В честь Джонсона Питер Гаррик созвал веселое собранье ученых старых друзей; среди прочих были Эразм Дарвин, ученый и изобретатель, и доктор Джеймс, которого "Медицинский словарь" Джонсон снабдил предисловием. Обстановка общего согласия успокаивала миссис Трейл. Ей нравился хозяин, он не раз сиживал у ней за столом в Саутуорке. Конечно, он не умел так развлекать, как брат, но оно и к лучшему; Дэви часто бывал несносен, особенно после очередной победы в Друри-Лейн. Вторая миссис Гаррик тоже была мила, хоть и проста, пожалуй, в самом прямом смысле слова.

Это она первая заговорила о недавней поездке Джонсона в Шотландию. Тому два года как она познакомилась с Босуэллом; удивительно милый молодой человек. Рассказал ей о своем первом адвокатском деле при Эдинбургском городском суде, когда он защищал кого-то — кто овцу украл. Мистер Босуэлл уж так старался, добился оправдательного приговора и спас клиента от петли палача. И вот восемь лет спустя тот же са-

мый человек совершает то же самое преступление, и тут уж его признают виновным. "Мистер Босуэлл, — рассказывала миссис Гаррик, — часами не выходил из камеры обреченного, все силился его утешить. Он целый план составил, как веревку перерéзать сразу как его вздернут, и даже с доктором договорился, чтоб тот был под рукой и висельника оживил. Да только ничего не получилось. Происшествие это ужасно как поразило мистера Босуэлла, он говорил, что глаза у покойника так и остались открытыми и в них, ему показалось, он увидел свое отражение".

На миг все за столом примолкли; молчание нарушил Трейл, объявив, что тех, кто крадет овец, надо наказывать, не то у нас вся баранина переведется. Кузина доктора Джеймса зашлась хохотом, даже стала стучать по столу ложкой.

— Мистер Босуэлл, он такой скромный, — сказала миссис Гаррик и, отчасти загадочно, заключила: — Все чувства его идут от сердца, открытого небесам.

Тут сначала Гаррик, потом Трейл, потом и доктор Джеймс ввязались в спор; спеша наперебой стащить Босуэлла с небес на землю, они обличали в нем суетность и недалекость, стремление блистать. Миссис Трейл подивилась, что непомянутым осталось пьянство Босуэлла, но, впрочем, кроме Джонсона, все тут были выпивохи. Джонсон не принимал участия в споре. Он не имел обыкновения лезть в разговор, покуда к нему не обратятся. Миссис Трейл, зная, как дорожит он дружбой Босуэлла, и с недавних пор не без причин ценя эту его привязанность, повернулась к нему и спросила:

— Ведь правда же, вы нашли его интересным спутником и рады будете снова с ним путешествовать?

— Отчего бы нет, — ответил он. — Как верно замечает миссис Гаррик, он вызывает к себе любовь вопреки недостаткам, каких у него немало.

— Но вы, по-моему, не очень жалуете шотландцев, — лукаво вставил Гаррик.

Джонсон принял это добродушно, заметил только, что Босуэлл самый неошотланенный из всех своих земляков. Тут Гаррик прямо спросил, правда ли, что Босуэлл ведет запись их разговоров, да и всех суждений Джонсона, и в таком случае не кажутся ли ему эти записи докукой?

— О нет, сэр. Отчего? Они будут неточны потому, что всякий стремится выразить себя. Живописец, например, — вглядитесь в любой портрет, и вы найдете черты автора в модели. И сказала же миссис Гаррик, что Босси увидел свое отображенье в глазах повешенного? Да и не ждет же он, что я стану читать, что он написал.

— Но если прочтут другие, — не сдавался Гаррик, — когда вас не будет? Что вы тогда подумаете?

— Тогда подумаю, сэр? — выпалил Джонсон. — Тогда подумаю... Ах, сэр, да ничего я не подумаю, ибо если, говоря "не будет", вы разумеете могилу, боюсь, мне нечем будет думать.

Миссис Трейл, заметя, как мужественно он старался побороть свой гнев, поспешила переменить тему разговора, испросив у доктора Джеймса его просвещенного мнения о пользе морских купаний. Сама она, она сказала, не понимает, в чем там польза, будучи не в ладах с соленою стихией после встречи с медузой в раннем детстве. "Стоит мне сунуть ногу в воду, она ему рассказывала, как тотчас она вспухает". Положим, она прилгнула, но куда-то надо же было увести беседу.

Долгих пятнадцать минут спустя сердобольная миссис Гаррик повела зевающую Куини наверх, к себе в спальню, и там сунула ей книжку басен с картинками. “Спасибо”, — сказала Куини и допустила, чтоб ее гладили по голове.

Оставшись одна, она встала и исследовала содержимое туалетного столика миссис Гаррик. Была там баночка румян, ваза какая-то с крышкой в виде кошки и флакон духов. В вазе лежали янтарные бусы, точь-в-точь такие, как были у нее когда-то. Вернувшись в постель, она взялась за книжку; и почти сразу, немного полистав ее, заснула.

Вот гости встали из-за стола, а вино лилось рекой, и Трейл стал строить глазки кузине доктора Джеймса. Дама — все сорок и еще не замужем — отзывалась ему любезней, чем требовали законы света. На каждой щеке — пуды румян, цветастое муслиновое платье ничуть бы не казалось неуместным на женщине моложе вдвое. Миссис Трейл с досадой смотрела на старую курицу, корчившую из себя цыпленка, и улыбалась, улыбалась. Наконец к ней подсела миссис Гаррик и, поболтав про Личфилд, про погоду и удобства “Лебедя”, спросила напрямик, как понравилась ей мисс Портер.

— Мужественная, — сказала миссис Трейл. — И не без озорства. Те, с кем она водит компанию, ее не стоят.

Миссис Гаррик с ней согласилась насчет силы духа мисс Портер. Люди говорят, она нисколько не осуждала мать, когда та выбрала себе такого муженька; сыновья — те оба сразу ни в какую.

— Старший, тот так ее и не простил. Сбежал в чужие края и больше с ней не видался.

— Второй брак, — промямлила миссис Трейл, — всегда обиден для детей, они верны прежней привязанности.

— Слух был, якобы мистер Джонсон сперва мисс Портер обхаживал, а уж потом на мать переметнулся.

— Я не знала, — сказала миссис Трейл.

Все она знала, конечно, но не собиралась просвещать эту миссис Гаррик. То недоразумение возникло из-за стихов, которые Сэм написал сто лет назад, выручая друга, Эдмунда Хектора, влюбленного в одну девицу близ Бирмингема.

— А младший, — продолжала словоохотливая миссис Гаррик, — я так слыхала, пришел как-то в тот дом на Гоу-сквер, да и сбежал, покамест Тетти позвать еще не успели... слишком грустно ему было, не мог глянуть милой матушке в лицо.

Рука Трейла ползла по колену размалеванной кузины доктора Джеймса. Миссис Трейл из себя выдавила:

— Нам следует привыкнуть к мысли, что мужчины ветреники, им подавай всех женщин сразу. Что до меня, мне все равно, я вообще не люблю мужчин.

Последние слова выпалила она с таким жаром, что даже покраснела.

— Где Куини? — она спросила и в смятении вскочила на ноги.

Миссис Гаррик повела ее наверх. Когда они вошли, девочка крепче прижала кулачки к груди, но не проснулась.

— Какой миленький ребенок, — шептала миссис Гаррик, поправляя перед зеркалом прическу. — Какое это, должно быть, утешенье, когда имеешь дочь.

— Да, — сказала миссис Трейл, — но не так часто, как может показаться.

Это угомонило миссис Гаррик, — впрочем, ненадолго. Снова она принялась судачить о мистере Джонсоне, объявила, что никогда прежде не видывала его в таком отличном здравии, и, без сомнения, этим обязан он заботам, какие ему оказывают в Стретэме. Одет поприличней, спокойней стал, весь как-то он смягчился... во всем заметно влияние миссис Трейл и к ней его расположение.

— Расположение взаимное, — сказала миссис Трейл. — Хоть с ним не всегда легко жить под одною крышей.

Миссис Гаррик выразила удивленье тем, что он снова не женился.

— Муж как-то мне рассказывал, одна очень тонкая дама как-то ему говорила, что мистер Джонсон может быть ну прямо неотразим, когда захочет.

Миссис Трейл смолкла; что-то ее огорчало, и унизительное поведенье мужа было тут вовсе ни при чем.

— ...хотя, слыхала я, он подумывал о женитьбе и всего-то год спустя как овдовел, а ведь так себя крушил, уж так крушил.

Миссис Трейл на нее уставилась. Она крикнула: "На ком?" так громко, что Куини шевельнулась во сне. Потом, уже овладев собою, она повторила свой вопрос.

— Ну как же, — был ответ. — На Анне Уильямс, на ком еще.

— На миссис Уильямс?

— На ней на самой.

— Нет-нет. Не может быть.

— Я знаю из верного источника, — шептала миссис Гаррик, — что одно время была между ними не только, совсем не только дружба.

— Какой источник? — потребовала миссис Трейл.

— Ну как же — миссис Десмолинз.

— Вздор! — крикнула миссис Трейл. — Искаженье истины. Миссис Десмолинз сама по Сэмюэлю двадцать лет уж сохнет... как можно доверять ее словам.

Волнуясь, бормоча извинения о позднем часе, о том, что надо отвести Куини обратно в "Лебедь", она растолкала девочку и выволокла из постели.

— Она переутомилась, — почти визжала миссис Трейл, — она продрогла. Смотрите, как зажимает грудь руками.

Стащив осоловелую дочь по лестнице вниз, она крикнула Питеру Гаррику, чтоб вызывал портшез.

— Хестер, — восстал муж, — здесь она лучше выспится. Меня, например, ночью ужасно как кусали.

— Мне удивительно, что ты заметил, — отрезала она. — Ты лежал как мертвый.

Джонсон и глаз не поднял, когда они выходили, даже не потрудился прервать свою беседу с мистером Дарвином.

Луна спряталась за тучи, и миссис Трейл крепко прижимала к себе Куини, на случай, если споткнутся тряско пробирающиеся по темным улицам носильщики. Сама-то она и рада бы вывалиться, стукнуться, и чтоб повышибло из головы все эти мысли.

Когда, воротясь в гостиницу, она укладывала девочку, в свечном пламени она увидела на щеках у ней слезы. Спросила, что случилось, но Куини только всхлипнула во сне; шевельнулась, разжала кулачок и выронила на валик папины янтарные бусы.

Миссис Трейл металась и ворочалась в постели; никак не могла прогнать нелепейшую миссис Уильямс. Джонсон дважды притаскивал эту тень обедать в Саутуорк и так благодарил за то, что ее допустили. И оба раза миссис Уильямс была в красном. Миссис Трейл похвалила ее наряд, из вежливости похвалила, а та сказала, что мистер Джонсон любит, когда она в ярком. И в обоих случаях, уставя на него незрячий взгляд, она его журила за то, что так жадно пожирает пищу, и он с нежданной кротостью ей отвечал: "Да-да, спасибо за напоминанье", стараясь жевать не столь свирепо. Ну чем не ответ мужа-подкаблучника?

Говоря себе, что всему виною ее воспаленное воображение, миссис Трейл натянула на голову одеяло, но снова сбросила, заслышав грохот под окном. Встала, глянула вниз, на дорогу. Небо прояснело, и в лучах луны ей видно было, как Питер Гаррик шатался на булыжниках, а рядом с ним в три погибели согнулся Джонсон. На спину ему, как куль с углем, был навьючен Трейл. После долгого, надсадного стука во входную дверь хозяин наконец сошел по лестнице и бражников впустил. Какофония, однако, длилась, господствовал голос Гаррика, лишь изредка перебиваемый голосом Джонсона, просившим тишины. Миссис Трейл закрыла свою дверь на засов, потом открыла; зачем, чтоб Генри обличал ее досаду.

Час, кажется, спустя опять раздался грохот на площадке, после чего дверь с силой распахнули и ввалился Джонсон, под мышки поддерживая Трейла. Толкая его перед собой, он приблизился к постели и свалил на нее свою ношу. Уходя, он что-то бормотал, но на латыни, и миссис Трейл под своим одеялом не разбирала слов.

Вес мужнего плеча вдавил ее в матрас, она его отпихнула. И зря; проснувшись, Трейл навалился на нее. Броски, мало его облегчая, стоили ему больших усилий. Он не произносил ни слова, она молчала тоже и, едва жалкое это предприятие завершилось, сбросила его с себя. Тут ясная луна глянула в окно и в холодном ее свете миссис Трейл с изумлением увидела женское исподнее, пенящееся на голых ляжках Генри.

Куини спала урывками и чем свет проснулась от сна, в котором ее поймал разбойник и отобрал у нее все украшения. Разбойник повязал свой рот и нос платком, она отдернула платок — а там папино лицо.

Она встала, оделась, потом начала ходить взад-вперед по комнате. Левый башмак немного жал, но это потому, что она перекрутила чулок так, чтобы вчерашнее кровавое пятно было позаметней. Из окна ей видно было, как босоногий мальчишка крался по двору ползком к загону для гусей.

Она сошла вниз, навстречу серому рассвету. Мальчишка пустился было наутек, но она крикнула, что ничего никому не скажет. Он, заикаясь, объяснял, что его послал хозяин. Одной леди, которая в "Лебеде" живет, нужно поскорей отправить письмо в тот дом, что в Ограде. Куини сказала: "Дай-ка его мне. Я как раз туда поеду", — и он послушно полез в карман. Одно яйцо из тех, что прятал он под рваной своей рубахой, упало, оплескав желтком босые ноги.

Куини пошла обратно в дом и направилась уже в свою комнату, но призадумалась перед картиной, висевшей на лестнице пониже рогов оленя. На картине был нарисован старик в черной грубой рубахе и тускло-зеленом бархатном камзоле с золотыми пуговицами. Одну руку он сунул под рубаху на груди, в другой держал письмо, надписанное: "Мистеру Фартингейлу". Картину эту она и раньше видела, только письма не замечала. Она огибала поворот лестницы, когда увидела, как мистер Джонсон

на цыпочках выходил из маминой комнаты. Не замечая Куини, он продолжал путь к себе в спальню, волоча за собой женское исподнее.

К полудню наняли лошадей, и Джонсон с Трейлами в сопровождении Питера Гаррика собрались осматривать окрестности. Трейл был белый, как призрак, Гаррик скучный, Джонсон сонный.

Миссис Трейл чем свет отправила записку миссис Гаррик, извиняясь за внезапный свой отъезд и оправдываясь невольным замечанием своей хозяйки о том, какое утешение иметь дочь. "Предмет это болезненный, — она писала, — ибо, хоть у меня три живые дочери, моя милая утраченная Люси дороже мне была всех остальных".

Теперь, измаясь, она собралась было, всех отпустив, остаться наедине с собой, однако, заметя, как преобразилась Куини при виде беленького пони, поджидавшего во дворе, она изменила своему намерению. Этот блеск в глазах, эта милая улыбка ей облегчили сердце. За завтраком девчонка на нее смотрела холодно и, как с ней заговоришь, прикидывалась глухой.

Никто не выспался, но очень скоро прелестный день благотворно на всех подействовал. Ненастья как не бывало, солнце, играя в синей вышине, разгоняло тоску-печаль. Джонсон даже стал приписывать солнечному свету какие-то химические свойства, якобы покуда не открытые, но с алкоголем сходно вызывающие особенный подъем духа.

— А как иначе, — спросил он, указывая на Трейла, галопирующего впереди, горланя песню, — как иначе можно объяснить такое преображенье Генри? Тому четыре часа он не мог ногами шевельнуть.

— И другими членами, — пробормотала миссис Трейл, вспомнив, как ее обидно разбудили.

Труся рысцой вдоль озера, она приметила зимородка, бьющегося в тростнике.

— Смотрите, смотрите! — крикнула она, расставя руки в подражание неловким крыльям.

— И вовсе непохоже, — сказала Куини, но без презренья в голосе.

Мистер Джонсон считал, что пейзаж много переменился к худшему. Где теперь отцовская бумажная фабрика? Даже развалины исчезли, задушенные крапивой и вьюнком. Плакучие ивы, склонявшие, бывало, ветви к водам пруда, все срублены.

— В былые дни, — он им рассказывал, пришпоривая коня и хлыстом указывая вниз, — вон там отец меня учил плавать. Терпеливо наставлял — вдыхать... выдыхать... и ногами двигать, как лягушка.

— У лягушек есть ноги, — сказала Куини. — Они не похожи на рыб.

— Равно как мы, — сказал Джонсон, — и потому достойны подражанья.

По ухабистой дороге близясь к заросшим пастбищам, они вошли под сень старого дуба. Джонсон спешился и пригласил других последовать его примеру. Хотел, чтоб они тоже оглянулись на Личфилд, на шпили собора, на звонницу Святой Марии.

— Иной раз полезнее бывает, — сказал он, — взглянуть на вещи издалека. Вблизи мы склонны видеть скорее часть, чем целое.

Миссис Трейл осталась в седле; стояли лужи, она боялась испортить туфли. Куини спрыгнула, и грязь забрызгала ей все платье. Глядя в отуманенную даль, Джонсон выпевал:

...Оставил имя он свое для нас,
Как грозный, назидательный рассказ[1].

— Если я не ошибаюсь, — сказала миссис Трейл, — вы говорите о Карле XII.

— В сем случае, — сказал он, — я вспоминаю моего бедного отца.

Взрослые почтительно умолкли, глядя горестно в сторону Личфилда. Не часто Джонсон поминал отца и вовсе никогда — в столь пышном слоге.

Куини нарушила молчанье, спросив у Джонсона, знает ли он человека по имени Фартингейл. Несколько раз он повторил "Фартингейл", потом затряс головой. Потом справился, для чего ей это понадобилось знать, и она сказала, что из-за картины в "Лебеде", из-за письма, которое там держит в руке старик.

— Сначала я не заметила письма, — она сказала, на что мистер Джонсон отвечал, что с ним случилось то же в связи с этой картиной: он не замечал золотых пуговиц старика, покуда не разглядел, что одной недостает.

— Недостает? — спросил Трейл.

— Какой старик? — спросила миссис Трейл в недоуменье.

— Третьей снизу, — сказал Джонсон.

Окончательно сбитая с толку, миссис Трейл промолчала.

Скоро Куини отправилась собирать цветы. Питер Гаррик, потягиваясь, объявил, что день — отменный. Он признался, что жена им недовольна из-за плачевного состояния своей нижней юбки, впрочем, она не из тех, кто долго дуется.

— Пожалуй, я замолвлю за тебя словцо, — сказал Трейл. — Кажется, я припоминаю, что это я в ней расхаживал по улицам.

— Вот именно, и притом с большим успехом, сэр, — вставил Джонсон. — На Бирд-стрит к тебе пристал какой-то обормот, назвал милашкой и предлагал шесть пенсов, если дашь потискать тебя у стенки.

— Луна зашла за тучи, — сказал Гаррик, — что объясняет это предложение. И ты бы непременно уступил его желаньям, да я оттащил тебя, чтоб он совсем не промотался.

— Легче разлучить дурака с его деньгами, чем мужчину с его юбкой, — заметил Джонсон. — Когда утром я пробовал ею завладеть, ты с боем ее отстаивал.

Грянул хохот; потом Трейл его спросил, ставит ли он женщину хорошенькую выше женщины прилежной и усердной, и он ответил утвердительно.

— Сэр, — сказал он, — женщина хорошенькая пусть будет и глупа; женщина хорошенькая пусть будет дурного нрава; пусть женщина хорошенькая меня не любит, но красота сама по себе есть ценность.

Тут миссис Трейл пришпорила коня, погнала вперед и поджидала прочих в отдаленье. Вот уж хорошенькой она себя не считала — и прежде не считала.

Несколько минут спустя Джонсон к ней приблизился. Он сказал:

— Как весело, не правда ли, Хестер?

Она, не пожелавши отвечать, сосредоточенно отмахивалась от комаров. Он положил руку ей на плечо.

1. Строки из поэмы Джонсона "Тщета людских желаний", посвященные Карлу XII.

— Ну полно, полно, — сказал он. — Зачем портить такое утро. Все мы, мужчины, по природе слабы и слабости подвержены.

— Слабы, как же, — отрезала она, на что он, хмыкнув, проворчал:

— Милая, маленькая злючка, — и по руке ее похлопал, как утешал ребенка.

Широкою дугой они возвращались в Личфилд. Куини вплела полевые цветики в гриву своему пони. Время от времени она припадала к его шее и прижималась к ней губами.

Беседа стала спотыкаться, мало-помалу и вовсе стихла. Каждый погрузился в свои мечты, и все вместе плыли по благовонным волнам утра, под пчелиный гул.

Мисс Летишиа Хокинс
2, Сайон-роу
Туикинем
Декабря 14-го дня, 1807

Милая мисс Хокинс,

Вы уж простите меня за некоторую краткость моих ответов на Ваши многие вопросы, но, как справедливо Вы полагаете, я озабочена приготовлениями к свадьбе моей с адмиралом Кейтом.

Матушка и в самом деле всегда любила путешествовать; многочисленные письма ее доказывают редкую любознательность и жадность до удовольствий, каковые свойства она сохранила и поныне. Помню, в одном письме своем из Милана она сообщила мне о своем намерении вернуться в Верону, а затем через Тироль в Германию с единственной целью романтической — омочить уста в Дунае, как это она выразила. Письма свои ко мне часто заключала она предписанием добиваться счастья, побольше двигаться и веселиться. Увы, я не наследовала, боюсь, ее стремленья к сочным пажитям, ни способности ее к счастью. Трудно путешествовать с багажом минувших лет, трудно веселиться под нелегким этим бременем.

О докторе Голдсмите я мало что помню, кроме игры в ладушки и натянутости его бриджей — да разве вот еще приписываемое ему замечанье о докторе Джонсоне в связи с яростью его спора: “Буде он (Джонсон) промахнется из пистолета, он вас прикончит рукоятью”. Это мне батюшка рассказывал. Доктор Джонсон сильно горевал, когда умер Голдсмит; помню, он заплакал при упоминании его имени, когда мы остановились в Личфилде на пути в Уэльс летом 1774-го, — впрочем, таков был дух времени, тогда не один только доктор Джонсон склонен был чуть что ронять слезу.

Тогда же путешествуя, мы, в самом деле, познакомились с мисс Портер. Она была, пожалуй, грубовата, но вполне достойная особа. О матери доктора Джонсона, которая умирала у нее на руках, она относилась как о бабушке. Там запомнилась мне рыба на кухне, мертвая птица в саду. Был еще такой вздутый гриб под капустой, он лопнул, когда на него свалилась одна старуха. Это унылое воспоминанье во мне всплывает, быть может, оттого, что матушка тогда оставила в Стретэме моего маленького братца Ралфа, со вспухлой головой и вовсе без мозгов. Из многих своих детей только двоих она любила: одна из них Люси, другой же Гарри.

Насколько помню, история про утопленника, как рассказал ее доктор Джонсон, была следующая. Один человек по фамилии Солтмарч, ремеслом каменщик, брел однажды по Гайд-парку в сторону Кенсингтона. С ним была собака, ньюфаундленд. Солтмарч от нечего делать запустил камешком в Серпан-

тин, и ньюфаундленд прыгнул в воду и выплыл, держа в зубах мужскую шляпу — шляпу джентльмена. Положив добычу к ногам хозяина, пес опять нырнул и на сей раз принес парик. Он снова нырнул и выплыл, на сей раз выволакивая на поверхность человека, верней, зажав в зубах его плечо. У пса недостало силы вытянуть тело из озера, но он втащил его на мель. И тогда хозяин смог к нему приблизиться и вынести его на сушу. На утопленнике был камзол с серебряными пуговицами, в карманах пусто, только два шестипенсовика и шкатулочка французской работы, и в ней прядь золотых волос — чужих волос, ибо покойник был почти совершенно лыс и смугл вдобавок. Едва тело уложили, пес вцепился зубами в камзол и, как его ни гнали, так упрямо дергал сырую ткань, что оторвал лоскут, который, вися у него в зубах, поблескивал серебряною пуговицей на солнце. Потом пес кинулся прочь, там вырыл ямку и, сунув туда лоскут и забросав землей, улегся сверху, как наседка лежит на яйцах. По расследовании обнаружилось, что утопленник был некто мистер Фартингейл, когда-то он обидел девушку ниже его сословием, и совесть так его замучила, что он бросился в озеро. В заключение рассказа доктор Джонсон заметил: "Без пуговиц мы все несовершенны", и тут кто из слушателей расхохотался, кто всплакнул.

Часы мистера Джонсона, которые нередко оставлял он под подушкой в Стретэме и не раз почти тотчас требовал, чтобы мой батюшка их отослал ему вслед, стоили семнадцать гиней и были в черепаховой оправе. На них была выгравирована греческая надпись, но потом слова эти соскоблили, потому что доктор Джонсон их посчитал нескромными. Когда он умер, кажется, именно отец Ваш сэр Джон убрал эти часы со столика у кровати, с целью, без сомненья, сберечь, вместе с некоторыми бумагами. Душеприказчики доктора Джонсона, однако, настояли на возвращении часов, после чего, кажется, их подарили Фрэнсису Барберу.

Я никаких не могу дать объяснений ссоре моей матушки с миссис Гаррик, которую, Вы говорите, обидела какая-то неучтивость без последовавших извинений, и никакого упоминания пропавших бус тоже я не припомню.

Простите, я спешу, однако остаюсь, поверьте,

искренне Вашей
Х. М. Трейл

1775

Революция (revolution, *франц.*; revolutus, *лат.*)
1. Обращение, возвращение предмета на то место, откуда движение началось.
2. Внезапная перемена порядка, отношений.

Ценой крушений куплены оне,
И горек хлеб тех перемен.

Мильтон[1]

Дела на пивоварне шли на лад благодаря усилиям Перкинса, главного приказчика, и Генри Трейлу загорелось посетить Францию. С ним отправятся жена, Баретти, Джонсон, Куини и две горничные девушки. А

1. "Потерянный рай". Кн. 6, 1.

следственно одиннадцатую годовщину Куини и шестьдесят шестую Джонсона решили отпраздновать 15 сентября в доме сэра Джона Хокинса. Фрэнка Барбера не пригласили, и Джонсон обижался. Доктор Левет приглашение получил, но быть не мог по той причине, что свалился в канаву, возвращаясь домой из Хаундсдитча, каковой казус был описан в послании миссис Десмолинз, их поджидавшем в Дувре. Она писала, что Левет провалялся кряду несколько часов в канаве, но, судя по тому, как хрипло он горланит, по-прежнему наведываясь в погреб, ничего ему не сделалось. Джонсон был не вполне спокоен за достоверность этого отчета; миссис Десмолинз не жаловала доктора Левета, хоть и не так была к нему непримирима, как миссис Уильямс.

Все сошлись на том, что праздник в Туикенеме куда менее располагал к веселью, чем ежегодные торжества в Стретэм-парке. Хокинс не лил вино рекой, отнюдь, и Трейл проснулся среди ночи, жалуясь на голод. Миссис Трейл расстраивалась из-за Куини, которая по какой-то неведомой причине вцепилась в волосы Летишии, дочери сэра Джона, чем довела ее до слез. Наутро на побережье отправились в двух экипажах, двумя разобщенными группами.

Баретти сгоряча взвалил на себя все связанные с путешествием хлопоты; месяцами писал он письма в Париж, чтобы друзей его встретили там порадушней. Миссис Трейл, измученная после рожденья еще одной хилой дочери и смерти Ралфа, покорно отдалась на волю событий. Ей казалась верной мысль Джонсона, что всё на свете лучше пустоты.

Компания так долго мешкала в Кентербери, любуясь красотами собора, что не поспела в Дувр к приливу. Баретти, отправившийся вперед, чтобы распорядиться переправой, скис и надулся. Однако сменил гнев на милость, когда Трейл объявил, что даже очень рад, что остается время осмотреть форт и замок. Джонсон, швыряя камешки в колодец Юлия Цезаря, заметил, что это эхо лишь подкрепляет истину, что отзвук человеческих поступков, дурных ли, добрых, вовек не умолкает. А сам при этом думал — хоть не сказал о том, — как Левет свалился в темноте и хрипло звал на помощь.

Вечером, бредя по берегу, они смотрели, как солнце кровавым шаром стекало в волны. На миг утесы оплеснул багрянец — и все покрыло тьмой. Миссис Трейл крикнула, — как странно, что солнце тонет без гигантского шипенья, как вот когда чайник на угли выкипит. Что было домашним, однако ж острым наблюденьем.

Через Францию ехали весело, хоть Джонсону и докучали ахи и охи, какими спутники приветствовали выплывавшие пейзажи. И какая уж там разница, он думал, между той купой или этой, меж тем лугом или другим, и что о них сказать, кроме того, что вот они видны. Сам он предпочел бы виды книжных полок.

Он повеселел, когда, в третий раз переправясь через Сену, на подступах к Вернону увидел свой первый виноградник. Как дивно ново это было: выйти из кареты, чуть-чуть спуститься по откосу обочь дороги и гроздьями наполнить шляпу. Но на другой день, уже близко к Сен-Дени, радость омрачилась. И вот как это было. Миссис Трейл, щебеча, как водится у женщин, что-то такое о том, как солнце, мол, выбивает серебряные стрелы из листьев спаржи, вдруг помянула Джеймса Макферсона, автора "Фингала, героической поэмы". Прошлой ночью, она сказала, приснилось ей, как будто бы Макферсон к ней приблизился *с огнем в очах*. И по тому, как она, жеманясь, обмахивалась веером, будто погиба-

ет от духоты, ясно было, что сон помянут неспроста. Спору нет, день стоял жаркий, однако окно кареты опустили, ветерок листал страницы книги на коленях Джонсона.

Он сказал с великолепной сдержанностью:

— Я не имею чести быть знакомым с Макферсоном, но его считаю подлецом. Наскок на меня в связи с одним пассажем в "Путешествии на западные острова", в котором я высказываю мнение, что поэмы Оссиана суть подделка самая пошлая, никак не может быть сочтен отповедью ученого.

Она:

— Или джентльмена.

Он:

— Мне все равно, кто мой противник — принц крови или свинопас, лишь бы мыслил здраво.

Она:

— По-моему, он обвинил вас в том, что в подобное заблужденье вы уже впадали тому лет двадцать.

Он, с уже меньшей сдержанностью:

— О каком заблужденье говорите вы, сударыня?

— Как же, ну... — начала она и вдруг смолкла на полуслове, широко раскрыв глаза и вслушиваясь в дальний гомон.

Он повторил:

— Какое заблуждение, сударыня? — хоть знал прекрасно, что она метила в досадную ошибку, какую он допустил, снабдив хвалебным предисловием статейку школьного учителя Уильяма Лода, в которой тот доказывал, что Мильтон якобы, сочиняя "Потерянный рай", не брезговал и плагиатом. Нет, но зачем, как непростительно было это ему припоминать и какое вдобавок малодушие — прикинуться глухой, ведь он довольно громко высказывался, надсаживался даже, чтоб перекричать те вопли, визги, которые теперь уже терзали слух.

Тут лошадей так резко осадили, что карета, всколыхнувшись, бросила горничную, Мэгс Хьюсон, к нему на колени; чему в иных обстоятельствах он был бы только рад.

— Какое заблуждение, сударыня? — он повторил, отшвыривая девушку, но Хестер открыла дверцу и спрыгнула на дорогу без помощи подножки. Он тоже спрыгнул, он требовал ответа; она бегом, юбками метя дорожную пыль, устремилась к лошади, которая брюхом вверх каталась по земле, скребя копытами небо, все темное от налетевших чаек. Рядом, скособочась, стояла наемная карета.

Он сел неподалеку и стал беззлобно обрывать лепестки с глядевших из травы ромашек. Презревши тщетное гаданье "любит, не любит", он продолжал свой спор с Макферсоном. Затея вся — очковтирательство сплошное: отправленное якобы письмо с предложением представить подлинные рукописи Оссиана — прямая ложь. Письма никогда не существовало. Наглый негодяй позволил себе бахвалиться, что силой его заставит пойти на попятный. Босуэлл советовал даже купить новую трость, покрепче, взамен старой, забытой у Флоры Макдоналд, — на случай, если Макферсон и в самом деле вздумает его доискиваться.

Он расхохотался в голос при мысли, что для того, чтобы разделаться с этим ничтожеством, ему достало бы и голых кулаков. А впрочем, впрочем — все вздор; пустобрех того не стоит. А вот Уильяму Лоду, бедо-

лаге, без предисловия сидеть бы в долговой яме. Нужно иметь каменное сердце, чтобы отвернуться от страданий ближнего.

Подняв глаза, он обнаружил, что лошадь стоит уж на ногах, хоть и нетвердо, а Хестер бегает кругами и вопит, как резаный поросенок. Мгновение спустя он с удивлением увидел, что Баретти, вихляя от одного края дороги до другого, волочит призрачного Генри Трейла, с головы до пят покрытого каким-то белым веществом. На травяной обочине, качаясь из стороны в сторону, скорчилась Куини в съехавшем набок чепчике.

Прошло два часа целых, прежде чем они снова пустились в путь, и во все это время десятка два крестьян в плетенных из соломы шляпах странного фасона, поочередно являясь неведомо откуда, хлопотали над порванными постромками и гнутыми оглоблями. Форейтор счел, что сломал ногу, однако, освеженный флягою вина, он бегал даже не прихрамывая. Лицо у Генри Трейла было бледно как смерть, но оттого, конечно, что он вывалялся в пыли.

Когда наконец снова они двинулись, Джонсон непременно хотел возобновить прерванный разговор с Хестер, но та, поджавши губы, только теснее прижимала к себе Куини и отказывалась отвечать. Только вдруг кинула загадочную фразу: "Такое безразличие", и потом еще: "Просто не верится..."

Неприятный путь. Солнце теперь стояло в вышине, рой мух, приманенных липким виноградным соком в его шляпе, надсадно зудел над головой. Только потом, уже на подступах к Сен-Жермен, Хестер благоволила с ним заговорить, но до того холодно, что лучше бы уж молчала. Было неловко, что с ним так обращаются в присутствии Куини и Баретти.

Его безразличие к судьбе тех, кто сидел в первой карете, а именно Баретти, Трейла, Куини, она считала, было недостойно истинного друга, да что! — человека недостойно.

— Я поверить не могла, что вы способны на такую бездушность, — она говорила, — вы, вы так гордитесь тем, что делаете добро, вы последнюю рубаху с себя сорвете, чтобы отдать любому нищему в канаве, и...

— Я не горжусь... — заикнулся он.

— И вдруг — такое невнимание, — она вела свое, а капли пота облепили эти бледные, чу́дные волоски, дрожавшие на шраме над ее губой, — к беде тех, кого вы рады были назвать своей семьей...

— Если бы я не обиделся, не получив ответа на свой вопрос, — он возражал, — я бы скорей почувствовал серьезность происшествия... Но я был озабочен.

— Происшествия... происшествия, — крикнула она пронзительно, почти переходя на визг, — но ведь трое для вас самых близких людей были на краю гибели.

Она ошиблась; она одна была ему близка — и невредима.

— Слово "происшествие", — сказал он, — ничуть не умаляет серьезности минуты. Мой Словарь его определяет как незначительный, преходящий, но и роковой случай...

— Меня не ваши определенья занимают, — фыркнула она, — но такая бедность фантазии.

— Фантазия? — он выпалил. — Но при чем фантазия?

И тут она на него глянула так, как будто впервые видит, а потом спросила, почему он в детстве выбежал на базарную площадь, дойдя до сце-

ны, в которой является призрак Гамлетова отца. Он и рта не успел открыть; она сама ответила с издевкой:

— Впрочем, мы это знаем лишь с ваших слов. И кто поручится, что это не сказку о Золушке вы тогда читали и не из-за превращенья крысы в кучера вы так тогда струхнули.

Потрясенный, он повернулся к Баретти, ища поддержки, но тот, неверный друг, взял ее сторону и грозно объявил, что три жизни были спасены лишь величайшей милостию провиденья, какую только могло оно излить на трех существ.

Он просто онемел от такой чуши, но Баретти еще мало было этого. Неужто Джонсон не понял, ярился он, раздувая ноздри, меча своими черными глазами искры, что упряжь порвалась, карета покатилась под гору, одна лошадь упала, другая понесла, все их влекло к погибели, и Генри Трейл, в страхе за судьбу дочери, спрыгнул с намерением отвратить беду? Но при отважном своем прыжке он угодил на крутизну, его подбросило, швырнуло в меловую яму.

— Поступок вашего хозяина, — он заключил, — предпринятый с целью единственной помочь другим, легко мог обернуться переломом и даже смертью.

Напор враждебности его обескуражил; он только и промямлил, что вовсе не из-за безразличия к Генри он показался безучастным, но из-за обиды на миссис Трейл, которая, сама затеяв спор, потом уклонилась от продолженья. Тон его был сокрушенный, но в душе он клокотал из-за того, что наглый итальянец посмел играть со словцом "хозяин", которое во всех чужих устах попахивало лакейством. Нет, поведение Баретти решительно необъяснимо; давно ли они с Хестер спелись? Не он ли, когда Куини стошнило на переправе у Кале при полном штиле, вслух это объяснил соседством матери?

Назавтра, когда приехали в Париж и обнаружилось, что все не так ужасно, миссис Трейл с ним помирилась.

— Сэм, — завела она жалостно, — меня ведь надо простить, не правда ли, за то, что я сгоряча наговорила?

— Сударыня, — ответил он. — Это *мне* следует просить прощенья.

— Когда мы услыхали этот смех, — она сказала, — даже Куини возмутилась.

— Смех? — он отозвался эхом. — Мой смех? Но кто сказал, что я смеялся?

— Зачем же было говорить? — ответила она. — Звук довольно ясно долетал от того места, где вы уселись на краю пропасти.

Он решительно не помнил, чтоб веселился вслух, и взялся было спорить, но уступил благоразумию; женщин логикою не проймешь.

— Мухи меня одолели, я отупел, — он сказал, — вдобавок мысли о подлеце Макферсоне совсем меня вышибли из колеи.

После чего Хестер милостиво допустила, что он, для кого запросы головы важней запросов тела, вел себя не хуже, чем можно было ожидать.

Он был ей благодарен за прощенье и, заглаживая свои грехи, в угоду ей встречался с теми, кто был ему не нужен, и таскался туда, где было ему скучно, обедал с мадам Брокаж, носился из храма в храм. В доме мадам Брокаж запоминались: ночной горшок в столовой, оловянная кастрюля в роли плевательницы, дрожащий над столом старинный полог паутины. Миссис Трейл обедом осталась недовольна: зайчатина протухла, бо-

бы лежалые, варенье в рот не взять. Он счел плевательницу украшением и ничего особенного в доме не заметил, кроме толпы лакеев за картами в прихожей.

Недели шли, и разрастался круг знакомых, из которых аббат Франсуа и отец Уилкс, бенедиктинец, только и достойны поминанья. Были, правда, еще два итальянских графа, притом один из них, Мануччи, которого привел Баретти, дарил особенным вниманием миссис Трейл.

Если не обедали в гостях, не принимали у себя, то — слишком редко — осматривали библиотеки, Королевскую или в Сорбонне, и слишком много торчали в опере, в увеселительных садах, на благотворительных базарах. Внимание, оказываемое канатоходцам, акробатам и безделушкам в лавках, истощило бы терпение святых, в большинстве своем, кстати же, и погребенных в Париже.

Трейл предлагал жене оставить в покое "науколюбивого мистера Джонсона", да только зря старался. Куда бы ни шла она, он считал своим долгом тащиться следом из-за своего якобы ужасного поведения на дороге к Сен-Дени.

Во время одного из путешествий по святым местам опять случилась ссора из-за того, что он настаивал на том, чтобы уйти до выноса Святых даров. Застрянь они подольше — пришлось бы на колени плюхаться, — театральный жест, к которому, уверяла миссис Трейл, ее тянуло, ему же, чем творить такое, уж лучше бы взойти на эшафот.

Повод к бегству, впрочем, был не так чист, как ей дано было понять. Они сидели близко к певчим, до того близко, что у него мутился слух; не впервые музыка наводила на него тоску. Усилия ума, он рассуждал, столь же бесцельны, как эти вот пылинки, пляшущие в солнечном луче над нефом. Взмывали к небу ангельские голоса, а в его мыслях была мать, которая его не понимала, жена, которой он пренебрегал, и собственная проклятая природа, его обрекавшая праздности. Вдруг прослезившись, он выбежал из церкви.

Хестер не сразу за ним последовала: забрела в боковой придел, наткнулась на статую ангела с ребенком на руках, при виде нее поскользнулась, так она объясняла, и повредила ногу. Он стал корить ее за то, что так долго его протомила, и тут она, сверкнув глазами, объявила, что он *невозможный человек*. Что-то еще такое говорилось про графа Мануччи, про безупречную тонкость обращения.

Потом, вечером, когда Куини отправилась в театр с Баретти и отцом, она, смилостясь, описала ужас, который испытала при виде той статуи. Тотчас он призвал ее не поддаваться фантазиям и потребовал подробного рассказа о том, как все произошло.

— Ребенок у этого ангела на руках вылитый Гарри. Я подошла... я еле на ногах удержалась... и ведь на ровном месте споткнулась. И тут на меня такой страх нашел, чуть без памяти не упала.

— Из-за боли в ноге, конечно, — рассудил он, но она закричала:

— Нет... нет... от мысли... от предчувствия, что дурное что-то случилось с Гарри. Мимо как раз проходил один старик, я спросила, кому посвящена часовня, и он сказал — ангелу — хранителю детей.

— Тогда, — сказал он, — выходит, все к лучшему, не правда ли?

— Да, а кто, интересно, сам то и дело говорит о дурных предзнаменованиях? — не сдавалась она. — И как же, например, тот случай, когда часы остановились у Перкинса в конторе за два дня всего, как обнаружи-

лось, что Генри на грани разоренья... или когда Фрэнсис Рейнолдс грозилась разбить голову сэра Джошуа бюстом Попа...

— Едва ли оба случая могут быть причтены к предзнаменованиям, — он перебил. — Один свидетельствует о несовершенстве механизма, другой о женском нраве. К тому же существуют ведь не одни дурные, но и добрые предзнаменования, и ангела-хранителя я бы как раз отнес к их числу. Гарри сильный, здоровый мальчик, и нужно поскорее выбросить из головы мрачные мысли.

Долго пришлось это ей втолковывать, однако до наступленья темноты она уже снова улыбалась.

Потом, выказывая ему обновленную свою ласковость, она решила завтракать каждое утро — слава богу, в поздний час — в его спальне во втором этаже дома на рю Жакоб. Говорила, что это перемена климата ее располагает так долго нежиться в постели, и как приятно, что теперь их обоих можно отнесть к разряду сонь.

Часто вместе они свешивались из окна и наблюдали за жизнью узкой улочки внизу. Дом напротив стоял совсем близко, и они ясно видели: человечек в ночном колпаке, с пучком волос под носом, сидит у себя на постели. Сначала притворялись, будто его не замечают, но он принялся им радостно махать рукой, а однажды не таясь уселся на ночной горшок, и Хестер расхохоталась; они сошлись на том, что французы на редкость откровенны по части телесных отправлений, и в этом, верно, есть здравое зерно.

Стоя к ней вплотную, локоть к локтю, он наслаждался игрою света на голых ее руках, фиалковым отливом рта; когда она дохнула теплым шоколадом ему в щеку, он понял, что знает счастье.

Однажды утром, когда она босиком скакала по комнате, он не удержался, рухнул на колени и сжал крошечную ножку в своих ладонях, чтоб лучше разглядеть. Ножка эта, мягкая и теплая, ему напомнила розового новорожденного зверька, еще не обросшего шерсткой. Не то не поняла его намерений, не то его губы ее щекотали, но она его отбросила так резко, что оба потеряли равновесие, он повалился навзничь, она — на четвереньки, и в эту самую минуту в комнату вошла Куини, хныча, что ей на завтрак подали кислое молоко.

Вставши с постели поутру 18 октября, миссис Трейл сразу же наткнулась на неприятность. Войдя к дочке, чтоб убедиться, что та одета и готова, она увидела в тоске, что Куини непрестанно корчится и чешется, покуда горничная расчесывает ей волосы.

До самого до того утра пребывание их во Франции было на редкость мирным и не омрачено ничем, если не считать ужасный случай на пути к Парижу. Правда, по милости Джонсона они уж наглотались библиотечной пыли, зато и он доволен был поездкой на фарфоровый завод в Севре и тем, что его представили миссис Фемор, аббатисе английского монастыря августинок на рю Сен-Виктуар, той самой, что знавала мистера Попа и его недолюбливала, но не хотела объяснить причину. И уж совсем пленил его воображенье механический стол, увиденный им в Шуази, который умел отрываться от пола и снова вставать на ножки. Граф Мануччи говорил, что стол создан для употребленья короля, буде вздумается ему отужинать наедине с любовницей, но Сэм доказывал, что едва ли столь тонкий механизм изобретен лишь для того, чтоб соблазнить женщину. “Глоток вина, рука под юбку, чего же боле”, — сказал он, этим

вольным замечанием смутив присутствующих: всем было известно, как он ненавидит непристойность.

— Глисты, — заключила миссис Трейл, наглядевшись на корчи Куини, и тотчас назначила ей клизму, а потом пилюли.

Не прошло пяти минут, как хитрая девчонка бросилась к Баретти и нажаловалась, после чего итальянец, без парика и в утреннем халате огненных тонов, ворвался в супружескую опочивальню Трейлов и обвинил Хестер в том, что она-де небрежет здоровьем ребенка, употребляя средства, какие полагает он опасными.

— Эти проклятые пилюли скорей прикончат, чем излечат, — гремел он. — Тут жизнь поставлена на карту!

В минуты таких раздоров миссис Трейл ненавидела Баретти, хотя своей заносчивостью и бешеным нравом он нежно ей напоминал покойного отца.

— На мне лежит забота о моем семействе, — возразила она, презрительным перстом указывая на Трейла, который лежал в кровати, будто приуготованный для погребенья, — мне самой за все и отвечать.

Среди этих прений Джонсон, в халате, спереди вымазанном какой-то темной дрянью, явился на пороге, желая знать, отчего она до сих пор не идет к нему в комнату завтракать. Тому назад неделю, желая его вознаградить за выказанную доброту, она с ним дважды пила вместе шоколад, и, кажется, он вообразил, будто этот ритуал отныне утвержден навеки. Она вытолкала его из комнаты и захлопнула дверь у него перед носом.

Обидно, что такая перепалка случилась перед самым отъездом в Фонтенбло. Король Людовик туда отправился со всем двором охотиться на шесть недель, и этот дивный граф Мануччи заполучил для новых своих друзей пропуск в королевские покои, о чем — взволнованно лепетала миссис Трейл — она не смела и мечтать. И вот, пожалуйста, Баретти в бешенстве, Куини в таком виде, — так что она не знала, чего и надеяться в дороге, однако тут ждал ее приятный сюрприз. Едва колеса загремели по рю де Ришелье, Баретти побился об заклад с другими седоками о том, сколько часов займет путь. Сама она поставила пятнадцать ливров, Джонсон поставил луидор, а Трейл — трижды обе ставки, и итальянец заметно повеселел, как если бы был совершенно уверен в приятном для себя исходе спора.

До предместья Фонтенбло добрались они поздно вечером, миновав пейзажи, похожие на подступы к Танбридж-Уэлс — хоть более скалистые, — и заняли комнаты в гостинице, им предоставленные заботами милого Мануччи. Не будь это треклятое жилье рекомендовано прелестным юным графом, миссис Трейл, пожалуй, приуныла бы. А так — не замечая несвежего белья и мышьей беготни под полом, она отужинала очень весело. Генри, быть может, ввиду отсутствия других очарователь-ниц, был полон к ней вниманья, ну а Баретти, который выиграл пари — кое-кто, впрочем, подозревал, что ему уже случалось и прежде одолевать эту дорогу, — был просто сахар-медович.

Однако он-то им испортил-таки вечер, хотя, разумеется, не нарочно. Разглядывая муху, тонущую в вине, он пустился рассуждать о самоубийственной повадке скорпионов, которые, он утверждал, будучи помещены среди горячих угольев на площадях Италии, кружат, кружат от боли, покуда, чем дольше ее терпеть, сворачиваются кольцом и сами себя жалят в голову, как истинные стоики.

Джонсон считал, что это чушь собачья, что это их сворачивание кольцом — не более как судорога, вызванная сильным жаром.

— Ни одна тварь, — сказал он, — не может быть доведена страданьем до того, чтоб уничтожить самое себя, ибо никому не дано предугадать, что ожидает его дальше.

Миссис Трейл попыталась увести беседу в сторону; разговор о смерти неизбежно навел бы Джонсона на мысль о собственном конце.

— Кажется, — начала она, — сады Фонтенбло славятся своею красотой...

— Значит, — сказал Баретти, — вы отрицаете римское право, полагающее самоубийство законным выбором человека в здравом рассудке?

— Ни один человек не лишит себя жизни, будучи в здравом рассудке, — заорал Джонсон. — Страх смерти, сэр, столь свойствен человеку в здравом рассудке, что вся жизнь наша есть непрестанные попытки о ней не думать.

Баретти открыл было рот, чтоб отстаивать свое, но Джонсон прокричал:

— Нет, сэр, оставьте. Не важно, как умирает человек, важно, как он живет.

Позже, когда Хестер ушла спать, Генри Трейл, сидя при свечах с Баретти и угрюмым Джонсоном, признался, что скверно себя чувствует. Баретти объявил, что оно не мудрено... и разве лекарь в Сен-Жермен не высказывал удивления тому, что он еще покуда жив?

Трейл покачал головой и после долгих околичностей признался, что расстройство это, видно, есть следствие давней болезни, без сомненья венерической, ибо мошонка справа у него вспухла, что не может быть объяснено одним лишь низвержением в меловую яму под Сен-Дени. Джонсон его расспросил об остальных симптомах и, поразмыслив, советовал прочесть статью, которую листал он в лавке букиниста, что рядом с шорником на рю Жакоб.

— Ради установления диагноза? — спросил Трейл.

— Да нет, — ответил Джонсон. — Скорее во избежание осложнений, ибо тема статьи — онанизм, а подзаголовок "Трактат о дурных последствиях неумеренного сладострастья". Я не согласен с предпосылкой, ибо считаю, что онанизм имеет много своих достоинств, позволяя избегнуть приобщения вредным флюидам.

— Он много чего позволяет избегнуть, — поддержал Баретти, — и не в последнюю очередь женского пыла.

— Этот пыл, сэр, — возразил Джонсон, — и есть весь корень зла. Уж лучше упражняться в онанизме, чем вступать в любые сношения, кроме законных.

— Упражняться... упражняться, — крикнул Трейл. — Да я с семи лет начал... какое упражняться. Впрочем, меня довольно в пути по Франции подбрасывало и мотало, — и это замечание вызвало такой взрыв хохота, что у Джонсона поотлетали пуговицы на жилете.

На другое утро, зажатый между Трейлом и Баретти среди рокочущей толпы зевак, он прилежно наблюдал, как женщина с мужчиной принимали пищу внизу в раззолоченном покое. Он сам себе дивился, что с таким благоговением следит за простейшим этим ритуалом.

Лакеи чредой входили слева, внося серебряные блюда и дожидаясь, покуда мажордом поднимет крышку и обнюхает еду. Потом, по его зна-

ку, четыре других лакея приближались к столу и ставили кушанья. На первое были четыре перемены, из которых королева отведала лишь пирога под сдобной корочкой; ее же сотрапезник сминал все, что ставили перед ним, кроме какого-то месива, которое он ковырнул ножом, но медлил отправлять в рот.

Выжидательный гул прошел по галерее, ибо, хотя актеры на сцене ни слова не произносили, зрители, верно, привыкнув к другим пьесам, предполагали отравленье. Вонь начесноченной рыбы взмыла вверх. Даже Генри Трейлу пришлось зажать нос.

Джонсона слепили отраженья серебряных приборов во множестве зеркал по стенам. Он видел, что король тучен, но лица не различал. Зато Мария Антуанетта была, кажется, недурна, по крайней мере стройная, не переливалась за пределы кресла. Луч из последнего окна золотил затейливую прическу. А всего в нескольких шагах влево от этого кресла, перед глазеющей толпой, он заметил Куини и миссис Трейл.

Сверху разглядывая Хестер, он думал, что невозможно сочетать почтение и нежность к одному и тому же человеку и, приведись меж ними выбирать, второе чувство неизбежно победит, и в отношении его к милой Хозяйке — всё то же, то же. Так многое в ее натуре, он думал, способно вызывать любовь, и так немногое достойно уваженья. Покуда он ее разглядывал, она что-то сказала Куини, та огорчилась. Лица девчушки он не видел, но склонились плечи.

Он обернулся, встретил самого себя в огромном настенном зеркале — и не узнал. То ли зеркальца для бритья в Стретэме и Джонсон-корте, по дружбе льстя, ему подсовывали подправленный портрет, но только полногубый рот, которым втайне он гордился, вдруг оказался порочным, распущенным, а в больших глазах, дома, кажется, глядевших так открыто, вдруг мелькнула скрытность, занятость собою.

Он потребовал бы от Баретти опроверженья горестных своих догадок, будь они с итальянцем по-прежнему в ладу, но после подвига Трейла под Сен-Дени тот сделался почти невежлив: вчера, к примеру, когда отлетели пуговицы, сидел, развалясь в кресле, не шелохнулся даже, пока они ползали, искали.

Но тут Генри Трейл взял Джонсона под локоть и потащил куда-то.

— Еще хоть минуту здесь останусь — засну, ей-ей, — ворчал он. — Пусть король и кормится с левой руки, как мы, это мало мне прибавляет знаний о его характере, да и желудку моему мученье, когда я вижу, как Мария Антуанетта отпихивает одно яство за другим.

Вместе они сошли по лестнице в нижние этажи. Хотели пройти на задний двор и к прилегающим угодьям, но потерялись в мельканье коридоров и ступеней. Уже вдоволь намаявшись по загибам и поворотам, столкнулись лицом к лицу с двумя почтенными ливрейными лакеями, но те так надрались, что от них мало было проку.

Еще несколько минут бесцельно проплутав, Генри толкнул дверь в кладовую, из окон которой был виден двор, где гоняли на корде лошадей. Не видя иного пути к бегству, он поскорее поднял створку ближнего окна и выбрался наружу.

Джонсон готов был последовать его примеру, как вдруг заметил в дальнем углу что-то большое, укрытое дамаском. Из любопытства он подошел, сдвинул на сторону покров и увидел статую голого юноши, раскинувшего руки в оковах; рядом в пыли лежала мраморная цепь. Похоже, кажется, на Прометея, но нет скалы.

Несколько минут разглядывал он эти черты, рот, сведенный мукой, и мыслей не было; он смотрел, не думал. Потом, как пузырьки в стакане, всплыли мысли и растворились мраморные черты, перекроились... и вот уж видел он другое лицо, издавна знакомое лицо. И все больше страшная пустота его мучила, как будто душу высосали из тела и осталась одна тьма, пустая тьма. Не колотись так сердце — барабанным боем, — он бы, кажется, решил, что умер. Неимоверным усилием воли он высвободил взгляд из пыльной цепи, постепенно — одно мраморное звено, другое, — и втащил себя обратно, в жизнь. Потом он вздрогнул, накинул сукно на эти слепые, винящие глаза и, совсем забыв про отворенное окно, шатаясь, вышел за порог.

Снова кружил он по несчетным поворотам, покамест, взобравшись по неведомым ступеням, налегши плечом на счастливо незапертую дверь, не очутился в пятнисто-солнечной аллее меж могучих вязов, которых листья горели во всей осенней своей красе.

Вот и я, он думал, так же займусь огнем пред тем как мне упасть — и, все еще мучимый страхом, совестью, быстро зашагал к горизонту. Над подскакивающей головой его, как паруса на синем море, белые, плескались в небе облака.

Спектакль королевского обеда завершился, а миссис Трейл в сопровожденье Куини и Баретти битый час разыскивала мужа и Джонсона. Так досадно, что они куда-то запропастились, как раз когда ей нужно было поскорей им выложить немыслимую новость: не кто-нибудь, а сама Мария Антуанетта восхитилась красотою Куини и спрашивала о ней. Это волнующее известие ей преподнес милейший граф Мануччи, который уверял, что на вопросы королевы ответил со всем возможным достоинством и скромностью. Нет, их адреса на рю Жакоб он называть не стал, но помянул, что Трейлы посетили Францию вместе со знаменитым Сэмюэлем Джонсоном.

Миссис Трейл ничуть не удивилась, что дочку отличили; она уж и сама заметила, как скрючены все жители Парижа, какая тьма бандажей и подобной пакости повыставлена тут у них в витринах. Эдакое число гнутых спин, конечно, объяснялось не иначе как дурацкой манерой совать ребеночка в корсет, едва на ножки встанет. И вот вам: стиснутые члены, задержка в росте, никто не может порядочно ступить. И то, что здесь, как дома, на Сэмюэля на улицах глазели, конечно, объяснялось редкой свободой поступи, а вовсе не раскачкой, не переворачиваньем на одной ножке на ходу.

Куини же нисколечко не тронуло высочайшее благоволение, но этим миленьким чертам душевного тепла всегда недоставало. С раннего детства была льдышка, хоть, когда папа рухнул в меловую яму, слезами заливалась, это правда.

— Большая честь, тебя заметила сама королева Франции, — внушала миссис Трейл, — тебе бы ничего не сделалось, если бы ты выказала удовольствие.

Но упрямая девчонка отвечала, что мать выказала столько удовольствия, что на обеих хватит.

Генри наконец был обнаружен — бродил по королевским конюшням. В ответ на сообщение об успехе Куини он заметил, что ничего другого и не ждал, но непонятно, куда провалился Джонсон, разве что, вырвавшись из подземелья, отправился гулять.

Четверть часа спустя сама же Куини, уныло бредя перед отчаявшейся миссис Трейл, издали завидела его на скамейке над блещущей чертой искусственного озера. Миссис Трейл велела ей бежать и его привесть.

— Я не собака, — буркнула девчонка и нарочно еле поплелась.

Нескоро дошла она до той скамейки. Миссис Трейл, смотревшая во все глаза, увидела с недоуменьем, что Джонсон даже не поднялся с места, и Куини воротилась одна. Опять она хромала, на сей раз это началось после занятий с парижским учителем танцев, во время которых она якобы зашибла палец на ноге — боль требовала перерыва в обученье. Миссис Трейл подозревала, что палец этот — выдумка одна, девчонка на другой день носилась как безумная, когда ее взяли на прогулку в садах Тюильри.

Как только Куини подошла поближе, она крикнула:

— Что случилось? Почему мистер Джонсон не с тобой?

— Он говорит, что непригоден для общения, — сказала Куини. — И он читает молитвы.

Миссис Трейл в большом волненье заспешила по тропе. Джонсон сидел, подавшись вперед, тяжело налегая на трость и опустив глаза.

— Сэмюэль, — она крикнула, — мы уходим...

— Идите куда собрались... мне лучше побыть одному, — ответил он с таким глухим отчаянием, что она обомлела.

Как ни привыкла к этим его настроениям, не всегда она могла найти к нему подход. Иной раз он до того был невозможен, так зол, что и на козе не подъедешь; а то ему нужно было выговориться, нужно было участливое ухо. Глянув ему в лицо, она даже испугалась, такая была в нем мука... и все же, все же день, угасая, был так хорош — лиловые тени на траве, и на воде серебряная поволока, и птицы, в блеске, в плеске крыльев слетавшие с огнем горевших крон, — что она не умела почувствовать его печали и, по природной честности, врать тоже не могла. Она уселась рядом, положила крошечную ладонь на мощное колено — как крышечку на чайник.

— Взгляните на небо, — она сказала, — ах, взгляните на это небо.

Несколько минут он никак не мог себя осилить и ее послушаться; она терпеливо ждала. Потом, голосом севшим, как будто перед тем он долго говорил или он плакал, он выговорил:

— Я вовсе не такой любитель путешествий, как я думал.

Сущая правда; они с Баретти и сами замечали, что вдали от Лондона ему не по себе; вдобавок он по-французски говорить не хочет, тем исключая себя из разговора в обществе иностранцев; или он на латыни будет изъясняться, или молчит.

— Французы глупы, — сказал он. — У них нет общей жизни. Крайности — роскошь, нищета. Нет общего здравого смысла, общих обычаев, общего образованья... то у них грубое невежество, а то les belles lettres...

— Мы все рады бы поскорей снова вернуться в Англию, — солгала она; самой ей Париж казался куда забавней, чем Стретэм, чем пивоварня на Дедменс-плейс. Но все же приятно было, что он так затосковал по дому, и она нежно его потрепала по колену.

Тут только поднял он глаза, но вовсе, разумеется, не видел прощальной красы дня; вот правильно она недавно говорила: запросы головы важней ему запросов тела.

Вдруг он сказал:

— У меня был повод вспомнить брата, Натаниэля...

— Крошку Натти, — вставила она.

— Крошку Натти, — он повторил и снова погрузился в молчание.

Она смотрела на перья алости, боровшиеся в небе с темнотой, и думала о всяком: кисейное платье Куини, в цветочек все, в цветочек, и эти жемчужные браслетики у ней на запястьях; и что за мерзкая манера у французов — хлестать своих лошадей по морде; а младенчики в здешнем приюте для найденышей — просто скелеты и мрут на чистеньких кроватках, каждому на шейку вешают бутылочку с молочной смесью; сосать сумеешь, будешь жив, а нет, так помирай; а на годовщину свадьбы дня два тому ей Генри преподнес цветы, промямлил, что всегда была ему хорошею женой. И то, что в жизни не бывала влюблена, невелика потеря, чего не знал, о том зачем тужить.

— У меня был повод подумать об обстоятельствах его смерти, — сказал Джонсон.

С минуту она не могла сообразить, о ком речь, потом, вспомнив про покойного близнеца Сэмюэля, она спросила, почему он вдруг его припомнил.

Тут он понес околесицу, ну а вдобавок, когда сама похоронила стольких детей, едва ли можно от тебя требовать особенного интереса к человеку, которого уж сорок лет как нет на свете.

— Он умер всего через несколько часов, от силы через день после того, как мы с Дэви Гарриком уехали из Личфилда в Лондон.

— Он хворал, когда вы уезжали... — она предположила наобум.

— Нет. Не то...

— Значит, внезапно занемог...

— Я не видел его лица, даже во сне не видел, и вот сегодня...

— Удивительно, — сказала она, — как образ какой-нибудь вдруг придет на память. Несколько лет тому, помню, я...

— Он лежал в пыли...

— В пыли, — она повторила, глядя на Куини, которая кружилась, кружилась на тропе.

— В оковах и в пыли.

Тут уж она насторожилась. Когда Сэмюэль задумывается о стеснениях свободы, это верный знак, что черная тоска того гляди им овладеет.

— В моей власти было ему помочь, — сказал он, — а я... я ничего не сделал.

— Он умер в тюрьме? — она спросила, пытаясь хоть что-нибудь понять.

— Не в тюрьме, не в доме для умалишенных, — сказал он, — и вот он в месте даже гораздо худшем, — и после этого загадочного утверждения он стукнул себя в грудь кулаком с такою силой, что миссис Трейл вздрогнула и потянула его за руку, пытаясь поднять со скамейки.

— Горе, — она крикнула, повторяя одну из его метафор, — есть очищение застойной жизни и лечится физическими упражнениями и ходьбой.

В ответ он расхохотался, но в смехе этом не было веселья. Она крикнула Куини, чтобы та сбегала за папой и Баретти; голос звучал так повелительно, что девочка сразу послушалась.

— В пыли, во прахе, — завел Джонсон, — в вечном прахе.

— Сэмюэль, — сказала она, — в моей жизни тоже мало поводов для состояния души, которое зовется счастьем, но такова уж моя вера в Бога, что я не подвергаю сомнению Его волю и убеждена, что все наши муче-

нья не напрасны. — В эту минуту, боясь за его рассудок, она сама верила в свои россказни. — Вы же сами, — она продолжала, — написали, что средства, какие философия подмешивает в чашу жизни, хоть и не даря ей чистоты и сладости, все же смягчают горечь и умеряют зло. Бальзам, которым пользует она раны души, утишает боль...

— ...хоть исцелить не может, — перебил Джонсон и ей напомнил, что это мысли Сенеки, не его. — Я пуговицу потерял, — сообщил он вдруг. — Мэгс Хьюсон только две отыскала и пришила к моему камзолу, — и он поднялся на ноги.

Миссис Трейл, рада-радешенька, взяла его под руку и потащила туда, где уже в окнах затеплились первые свечи.

По дороге он пытался вести беседу, но в ней ни складу не было, ни ладу, и то и дело она перебивалась молитвой.

— Эти утки на пруду, — он говорил, — прекрасные образчики... жизнодавец и хранитель, чьей властью создан я и чьим произволеньем укреплены стопы мои, воззри на меня по великой милости Твоей... а все же не такие прекрасные, как в Стретэм-парке...

— И в самом деле, какие миленькие, — лепетала Хестер, — и редкой породы...

— Не для того Ты сотворил меня, чтобы истребить; спаси меня и сохрани, да не приложу беззакония к беззаконию... я, пожалуй, куплю себе новый парик перед отъездом...

Она сказала:

— На рю Жакоб, подальше, отличный есть парикмахер. Граф Мануччи говорил Генри, у него безупречная репутация...

— Отврати от меня гнев Твой, прости грехи мои, утверди пути мои в слове Твоем и даруй мне жизнь вечную, когда призовешь меня отсюда, как жену, которую Ты отнял у меня... — тут Джонсон вдруг остановился, озираясь с таким отчаянным лицом, что миссис Трейл заглотнула слезы; только разнюниться ей сейчас недоставало: вот уж плохая поддержка дорогому другу.

— Когда я думаю о покойном батюшке, — она сказала, — а я часто о нем думаю, я стараюсь вспоминать минуты согласия и тишины. Помню, он взял меня с собою рыбу удить...

— У Тетти были золотые волосы, — перебил он, — яркие, как будто в солнечном луче...

— Как у Марии Антуанетты, — она сказала.

— Я не был хорошим мужем, — он простонал и шатко зашагал впереди нее по тропе.

— Стойте, — крикнула она, глядя, как закатное солнце, давши течь, пускает последнюю струю золота в меркнущее небо.

— Как пшеница золотые, — крикнул, оглянувшись, Джонсон и подождал, пока она его догонит. — В день нашей свадьбы, — сказал он, — я ее наказал, я поскакал вперед... Боже милостивый, прости мне мои прегрешения...

Ночью миссис Трейл рассказывала Генри о том, какого она натерпелась ужаса.

— Он был сам не свой, — всхлипывала она, — и я до сих пор ума не приложу, из-за чего он так разволновался.

Генри сказал, что еще раньше кое-что заметил, когда они с Джонсоном, заплутав в дворцовых подвалах, увидели, как в винном погребе совокуплялись двое мужеложников. Сам он не был так-то уж потрясен, но

Сэмюэль весь дрожал от омерзения при виде грубых волосков, торчавших из зада нечестивца, а после забился в кладовку.

Миссис Трейл влезла на постель, легла и отвернулась к стене. Глаза у ней были закрыты, но она видела, как вянут на стеблях подаренные цветы.

Трейлы покинули Париж 1 октября и неделей позже приехали в город Лилль. Чем ближе к берегу, тем веселей становился Джонсон. Он успокоился настолько, что Баретти, как ни старался, не мог вызвать его на спор. Когда, хорошенько нализавшись в трактирчике в Дуэ, итальянец брякнул, что тому, кто остается трезвым, пожалуй не позавидуешь, Сэмюэль невозмутимо отвечал, что, хотя пристрастье к пьянству в конце концов ведет к погибели рассудка, оно заметно помогает — даря подобие мыслительной работы — тому, у кого мало мыслей в голове и много слов на языке.

Миссис Трейл сдуру повернулась к Баретти и ему объяснила, что трезвенность Джонсона проистекает от благороднейшего побужденья, желания подать пример жене, когда та пристрастилась к бренди и опиуму. Слова сорвались с языка, она тотчас же пожалела, но Джонсон так был безмятежен, он только брови насупил и больше ничем не выдал недовольства. И вот потом, вечером, на пути в Дюнкерк случилось такое, что все присутствовавшие убедились, что Сэмюэль сошел с ума.

С утра разъезжали по Лиллю в фиакре: на улицах стояла грязь, для пешехода неодолимая. Потом остановились, зашли в аляповатую церквушку с изображениями душ в Чистилище по стенам, над толпою каменных святых, увешанных посеребренными глазами и ушами. На вопрос, что сей сон означает, им сообщили, что многие чудеса здесь были дарованы молящим об исцелении зрения и слуха.

Миссис Трейл, с тревогою поглядывая на виды Чистилища, шепнула Баретти, какое счастье, мол, что Сэмюэль подслеповат, но тот в ответ напомнил ей о посещении Biblioteque du Roi, где, осматривая инкунабулы, Сэм, один из всех, по виду букв в нескольких томах мог заключить, их набирали деревянными литерами или металлическими. Плохое зрение его, заключил Баретти, дает о себе знать тем заметней, чем меньше ему интересен рассматриваемый предмет. Как бы там ни было, на сей раз кружки для сбора подаяний под каждой картиночкой из жизни в преисподней одни бесили Джонсона, и он в сердцах на них замахивался тростью.

Затем, по настоянью Трейла, наведались они в амбар, просторное помещенье, в котором царила пустота и только в одном углу насыпан холмик риса. Генри сказал, что французы, не смысля в земле нимало, не умеют взять у ней свое. Миссис Трейл считала, что этот неуспех в хозяйстве связан с несчетными церковными праздниками, которые неукоснительно они блюдут, ничуть притом не уважая воскресенья. Мосье Ле Ливье, например, учитель танцев, в День Всех Святых рыдал, а утром в воскресенье уже пытался залучить Куини на урок, да только она, душенька, не захотела, объявив, что вера христианская ей это запрещает.

Выйдя из амбара, миссис Трейл сразу велела извозчику их везти обратно в гостиницу; у Куини болел живот, она уж раньше жаловалась, надо было безотлагательно ее попотчевать рвотным корнем.

Совсем немного проехали они по узкой улочке, как вдруг фиакр запнулся перед каким-то домом в лесах. Генри вылез, чтобы узнать причину

задержки, и оказался позади толпы, в молчании глазевшей на какой-то предмет у самой входной двери. Он хотел было протиснуться, но тут поднялся глухой рокот, а затем, будто охваченная страхом, вся толпа взревела, грозя кому-то кулаками. Генри продолжал пробиваться к двери, но тут толпа отхлынула, и все уставились наверх, и вот уже взлетали шляпы и поощрительные крики.

Миссис Трейл с Баретти, глядевшие в окно фиакра, увидели оторопев, как по лесам взбирался Джонсон. Над ним, в открытом окне под самой кровлей, виднелась одинокая фигурка; кто-то стоял, раскинув руки, словно на лету ловя благословение небес.

Прямо у нее на глазах Сэмюэль зацепился полой камзола за гнилое дерево, его качнуло в сторону. Толпа охнула. Куини истерически расхохоталась. Миссис Трейл к ней повернулась, чтоб урезонить, да не рассчитала, толкнула Куини, та стукнулась головой о сиденье.

А Джонсон уже добрался до чердака; извернулся, сшибся лбом с тем, кто стоял в окне, поневоле его обнял и — скрылся из виду.

Миссис Трейл смотрела, как Генри подходил к крыльцу. Выше всех, кто рядом, вот он стоял, набычась и воздевая руки, то ли от ужаса, то ли сдерживая напор толпы.

Воротясь в фиакр, он не сказал ни слова. Всё — как качал он головой из стороны в сторону, как стиснутыми кулаками бил себя по коленям — всё говорило о смятенье; ну а лицо — нет, никогда еще миссис Трейл не видела такого ужаса в тех бледных голубых глазах.

Баретти спрашивал:

— Из-за чего переполох? Где Сэмюэль? В чем дело?

— Ребенок, — едва выговорил Трейл. — Упал ребенок.

— Упал, — эхом отозвалась миссис Трейл.

— Ребенка бросили, — сказал Трейл. — То ли случайно уронили, то ли бросили нарочно.

— Мертвого ребенка! — вскрикнула миссис Трейл.

— Теперь уж мертвого, — сказал он. — Я видел русые локоны.

Миссис Трейл всплакнула. Сама знала — глупо лить слезы по неведомом младенце, но ах, тоска какая — упасть как птенчик из гнезда.

Но вот дверь дома распахнулась, по ступеням бежал Джонсон. Добежал до кареты, прокричал:

— Денег, денег дайте, сколько есть у вас, — и, снявши шляпу, протянул, как милостыню просил.

Сидевшие в фиакре повиновались без лишних слов, и, когда шляпа отяжелела от монет, он бросился прочь, болтая сорванным карманом на бегу, и снова исчез за той же дверью.

Потом, уже вечером, Джонсон им поведал престранную историю. Оказывается, предмет, который видел Трейл, был вовсе не тело ребеночка, но небольшой мешок, набитый речною грязью и обвязанный тряпьем. Тому несколько лет человека, что стоял на чердаке, наняли ночным сторожем во двор Бастилии; были у него жена и дочь. И был он, сам признавался, горький пьяница, по каковой причине скоро и прогнали его со службы. Однажды душным воскресным днем жена велела ему подержать ребенка, покуда она пойдет просить у соседей пропитанья. Звонили колокола к обедне, а он стоял у отворенного окна, колыхал на руках дочку и мечтал о времени, когда сам сможет прокормить семью. Я их прокормлю, подумал он и при этой мысли распростер руки, будто обнимая будущее. Скоро жена утопилась в Сене.

С тех пор он кочует по разным городам, живет всегда на чердаке, всегда встает у отворенного окна, чтоб сбросить свою ношу, и вечно ждет, простерши руки, что время воротится вспять и Бог вернет ему ребенка.

— Но я же сам видел девочку, — возмутился Трейл. — Я видел русые кудряшки над лохмотьями.

— Он состриг у нее локоны перед тем как ее похоронить, — сказал Джонсон, — и воткнул в репку.

Миссис Трейл вся кипела. Конечно, с беднягой произошел ужасный, ужасный случай, но неужели она станет жалеть безумца, который швыряет мешки с грязью из окна, до обморока доводя тех, кто это наблюдает.

— А деньги, — она сказала. — Я думала, они нужны для приличных похорон, а теперь не сомневаюсь — все пойдет на выпивку.

— Но может ли выпивка утопить такое горе, — отрезал Джонсон. — К тому же я верну все до последнего пенни.

Вот и вышло, что миссис Трейл кругом неправа, да и скупа к тому же.

Генри Трейл крепко вцепился в руку Куини. Ей даже больно было, но она терпела; понимала, что папа за нее боится.

Мисс Летишиа Хокинс
2, Сайон-роу
Туикенем
Марта 8-го дня, 1809

Милая мисс Хокинс,

я должна просить у Вас прощения за медленность и неисправность свою в ответах на многочисленные Ваши письма, но я была в Думбартоншире с мужем моим адмиралом Кейтом и только недавно вернулась. Меня, пожалуй, удивляет, что Вы все заняты воспоминаниями о докторе Джонсоне и его друзьях. Труд столь упорный Вас, надо думать, утомил.

Боюсь, едва ли я могу удовлетворительно описать характер мистера Лэнгтона, ибо он был такой длинный, а я такая маленькая, что мы не часто "видались с глазу на глаз". Да, я знаю, он и мистер Топэм Бьюклерк были истинно добрые друзья доктору, хотя и был один случай — в Болт-корте, кажется, — когда мистер Лэнгтон печаловался о тяжелой болезни своей матери, а мистер Джонсон на него накинулся, зачем же, мол, он тотчас не едет за ней ухаживать. Матушка посчитала такую требовательность ханжеством, ведь сам он чуть не двадцать лет не видел матери и даже когда мисс Портер его известила, что та при смерти. Он и на похороны не поехал.

Мистер Бьюклерк был предан наукам, как и доктор Джонсон; последний пытался было убедить моего батюшку устроить лабораторию для химических опытов, однако после взрыва в классной Стретэм-парка пришлось эту мысль оставить.

Доктор Джонсон был замечательный пловец. Часто я вместе с ним купалась в море в Брайтоне. Правда, он так неистово взмахивал руками и вздымал такие волны, что лучше было держаться от него подальше, чтобы не утонуть.

Мистер Перкинс, главный приказчик, был убит на скачках в Брайтоне Летучим, конем лорда Болингброка. В ту самую минуту, когда шел мимо Перкинс, Летучий, осердясь на какую-то мошку, взбрыкнул и угодил несчастному приказчику копытом по голове. Вдова, которая, я помню, вечно жужжала себе под

нос, на время поселилась по соседству с матушкой, но не знаю, водит ли та и по сей день знакомство с этой "пчелкой".

Мне не хотелось бы судить об отношениях моей матери с доктором Джонсоном; ей нужно было общество, ему пристанище, вот Вам, пожалуй, и довольно.

Что же до моего к нему отношения, я не могу положа руку на сердце сказать, что была к нему привязана — слишком он был большой, слишком переменчив, слишком притязал на внимание моей матушки. Он страдал припадками тоски — болезнь, какой подвержен был и младший брат его, который, кажется, наложил на себя руки. Но порой я его любила, потому что он так удивительно умел понять детей, знал, что им нужно, — свойство, решительно отсутствовавшее у моей матушки.

С апельсиновыми корками он возился по причине злостного несварения желудка, болезни, развившейся из-за того, что ел он как попало; то постился, то обжирался. Кажется, эти корки он молол и растворял в ложке горячего портвейна. В юности он много пил, впоследствии же ни капли в рот не брал или почти ни капли.

Остаюсь
искренне Вашей
Х. М. Кейт

Я мало помню свою поездку в Париж 75-го года, припоминаю только, что вызвала непрошеную благосклонность учителя танцев, позволявшего себе со мною неуместную короткость — оскорбленье, которое матушка отказывалась замечать.

Да, и еще припоминаю, что Джонсон всё писал письма — два написал к миссис Десмолинз и по одному Босуэллу, доктору Левету и Фрэнку Барберу. Письма я запомнила, потому что он мне рассказывал, что Босуэлл страдает от приступа тоски, а перед отъездом нашим из Англии миссис Уильямс поссорилась с миссис Десмолинз, доктор же Левет с ними обеими, после того как всех переполошил, свалившись в какую-то канаву.

— Я должен попытаться, — сказал доктор Джонсон, — сгладить ссоры и успокоить страх.

Я заметила, что ссора — "вещь дурная", на что, раскачиваясь за столом из стороны в сторону, он ответил:

— О нет, мисс, ибо чем меньше мы ссоримся, тем больше ненавидим.

В детстве я едва ли оценила точность этого сужденья, но спустя годы поняла, как оно верно.

Нет, я не помню, как Вы были в Стрэтем-парке на Рождестве, что, впрочем, немудрено, ибо десятый отпрыск моей матушки, названный в честь предшествовавшего дитяти, умер всего за две недели до того праздника.

1776–7

Беда
Несчастие; невзгода; злоключение.

Светлым-светло сияют небеса,
В них черная зияет полоса,
Беду суля, не только непогоду,
И застя точный час ее прихода.

Александр Поп

Марта 20-го дня — была среда — миссис Трейл поехала в Кенсингтон, забрать из пансиона дочь Сюзанну. Взяла с собою Куини, да по дороге они поссорились; вздор совершенный: янтарные бусы косо висели у девочки на шее. Миссис Трейл хотела их поправить, а Куини дерзко оттолкнула руку.

На пути домой Сюзанна хныкала не умолкая, Куини дулась, миссис Трейл, однако, удавалось сдерживать раздраженье. С колотящимся от предвкушения сердцем думала она про милого графа Мануччи, который уже неделю как вернулся в Англию и которого наутро ждали в Саутуорк.

Едва приехали на пивоварню, миссис Трейл еще из кареты выйти не успела, Гарри уже летел навстречу и кричал, что видел афишу, дают новую пьесу Артура Мерфи "Как его удержать", и он сегодня же, сегодня непременно должен быть в театре, пусть его поведут. Ему сказано было, что это невозможно, но он схватил ее за юбку, принялся кружить, да как! — она чуть равновесия не потеряла. Под этим натиском пришлось ей уступить, договориться с одним приказчиком, чтобы вечером сходил с ним в Друри-Лейн.

Генри имел с ней объяснение, зачем, мол, разрешила. К ужину ждут гостей, он так хотел-де похвастаться сыном. Миссис Трейл бы, конечно, окоротила ворчуна, но вовремя подумала про графа.

За ужином сидели: сэр Джон Хокинс и дочь его Летишиа, Баретти, леди Лейд — сестра Генри — и Перкинс с женой. Сначала разговор вертелся вокруг поездки в Италию, которую в этом году предполагали Трейлы. Вылазка во Францию была удачна, Джонсон снова всей душою рвался присоединиться к ним, Генри Трейл с готовностью препоручал все хлопоты Баретти. Итальянец, лопаясь от удовольствия, предвидя, как он покажет родину друзьям, настолько завладел беседой, что миссис Трейл наконец даже огорчилась. Ей надоел его хозяйский, властный тон, она сказала громко:

— Довольно с нас Италии и мнений итальянских.

Все за столом молчали, покуда миссис Перкинс, оглядывая блюдо посреди стола с пристроившимся на крышке херувимом, не объявила, что фарфоровое это украшение следовало бы слепить по образу Сюзанны.

— Ангельчик сущий, — она ворковала, переводя взгляд с блюда на ребенка.

Последовал дружный рокот одобренья, и миссис Трейл ответила, как надлежало матери. Сначала улыбнулась растроганно, потом вскочила, расцеловала *сущего ангельчика* в обе щеки, и гости все по очереди повторили ее театральный жест. Сюзанна прятала зардевшееся личико в ладошках.

Снова усевшись, улыбаясь, миссис Трейл вдруг обмерла. Нежданно-негаданно статуя ангела с ребенком на руках всплыла у ней перед глазами. Тотчас она выскочила из-за стола и побежала справиться, не воротился ль Гарри. Вернувшись к гостям, оправдывалась она тем, что ей послышался плач младенца.

— Младенцев в доме нет, — сказала Куини. — Все перемерли.

— Материнским слухом, — возразила миссис Трейл, — так правит сердце, что ему все мнится эхо.

Тут Баретти фыркнул, и до того громко, беззастенчиво, что миссис Перкинс принялась жужжать — привычка, которою спасалась она, когда ей делалось неловко.

И получаса не прошло, как миссис Трейл снова встала из-за стола; на сей раз Генри нахмурился, когда она вернулась. Укор довольно мягкий, но она ударилась в слезы. Утешавшей ее леди Лейд она призналась, что уверена: с Гарри случилось что-то страшное.

— Приказчик его бросил, — она всхлипывала, — сейчас он бродит по Ковент-Гардену... любой мерзавец может его обидеть...

Напрасно миссис Перкинс уверяла, что приказчик этот вполне надежен, она бы собственных детей бесстрашно вверила его заботам. Миссис Трейл и слушать не хотела. Гарри сейчас влекут куда-то в темный закоулок, там изобьют, разденут донага. Слуга поставил перед нею алычовый пудинг, и, глянув на багровую гущу в своей тарелке, она так громко вскрикнула, что Куини расплескала лимонад на платье Летишии Хокинс, и та разрыдалась.

В полночь Гарри вернулся, цел и невредим, в восторге от впечатлений вечера. Мисс Барраклаф играла чу́дно, только вот совсем не слышно, а потом в партере подняли скандал, и тут она ка-ак рот разинет — быком взревела. Второй акт не вышел: подрались два актера на незаметных ролях. И такой свист поднялся, громче, громче, а потом Артур Мерфи влез на сцену, велел опустить занавес, и тут оба актера на него кинулись с кулаками. И такая кутерьма пошла: по сцене катается клубок какой-то, ничего не разобрать, только полы одежд мелькают да слышатся глухие вопли, ругань.

Гарри показалось, что все это много способствует веселью, мистер же Крик, приказчик, счел, что тотчас следует уйти. Мистер Крик грозился, что больше никуда с ним не пойдет, и в Друри-Лейн тем более, но когда подошел мистер Мерфи и сказал, что счастлив познакомиться, он покраснел как рак и перестал беситься. У мистера Мерфи была разорвана губа и проступал синяк под левым глазом.

Сэр Джон вспомнил, как актер Чарльз Маклин убил Томаса Халлама в зеленой зале Друри-Лейн.

— Все из-за парика, — он рассказал, — взятого без спросу.

Маклин требовал объяснения, Халлам обозвал его шутом, мужланом, швырнул парик ему в лицо. Маклин, в ярости замахнувшись тростью, угодил ему в глаз. И трех часов не прожил.

Чтоб не остаться в долгу, Трейл рассказал про то, как Куин убил аж двух собратьев-трагиков, не разом, правда, — одного на дуэли в Хампстеде, второго — подкупив рабочего с колосников, чтобы тот бросил тяжесть на его врага посреди действия "Кориолана".

— В Пекеме, — внес поправку мистер Перкинс. — Дуэль произошла в лугах Пекема.

— Бедный Куин, — сказала миссис Трейл. — И зубы потерял, изобличая Дездемону.

— Бедный рабочий, — не согласился Перкинс. — Он-то, помнится, пошел на эшафот. Ни Куин, ни Маклин наказания не понесли.

— В их оправданье, — сказал сэр Джон, — вспомним, что все актеры вспыльчивы. Черта профессии.

Вскипел и долго длился спор. Миссис Трейл много пила и даже извинилась перед Баретти за ранее допущенную грубость. Гарри был дома, в безопасности, все остальное — вздор.

Наутро у Куини разболелась голова. Она утаила это от мамы, чтобы не остаться дома, когда все поедут в Сити, осматривать Тауэр. Миссис Трейл за завтраком что-то заметила о ее горящих щечках, но мельком, вскользь, слишком воодушевленная приездом графа Мануччи. На ней было платье из материи, купленной в Париже; всякий раз, как граф на нее взглянет, она смеялась, звонко, пронзительно, вот как Сюзанна, когда ее щекочут.

Покуда Трейл с Баретти открывали гостю таинства пивоварни, Гарри принесся с известием, что на реке горит корабль. Он отправлялся в Бостон с грузом папиного пива. Мистер Баретти поспешил своими глазами в этом убедиться и воротился вдохновенный. Пламя еще не погасили, он рассказал, и полог дыма висит над садом. Тотчас явился главный приказчик и заверил Трейла, что меры взяты.

— Видите, как хорош наш портер, мистер Перкинс, — крикнул Гарри, — славно горит!

Когда пришло время уезжать из Саутуорка в Лондон, Куини полегчало, только спать хотелось. Иной раз к ней обращались, а слова доходили как издалёка, будто у нее заткнуты уши. И все же она внимательно следила за мамой и замечала во всей ее повадке какую-то ну прямо взвинченность, а в голосе просто приторно ласковые нотки. Она не сомневалась: эту комедию ломали ради графа Мануччи, который, такой же в точности фальшивый, нависал над нею, как муха над горшком варенья.

Они прошли в Тауэр западными воротами, и Гарри стал декламировать пассажи из истории, какие знал он наизусть.

— Белый Тауэр, — он выпалил, — построен был Вильгельмом Завоевателем... а потом Генрих II его превратил в крепость.

— Генрих III, — перебила Куини, и мать больно сжала ей плечо.

Нимало не смутясь, Гарри рассказал о королях и королевах, заточенных здесь в темницах, о том, как малолетние сыновья Эдуарда V были убиты здесь во сне.

— Всего на два года меня старше были, — сказал он весело.

— Королевских особ никто не бросал в темницы, — возразила Куини, подальше отойдя от мамы, — а принцы эти были сыновья Эдуарда IV.

Когда спускались по ступеням зверинца, граф Мануччи, зайдя вперед, подал руку миссис Трейл, и та заахала, заохала ужасно глупо, как будто, карабкаясь по горним высотáм, вот-вот сорвется и погибнет. На нижней ступеньке она его так жеманно, так преданно благодарила, что Куини дурно стало; снова разболелась голова. Она вспомнила изречение мистера Джонсона, что следует признать с младых ногтей: жизнь — маскарад, и, ошибкою приняв впечатление за истину, мы на себя навлечем безумие. Легче ей от этого не стало, и несколько минут спустя вдруг показалось, что земля разверзлась под ногами.

Она мало что запомнила из виденного в тот день, только как взад-вперед бродили львы, как факельное пламя скакало в тусклом взгляде сидевшего в луже собственной мочи бурого медведя. И еще как совершенно черный Гарри с криками носился перед волчьей клеткой — лицо, руки, белые чулки, синий сюртучок в черном порохе сплошь.

Когда карета грохотала по Блэкфрайарз-бридж, случилось чудо. Куини смотрела из окошка на Темзу, как вдруг дымные облака посторонились и солнце на миг блеснуло золотою лестницей с воды до неба. Только поставить ногу на нижнюю ступеньку, и...

Миссис Трейл взвизгнула, когда открылась дверца и Куини подалась вперед. Если бы Мануччи, подставив собственное тело, не удержал ребенка, могло бы произойти ужасное. Дверь закрыли, Куини усадили матери на руки, карета покатила в Саутуорк, где после примененья рвотного миссис Трейл уложила дочь в постель и послала за мистером Лоуренсом, домашним доктором. Тот, прости его Господи, так и не явился.

Всю ночь провела она в спальне Куини, вставая то и дело, чтобы проверить, дышит ли ребенок. В четыре часа утра, обливаясь слезами, она бросилась на колени перед постелью и взмолилась Господу, чтобы не сгубил первенца в наказание за ее собственные грехи.

— Возьми меня, — она рыдала, — Куини пощади, меня возьми.

Бродя взад-вперед перед окном спальни — молодая луна пробивалась сквозь мчащиеся тучи, — она обращалась к далекому доктору Джонсону; он один способен был понять ее тоску. Она признавала, что не всегда обращалась с дочерью ласково и справедливо, особенно когда боролась с этой ее неумеренной привязанностью к Генри, но это все из-за того, что сама она так обожала собственного папочку, покойного Джона Солзбури. Зачем Куини переживать сходное разочарованье? Когда любишь папочку без памяти, кто выдержит сравненье, в один прекрасный день тебе заместив отца?

В пятом часу — миссис Трейл считала удары на мельнице — Куини приподнялась в постели и попросила есть. Жадно набросилась на кусок холодной баранины, ее вырвало, она без памяти упала на подушки.

Баретти не поехал с Трейлами в Саутуорк, быв зван на ужин к генералу Паоли. На другой день он навестил сэра Джошуа Рейнолдса, и там-то отыскал его слуга Мануччи с порученьем немедленно вернуться на пивоварню.

Заплаканная горничная девушка открыла ему дверь и проводила в детскую, где увидал он Трейла, который, сунув руки в жилетные карманы, сидел на детском стульчике, так странно распрямясь, с такою мертвою улыбкой, что Баретти в ужасе попятился. Рядом стояла лошадь-качалка в яблоках, с оторванным хвостом. Граф Мануччи и Старая Няня, оба бледные как мел и задыхаясь, хлопотали над миссис Трейл, которая, если не валилась в обмороке на пол, металась как безумица.

Вдруг Трейл схватил лошадку за морду и стал раскачивать. Она скрипела — так покряхтывает за игрой ребенок.

Весть настигла Джонсона дня через три, в Личфилде, когда они с Босуэллом завтракали у мисс Портер. Был март, месяц смерти Тетти, Джонсон заранее был мрачен. Прочитав письмо — оно было от Перкинса, —

он сначала сидел, молчал, крошил булочку. Наконец глубоко вздохнул, сказал:

— Одно из самых страшных событий, выпадавших на моем веку, — и попросил чернил, перо, чтоб написать ответ. Он писал и плакал.

Слова "на моем веку" звучали так зловеще, что Босуэлл заподозрил общую катастрофу — убийство короля, горящий снова Лондон.

Миссис Трейл, прочтя соболезнования Джонсона, сидела с сухими глазами, не только оттого, что выплакала все слезы... *в такой беде что может облегчить, только и остается другу, что приехать и разделить ее. Бедный, милый мальчик... Когда молитва даст Вам облегчение, какое может только допустить природа, сосредоточьте внимание Ваше, как Вы это умеете, на привычных своих обязанностях, привычных отвлечениях. Для нашего дорогого мальчика Вы сделать ничего уже не можете, но оттого не менее Вам должно думать о тех, кого своим вниманием Вы сделаете более пригодными для места, куда ушел он.*

— Вниманием... вниманием, — повторила миссис Трейл, — только о себе и думает, — и она сунула письмо в ящик бюро.

Джонсон вернулся в Болт-корт к воскресенью. Он был сам не свой. Миссис Уильямс плакала с ним вместе, миссис Десмолинз вовсю старалась не отстать. Он рассказал им, что покинул Личфилд тотчас по получении ужасного известия и, лишь ночь одну переночевав у доктора Тэйлора в Ашборне, направился в Саутуорк и там, в самых воротах пивоварни, встретил карету, увозившую миссис Трейл в Бат с Куини и Баретти. Доктор Джебб уверял, что перемена воздуха необходима для здоровья девочки; леди Лейд успела доставить обратно в пансион миссис Каминз двух меньших. Помахав карете, послав не один печальный взгляд ей вслед, он пошел утешить Генри. Слуга, его остановив на лестнице, объявил, что хозяин никого не принимает.

— Какая неучтивость, — сказала миссис Десмолинз.

— Неучтивость? — взвыл Джонсон. — Несчастный в отчаянии. Да обрушься на меня такой удар, я тоже бы хотел, чтобы меня оставили в покое.

Миссис Десмолинз прикусила язык. После смерти Тетти Сэм требовал общества и днем и ночью.

От Перкинса Джонсон узнал о тех событиях, что предшествовали роковому дню. Ходили в Тауэр. Гарри был совсем здоров, так лихо лазал по пушкам и мортирам, решившим некогда судьбу Испанской Армады, что стал на Фрэнка Барбера похож. Граф Мануччи одобрил его познания в истории и посоветовал стать воином, как сам он, на что Гарри отвечал: "Вот уж не стал бы я драться за герцога Тосканского, за этого католика".

Потом, по словам Баретти, он взял на себя труд показать графу Мануччи орудья пытки, какие применяли испанцы.

— Развитой ребенок, — шепнула миссис Уильямс.

— Мать ему надрала за это уши, — сказала миссис Десмолинз.

Это Куини было плохо, вот кому. Когда ходили по зверинцу, она, просунув руку сквозь решетку, погремела цепью медведя. "Бедный, — она сказала, но только граф Мануччи слышал, — вот и тебя за шею держат". Потом, на возвратном пути, когда ехали по Блэкфрайарз-бридж, она пыталась выброситься из кареты, вообразив, будто увидела тропу на небо. Несчастье с Гарри день спустя явилось совершенной неожиданностью. Первые признаки болезни обнаружились лишь за полчаса до кончины.

— Не так, — сказала миссис Десмолинз, которая после визита Старой Няни обзавелась всеми печальными подробностями. — Утром, назавтра после того, как ходили они в Тауэр, он встал как огурчик, сбегал к булочнику за рогаликом и скушал его в кругу приказчиков на пивоварне во дворе. Потом купил пирожков двухпенсовых Сюзанне и Софи, потом давай девчонок щекотать, те с визгом убежали. Миссис Трейл такой ему нагоняй устроила...

— Она переутомилась, — возразила миссис Уильямс, — всю ночь сидела с Куини. И полчаса спустя всего он играл в детской, бил в барабан, короче говоря, шумел, носился, как вдруг расплакался. Обеспокоясь — он вообще не плакса, разве если ударится, — Старая Няня побежала в комнату, где завтракают, чтобы оповестить миссис Трейл. Та ему выговорила за шум, какой он учинил, и ставила в пример сестру, поскольку Куини, совершенно оправившаяся, настояла на том, чтобы ей разрешили разливать чай папе и мистеру Баретти...

— Сама-то миссис Трейл занята была уж очень, над графом итальянским хлопотала, — перебила миссис Десмолинз.

Голосом высоким, надтреснутым миссис Уильямс рассказывала дальше:

— И вот тут его вырвало, и миссис Трейл, заметя в нем перемену, послала слугу за доктором, любым, какого уж найдет. Потом она приказала налить ванну горячею водой, уложила туда Гарри, дала ему рвотного в вине и все время она плакала. Наконец явился доктор Джебб, дал ему еще вина, потом слабительного. Гарри уже сидел в постели и говорил так бодро, что мистер Баретти сказал, что его бы следовало отодрать за то, что нагнал на мать такого страху. И вот тут доктор Джебб объявил, что надлежит скорее обратиться к услугам доктора Хебердена, и снова все испугались...

— Часа так через два, — рассказывала миссис Десмолинз, и теперь у ней тоже дрожал голос, — кто стоял возле постели, все вдруг как закричат. Гарри запускает пальцы в горло, хочет у себя вызвать рвоту, но ничего у него не выходит и он говорит Старой Няне, так отчетливо: “Не надо кричать... я знаю, что сейчас умру”.

— Довольно, — проговорил Джонсон под сильным впечатлением, — довольно уже я выслушал, больше я не в силах это выносить.

Он постоял немного у окна, смотрел во двор. За спиной у него хлюпала миссис Уильямс. Снаружи ходил кругами, кругами мистер Кранах, кутаясь в белую волчью шубу и когтя зимний воздух так, словно дирижировал невидимым квартетом. Жизнь продолжается, подумал Джонсон, однако неясно было, *хорошо ли это весьма*[1].

И мистер Джонсон, и миссис Уильямс только нагоняли на нее тоску, а потому миссис Десмолинз спустилась вниз, на кухню. Фрэнк Барбер пошел повидаться с кем-то из чумазых своих дружков, и только Левет грелся у огня.

— Вы, — она сказала, — лоботрясничаете, как всегда.

— А вы, — он ответил, — как всегда, вы злитесь. — Встал и вышел за порог.

Сидя на высвобожденном стуле, она смотрела в пламя. Как быстро, она рассуждала, взгляд замечает перемены, и как скоро это впечатление

1. Книга Бытия. 1:25 — “И увидел Бог, что *это* хорошо”.

гаснет. Она думала про Сэмюэля, о том, что, завидя его после разлуки, заметила, как он постарел, устал, но всего минута прошла, и он был все тот же, кого она узнала много лет тому.

— С Божьей помощью, — она сказала вслух, — и с ним, глядишь, такое, — хотя сама же знала, что так не может быть, ее-то взгляд любовью застлан, а у него нет этой завесы.

А не всегда так было. Было время, она жила компаньонкой с Тетти в Хампстеде, в той квартире на Черч-роу, куда он хаживал, — тогда небось иначе на нее смотрел. Скажи ему, что мне неможется, Тетти говорила, когда приходило известие, что он будет к ней. Скажи ему, мне нужно, чтобы ты легла со мною рядом. Какой тут с Тетти спрос; на двадцать лет старше его была, а он так прытко супружеский долг с нее требовал.

Что у ней просили, то она и делала — оставляла Тетти, ошалевшую от опия, с опустелым лицом, в съехавшем набок чепце. Потом, вся дрожа, наливала ему горячей водою грелку, совала в простыни и уходила, сидела, скрючась на ступеньках, ждала, когда дверь стукнет. Как от боя церковных часов после полуночи заходилось у ней сердце! Какая стыдоба в голову лезла! Она водила рукой над свечкой, и на темной стене пасся кролик. Иногда, прости Господи, отворяла шкапчик для париков на лестничной площадке, трогала эту пудру, чтоб стать к нему поближе.

Слышать стук двери было весело и жутко; когда он вваливался — сапоги в грязи, парик сверкает от росы, страсть горит в глазищах, — у нее срывался голос.

— Вашей супруге неможется. Будет лучше, если я лягу с ней сегодня.

— Едва ли будет лучше от того, что она не пускает меня к себе в постель, — он отвечал, — и я не думаю, что тут болезнь причиной.

Потом уже, когда Сэмюэль был в спальной кофте, — знал, что она рядом, на площадке, — он ее звал, она к нему входила, он уговаривал ее лечь с ним рядом. Сначала они разговаривали. Она его молила умерить голос, унять эти безумные броски в постели; ее лаская, он был готов кричать от счастья, обнаружив взгорок, намек на влажность. А потом, в тот самый миг, когда, наперекор Господнему ученью, она готова была сдаться на последний натиск, он отшвыривал ее, велел уйти из спальни.

Добродетельный мужчина, думала она тогда и почитала его за это, но теперь — теперь, когда уж слишком поздно, — она засомневалась. Возможно, трусливый мужчина — так вернее будет. Странно, правда, что мужи великие, умом способные обнять судьбу народов, слов не имеют, даже простого понятия не имеют в таком нехитром деле, как любовь.

Встав из-за стола, миссис Десмолинз поворошила пламя. Зола опадала, остывала на решетке, и теплющиеся угли вдруг вспыхивали с новой силой, подкрепляя худшие опасенья миссис Десмолинз. Ее заместила, сгубила злодейка, эта миссис Трейл.

Только обнаружив рядом с ведерком для угля сапоги Левета, она слегка утешилась. Пускай-ка этот, по крайней мере, помесит босиком мирскую грязь.

Отношения мистера Баретти с миссис Трейл всегда не гладко складывались. Слишком они были похожи нравом, вспыльчивые оба, и раньше часто ссорились, но благодаря его упрямству и ее благоразумию — она ценила в нем учителя для Куини — кое-как достигали примирения. Теперь же, всего через неделю, как она бежала в Бат — брать эти ванны, — случился раздор похлеще. Началось со слуха, кажется, пущенного среди

слуг мистером Баретти, о письме, какое якобы прислал ей доктор Джебб. По словам итальянца, Джебб настоятельно ее просил не пичкать более дочь свою аптечными пилюлями, ибо лекарство может оказаться опаснее самой болезни. Миссис Трейл объявила, что письма такого отродясь не получала, и обозвала его сплетником.

На сей раз, как ни любила она Баретти, Куини взяла сторону матери, которая семь целых дней ее дарила непривычной лаской. Днем мама почти совсем не повышала на Куини голоса, ночью лежала в постели рядом, ждала, пока она заснет; и ничего не говорила, только обнимет и ладонью по спине стучит — как будто сердце бьется. Клизмы и пилюли, разумеется, еще усиленней пускались в ход, но они были простительны в подобных обстоятельствах и не казались чрезмерною ценой за эти знаки нежности родительской. Потом-то, когда мистер Баретти ей испортил настроение, мама снова сделалась самой собой и стала придираться.

Весь остаток года миссис Трейл носилась из Бата в Брайтелмстон и обратно в обществе тех, кого называла она руинами семейства. Иной раз к ним присоединялся Джонсон, хотя, за вычетом морских купаний Брайтелмстона, оба места ему казались скучны.

К новому году они вернулись в Стретэм-парк. Миссис Трейл завела нового знакомого, мистера Бёрни[1], славного своими уроками музыки, которого давно она мечтала заполучить для Куини. При встрече с этим достойнейшим лицом Баретти расхвастался, будто и сам владеет его искусством, и вообще вел себя совершенно невозможно. Миссис Трейл сидела как на иголках; опасалась даже, что по милости Баретти мистер Берни больше никогда к ним не захочет приходить.

Были у ней на душе заботы и другие, самая главная забота — здоровье Трейла. Вскоре по возвращении из Франции в прошлом году он жаловался, что мошонка у него распухла до ужаснейших размеров. Она только про рак и думала и умоляла его поскорее обратиться к самому лучшему доктору. Но он — нет чтоб вызвать Джебба или Круикшанка — пошел к шарлатану по фамилии Осборн, о чьих услугах вычитал в газете, где сообщалось, что Осборн этот якобы учился у мосье Дарана, известного лечением болезней венерических. Все время Генри уверял, что у него не рак и не инфекция, что вздутие пошло после того прыжка с кареты между Руаном и Парижем. В то хлопотное время Джонсон был для нее большой опорой, советуя молиться и, что важнее, доверяться медицине. Он снесся с доктором Хеберденом, который рекомендовал втирать ртутную мазь в кожу вокруг пораженного участка, а на ночь принимать бальзам Копабиа, который приостановил вздутие, но не воспаленье. Трейл жаловался на горечь во рту, на то, что расшатались зубы. Иной раз поутру приходилось пучками снимать волосы с его подушки, при том он уверял, что такое немудрено, на пятом-то десятке.

— Умри он, — стонала миссис Трейл, — что со всеми нами будет?

Баретти, подслушав это соображение, тотчас возразил:

— Мистер Джонсон в таком случае очень скоро заступит на его место.

Джонсон так оторопел от этих слов, что поднял трость, словно вознамерясь повергнуть итальянца. Вскоре, однако, без сомнения благодаря потоку воссылаемых к небу молитв, опухоль опала.

1. Чарльз Бёрни (1726—1814) — английский историк музыки, композитор, преподаватель игры на клавикордах.

И вот все снова началось. Едва обосновались в Стретэм-парке, ей приходилось по утрам и ночью плюхаться на колени и приставлять припарки к этому больному месту. В такие поучительные минуты миссис Трейл невольно вспоминала слова отца, пророчившего, что, если она выйдет за негодяя Трейла, тот ее наградит дурной болезнью. Благодарности от Трейла она немного видела, он был полон только жалости к себе и вечно ей выговаривал — то, дескать, слишком грубо, то слишком мягко мазь втирает. Он твердил по-прежнему, что болезнь началась у него после того паденья в меловую яму, и, стоик истинный, отказывался бросить пить и обжираться мясом, как то советовал ему Осборн. Джонсон, хоть и не отрицая пользы ограничений по части кровавого бифштекса и жирных отбивных, поддерживал мысль Генри, что его опухоль есть следствие встряски органа. Мне бы, дуре несчастной, думала миссис Трейл, лучше в это верить.

Ей приходилось возиться с Генри; а тут у Джонсона подагра разыгралась, он требовал участья, жалобился, сетовал — все это было слишком. И ничуть не странно, что уяснились наконец их отношения с Баретти.

Накануне вечером он ее довел до слез из-за отмены путешествия в Италию. Генри был тут же за столом, однако только ее одну Баретти корил за то, что назвал он бессовестной изменой святому обещанию. Факт известный, доказывал Баретти, что перемена обстановки благотворна для тех, кого постигло горе; во всяком случае не лучше ль страдать в Италии, где светит солнце, чем в Англии, где вечно хлещет дождь? Он строил такие планы. Его родственники так их ждут; друзья понесли такие расходы, устраивая для них жилье и развлеченья. И можно ль оставлять их в заблужденье, будто поездку эту сам он выдумал, будто он лгун и фантазер? Генри, осоловевший от вина, сказал, что возместит ему убытки, но глаза Баретти прямо полыхнули гневом.

Потом, наутро, в присутствии мисс Рейнолдс и мистера Лэнгтона, он превзошел себя. Доктор Берни, несмотря на прежнюю стычку с итальянцем принявший приглашение отужинать у них в тот вечер, по счастью, заточился с Джонсоном, который, сидя за своим бюро, составлял одно из несчетных благотворительных писем. Куини наблюдала ссору.

Старая Няня, вся в слезах, вошла в гостиную, прижав к груди солдатика — игрушку Гарри. Она спросила, что ей с этим делать.

— Сжечь! — закричала мама, выхватила у ней солдатика и бросила в огонь. Скоро раздалось шипенье, краска на дереве пузырилась. Папа, бледный как полотно, смотрел в огонь.

И тут Баретти сказал:

— Может ли истребление предмета искоренить материнскую вину? — и мама закричала в ярости, что он себе слишком много позволяет.

— Я позволяю себе лишь то, сударыня, — крикнул он в ответ, — что себе бы позволил всякий, кто хочет уберечь семейство от еще нового горя.

— Да что знаете вы о горе, — крикнула мама, — и о вине, если на то пошло, вы, вы, которого судили за убийство...

— Убийство я совершил затем, чтоб уберечь собственную мою жизнь от верного уничтоженья...

— Ну, будет, будет, — перебил папа, разволновавшись и поднимаясь на ноги, — уж, кажется, довольно.

— Не написал ли доктор Джебб, — спрашивал Баретти, тыча дрожащим пальцем в маму, — что, если вы будете и дальше пичкать Куини по-

купными снадобьями, этими глистогонными пилюлями, вы ей разорвете внутренности?

— Вы забываетесь, сэр, — взвизгнула она.

— ...и если вы в этом будете упорствовать, вы скоро пошлете дочь вослед за сыном.

При этом страшном напоминании папа ушел из комнаты — ну чистая Красотка: свесив голову, издав какой-то рык. Мама упала в кресло, а мистер Лэнгтон прошагал к окну и там остался, глядя в тихое небо. Что до мисс Рейнолдс, она закрыла лицо руками — то ли была потрясена, то ли улыбку прятала. Ведь не легко, решила Куини, почувствовать то, что тебя прямо не задевает.

Несколько минут спустя, размахивая листом бумаги, в гостиную ворвался Джонсон. Он объявил, что завершил свое прошение от лица злополучного доктора Додда, ожидавшего смертного приговора по обвинению в подлоге, и ему хотелось бы вслух прочесть то, что он написал.

Милорд Мэнсфилд, — начал он, — *всего несколько дней, и участь несчастнейшего из существ будет решена навеки! Я знаю, сколь весомо мнение Вашего сиятельства. От мнения этого зависит, суждено ль мне умереть постыдной смертью иль в позорном изгнании влачить остаток дней моих. О, Милорд! Не откажите выслушать то, что со всем смирением осмелюсь...*

Подняв взгляд от страницы, он увидел, что мама странно смотрит на него.

— Несколько цветисто, да, пожалуй, — сказал он, нахмуря брови, — но ведь вышло как бы из-под пера этого Додда, будь он неладен.

— И что за дело мне до вашего Додда? — простонала мама.

— А до кого вообще вам дело? — ухмыльнулся Баретти.

— Да что случилось? — спросил в недоуменье Джонсон, не совсем довольный тем, какой прием оказан плоду его утренних трудов.

— Некоторые разногласия, — пискнула мисс Рейнолдс, по мнению Куини не вполне точно обозначив происшедшее.

— Из-за чего?

— Из-за меня, сэр, — бросил Баретти с вызовом и, выйдя из гостиной, так хлопнул дверью, что взвился дым над очагом.

Куини пошла за ним. Живот у нее болел; перед завтраком ставили ей клизму. Останься она, бросься утешать маму, как ей хотелось, мама могла и отпихнуть. Мама опять ждала ребеночка и потому опять была капризная.

Джонсон крикнул: "Ягодка!", потому что видел ее безутешное лицо, но она не слышала его. От миссис Трейл ему не удалось добиться ни слова в объяснение тому, что вызвало такую злость Баретти; она сидела, как струна прямая, и синие глаза смотрели пусто — так смотрит тот, чей взгляд был слишком долго устремлен в геенну и выгорел дотла.

Ее разглядывая, он однако ж тревожился и о себе, ведь это он ввел в дом доктора Берни, и подобный беспорядок на самого него бросал не очень лестный отблеск. Доктор приехал, ожидая гармонии умов, отнюдь не сведенья счетов. Попросив мисс Рейнолдс позаботиться о миссис Трейл, Джонсон вышел на террасу с Лэнгтоном и потребовал объяснения.

Объяснение Лэнгтона было удивительное. Выходило так, что Баретти обвинил миссис Трейл в смерти Гарри, ибо она-де слишком много пичкала его глистогонными пилюлями.

— Пилюлями! — отозвался Джонсон. — Но Гарри в жизни никогда не мучили глисты.

— Я только повторяю то, что слышал, — сказал Лэнгтон.

— Неслыханная клевета! — взорвался Джонсон. — И не первая из распускаемых. Да в ту самую ночь уже говорили, будто бы приказчик с пивоварни после посещенья Друри-Лейн потащил мальчика в трактир и домой привел в ужасном состоянии.

— Но это правда? — спросил Лэнгтон.

— Нет, разумеется, — рявкнул Джонсон. — Приказчик этот — отец семейства и пользуется полной доверенностью Перкинса.

В волненье он ухватился за сиреневую ветку, робко расцветавшую у забора, и так яростно ее согнул, что она переломилась. Взор отчаяния, каким пронзал он сломанный прутик в своей горсти, стон, сорвавшийся с его губ в сопровожденье слов "Ах, как легко сгубить росток", Лэнгтона разозлили, и он выпалил:

— Мой садовник убежден, что только и подреза́ть ветки, как в эту пору... когда уж нет опасности морозов.

Он пытался выхватить ветку, которой Джонсон теперь дико себя охлестывал по икрам, но безуспешно. Чтобы его отвлечь, Лэнгтон спросил, верит ли он, что преподобный доктор Додд избегнет петли палача.

— Твое письмо, — польстил он, — конечно, чего-нибудь да стоит.

— Нет, сэр, — ответил Джонсон. — Додда покарают прочим в назидание, и вся недолга.

Деньги, он прибавил, собранные по подписке Босуэллом и кое-кем еще для скорой перевозки тела в операционную к Джону Хантеру, тоже не принесут спасенья.

Лэнгтон взялся это оспаривать; доказывал, что удалось же оживить, тому несколько лет, злоумышленника — как бишь его? — который был повешен за кражу овцы.

— Ты потому и позабыл имя, — не сдавался Джонсон, — что этот похититель овцы был никому не нужен, и дорогу, следственно, не заполонили толпы зевак, когда друзья его несли. Важны минуты, если речь идет о возвращении к жизни. Когда перережут веревку Додда, дорогу к Тайборну из конца в конец запрудят те, кто станет делать вид, будто волнуется его судьбой, и тем лишит его возможности вернуться.

Рассмотрев увечную сиреневую ветку, поняв, что ничего с ней не поделать, он зашвырнул ее через забор.

— Баретти, — сказал он вдруг, вытягивая шею, чтобы глянуть, куда она упала, — стоило бы помнить, что во второй раз счастье редко выпадает. Возможно, ему не мешало бы прочиститься.

— Прочиститься? — эхом отозвался Лэнгтон.

— Рассмотрим слово в первоначальном смысле: исторгнуть нечистоты из тела человеческого. Такому точно засоренью подвержена душа. Положим, честолюбие — страсть благородная и порой влечет за собою зависть к тому, чьи планы честолюбия уже осуществились. Но когда человек, как вот Баретти, слишком заносится в честолюбивых своих мечтах, мы его жалеем... ибо он более не в силах с собою совладать.

— Баретти, конечно, мучат колики, — вставил Лэнгтон.

— Тогда как в тебе, мой милый Лэнки, вовсе нет этой дряни...

— Я, признаться, на редкость лишен честолюбия, — весело согласился Лэнгтон, и Джонсон, лопаясь от смеха, заметил, что подобный недостаток есть, без сомненья, следствие природного здоровья. Все еще хо-

хоча, он по ступенькам спустился в сад и двинулся в сторону беседки, сооружения рустического, какое щедрый Генри Трейл возвел для его пользования тому несколько лет.

Гений, думал Лэнгтон, есть тот, кто обладает силой нервической и чувствительностью сверх всякой меры — и пусть себе уходит. В Лондоне Сэмюэль не выпускал друзей из виду, но это, решили в Литературном клубе, из-за того, что там не было миссис Трейл. Сэмюэль Стретэм-парка — совсем не то что Сэмюэль Болт-корта или кабачков на Флит-стрит. Последний — человек, ценивший общество мужчин, бодривших ум его, признавших его гений и — в редких случаях — в споре одерживавших над ним верх; первый — тот, кто согласен нежиться в капризных лучах привязанности женской.

Джонсон, шатко удаляясь, кажется, все еще трясся от смеха. Время от времени всхрап лебедей, снижавшихся на воду, эхом отдавался на его ликующие клики.

До вечера Баретти не выходил из классной. Он не присоединился к гостям за ужином, попросив, чтобы еду принесли ему в комнату, и миссис Трейл была рада-радешенька. Теперь она могла со всем вниманием прислушаться к беседе о новом труде Джонсона, за который комитет из самых почтенных книгопродавцев Лондона предполагал за глаза две сотни фунтов. В книгу войдут жизнеописания английских поэтов и критики на их творенья; Сэм, разнеженный, довольный, объявил — и это в присутствии доктора Берни, которого уговорили остаться на ночлег, — что будет ей признателен за помощь. “Ваши советы, друг мой, — точные его слова, — мне драгоценны, ибо вы не обременены излишнею ученостью и оттого суждения ваши свежи”.

Миссис Трейл тотчас настояла на включении Мильтона и Грея; первый, можно сказать, был общий их любимец, второй, по ее мнению, превознесен не по заслугам, “Вид Итонского колледжа” особенно, ну что уж в нем такого, что всякий зритель сам не способен понять и ощутить?

— А эти просьбы к матушке Темзе, — она развивала свою идею, — открой, мол, кто обручи гонял и кто мячи бросал, — бессмыслица, ребячество прямое.

— Прекрасно сказано, сударыня, — крикнул Джонсон и нежно потрепал ее по волосам. Несколько недель тому назад, озабоченная раздражением кожи, она отказалась от парика. Они с Генри оба с восторгом встретили эту перемену и даже уверяли, будто видят, как пляшут в волосах у ней лунные лучи.

Ночь выдалась ужасная, пришлось возиться с мужем — вскоре после полуночи он сплюнул зуб. Тогда и посетила ее мысль при первой же возможности везти его в Брайтелмстон — авось морские купания помогут. К завтраку она спускалась, побаиваясь свидания с Баретти, — его решено было с собой не брать. Он опоздал на полчаса и поздоровался так громко и так нагло, что не оставил ей сомнений: он снова вознамерился ее оскорблять. Усевшись, он спросил, согласна ли она — день восхитителен? Заметила она, как юные листочки уж распустились на каштанах вдоль аллеи?

— Я покуда еще не выходила, сэр, — ответила она и, наклонивши голову, принялась долбить яйцо.

— Весь сад, — сказал он, — вновь оживает, как и положено ему в такую пору года, если только тля на него не нападет.

Он улыбался, но она угадала зловещий тайный смысл в его словах и смерила его холодным взглядом; ей припомнилось сужденье Гамлета о Клавдии, убийце: "...можно улыбаться, улыбаться и быть мерзавцем"[1]. Баретти испугался, кажется; ей на минуту привиделась обида в его глазах; но вот прошла минута, он с грохотом поставил чашку, встал из-за стола и вышел в коридор. Там — миссис Трейл послала Куини за ним следить — он схватил шляпу, трость и был таков. Мисс Рейнолдс, поспешившая за Куини следом, доложила, что видела: он прошагал по въезду, даже ни разу не оглянувшись.

В полдень Куини пошла к узорчатым воротам парка, высматривать, не возвращается ли по проселку ее учитель. Перекликались на вязах голуби, и в грустном их гулюканье ей мнилось воркование мистера Баретти в классной, в тот день, когда родилась Пенелопа и умерла.

Несколько недель спустя мама рассказала, что мистер Босуэлл передавал мистеру Джонсону жалобы Баретти: с ним-де обращались с таким презреньем при посторонних — кажется, он разумел доктора Берни, — что ему ничего не оставалось, как навсегда покинуть Стретэм-парк. Ненависть снести еще возможно, говорил он Босуэллу, ибо она идет от сердца... презрение идет от головы.

Когда прислал он за своими пожитками и книгами, мама пробормотала: "Скатертью дорожка", но без особенного убежденья в голосе.

Джонсон в третий раз за три минуты спрашивал миссис Десмолинз, почистил ли Фрэнк Барбер его башмаки.

— Если вопрос в том, было ли ему велено их почистить, — она отвечала ядовито, — ответ будет "Да". Но исполнено ли это?.. Нет. Небось на кухонном столе так и стоят, грязью заляпанные.

— Не обращай внимания, — крикнула миссис Уильямс, — она взялась тебя дразнить. Я сама их щупала час тому, они были гладкие на ощупь.

Миссис Десмолинз метнулась вон из гостиной, наступила на кота, тот с воем бежал; ужасно досадно было, что так глупо она попалась. Сэмюэля пригласили к доктору Берни. С недавних пор он стал заботиться о своей наружности, особенно если ожидалась эта миссис Трейл: когда шел в Литературный клуб, небось не так он суетился, но там-то все смотрели ему в рот, ниже взгляд не опускали. Миссис Трейл, известное дело, теперь крепко сдружилась с доктором Берни, он обучал музыке ее балованную Куини, на прошлой неделе девчонке купили клавесин.

Миссис Десмолинз пошла к себе и в темноте ждала, когда же стукнет входная дверь. Тогда она поскорей выйдет на площадку и оттуда будет смотреть, как по двору идет Сэмюэль. Ночь была промозглая, башмаки остро скрипели на булыжниках из-за мороза. Как же легко поворотил он спину своему дому! Как же бесчувственно шагал прочь от тех, кто его любил!

Вдовый доктор Берни жил на Сент-Мартин-стрит, у дочерей. Хозяйство велось отнюдь не на широкую ногу, и доктор Берни благоразумно решил устроить вечер куда скромней, чем то водилось в Стретэм-парке. Не считая Джонсона, главным гостем был его покровитель, богатый и высокородный Фулк Гревиль, его тщедушная жена — автор нашумевших "Молитв о равнодушии", синий чулок, пожалуй. Гревили давно мечтали оба о знакомстве с Джонсоном. Сьюард, автор остроумных рассказиков

1. Шекспир. Гамлет. Акт 1, сцена 5. Перевод Б. Пастернака.

и старинный приятель Трейлов, был тоже зван. Однако доктор Берни, тревожась несколько о том, как-то сойдутся супруги Гревиль с пивоваром Трейлом и порой невыносимым Джонсоном, нанял итальянского тенора по фамилии Пьоцци, на всякий случай, чтобы развлекал, буде вдруг разговор увянет или, напротив, слишком разгорится.

Сначала все шло вполне удачно, хоть нелегко было хранить тепло в гостиной: гости шли недружно, каждому приходилось отворять входную дверь. Когда же наконец все были в сборе, Фанни, младшая дочь доктора Берни, догадалась свернуть потрепанный ковер и подложить под дверь во избежанье сквозняка. Явился горячий пунш, по кругу передавали конфекты в вазах, из которых одну Генри Трейл ошибкой счел предназначенной только ему и быстро умял все содержимое.

Первое вторженье клавесина выслушали в тишине, только ужасно кашлял Джонсон. После окончанья музыки раздались ленивые хлопки, не заглушившие голоса миссис Трейл, похвалявшейся своим недавним визитом ко двору; король пенял ей, что она так редко приезжает в город. Миссис Гревиль подняла лорнет к глазам и беззастенчиво ее разглядывала.

Фанни Берни сразу расположилась к Куини, которая, в свои четырнадцать, легко могла беседовать на равных с ней, двадцатипятилетней. Фанни даже призналась ей в злосчастной своей страсти к маранию бумаги, особенно к сочинительству пьес[1], и Куини отвечала, что сама она лишена воображения и рада этому, но ценит его наличие в других.

Миссис Трейл, почувствовав себя неловко в стесненной обстановке — мистер Гревиль был слишком важен, чтоб затевать беседу, Сэм, тот никогда первым рот не откроет, и что же с него взять, — вдруг начала хихикать без видимой причины. Миссис Гревиль по-прежнему ее разглядывала, тем еще портя дело, ибо была она длинна как жердь, как Лэнгтон, и вдвое его худей, и миссис Трейл невольно замечала ребра, как у скелета, под драгоценным шелком платья.

Нельзя сказать, потом она втолковывала Генри, что гостья доктора Берни ей показалась такой уж уморительной; ее другое насмешило: что сама она, не миссис Гревиль, стала предметом изученья. Вот она и не могла сдержать свой смех.

Доктор Берни, озабоченный, подал сигнал Пьоцци, чтоб начинал. Тем временем кашель Джонсона так разыгрался, что мистер Сьюард счел нужным стукнуть его по спине между лопаток, чем вызвал новый взрыв хохота у миссис Трейл. И — совсем уж скверно — чтобы отвлечь компанию, она взялась вдруг передразнивать певца, таращась и разевая рот, как рыба.

Доктор Берни ей крикнул, возмущенный:

— Но ваше поведение неучтиво! — после чего Джонсон, злобным взором пронзив мистера Гревиля, устроившегося перед камином так, что всё, кроме своего зада, отрезал от тепла, вскочил на ноги и прогремел:

— Сэр, не опасайся я лишить тепла камина наших дам, я сам бы встал на ваше место.

Мистер Пьоцци, как бы глухой к скандалу, невозмутимо выпевал "Салли в нашей дали", популярный рефрен из "Оперы нищего"[2] и, кончив, принялся раскланиваться с непокорной публикой. Миссис Трейл

1. Фанни Берни (1752—1840) — дочь музыканта, известная в свое время писательница, автор романов и пьес.
2. "Опера нищего" — комедия поэта и драматурга Джона Гея (1685—1732), этой пьесой создавшего жанр так называемой "балладной оперы".

хлопала всех громче; Джонсон счел, что она, причина суматохи, хочет загладить свою вину. Но Куини думала иначе. Лицо миссис Трейл понежнело, губы приоткрылись, будто на них готова ласка. Пьоцци был росточком мал, с розовеньким личиком, и бледные его глаза смотрели только на маму.

Скоро, Куини подумала, она захочет, чтобы он учил меня петь.

Мадам д'Арбли
54, рю Басс
Пасс
Франция
Августа 4-го дня 1810

Милая Фанни,

я читала письмо Ваше с удовольствием и немалым облегчением, ибо теперь, когда мисс Хокинс столь рьяно взялась за Вас, я очень надеюсь, что меня она оставит в покое. Она, как Вы на себе уж, верно, убедились, весьма настойчивая особа.

Больше года ее письма сыпались на меня, как листья осени, и как ни уклонялась я от чересчур многих ее вопросов или от тех немногих, что были чересчур нескромны, как ни оставляла ее письма без ответа, я не достигала тем желанной цели, а именно чтобы она отстала от меня.

Письма эти еще приходят, и, боюсь, вопросы о состоянии дел в Стретэмпарке проистекают больше от стремления свести старые счеты, нежели от искреннего и созидательного побуждения ублажить народы. Опубликованные анекдоты миссис Пьоцци о докторе Джонсоне и его друзьях только подбавили масла в пламя злобы мисс Хокинс, ибо сэру Джону в них несладко достается, и хоть матушка моя славится своей неточностью, замечаниями о скаредности его, конечно, она попала в яблочко. Была, была какая-то несчастная история с исчезновением часов, с изъятием каких-то сугубо личных бумаг, принадлежавших доктору Джонсону.

Прошу Вас, милая Фанни, будьте осторожны с этой мисс Хокинс. Вы, которой я, по малости лет не зная осмотрительности, доверяла все детские свои страхи, Вы слишком хорошо знаете, что́ предпочла бы я оставить в тайне, особенно то происшествие в Париже, когда доктор Джонсон и моя матушка катались утром по полу, и еще раньше, в Личфилде, когда я подсмотрела, как он волок матушкино исподнее из ее спальни.

В то время Вы твердо встали на защиту моей матери и для моей же пользы уверяли, что нельзя давать волю *фантазии.* Я, как Вы помните, тогда решительно ответила, что у меня нет фантазии, и только потом уже, когда матушка взялась за свои последние эгоистические и недостойные проделки, Вы взяли мою сторону и признались в своей досадной слепоте.

В своем письме Вы любезно справляетесь о здоровье и благополучии сестры моей миссис Мостин. Недавно я имела удовольствие видеть ее у себя. Она так переменилась, так раздалась, являет собой такое воплощение крепкого здоровья, что Вы бы ее не узнали. Мы с ней не одну ночь проболтали до рассвета, злоупотребляя великодушной снисходительностью мужа моего адмирала Кейта. В сестре моей куда больше достоинств, чем при подобном воспитании можно бы предполагать. Мы с нею согласились, что натерпелись обид с той стороны, с какой обыкновенно ждут их всего меньше. Она убеждена, что матушкина изначальная и упорная неприязнь к собственным детям проистекает от ненависти к нашему отцу, и, конечно, все отношение ее к семейству — ко-

гда она получила известие, что сестрица Гарриет умирает от коклюша, она ведь оставалась в Бате, покуда девочка не испустила дух, — тому служит подтверждением.

Простите меня, милая мадам д'Арбли, что я так разболталась, и все о себе, не справившись сначала о здоровье мужа Вашего генерала и Вашего милого сына Алекса. Родись я в семействе, незнакомом с доктором Джонсоном, чья литературная слава разгорается все пуще, я бы могла совсем не думать о себе. Несчетные исправленья, в каких нуждается "Жизнь" мистера Босуэлла, и море разливанное за ними тянущихся новых неувязок и противоречий постоянно бередят во мне воспоминанья, какие предпочла бы я оставить скрытыми завесой давних лет. Я по природе холодна, сей недостаток, по увереньям матушки, унаследовав от покойного отца, и странно даже, в каком смятении сейчас все мои чувства. Я в детстве поняла, что возраст имеет следствием забывчивость, а с недавних пор, к немалой своей досаде, замечаю, что с приумноженьем лет прошлое делается куда живее настоящего.

Вы поминаете о расположении своем к доктору Джонсону и, кажется, удивлены тем, что я так мало привязана к нему. Не то чтобы я его не любила, скорей не позволяла уж очень разрастись своей любви, в чем мне немало помогали ужасные его манеры за столом, а порой и сильный запах от его особы. Однако, что ни говори, я знаю, что он был человек на редкость умный, и знаю, как искренна и свободна от ханжества была его вера в Бога. Когда мне было всего десять лет, я его спросила, почему, если Бог так бесконечно добр, находит Он необходимым бросать людские души в огонь Чистилища — я беспокоилась о маминой судьбе, — на что он отвечал, что Бог бесконечно добр в целом и ради блага целого отдельные индивиды должны страдать. Теперь логика этого утвержденья мне кажется сомнительной, но тогда она меня вполне убедила и я с тех пор меньше рыдала перед сном.

Он приснился мне, когда сестра у меня гостила, без сомненья потому, что, шаркая, бродил по нашим разговорам о днях давно минувших. Снова мы оказались во Франции, в королевской обеденной зале в Фонтенбло; доктор Джонсон стоит на хорах наверху. Я тереблю пуговицу, которую он сронил с камзола вечером накануне, и мама, раздражась моей возней, так злобно тычет меня в спину кулаком, что пальцы у меня разжимаются и пуговица катится на пол; сквозь гул толпы, следящей за вкушающими королем и королевой, я различаю вопль доктора Джонсона: "Волосы у моей жены были как пшеница золотые". Я смотрю вниз, на скачущую по плитам пуговицу, и вдруг она обращается головой Марии Антуанетты — рот изогнут улыбкой, солнечный луч путается в шелковой паутине парика. И в этот страшный миг сестра меня растолкала — я плакала во сне.

Странно, не правда ли, как предметы самые скромные во сне облекаются значением? Одно из моих самых ранних воспоминаний — как я стою на ступенях в Стретэм-парке и держу на свету пуговицу. Я тогда нашла ее в саду и очень заинтересовалась выгравированной на ней прыгающей собакой. Мама потребовала, чтобы я показала, что́ у меня в руке, а я сунула пуговицу в рот, и мама мне надрала за непослушанье уши. Несколько лет спустя, при поездке в Личфилд, на лестнице постоялого двора увидав портрет мужчины, у которого на плаще недоставало пуговицы, я вообразила, будто на эту самую пуговицу я набрела когда-то в саду родительского дома. Не странное ли это признание со стороны человека, объявившего об отсутствии у него фантазии?

Вы пишете о желании своем возобновить знакомство с моей матерью, но, как справедливо Вы заметили — хоть всю жизнь свою Вы невольно наблюдае-

те и оцениваете людей, — сей характер путает все расчеты и от всех оценок ускользает.

Будьте здоровы и благополучны, милая мадам д' Арбли.

Остаюсь всегда преданной Вам
Х. М. Кейт

Когда Гарри впервые пошел в школу, доктор Джонсон составил для него молитву и по произнесении ее остался на дороге, глядя вслед удалявшейся карете. Вдруг он повернулся к моей матери и сказал: "Пусть мальчик вам рассказывает свои сны; первая порча вошла мне в душу во время сна". — "Какая порча, сэр?" — она спросила. "Не спрашивайте", — ответил он, и так яростно, что она побледнела.

1780–4

Разложение
1. Распадение целого на составные части его.
2. Извлечение из составного, сложного всех начал.
3. Брожение, гниение, тление, утрата первоначального своего образа.

Разложение всеобщее распространилось в обществе, как и небрежение всех принятых понятий.

Аттербури[1]

Генри Трейла было не узнать. Куда подевались сдержанность и здравый смысл, так некогда расположившие к нему Джонсона. Скажем, эта история с Софи Стретфилд, недавно вошедшей в круг друзей, в которую Генри, по всем признакам, влюбился безответно. Сомнительной связью тут не пахло, мисс Стретфилд добродетельна, а он чересчур болен, чтобы пускаться во все тяжкие, но, по мнению миссис Трейл, все это было ужасно унизительно. И он вдобавок лез на рожон; еще от первого удара не оправился, слава богу легкого, а вздумал снова сунуться в парламент, и его прокатили. Такой удар по самолюбию; как-никак пятнадцать лет представлял он Саутуорк.

Джонсон и миссис Трейл объясняли его провал переменой во внешности и всей повадке. После смерти Гарри что-то в нем надломилось, и по тусклым глазам, по неотчетливым речам ущербность каждому была заметна. Пусть он и охотился, и объезжал верхом округу, и дулся в карты, но все без прежнего задора. Единственная страсть его — мисс Стретфилд не считая — была еда, и аппетит, всегда свирепый, возрос до прямо угрожающих степеней. Как заметил Джонсон, однажды утром насчитав на тарелке у него за завтраком семь скорлупок от уничтоженных яиц: "Сэр, скоро вы обхватом превзойдете самого Фальстафа".

1. Фрэнсис Аттербури (1663–1732) — теолог, епископ (настоятель Вестминстерского аббатства), автор знаменитых проповедей.

Причиной для беспокойства еще более серьезного было его небреженье делом, усугубляемое уж вовсе ни с чем не сообразной расточительностью. Снова зачем-то расширялись в Стретэме конюшни; дюжина павлинов расхаживала по террасе; в Италии накупили мраморных статуй, дабы украшали собою въезд, но две свалились в док при разгрузке и теперь лежали, расколотые, в кустах; и в довершение всего он собирался взять в аренду огромные владенья на Гросвенор-сквер.

Джонсон, боясь полного банкротства, с глазу на глаз переговорил с Перкинсом, намекнув, что стоило бы убедить Трейла, чтобы тот вверил управленье пивоварней его, приказчика, более умелым рукам.

Перкинс, вняв совету, немедля взялся за дело без обиняков и околичностей, отчасти, впрочем, переусердствовав. Он сказал:

— Мистер Трейл, сэр, я вот тут подумываю, не стать ли нам компаньонами в деле. Что вы на это скажете?

Не получив сразу ответа от растерянного Генри, он продолжал:

— Я желаю поглубже изучить суть вопроса и вникнуть в обстановку с нашим вывозом товара... и поскольку вы вскорости освобождаете ваш дом, моя супружница и растущий выводок очень были бы довольны, там разместившись.

Генри передал миссис Трейл слова главного приказчика, и она рассердилась. У этого Перкинса куча здоровых сыновей, неделикатно с его стороны поминать про их упрямый рост. К тому же, хоть она годами мечтала покинуть Дедменс-плейс, обидно, право, когда тебя выживает какой-то там приказчик. Вдобавок совсем недавно пережила она свежее разочарованье: когда у мужа был удар, разрешилась мальчиком, совсем сложившимся, но мертвым. Генри так ничего почти и не заметил, и если бы не мистер Пьоцци, дочкин учитель пения, так мило ее поддержавший, она сама просто не выдержала бы, погибла бы, пропала.

— Он так вникает в женский характер, как, кажется, умеют только сами женщины, — неосторожно поделилась она с Куини.

— И правда, он все глазами хлопает, — отозвалась Куини.

— Вот уж чего не замечала, — отрезала миссис Трейл, — зато замечала его чуткость.

— В прошлом году и раньше десять лет целых, — сказала Куини, — лучше всех понимал чувства женщины мистер Джонсон.

Миссис Трейл, пытаясь выкрутиться, обнаружила, что даже в мыслях заикается. Я и-испортила К-Куини, она думала, потому, наверно, ч-что слишком ее люблю, и за это должна т-теперь расплачиваться.

Джонсон сам уговорил Трейла предоставить управленье пивоварней Перкинсу, каковым делом тот занимался и до сей поры, хоть и не числясь в управителях. Джонсон подсластил пилюлю, сославшись на временность такого положения. "Когда совсем оправишься, — сказал он, — ты вновь примешь бразды". Глядя на губы своего Хозяина, поблескивающие салом жареного поросенка, на потный лоб, думал он о том, что время это кануло невозвратимо. Миссис Трейл была довольна, что Генри отошел от дел, давно наскучив ролью Леди Сусла (титло, ей пожалованное покойной миссис Солзбури). Оставя дом на Дедменс-плейс, она подарила миссис Перкинс все, что там было, кроме бюро Джонсона, отправленного на Гросвенор-сквер, и детских мебелей, какие были сосланы в сиротский дом в Гринвиче. Как объяснила мистеру Пьоцци, она не имела охоты таскать с собою то, что служит только досадным напоминаньем о прошлом.

Мысль о том, что придется расстаться с комнатами на башне пивоварни, не радовала Джонсона. Он достиг возраста, когда не хочешь перемен, и за всею суетой, за разговорами о Гросвенор-сквер — миссис Трейл уверяла, что мужу лучше быть поближе к докторам, — предчувствие его томило, что самого его вытолкают и оттуда. Чтобы не думать о видах столь ужасных, старался он отвлечься. Ввязавшись в хлопоты о будущем пивоваренного дела, он забросил свои эссе, своих поэтов и теперь, хотя и без охоты, опять за них взялся.

Не успели обосноваться в городе, Трейл завел речь о путешествии в Италию. И мало этого, он до того додумался, что, мол, следует уладить ссору с синьором Баретти, ибо никто другой не сможет позаботиться об их поездке. Миссис Трейл и думать даже не хотелось о воссоединении с человеком, который был для нее невыносим и распускал о ней вдобавок гнусные клеветы. И как тащить через континент Генри — человека, который не в состоянии бодрствовать больше трех часов кряду и удерживать в себе фекалии? Она искала сочувствия у Пьоцци, и тот сказал, что Баретти, верно, в душе человек не дурной, просто прежние опыты ему прохудили кожу; учитель пения по-английски изъяснялся поневоле столь замысловато, что поиски зерна порою нелегко давались миссис Трейл.

Джонсон, извещенный о затее, глянул строго и сказал, что побольше веселых сборищ, окруженье равных умов — вот что нужно Генри. Его так огорчал упадок милого Хозяина, что о своих познаньях в медицине он позабыл; и постарался себя уговорить, что корень зла в душевном состоянье Трейла. Диагноз чересчур пристрастный.

И пошли вечера и встречи, и в Лондоне, и в Стретэм-парке. Фанни Берни сделалась любимицей миссис Трейл, а Джонсон даже допустил ее к латинским урокам вместе с Куини. Однажды утром, когда в гостях были сэр Филип Клерк и Софи Стретфилд, миссис Трейл просила Софи "исполнить свой номер" за столом во время завтрака. Фанни, которая еще не знала о чувствах Трейла к Софи, а знала только о способности девицы лить слезы на заказ, была обескуражена столь неучтивой просьбой.

— Сэр Филип, — приступилась миссис Трейл, — так наслышан о ваших слезах, мисс Стретфилд, что все готов отдать, только бы их увидеть.

— Да, я готов, — признал сэр Филип.

— И вы же сделаете одолжение... ну, милая, не так ли?

— Нет, — взвизгнула мисс Стретфилд, — ах нет, прошу вас...

— О, будьте так добры, мисс Софи! Дайте ему немножко посмотреть! — не унималась миссис Трейл. — Подумайте, ведь завтра вы уедете, и как будет жестоко, если вы для него самую малость не всплакнете.

Вдруг на глаза мисс Стретфилд навернулись слезы и двумя хрустальными грушами скатились по щекам; она блаженно улыбалась. Миссис Трейл восторженно захлопала в ладоши и крикнула:

— Эти слезы показывают нежность души и делают лицо еще прекрасней.

Фанни дивилась глупости мисс Стретфилд. Как не сообразить, что миссис Трейл решила потешиться над ней? Но в тот же вечер, за ужином, мисс Стретфилд доказала, что не так проста. Миссис Трейл сидела на обычном своем месте за столом, как вдруг мистер Трейл заорал, чтобы она поменялась местами с Софи, ибо "у ней горло болит, ей нельзя сидеть так близко к двери". Тотчас мисс Стретфилд поднялась со стула, а миссис Трейл крикнула:

— Возможно, в недолгом времени эта дама сядет во главе стола, — и разразилась бурными слезами, притом, в отличие от прекрасной мисс Стретфилд, ее ничуть они не красили. И с тем она выскочила из комнаты.

Много позже, когда Фанни и мистер Джонсон, войдя в гостиную, увидели миссис Трейл, она взяла себя в руки, но все негодовала. Едва Джонсон переступил порог, она спросила:

— Это я виновата в том, что произошло?

Он ответил:

— О нет, конечно; ведь ваши чувства были оскорблены.

— И еще как, — выпалила она, — но я не могла не заметить, как снисходительно смотрели вы на это оскорбление. Если бы подобное вам рассказали о других, негодованью вашему бы не было предела... но с человеком, который дает хорошие обеды и предоставляет вам в полное распоряжение библиотеку свою и дом, вы сама кротость.

После такой тирады Джонсон, кажется, смутился и не произнес ни слова. На другой день он поведал Фанни, что вспышка миссис Трейл вызвана скорей тревогой о пошатнувшемся здоровье мужа, чем глупыми его курбетами вокруг Софи Стретфилд. Фанни передала Куини эти соображенья мистера Джонсона, и та ответила, что просто ему хотелось бы так думать.

— Маме на папу наплевать, — она сказала, — она занята единственно собой.

Куини тоже переменилась: была уже не так обидчива, менее скрытна. Иной раз с этой своей тонкостью и переменчивостью нрава она была, казалось Джонсону, вылитая мать. Однажды утром на Гросвенор-сквер, когда он пил чай в малой гостиной, она ворвалась к нему после урока пения и стала кружить по комнате. Не часто Куини так резвилась, и Джонсон, поймав обрывок трели, даже сравнил сей звук с коленцем соловья. По правде говоря, он музыку считал докукой, но радость Куини была заразительна. Лесть его была с присвистом, всегдашняя астма особенно вдруг разыгралась. Куини ему велела встать прямо и расправить плечи, как указывал ей мистер Пьоцци, когда дыханье ставил.

— Важно, — она приговаривала, — чтоб легкие расправились получше.

Покоряясь ее веселости, он встал и выпрямился по военной стойке.

— Вдох, — она приказала, — ...глубже... глубже.

Он и хотел послушаться, но тут на него напал жестокий приступ кашля. Несколько минут спустя, откинувшись на стуле, он корил ее за то, что она думает, будто всем дышится одинаково легко.

— Для меня слегка глотнуть воздуха все равно, что для тебя вдохнуть целый ураган.

— Папа не умрет, ведь правда же? — спросила она вдруг.

— В свое время, — он сказал, — все мы умрем... но не сейчас.

— Мистер Гаррик умер до времени. Я слышала, вы сами говорили...

— Говорил, — признался он, — и так считал, потому что с ним вместе проходила моя юность, и я по нем тоскую.

— А по мистеру Баретти?

— Но он не умер...

— Нет, — согласилась она, — но вы его не видите, значит, невелика разница. Вы считали, что он достоин дружбы, правда?

Уклонясь от этого вопроса, при том что понял подоплеку, он сказал, что лучше оставаться с кем-то в добрых отношениях, как бы ни разнились ваши взгляды.

– Мама не права, ведь правда же, что отказала ему от дома?

– Мама ему не отказывала. Мистер Баретти сам поставил точку.

Куини примолкла. Так изменилось у нее лицо, радость сразу, вдруг как рукой сняло, что Джонсону стало ее жалко. Думая ее отвлечь, он сказал:

– Мистер Босуэлл себя считает композитором, он сочиняет песни. Мелодия в них никакая, но слова привязчивы, особенно если у кого тоска. В прошлом месяце он мне читал одно вступленье. Дальше первых двух строк дело не пошло, и те нехороши...

– Ну, прочитайте, – выговорила она, но через силу.

– "Конец, конец, конец, – подвывал Джонсон, – конец мечте, и жизнь не тешит боле..."

– И дальше ничего? – спросила Куини.

– Да, Ягодка. Что тут может быть дальше?

Она сказала:

– А мама мастер ставить точку, ведь правда?

Он остро на нее глянул и проговорил, явственно превозмогая волненье:

– Мама мастер многое делать, в том числе любить. Тебе бы стоило об этом поразмыслить.

– У меня нет желанья размышлять о том, что она любит мистера Пьоцци, – крикнула Куини, и Джонсон встал, распрямился и, что-то бормоча, тряся головой так, будто старался избавиться от вони у себя под носом, вышел за порог. Куини поняла – конечно, это не грубость, просто он, по старости, вдруг вспомнил что-то, что прежде позабыл.

– Конец, конец, конец, – пропела она громко и снова закружилась по комнате.

Джонсон брел по Флит-стрит, глядя себе под ноги, как вдруг наткнулся взглядом на мускулистый крысиный хвост, высунувшийся из груды старых газет, прибитых ветром к двери пирожной лавки. В тот миг думал он о Драйдене, о котором написал: "Сила разума в его трудах куда заметней тонкой восприимчивости", – как бился он над этой фразой, ибо все казалось ему, что он препарировал скорее самого себя, чем свой предмет. Разве не был ум Драйдена забит принципами и соображениями? И свершения – всегда поспешны, либо вызваны случайным внешним толчком, либо исторгнуты нуждой домашней? Разве не сочинял он не взвешивая, не отдавал в печать не правя? То, что поставлял ум его по первому сигналу, что мог единым натиском собрать – вот все, чего искал он, ибо чуждался упорного труда...

Отвлекшись, он остановился, чтобы следить явленье грызуна. Крыса вышла, внюхиваясь, подняв передние лапы. Увидела или учуяла его – и сразу скрылась.

И почти тотчас его окликнул Джеймс Босуэлл, вчера вернувшийся из Шотландии и направлявшийся в Болт-корт в надежде там его застать. Весь красный от возбужденья, Босуэлл кричал: "Как же я рад вас видеть, сэр!" – и тряс ему руку.

Едва покончили с учтивостями, Джонсон сказал:

— Вид животного, спешащего по своим делам, разыскивающего пропитания для детей своих, — какое странное удовольствие он нам доставляет.

— Как это верно, — поддакнул Босуэлл, хоть решительно ничего такого он не наблюдал, кроме расхаживающих по водостоку голубей.

— Одно есть только в мире лживое созданье, — продолжал Джонсон, — и это человек. Все остальные добродетельны и честны.

— Как это верно, — повторил Босуэлл и попросил разрешения его сопровождать, потому что, сказал он, он прочитал значительную часть рукописи "Критических наблюдений о поэтах" и мечтает об этом побеседовать.

Джонсон отвечал, что сейчас как раз нашел на него задумчивый стих, но вечером Босуэлл будет желанным гостем в Болт-корте. Прощаясь, он сказал:

— Мы так любим наблюдать животных, больше потому, что нам приятно видеть свой характер в упрощенной форме.

Наблюдение это самому ему показалось столь острым, столь проницательным, что он хмыкнул, его разобрал смех, и, с ним не совладав, он расхохотался во все горло, вспугнул голубей, и у него над головой взвилась рассеянная стая.

Впустила Босуэлла миссис Десмолинз; она была в некотором смущенье. Сэр Джошуа, Артур Мерфи и мистер Аллен, типограф, сидели уже в гостиной, а Джонсон все не подавал ей знака, чтобы удалилась. Миссис Уильямс, любимица, была тут как тут, и Левет тоже, одна грелась у огня в своем линялом багреце, другой, в дальнем углу, старался держать чашку подальше от кота, пристроившегося на костлявых его коленях. Миссис Десмолинз подсела к Левету, в другой раз никогда бы не подсела, да ведь не часто их обоих и допускали, когда Сэмюэль принимал гостей.

Босуэлл тотчас принялся нахваливать Сэмюэля за "Поэтов". Дескать, двести гиней плата ничтожная за столь могучие усилья гения.

— Не гиней, — поправил Джонсон, — но фунтов... и не то беда, что мне слишком мало заплатили, сэр, а то, что я слишком много написал.

— Это труд, исполненный бесконечной учености, — разливался Босуэлл и пошел декламировать целые пассажи из эссея о Попе. Он говорил так долго, льстил так непотребно, что Джонсон прорычал:

— Довольно, сэр. Я все это писал, как и всегда пишу, с ленцой и впопыхах, не желая утруждаться — и потея; спеша — и с проволочкой. Молчите далее, ибо вещь сия еще не тиснута в печати, и аттестации ваши, порожденные пристрастьем, доверия не стоят. — И, плеснув бренди ему в стакан, на минуту угомонил Босуэлла.

Сэр Джошуа рассказывал о визите своем к несчастному Тоцэму Бьюклерку, который, он боялся, долго не протянет.

— Привычка к опию его сгубила, — печалился сэр Джошуа.

— Слыхала я, — отважилась миссис Уильямс, — будто бы после того, как он переночевал у мистера Лэнгтона, белье так и кишело паразитами, пришлось все сжечь.

Сэмюэль только повел на нее сердитым взглядом и прикусил язык. Да расскажи я про ужасы про такие, подумала миссис Десмолинз, небось уж в погреб бы сослали.

Босуэлл завел речь о лекции, которую слышал он недавно в Зале каретников. Речь шла о воскресении святых после распятия, с приведени-

ем свидетельств тех, кто уверял, что видел сей феномен. Миссис Уильямс нашла, что тема интересна, и ей хотелось бы послушать ее обсуждение, но Джонсон возразил, что интересного ничего тут нет, ибо не может быть доказательств. Самого факта воскресения он не оспаривает. "Вопрос лишь в том, – он рассуждал, – в силах ли души усопших делаться доступны нашим чувствам; пусть человек, видавший привиденье, сам в этом убежден; но сей источник не может убедить другого..."

Его прервал какой-то прямо потусторонний вопль в темном углу гостиной. Все вздрогнули от страха, что привиденье явилось-таки им; то был всего лишь Левет, о чьи колени кот счел уместным точить когти.

– Существует зато, – продолжал Джонсон, – даже нередкое явление, когда вас *зовут*... то есть вы слышите свое имя, произносимое кем-то, вам хорошо знакомым, но находящимся так далеко от вас, что обычным способом звук быть произведен не может...

– Сэр, сэр, – крикнул Босуэлл, – я знаю кой-кого, с кем это было. Один мой знакомый брел домой в Килмарнок, как вдруг из дальнего леса его окликнул голос брата, который уже много лет жил в Америке...

– И надо думать, – сказал Джонсон, – спустя несколько дней он получил известие о смерти брата...

– Ну да, ну да. Именно так.

– Голос, который слышал я, – сказал Джонсон, – был голос моей милой матушки. Я был в Оксфорде, отпирал ключом замок на воротах нашего колледжа, и тут она очень отчетливо позвала: "Сэм".

– И затем вы получили известие о ее смерти? – спросил мистер Аллен.

– Нет, сэр, всего-навсего письмо с просьбой о сумме в два фунта.

Скоро сели обедать. Для Левета не оказалось места за столом, и он ел в углу, отбивая у кота свою тарелку. Угощенье не поражало изобильем, зато ветчины удались, а яблочное чатни миссис Уильямс признано шедевром. Несколько месяцев тому назад Джонсон купил серебряную перечницу и теперь передавал ее с тем трепетом, какой уместней был бы при обращенье с редким манускриптом. Когда перечницей завладел Артур Мерфи и стал щедро сыпать содержимое в тарелку, Джонсон выхватил ее у него из рук, обтер полой камзола и поставил в недосягаемое место.

Когда уже собрали со стола и третья бутылка портвейна была откупорена, сэр Джошуа коснулся своего визита на прошлой неделе в Стретэм-парк. Мистер Трейл, сказал он, очень изменился. У него теперь такой ужасный аппетит, что за столом даже страшно на него смотреть. "Сначала, – рассказывал сэр Джошуа, – были раки, карп и устрицы... потом – окорока, жареные куры, индейка... а между ними разные пироги... и все это он поглощал в огромных количествах и так на все набрасывался, будто вот-вот отнимут у него тарелку... и все время так свирепо чавкал, что побагровели жилки на носу и глаза чуть не выскочили из орбит".

– Вмешиваться, – сказал Джонсон, – стараться его урезонить – дело гиблое. Мы с миссис Трейл делали все, что в наших силах, чтобы умерить его обжорство, – все напрасно.

Артур Мерфи сказал, что миссис Трейл вернулась в город и весьма довольна, попав в вихрь модных событий. Он только вчера к ней заходил, она занята планами музыкального вечера, который скоро дает в Гросвенор-сквер.

– Любопытно, не правда ли, – вставил Босуэлл, – что миссис Трейл так полюбила человеческий голос, воспаряющий в песне?

Последовало неловкое молчание. Не одна миссис Десмолинз уловила сопровождавшую эти слова лукавую усмешку. Тут Джонсон встал и щедрой мерой налил себе бренди; все глаза к нему обратились.

— Сэр, — крикнул мистер Аллен, — вот я не думал, что вы пьете.

— Много лет не пил, — ответил он, — да вот недавно снова принялся, но не на людях.

— Однажды, помнится, — сказал сэр Джошуа, — тому уж много лет, перед тем как отстать от пагубной привычки, ты выпил три бутылки портвейна, после чего не в состоянье был произнесть трудное слово, три раза пробовал, потом поставил рюмку и ушел.

— Это слово — "подлый", само по себе оно не трудно, но мои губы отказывались его сложить.

Мистер Босуэлл к концу вечера так нализался, что на ногах не мог стоять. Пришлось мистеру Мерфи на закорках тащить его во двор, и там, хрипло голосящий, он сунут был в карету сэра Джошуа.

Миссис Десмолинз с удовольствием бы посидела внизу, в тепле, но Джонсон ее отослал спать. Проклятого Левета никто не гнал. И не успела миссис Уильямс сказать "спокойной ночи", он шатко вышел из своего угла и уселся у огня вместо нее. Кот тут же двинулся следом и вспрыгнул к нему на колени. Небось запах селедки вокруг его особы, поняла миссис Десмолинз, внушил такую страсть зверюге.

Вот буду умирать, одна, она подумала, а Сэм услышит, как мой голос зовет его по имени, тогда-то он заплачет.

Миссис Трейл решила, что заставит весь Лондон говорить о своем музыкальном вечере. С помощью мистера Пьоцци наняли десятка два музыкантов и артистов, Генри было доверено составить столь изобильное и изощренное меню, чтоб двадцать пять слуг сбивались с ног, таская блюда в столовую из кухни. Заданье это, будучи ему по сердцу, заметно ободрило пивовара.

Платье на миссис Трейл будет такое, в каком и при дворе не стыдно показаться. Материя — точь-в-точь как вот привозят с тихоокеанских островов, в тонюсенькую полосочку, и такой рисунок таитянский, а отделка — креп, золотые кружева, тесьма и камешки-камешки, почти совсем такие яркие, как бриллианты; одна отделка в шестьдесят пять фунтов обошлась. Она примерила платье, ради удовольствия Куини, но та объявила его кричащим.

Миссис Трейл уговорила Пьоцци начать концерт арией, какую сама облюбовала. Слова, она сказала, как нельзя более подходят к мужу. На первых строках Пьоцци пусть смотрит прямо на него:

> Коли сердце мужчины тоска угнетает,
> Вид един милой дамы тоску разгоняет...[1]

а потом на Софи Стретфилд:

> Нежней лилеи дева-красота,
> Алее розы, ах, ее уста,
> О нега касаний

1. Ария-баллада из "Оперы нищего".

И дивных лобзаний,
О миг восторга, о мечта...

и тут будет прямо неучтиво, если мисс Стретфилд их не разодолжит потоком своих дурацких слез.

Миссис Трейл уговорила Джонсона присутствовать на одной из репетиций Пьоцци. Он сидел верхом на стуле, силясь выглядеть довольным. Когда итальянец воспарил в припеве и, лаская влюбленным взором миссис Трейл, пел про лобзанья и касанья, он встал и протопал за порог.

Миссис Трейл потом его корила за дурное поведенье.

"Положим, вы музыку не любите, она его отчитывала, но вы задели чувства мистера Пьоцци", на что он в голос заорал, что как-то не припомнит, чтобы она заботилась о чувствах Пьоцци ли, кого другого в тот вечер, когда они все были в гостях у доктора Берни. Она с честным недоуменьем на него смотрела. Для нее прошлого нет, он думал, настоящее все застит.

Вечером 2 апреля Трейл так много ел, что в беспамятстве упал головой прямо в объедки у себя на блюде. Миссис Трейл послала за доктором, за Пипсом, и тот, осмотрев больного, объявил, что его следует отправить в лечебницу для умалишенных, иначе неминуем смертельный исход. Миссис Трейл не могла согласиться с этой мерой. Она сказала, что коль скоро на сии гастрономические крайности расточаются деньги самого Генри, стало быть, он же и вправе их мотать, — но буде можно зашить ему рот, она не постояла б за расходами на нитку.

Наутро, за завтраком, Генри опять так обжирался, что Джонсон крикнул:

— Сэр, так наедаться — не многим лучше самоубийства.

Час спустя Трейл вышел из дому, оставил визитные карточки у нескольких знакомых, дважды проехался на коне по площади, а потом спал, покуда не позвали его обедать. Обедали теперь в восемь, не в четыре, как было заведено в Стретэм-парке. Присутствовали: Фанни Берни, мистер Лэнгтон, Куини, Джонсон и миссис Трейл.

Пытались затеять разговор, хотя почти не удавалось сбить миссис Трейл с рассуждений о завтрашних ее заботах. Мистер Лэнгтон начал было рассказывать о знакомстве своем с его преподобием мистером Хэкманом, который, тому два года, отправился на виселицу, застрелив любовницу лорда Сэндвича, но так был он поражен поведеньем Трейла, что скоро смолк.

Аппетит пивовара был уму непостижим: он поглотил четыре миски бульона, две дюжины устриц, двух омаров, семь телячьих отбивных, трех фаршированных каплунов, все это, бутылка за бутылкой, споласкивая крепким пивом. Вокруг все положили ножи и смотрели в ужасе; кажется, даже слуги испугались.

Он поднялся, не дожидаясь, когда подадут сладкое, и, часто, громко рыгая, вышел из столовой. Миссис Трейл за ним проследовала до лестницы. Окликнула его, но он только взмахнул на нее рукой и продолжал взбираться.

Через пять минут наведалась к нему Фанни, и состояние его ей показалось не таким уж скверным.

— Ступайте, мисс Берни, — он попросил, — мне хочется быть одному.

— Он не такой красный, — она доложила, воротясь за стол, — и голова совершенно ясная.

Полчаса спустя наверх поднялась Куини. Папа валялся на полу, без туфель и чулок. Перепугавшись, она спросила, зачем он здесь лежит, и, слабо ворочая языком, он ей ответил: "Потому что так хочу... я здесь нарочно лег". Она заметила темную кожу его голых ног, желтоватые, заскорузлые ногти; ноги как у дикаря, она подумала и попыталась его поднять.

— Оставь меня, — он приказал и, приложив к сизым губам трясущуюся руку, послал воздушный поцелуй. Она бежала вниз по лестнице и всхлипывала.

Вызвали Пипса, но что он мог поделать; было слишком поздно. Умирающего уложили на постель, он все бормотал, что напрасно они так хлопочут. Скоро случился разрыв легких. Джонсон держал его за руку, стирал кровавую пену с губ. Утром в четвертый день апреля, когда растекался над трубами рассвет, не стало Трейла. Он не произносил последних слов, только протяжно испустил ветры.

Джонсон никогда не думал, что способен на самообман. Не тем ли и объяснялись многие напасти в его жизни, что слишком пристально он ей глядел в глаза? И все же, все же после смерти Генри Трейла он очень думал, что отношения его с "милой Хозяйкой" пойдут как прежде. Разве привязанность взаимная и общий опыт не сблизили их так, что вздернутая бровь, поникший угол рта мог упразднять слова? Да и не он один так думал. В самом деле, не успело остыть тело Трейла, а уж в светской колонке "Геральда" намекалось о вероятиях союза между его вдовой и известным лексикографом и поэтом. Он никому не признавался, что читал скандальную эту болтовню, и он не хотел замечать, как дрогнуло и покатилось у него при чтенье сердце. Как-то ночью он перечитывал письмо, недавно присланное миссис Трейл; подпись расплылась, и на ее месте прочитал он "остаюсь преданная Х. Л. Джонсон". От замещения этого он разволновался, он отшвырнул листок. Траур по Генри Трейлу только начался — не время думать о подобной перемене участи. Потом он сумел себя уверить, что на уме у него была милая, милая Тетти.

Как душеприказчик покойного супруга он много помогал миссис Трейл, которая к нему обращалась за советом и поддержкой, и хотя искренно оплакивал своего Хозяина — *вдруг прервана текучесть бытия,* — он не без охоты входил во все подробности, связанные с будущим пивоварни; все лучше одинокого, тоскливого писанья за столом. При том что из потомков Трейла в живых остались только дочери, а миссис Трейл не склонна навьючивать на себя дело, решили его продать. Мистер Баркли, квакер и банкир, предложил хорошую цену, согласились на том, что племянник его и достойнейший мистер Перкинс разделят обязанности руководства, и все были довольны.

И снова жизнь текла, как исстари повелось, Джонсон большую часть времени проводил в Стретэм-парке, совершая краткие набеги на Ашборн, Оксфорд, Личфилд и Болт-корт. Миссис Трейл перебралась в дом на Харли-стрит, где, как всегда, ему отведена была комната.

Однако же не все осталось по-прежнему. Несколько раз она его ослушалась в хозяйственных делах, а однажды, за столом, когда он позволил себе заметить, что подливка к гусю не так тонка, как у миссис Лэнгтон, она его осадила самым грубым образом — и на людях. Несколько дней спустя в Стретэме, когда он приказал подать карету к двери, она ему ска-

зала, что это неудобно, карета вечером ей самой понадобится. Но на конюшне стояли две кареты; он понял, что им пренебрегают. Когда он спрашивал, что думают об этом Куини и Фанни Берни, те уверяли его, что он ошибся, но в обеих заметил он некоторую уклончивость.

Его терзали боли в животе, когда он посещал Личфилд, усугубившиеся хвори мисс Портер тоже мало способствовали веселью. Вдобавок она совсем оглохла, и приходилось с надсадой орать ей в ухо. Он был в таком унынии, что позволил себе выразить словами страх, столь долго остававшийся невысказанным. Нетвердою рукой он написал миссис Трейл: *Не забывайте меня, не оставляйте меня. Никто и никогда не будет любить Вас больше моего и больше почитать.*

Когда он воротился, миссис Трейл заметила в нем ухудшение. Поделилась с Куини, — интересно, уж не было ли с ним удара; рот как-то перекошен, иные слова так странно произносит.

— Слово "Италия", быть может, — сказала Куини холодно, потому что мама собралась надолго туда отправиться с мистером Пьоцци в качестве проводника.

Сэр Джошуа тоже заметил перемену в Джонсоне, особенно по части его вспышек. Вспышки — что ж, он объяснял сестре, дикий нрав его известен, но раньше он всегда из кожи вон лез, прося прощения у того, кого избодал в запальчивости спора, особенно если тот не мог тягаться с ним умом, — не то теперь. Как раз в студии у сэра Джошуа Сэмюэль чуть не до слез довел Джеймса Босуэлла. Шла речь про Беннета Лэнгтона: картежник, он проигрался впух, залез в неоплатные долги, опись имущества ему грозила. Босуэлл предположил, что для его же пользы всем друзьям должно к нему нагрянуть и так яростно его бранить, чтоб он бежал подальше от обольщений Лондона, на что Сэм заорал: "И одного гостя довольно будет — вас, сэр, ибо если ваше общество не выгонит его из дому, так значит, уж ничто не выгонит". Хоть Босуэлл, спору нет, был дурак, он искренне любил Джонсона, и неприятно было видеть такое грубое с ним обращение.

Миссис Трейл решилась. Было ясно, что Джонсон вообразил, будто останется при ней навеки. Покуда жив был Генри, он небось вел себя иначе, чтя благодетеля. Но вот не стало пивовара, и понемногу он взял манеру так себя вести, будто бы сам он ее господин и повелитель. Что до нее — из-за его вечных хворей и неряшества она, кажется, уж стала к нему относиться как к старому, докучливому псу: пыхтит, воняет, вечно путается под ногами. К тому же, эдак путаясь, он мешал ее будущему счастью. Что-то надо было предпринять.

Однажды вечером найдя его в беседке, она оповестила, что отдает Стретэм внаймы лорду Шелборну сроком на три года. Она намеревается, она ему сказала, осенью переехать в Брайтон, а там, быть может, поехать за границу с дочерьми. Все ради Куини, та выразила желанье путешествовать. Он может ехать с ними — в Брайтон то есть.

Он, кажется, спокойно это принял, впрочем, он не знал ведь, какие еще преобразованья у ней на уме. Она уходила от него, над головой у ней кружили голуби.

В тот последний день в Стретэме, которого он так страшился, Джонсон встал противу обыкновенья рано. Книги его были уже увязаны и отосланы, но его бюро оставалось здесь, и его кресло, и кровать, и круглый столик с нею рядом. Он прошелся пальцами по опустелым полкам, по столешнице бюро с последней, прощальной лаской. За окном, на зим-

них, черных ветках устроились вороны. Он посмотрел на серый, сирый день, остался им доволен: день отражал, как зеркало, оброшенность и безутешность его сердца.

Прежде чем спуститься вниз, он воспользовался урыльником — тот тоже оставался; там были синие цветики по краю и на фарфоровом дне щербина там, где он ошибкой в него угодил тростью. Переходя затихшую прихожую, он глянул в зеркало, увидел: пошатывающийся старик, с брюшком, и ноги, вздутые водянкой. Напоследок зашел он в библиотеку, взглянуть на книги — своих друзей вот уж почти пятнадцать лет. "Temple valedixi cum osculo"[1], — сказал он вслух, хоть не в храме он был. По стенам висели портреты любимых некогда, теперь покойных — Гаррик, Голдсмит, Бьюклерк, Трейл, — и собственное его подобие висело между драматургом и актером. Я жив еще, он думал, но пора, пора.

Перед отъездом он сложил молитву и невнятно воспроизвел в ней выраженные чувства для миссис Трейл и Старой Няни. Куини при этом не было; она стояла в аллее и сбивала в кучки гравий носком ботинка. Когда карета их увозила прочь от того места, какое называл он домом, Джонсон сидел, держа перед собой распахнутую книгу, но у него были закрыты глаза.

Однажды, во время званого обеда в Брайтоне у миссис Трейл, Джонсон так грубо вел себя с гостем ее, мистером Гамильтоном, что буквально выгнал беднягу из дому. Мистер Гамильтон сказал невинно, что полагает кларет прекраснейшим напитком. Джонсон отвечал, что ничего не видит в нем прекрасного и нужно утопиться в нем, чтоб захмелеть. Очень возможно, мистер Гамильтон хвалил не свойства вообще кларета, но отдавал лишь должное вину, каким в тот вечер их потчевала любезная хозяйка. Стремясь уйти от спора, ибо Джонсон уже шипел, как закипающий чайник, мистер Гамильтон поскорей с ним согласился, заметив, что после трех рюмок уже чувствует головную боль.

— Она не от вина у вас болит, — заорал Джонсон, — но от мыслей, какие пытаюсь я в нее вложить.

— Как же так, сэр? — спросил Гамильтон, немало озадаченный. — Но голова не может болеть от мыслей...

— И еще как может, сэр, — взревел Джонсон, — может, с непривычки.

Спустя два дня, на бале в Старой Солодовне, он так громко, так горько сетовал на скуку, что миссис Трейл в лицо ему сказала, что мог бы и не приходить, "ибо, несомненно, никого из нас никакой радостью ваше присутствие не дарит". Насчет смысла в голове мистера Гамильтона он был прав, конечно, просто ей надоели эти хамские замашки.

Потом он затеял извиняться, она не стала слушать. Не до того ей было, совсем другое на уме, столько волнений, даже голова кругом; она не могла больше молчать. Уж невозможно было совладать со страстью, какую внушил ей Пьоцци — при одном упоминании этого имени у нее заходилось сердце, — и вот однажды утром, одеваясь у себя в спальной, она исповедалась старшей дочери.

Начала с обиняков, то и дело сбиваясь на заверенья в бессмертной любви, которую питает к своим детям.

— Никакие мои чувства к человеку, который пленил мне сердце, — она сказала, — не отвлекут меня от любви моей к вам.

1. "В слезах я простился с храмом" (*лат.*).

– Ну как же? – сказала Куини. – У вас ведь такое большое сердце, мама.

– Отношение мое к твоему дорогому батюшке, – продолжала мать, – было другое... когда мы встретились, я совсем не знала жизни и того вихря чувства, который означает с-с-страсть. Он был добрый человек, благородный человек, всегда был ко мне внимателен и прощал мне...

– Причуды, – подсказала Куини.

– Причуды, – возразила миссис Трейл, – проистекают от жажды женской прилепиться душой к другому. И если в этом ей отказано, женщина может так никогда и не узнать причины глубокой своей неудовлетворенности.

– Но вот теперь вы ее знаете, – ледяным тоном сказала Куини, – и что же намерены вы предпринять?

Планы будущего у миссис Трейл были глубоко продуманные. Она выходит замуж за мистера Пьоцци, везет Куини, Сюзанну и Софи с собой в Италию; Сесилия и Гарриет покуда остаются на попеченье леди Лейд. Столько всяких дел надо еще уладить. Детей нельзя вывезти за границу без разрешения назначенных Трейлом опекунов, в частности мистера Кратчли.

Куини отошла и встала у окна, чтобы мать не видела, какое у нее лицо. Она смотрела на пляж; там две плавучих купальных будки качались на волнах. Скоро всех нас слизнет волной, она подумала, смигивая злые слезы. Чувства мамы к итальянцу были для нее не новость; о нежных взорах, знаках и улыбках, какими они обменивались, сплетничали в гостиных и Лондона, и Брайтона, и уж который месяц. Но упоминанье брака было неожиданно и гадко.

– Тебе понравится Италия, – сказала миссис Трейл, – а со временем и милый мистер Пьоцци.

– Мне и теперь он нравится, – сказала Куини, – как учитель пения. Он мне меньше будет нравиться, когда я должна буду считать его отцом.

– Душа его так настроена на музыкальный лад, – доказывала миссис Трейл, – и знание гармонии противостоит всякому желанию отцовства.

– Вы спрашиваете моего мнения на этот счет, – спросила Куини, поворачиваясь от окна, – или так просто мне рассказываете?

– Мне было б ценно твое мнение, – воскликнула миссис Трейл, и в глазах ее зажглась надежда.

– Ну что же, – сказала Куини, – раз вам нужно бросить своих детей, стало быть нужно. Вы можете вышвырнуть нас, предоставить самим себе, как вот бросают в пруд кутят – потонут, выплывут, уж это как угодно будет Провиденью. Что до меня, я приищу себе место служанки и никогда больше не увижу вашего лица...

– И не напишешь мне, – сказала миссис Трейл, нехотя улыбаясь на эту ребячью выходку.

– Да где мне и адрес ваш найти, ведь вы не знаете сами, куда вы едете...

– Миленькая ты моя, – растрогалась миссис Трейл и распростерла ей объятия.

– Мистер Пьоцци вас ненавидит, он сам мне говорил, – крикнула дочь. – Он только зарится на ваши деньги, – и она бросилась вон из комнаты на улицу.

Несясь по Уэст-стрит к берегу, она увидела идущего навстречу мистера Джонсона. Он, видно, плавал, он шлепал босиком, с купального хала-

та моросило; на ухо налипли водоросли. Она хотела шмыгнуть мимо, но он схватил ее за руку и, заглядывая в заплаканное лицо, допытывался, что случилось.

— Ничего, — она сказала, — так, просто с мамой не поладили.

Он с ней вернулся к берегу, он уговаривал ее присесть на гальку под скалами в надежде, что мерный плеск волны ее утешит. День был такой ясный, море сливалось с небом. Пес, устремляясь по своим делам, понюхал ногу Куини, та опустилась на корточки, хотела его обнять. Пес вырвался и, лягнув лапами песок, затрусил прочь.

— Ты не должна быть такой доверчивой, Ягодка, — наставлял Джонсон. — Собака могла оказаться злой.

— Ничуть я не доверчива, — возразила Куини, — и злобу всякий день все больше замечаю. Есть горшие печали, чем укус собаки.

С таким циническим нажимом были произнесены эти слова, и с таким вызовом, такой обидой, что он опечалился и, озираясь, стал искать, чем бы ее отвлечь, и, обнаружив в песке кусок бурого угля, прочел ей лекцию о его свойствах. Он объяснил, что это уголь битумный, происхожденья вулканического, он состоит из серы с солью; потом припомнил опыт, какой затеял он однажды в прихожей Стретэм-парка, смешавши сию породу с железными опилками и подогрев в реторте.

— Чем опыт кончился? — спросила Куини.

— Не помню, — он сказал. — Ничем не кончился. Твой батюшка в испуге, что я взорву весь дом и тебя в придачу, велел мне бросить опыт. — Куини хмыкнула. Довольный, что ее развлек, он пыхтел с ней рядом до самого дома.

У миссис Трейл в тот день были визиты. Сначала мистер Кратчли, потом мисс Берни, хоть ждали только ее одну. Мистер Кратчли исчез в комнате миссис Трейл, откуда вышел через час, мрачный и немногословный. Джонсон пытался его расспросить; кроме как сжатым отзывом о женском вероломстве мистер Кратчли отказывался вносить свой вклад в беседу и скоро отбыл.

Мисс Берни тоже поднялась наверх, едва успела снять чепец, и оставалась там до самых сумрек. В нижние комнаты то и дело сверху доносились взрывы — смятенья или хохота, никто не мог сказать, перемежаемые долгими периодами затишья. Младшие девочки сбегали наверх и вернулись, вытаращив глаза и жалуясь, что мама не в себе. Потом, когда пора уж была зажигать свечи, мисс Берни вышла на площадку и позвала Куини.

Мама лежала ничком в постели и выла. Мисс Берни, с горящими от возбуждения глазами, сказала, что миссис Трейл сводит с ума одна мысль о том, что придется бросить мистера Пьоцци. Мистер Кратчли объявил, что ей не дадут разрешенья увезти дочерей за границу, и если она ослушается, ей это встанет в восемьсот фунтов штрафа ежегодно.

— Какое дело мне до денег? — глухо крикнула миссис Трейл в подушку.

— Ей нет дела до денег, — перевела мисс Берни.

— Ей почти ни до чего нет дела, — сказала Куини. — И до своих детей особенно.

— Неправда! — выпалила мама и села на постели, растрепанная, с красным носом. — Не моя вина, что я обожаю мистера Пьоцци. Я и не думала, я не хотела... но он так мил, его способности настолько выше его

положенья... неужто я должна отказаться от надежд, которые лелеяла, отринуть счастье, которое было так близко...

— Но вы должны, — сказала мисс Берни и с некоторым беспокойством повернулась к Куини, ища поддержки. — Ведь правда же она должна?

— Никого ей не придется бросать, — сказала Куини, — кроме своих детей.

Тут мама упала навзничь и заметалась, как безумица.

— Как могу я выбирать? — она вопила. — Будь у меня два сердца, я бы выжила. Но у меня одно, и оно разорвется между вами.

— Будь у вас хотя бы одно сердце, — проговорила Куини, — вы и не помышляли бы о выборе.

Спустясь по лестнице, она увидела мистера Джонсона, топтавшегося в прихожей. Она ему сказала, что мама, устав от Лондона, хочет жить за границей, но мистер Кратчли ей не советует.

— Зная маму, как вы да я, — она сказала, — что ж удивляться, если она расстроена тем, что ей противоречат.

Если и догадывался, чего она недоговаривает, он не подал виду. И весь вечер был в прекрасном расположении духа, даже потчевал собравшихся рассказом про ньюфаундленда, который себя вел как наседка на яйцах.

Джонсон спал в своей постели в Болт-корте, или он думал, будто спит, как вдруг в лицо сбоку ударила вспышка света, такого яркого, что его ослепил. Миг спустя, когда к нему вернулось зрение, он понял, что потерял дар речи, — не опытным путем, пробуя складывать слова, нет, он понял умом, что онемел. Чтоб убедиться в этом бедствии, он открыл рот и произнес беззвучно: “Я время убивал, и вот оно убивает меня”. Ни звука не услышав, он потянулся за приткнутой к постели тростью и, собрав все жалкие остатки своих сил, несколько раз стукнул об пол.

Чуть погодя Фрэнк Барбер, по счастью поправлявший огонь в гостиной, услышал этот стук и к нему поднялся. Джонсон жестами попросил испуганного Фрэнка принесть бумагу и перо и кое-как вывел: “Доставь доктора”. Хоть буквы склонны были разбредаться по листу, прочесть написанное было можно.

Вскоре затем миссис Уильямс ворвалась к нему и требовала ответа на вопрос, что с ним случилось. Вымарав слова “Доставь доктора”, он написал: “Мне нужен доктор”, она же, слыша скрип его пера, металась как безумная по комнате. Несмотря на собственную горесть, мысль о сочетанье в подобной катастрофе немого со слепым так показалась ему забавна, что он уступил припадку немого хохота.

Его свалило на четыре месяца, и во все то время, несмотря на письма, извещавшие ее о болезни Джонсона, миссис Трейл не делала попыток его навестить. На письма она, правда, отвечала, рассыпаясь в добрых пожеланьях и ударяя на свою тревогу, но приходить не приходила.

Он помнил их последнее свиданье, спустя несколько недель после того, как воротилась она из Брайтона, поставив в известность мистера Кратчли и опекунов о том, что с планами о жизни за границей покончено, она переберется в Бат, где, она обещала, будет жить скромно, посвятив себя заботам о дочерях. Сэмюэль, разумеется, может рассчитывать на комнату у ней в новом доме.

Он ее посетил накануне отъезда и одарил Куини латинской грамматикой и Вергилием. "Милая Хозяйка, — отнесся он к миссис Трейл, — храни вас Бог", — и, глядя в глаза внимательным и долгим взглядом, поцеловал ей щеку. Он возвращался в Болт-корт, и мысль ужасная его терзала, что он никогда уж больше не увидит ее.

Теперь, больной, несчастный, он понял, что не смерть их разлучит, но удаление миссис Трейл из его жизни.

Миссис Десмолинз убирала в гостиной, когда услышала, как он закричал у себя наверху. Она подбежала к лестнице и там, внизу, остановилась. Характер у него такой стал непереносимый, нет, лучше не соваться, обождать, пока сам позовет. Он снова закричал, какой-то набор слов, ни одного не разберешь, потом был стук, будто швырнули об пол книгу. Он недавно стал заниматься голландским языком, и, видно, трудный очень язык этот оказался.

Джонсон так невыносимо мучился, что бился головой об стену. Над ним висел миниатюрный портрет миссис Трейл; он сорвал его с гвоздя и швырнул об пол. Сознанье собственного легковерия, собственной глупости как молотом стучало в душу. Вот, гордился своим проникновением в природу человеческую, сознанием тщеты людских желаний[1], — и как же мог он быть таким слепцом, принять надежду за действительность; все мысли его путались.

Кое-как отдышавшись, он сел к бюро и в таком бешенстве, с таким сердцем налегая на перо, что оно гнулось в яростных его пальцах, стал писать ответ на ужасное сообщение миссис Трейл.

Сударыня, если я верно истолковал письмо Ваше, Вы вступили в постыдный брак; но если сего покуда не свершилось, давайте еще раз поговорим. Если Вы предали детей Ваших и веру Вашу, да простит Господь Ваш грех; если Вы уже презрели имя Ваше и отечество, пусть безумие не навлечет на Вас бед еще горчайших. Но если последний шаг еще не сделан, я, который всегда любил Вас, уважал, ценил Вас, Вам служил, я, который так долго считал Вас лучшей среди рода человеческого, я молю, прежде чем решится участь Ваша, позволить мне еще однажды увидеть Вас.

Она ответила, коря его за нежелание признать, что она руководилась стремленьем к счастью, стремленьем, какое сам он некогда полагал похвальным. Он отвечал ей, поостыв, прощался, писал, что никогда ей не забудет того добра, какое скрасило двадцать лет несчастной его жизни.

Фанни Берни его посетила несколько недель спустя. Она заранее беспокоилась о том, как говорить про миссис Трейл, буде имя пропащей дамы всплывет в беседе. Доктор Берни уверял, что напрасно она тревожится, Джонсон, конечно, выбросил ее из головы, да и к тому же она теперь Пьоцци, не Трейл.

Отец ошибся; едва она переступила порог, Джонсон стал расспрашивать о событиях последних месяцев в Бате, ибо, сказал он, супясь грозно, сам он оставлен в полной темноте.

Мисс Берни вовсю старалась пролить свет на события.

1. "Тщета людских желаний" — упоминавшаяся выше поэма Джонсона.

— Миссис Трейл... ну, как она тогда была... склонясь на просьбы Куини и мистера Кратчли, прогнала мистера Пь...

— Не называйте этого имени, — взревел Джонсон, стукнув себя кулаком в грудь.

— Она ему сказала, — продолжила мисс Берни, жадно собирая мины и жесты Джонсона в видах будущего сочинительства, — что ему следует вернуться в Италию. Перед отъездом он призвал Куини и швырнул ей в руки все письма, ранее писанные миссис Трейл. Он, конечно, плакал, но она, решительная девушка, хладнокровно указала ему на дверь. Миссис Трейл закрыла свой дом в Брайтоне и удалилась в Бат, но она была на себя не похожа.

— Не похожа, разумеется, — взревел Джонсон. Он принял странную позу, широко распростер руки, поднял ладони, как бы удерживая стены, чтоб не сомкнулись.

— Скоро, — рассказывала Фанни, — в миссис Трейл стали заметны признаки расстройства: после полуночи взялась бродить по саду, петь про любовь и про лобзанья. Однажды совершенно голая бы вышла, не удержи ее Старая Няня. Ходит и выкрикивает: "Душа моя, моя любовь, мой Пь... ну, мой учитель пения". Она потеряла аппетит, всю свою светскость, всякое самообладанье, хоть Куини уверяет, что его-то никогда у ней и не было. То хоть поклевывала пищу на тарелке, потом и вовсе перестала есть. Если кормили силой, ее рвало, и наконец она оказалась прямо на краю погибели. Призвали доктора, пришлось открыть ему причины ее болезни, и он велел, чтобы... *ну, за этим человеком...* послали тотчас. И объявил, что ежели ослушаются его предписания, он не ручается за жизнь пациентки.

Когда она достигла конца горестной этой повести, Джонсон уже не супился. У него стало такое жалкое лицо, такая мука напечаталась на лбу, что миссис Берни более всего желала бы стать невидимкой. Он теперь сидел, разглядывая свои ноги; невольно она отметила, что, хотя стул был трехногий, Джонсон без всякого усилия на нем удерживался. Возможно, она подумала, он к шаткости привык, впрочем, возможно, это водянка в его ногах способствовала равновесию.

Молчанье стало гнетущим, она придумывала, что бы такое ему сказать, собралась уж завести речь о возвращении отнятых якобитами земель, как вдруг он выкрикнул: "Но обо мне она упоминала?"

— Упоминала, — ответила Фанни и запнулась.

— Говорите! — крикнул он.

— Часто она говорила о разрыве с вами и выражала надежду, что вы ее простите...

— Я просил правды, — он сказал.

— Она считает, что ваши надежды были необоснованны...

— Сударыня, она права, — сказал он и, встав с поломанного стула, весь в слезах, жестом ее попросил уйти.

Она на цыпочках спускалась по ступеням, но там подстерегла ее миссис Десмолинз с вопросом, заметила ли она перемену в мистере Джонсоне.

— Нет, — солгала она, она была не в силах разговаривать.

— Но его глаза? — не отставала миссис Десмолинз. — Они же больше стали, и взгляд совершенно детский.

— Я никаких перемен не усмотрела, — ответила мисс Берни, и это была неправда.

— Он все письма ее спалил, — поведала миссис Десмолинз. — Вынес все во двор и ветки на том тополе пообрубал, чтобы костер развесть.

— Быть может, и разумно, — заметила мисс Берни, — уничтожать воспоминания.

— Тополь этот к нам был саженцем взят из Стретэм-парка, — крикнула миссис Десмолинз. — Все десять лет последних он с ним носился, как отец с сыночком.

Мисс Берни, протиснувшись мимо нее, спасалась бегством. Сходя с крыльца во двор, она невольно улыбалась: мистер Босуэлл ей говорил, что эта миссис Десмолинз сто лет уж влюблена в мистера Джонсона; забавно, старуха, уродливая, красная, и — питать страсть такую неуместную. Впрочем, разве ей одной под этой кровлей свойственно столь нелепо обольщаться?

Несколько месяцев после того не видела она Джонсона. В следующий раз принимая ее у себя, он хвастал, что совсем поправил свое здоровье. Доктор Хеберден очень его облегчил кровопусканьем, и, благодаренье прописанным ежедневно дозам опия, он держится совсем как прежде. Да хоть бы позавчера вечером — ходил в клуб с Босуэллом и преспокойно вернулся пешком домой. Она сказала, что счастлива видеть его снова в добром здравии, хоть ей и показалось, что астма его разыгралась и усугубилась водянка.

— Я не сдамся, — он крикнул и в следующую минуту заговорил о миссис Трейл, спросив, какие от нее есть известия. Она сказала, что ей Куини сообщила: мать с итальянцем теперь в Милане.

— Она пишет Куини, — она сказала, — но мисс Трейл ей не отвечает, да почти и не читает ее писем.

— Бедная Ягодка, — вздохнул он, — она потеряла свою мать.

— Они не были близки...

— Напротив, — сказал он, — слишком близки, — потом прибавил: — Странная мысль мне пришла: в могиле мы не получим писем.

— Мистер Босуэлл, — она сказала, — однажды мне рассказывал, что на вопрос, такое ли у каждого суждение об истине загробной жизни, как о делах вседневных, вы отвечали: “Нет, сэр...”

— Слов этих я не помню, — он ответил, — но смысл их понимаю. Если вы хотите знать, спокоен ли я при мысли о том, что́ меня ожидает, ответ должен быть “Нет”, ибо, как человек трезвый, я полагаю спасение обусловленным. Не будучи уверен в том, что соблюдал условия, я боюсь смерти.

— Но как же, сэр, — возразила она сдуру, — вы Бога любите, и конечно же вам нечего бояться, — на что, стуча об пол тростью, он закричал:

— Сударыня, только страх Господень и держит меня в живых.

Она ушла, а он час еще или больше сидел и глядел в пламя. Потом миссис Десмолинз, стоя под дверью, пожаловалась, что Фрэнк Барбер отдал кошке сыр.

— Сыр принесет милой твари больше пользы, чем любому из нас с вами, — взревел он. — У нас обоих нелады с желудком!

Саутуорк
Ноября 24-го дня 1772

Милостивый Доктор,

мама знает, что я хотела Вам скорее написать, но она сказала, что пусть я больше Вас не обеспокою своим вздором — Софи и Сюзанна вчера были здоровы, а бедная бабушка была плоха. Сократа больше нет в живых, а старая Киса

умрет скоро. Папа здоров, и он купил нового коня. Мама тоже здорова, только она сердитая. Премного Вам благодарна за честь, оказанную Вашим письмом. Ваша покорнейшая слуга

Куин Хестер

Он всплакнул и постарался понять причину. Старость, он думал, расслабляет чувства, ибо знает, что меркнет свет и только тьма осталась впереди. Страдания, какие выпадают нам на долю, игрой ли случая, иль волею судеб, не кажутся, ceteris paribus[1], такими жгучими, если навязаны капризной прихотью людей чужих; раны, причиняемые самыми близкими, — вот те кровоточат. В завоях обугленной бумаги он увидел лицо миссис Трейл и, схвативши кочергу, затолкал в вечное пламя.

Мисс Летишиа Хокинс
2, Сайон-роу
Туикенем
Января 15-го дня 1811

Милая мисс Хокинс,

обвиненья Ваши в том, что я-де сказала мисс Берни, что Ваш папа украл дневник и часы доктора Джонсона, не имеют под собою почвы. Никак нельзя обвинить меня и в том, что якобы я распространяю слухи об отношениях матушки моей с доктором Джонсоном, ибо близость их во времена моего детства немало причиняла мне страданий. Отторгнутому ребенку не хочется свидетельств об узах более тесных, чем те, которые, считается, должны бы связывать мать с дочерью. Могу лишь полагать, что мисс Берни, не достигшую последним сочинением своим того успеха, какой выпал на долю "Эвелины", посетило прискорбное стремление вновь отличиться. И никоим образом это не она, взбивая подушки доктору и спросив, хорошо ли так, в ответ услышала: "Хорошо... насколько можно требовать от подушки", ибо у меня есть ее письмо, в котором она рассказывает о своем посещении Болт-корта 8 декабря, когда столпилось уже столько народу в его спальне, что он просил сказать внизу, что он устал и больше никого не может видеть. Ни Ваш отец там не присутствовал в ту роковую ночь, ни сэр Джошуа, ни мистер Лэнгтон, а эти двое были ему самые близкие друзья. Рассказ о конце его, который приписываете Вы мисс Берни, есть недоразуменье. Хватание ланцета и взрезание ноги для истеченья лишней жидкости случились в присутствии Фрэнка Барбера, который и послал за доктором Круикшанком, чтобы тот зашил рану.

Когда настала смерть, с доктором не было никого, кроме Фрэнка и миссис Десмолинз. Хриплое дыхание остановилось, они приблизились к постели и поняли, что он отошел.

Не припомню никакого замка с ключом, на который, Вы говорите, мама запирала доктора Джонсона у него в комнате, когда им овладевало безумие. Увы, впредь я не смогу Вам отвечать на Ваши письма. Не только мертвые нуждаются в покое. Прошу Вас, не пишите больше.

Ваша
Х. М. Кейт

1. При прочих равных условиях (*лат.*).

1784

Эпилог

Двадцать пять карет сопровождали катафалк к Вестминстерскому аббатству. Был понедельник, улицы запружены толпой, а потому несколько служителей аббатства шли впереди и расчищали путь. Падал снег, так тихо, как будто опускали с неба занавес.

Сэр Джошуа Рейнолдс был главным среди скорбящих, а следующий за ним Фрэнк Барбер; из-за такой чести, оказанной последнему, сэр Джон Хокинс даже огорчился.

Панихиду отслужил доктор Тейлор из Ашборна в час пополудни в южном приделе.

Эдмунд Берк и мистер Лэнгтон в числе других несли свинцовый гроб. Джеймс Босуэлл отсутствовал.

Дважды доктору Тейлору изменял голос, после чего он смахивал слезу рукавом. Он крепко выпил накануне вечером и знал, что собственный его конец не за горами.

Рядом с останками Дэвида Гаррика вырыли яму, гроб погрузили в сырую тьму. Рядом был поставлен камень с надписью:

Сэмюэль Джонсон, L. L. D.
Obiit XIII die Decembris
Anno Domini MDCCLXXXIV
Aetatis suae LXXV[1]

Похороны обошлись в сорок четыре фунта шесть шиллингов и семь пенсов, не считая суммы в тринадцать шиллингов четыре пенса, повозь выплаченной звонарям.

Миссис Десмолинз сидела в Болт-корте одна и жарила на огне каштаны.

1. Доктор права. Скончался 13 декабря 1784 года, 75 лет от роду (*лат.*).

Гун овогт Гун-Аажавын Аюурзана

Стихи

Перевод с монгольского Евгения Колесова
Вступление Л. Скородумовой

Гун овогт Гун-Аажавын Аюурзана родился в 1970 году, в центре Баянхонгорского аймака Монголии. В 1994 году он окончил Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Выпустил поэтические сборники "Передышка" (1997), "Философские стихи" (2001). На книжном рынке монгольской столицы пользуются популярностью вышедшие в его переводе философский трактат древнего Китая "Дао дэ цзин" (2002), "Шестьдесят гениев западноевропейской философии" (2000), "Великие мыслители современности" (2001), "Энциклопедия афоризмов" (2001) — книги серии "Антология всемирной истории". Под редакцией Г. Аюурзаны начала публиковаться "Библиотека нового времени", куда, по его замыслу, должны войти произведения классики XX века модернистского направления. Одним из пионеров серии стала и его первая книга прозы "Блюз в мире без любви" (2002). В сборник вошли метароман, давший название сборнику, девять эссе, тексты "Лежачий больной", "Снежный роман", "Новый роман". Г. Аюурзана, удостоенный в 2003 году премии "Золотое перо" за роман "Мираж", — один из немногих современных авторов, зарабатывающий на жизнь писательским трудом.

Литературный вкус и творческие пристрастия Г. Аюурзаны сформировались под влиянием русской классики, поэзии Серебряного века, его кумиры — Георгий Иванов и Осип Мандельштам. Поколение молодых монгольских литераторов, к которому принадлежит Г. Аюурзана, живет в распахнутом для восприятия внешней культуры мире. Освоение эстетических ценностей Запада, теперь уже не только благодаря знанию русского языка, как это было еще десять

© Евгений Колесов. Перевод, 2004
© Л. Скородумова. Вступление, 2004

лет тому назад, но и английского, а также бережное отношение к традиционным для национальной поэзии темам и приемам письма, близким к устной фольклорной традиции, органический сплав лирического и эпического начал — все это сегодня стало залогом успеха на ниве изящной словесности в Монголии.

Улан-Батор, 2004

Новый день

Ночь прошла, оставив тысячу загадок,
Новый день нагрянул как последний день.
Незаметно крылья надо мной раскрыла
Незабытых мыслей сумрачная тень.

Мысли, точно птицы, вольные, простые,
Мы не знаем с ними смысла бытия:
Холодом вселенной, недоступной смертным,
Хоть и ненадолго, был охвачен я.

Человек не вечен, вечна лишь загадка:
Чем же отличаются завтра и вчера?
Чем? Ничем, конечно. Вот что мне открылось.
И теперь я счастлив. Жаль, вставать пора.

4.08.1995

***

Не чужие, но не рядом —
Как мы далеки!
Не сойтись нам словом-взглядом,
Соплеменники.

Вы устали, вы отстали —
Несмышленые,
Вроде дочки моей малой,
Хоть ученые.

Вас учить — что тех лечить,
Кто плутал в ненастье.
Видно, лучше уж разлить
Каждому на счастье.

Вспомним лучше старый год —
Все, что было, сплыло.
Жар по телу потечет —
Жаль, что кровь остыла.

Истина — бокал вина.
Звон бокалов — пей до дна!
Это в дверь звонит она,
Ищет: “Люди, люди!”

Вот вошла она и сказала:
“Нет у тебя соплеменников, ты одинок”.

4.02.1999[1]

***

Сколько же я еще буду помнить твой поцелуй?
Прошло десять лет, а забыть никак не могу.
Слишком быстро прошли те годы — как их вернуть?
Слишком часто мы тратили время зря, ничего не успев.

Та кровь, что билась тогда в сердце моем,
Талой водой ушла, растворясь в океане времен.
Ныне новая кровь наполняет меня.
Новым стал и я сам,
Новой женщине жизнь свою посвятив.

Поезд, долгий и дальний, встал на глухом полустанке,
Пропуская встречный экспресс.
Не было у него в расписании той остановки.
Не было у судьбы плана так переехать одного из нас.

9.10.1999

***

Многое было —
Но в самом деле было ли что?
Молитвы мои слышал лишь камень,
Даря взамен свою бесконечную печаль.

Что было, то было, того не жаль:
Разве любимой я не простил всего бы?
Час настал, и осталась та же печаль,
Родившаяся со мной в один миг судьбы.

Час — или век — печали? В моей судьбе,
Раз возникнув, она навеки осталась.
Что ж, хотя бы в этом я не изменяю себе.
Разве что иногда, да и то лишь самую малость.

26.06.2000

Восточные стихи

С ветром в степи встретить рассвет —
К удаче.
Солнышко встанет, горе уйдет
Куда-то.

1. По священному буддийскому календарю Новый год начинается 4 февраля (по обычному восточному календарю в 1999 году он начался 16 февраля). (*Прим. перев.*)

Воздух так свеж! Вот и восход.
Начало.
Пусть обо мне начертает Господь:
“Жил мало”.

Хрустнула ветка в дальнем лесу.
Хрупкую ношу свою несу.

6.08.2000

***

Георгию Иванову

Наверное, кто-то сейчас
Задумался обо мне.
На верной моей мухобойке
Кровь запеклась – откуда?
Запах горек и сух.

Цветок в горшке на окне.
Подрагивающие лепестки
В руки взял осторожно.
Знаки судьбы на ладони
Вдруг болью отозвались.

Как-то давно две цыганки
По руке мне гадали.
– Он счастливчик! – одна.
– Он страдалец, – твердила другая.

Как давно это было!
А может, и не было вовсе?
Кануло в лету гадание,
А память снова жива.

7.01.2001

Изучаю себя в зеркале

В зеркале вижу только
Чей-то образ печальный.
Взору давно знакомый
Чертушка-сорванец.

Ты не дитя уж больше,
Старый дружок мой, и время
Сделало свой неизбежный
Тысяча первый шажок.

Время неумолимо,
Но прежнего не стирает:

Верность себе осталась,
Страх чужого остыл.

Век мой скоро иссякнет.
Стали глаза иными.
Веки уже в морщинах –
Старый, а все дитя.

29.04.2001

***

Каплю дождя, искавшую меня,
Сдул ветер, не сумев поймать
Следующую, поцеловавшую меня в ухо.

14.07.2001

***

Дождь напоил землю.
Дремавший ручей ожил.
Вот радость-то –
Не упустить бы...

12.08.2001

***

Осенние холода.
    Как прекрасна осень!
Она пройдет, когда мой сын
Уже научится ходить.

23.08.2001

***

На всей земле туман.
Неужели правда, что акварель Божия
Замешана на наших слезах?

23.08.2001

***

Не бойся умереть!
Небо везде одно. Там, куда ты уйдешь,
Тоже будут летать птицы.

26.08.2001

Ян Лехонь

Стихи

Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула

Тост

Двадцатые годы прошлого века в воскресшей наконец единой Польше, окрыленной недолгими победами и долгими надеждами. Группа варшавян, неоперенных еще поэтов, оккупировала столик в литературном кафе и заговорила молодо, раскованно и звучно; голоса доныне не отзвучали.

Стихотворная артель называлась "Скамандр", а вожаками были Юлиан Тувим и Ян Лехонь. Скамандр — река, которая омывала Трою, оплакала ее гибель, но не иссякла, по крайней мере в стихах Шиллера и Жуковского. Символический подтекст названия для Тувима, наверно, сомнительный, для Лехоня был несомненным.

Лехонь — псевдоним Лешека Серафиновича. Шляхетский род Серафиновичей достаточно стар; правда, в XVI веке они, наверно, звались иначе, поскольку были турками, но крестились и, став поляками, сполна разделили радости и горести новой отчизны. В семейной памяти хранилось немало мифов и легенд героического прошлого, но помимо преданий была живая легенда — дед поэта, который с войсками Наполеона вступал в Москву, прошел через польские восстания — в 1830-м командовал эскадроном, уцелел и не успокоился: на восьмом десятке произвел на свет очередного сына, кажется, седьмого по счету. Сын, скромный варшавский интеллигент, не унаследовал эту эпическую мощь, а внук и подавно. Поэт-вундеркинд первую книгу стихов опубликовал в тринадцать лет, но в семнадцать, когда пламенный патриот Лешек рвался умереть за Польшу "в шеренге завзятых рубак", был отвергнут по здоровью и крайней близорукости. Эта непричастность, вернее, вынужденное неучастие в общей судьбе, похоже, отравляло ему жизнь куда больше, чем литературные перипетии.

Литературные и житейские судьбы "скамандритов" менялись и расходились, убеждения тоже, но дружба оставалась нерушимой. А время подвергло ее жестокой проверке. В 1930 году обаятельный, артистичный и европейски образованный Серафинович был послан в Париж секретарем посольства, а фактически и

© Анаталий Гелескул. Перевод, вступление, 2004

потом формально — культурным атташе. Там и застигла его Вторая мировая. Так он стал эмигрантом — расхожее слово, уже утратившее смысл. Эмиграция Лехоня была долгим бегством от новоявленных гуннов, сначала в южную, еще не оккупированную Францию, потом в Португалию, потом вместе с Юлианом Тувимом в Южную Америку, потом — тоже вместе — в Северную. Тувим вернулся в Польшу, чтобы умереть на родине. Лехонь остался и в 1956 году покончил с собой.

Литераторская жизнь Яна Лехоня — поэта, драматурга, театрального критика — была достаточно публичной, своя осталась потаенной и скрытой от чужих глаз. Полагают, что была в ней великая и неразделенная любовь. Он жил и умер одиноким. Другой великой и тоже, надо признать, неразделенной любовью была Польша.

Ян Лехонь, увы, не первый польский изгнанник, но, может быть, последний польский романтик. Романтик не в обывательском толковании, а наследник польского романтизма, мощного духовного порыва, кстати, чутко воспринятого русским сознанием и даже отчасти присвоенного ревнивыми и потому желчными плагиаторами.

Два длинных и таких несхожих стихотворения (первые в предлагаемой подборке) разделены четвертью века, но роднит их одно — горькие кровавые вехи польской истории, восстание 1830 года и Варшавское 1944-го.

Великая любовь оказалась самоубийственной. Но в одном из последних стихотворений Лехоня ("Илиада"), навеянном памятью и о друзьях-скамандритах, и о Трое, которую они воскрешали из руин, "мой Приам белоглавый" — это слепой нищий старик, потерявший сына в роковом 1939-м, а теперь у бульварной решетки поющий, собирая медяки, "Варшавянку". Последняя строфа:

Но на дне его глаз ты увидишь не рану,
А надежда блеснет и вперится незряче:
"Я не раз говорил и твердить не устану,
Что ошиблась Кассандра. Все будет иначе".

Мохнацкий[1]

В 1932 году Мауриций Мохнацкий
концертировал в Меце

Крышку гроба откинув, он тенью сутулой
Замер, мертвенно бледный, над клавиатурой.

Нежит зал канделябрами блестки и краски,
Замерцал кирасир в раззолоченной каске,
Рой партера в духах, веерах и нарядах,
А за ним — тише, сердце! — мундиры в наградах.

Только шаг отделяет от зала, и прямо,
Как последний окоп, оркестровая яма.
Он за бруствером. И голосами капели

1. Мауриций Мохнацкий (1804—1834).— публицист, пианист-импровизатор; повстанец 1830 г., лидер демократического крыла восстания, после подавления которого эмигрировал. Весной 1832 г. в Лотарингии давал концерты в пользу неимущих. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

О весне эти бледные пальцы запели,
Шелестят родником и росинками тают,
А из них полевые цветы вырастают,
И скрипичные дали полны щебетаний.
Но все выше цветы. Все грустней и багряней.
Никнут, вянут. Хоронит их холод басовый.
Нет. Растет хоровод, но такой невеселый.
Заклинает изгнанник безродные струны,
Но расплакался вальс, даже охнули гунны.
Он не слышит и тупо, бездумно трезвонит,
Будто страшное что-то из памяти гонит.
И дрожа приникает, не вынеся плачей,
К чьей-то белой груди, нестерпимо горячей,
И светло от очей и от губ этих алых,
И от белого платья душистей фиалок.

Кирасир заворочался, душно мундирам.
Мысль очнулась, к лафету шагнув канониром.
Сотни глаз в него целят, и облаком дыма
Стыд окутал подмостки и жжет нестерпимо.
Он укрылся в басах, барабанит и молит —
Пусть походный рефрен ему руки отмоет,
Как сигналы тревоги, предвестья угрозы,
Рассыпаются тяжкие душные розы,
Лепестки опадают и гаснет последний.
Бас гудит. Решено. Отслужили обедни.
Достучаться бы только к родимым, безвестным,
Выходите с хоругвями — путь будет крестным,
И пускай на посту с карабином поставят,
Пусть копыта коней этот череп раздавят
Как живую преграду для вражеской своры...

Тише — кто-то идет, чьи-то звякнули шпоры,
И, пришпорив мелодию, бешенство бури
Низвергается, катит по клавиатуре.
И штыки прорастают из каждого шага.
Бас рокочет: “Пароль!” Отголоски: “Присяга”.

И прозрачной росою вплетаются слезы
В боль и ярость испанцев у стен Сарагосы,
Но удар за ударом, и рушатся стены.
И опять эта слезная дрожь кантилены.
Снова строятся пары в мазурке гремучей,
Чтоб овеяло знамя шеренги созвучий,
Чтобы снова равнялись в испытанных ритмах
Сотни вскинутых лиц и затылков подбритых.
Кунтуши серебрятся, и свитый в арканы
По рядам распрямляется пояс чеканный,
Беснование сабель, воздетых, как кубки,
Он спаял и обрушил безмолвие рубки,
И струна ощутила, как жалобы хлипки,
Содрогнулась и сникла. И умерли скрипки.

По умершей струне в содрогании жалком
И печальным очам, и пахучим фиалкам,
И по нежным ладоням и шепоту с панной
Вьется, зыблется воинский пояс чеканный,
И лишь этот чекан и затылок подбритый
Брезжат в месяце, звездах и всей Посполитой.

А по залу, слепые глаза открывая,
Как лунатик, идет тишина гробовая
Вдоль откормленных бошей с осанкой тугою.
Села в первом ряду и вперилась в изгоя.
.....
Но, как раненый, бледный от вытекшей крови,
Он и молит, и плачет, а плач все багровей.

Грохнул крышкою гроб. Или гром из-за тучи.
Он поднялся и глянул так жутко и жгуче,
Что конвульсией страх зазмеился из гула:
"Прочь отсюда, сограждане! Кровью пахнуло!"

В *подражание* Ор-Оту[1]

Как мукою сыплет с воза
Куль дырявый на пригорке,
Так пылится снегом ветер
Нынче вечером в Нью-Йорке.

На бегу немеют уши.
Впрочем, бог с ними, с ушами,
Если в сердце неотступно:
"Снег и стужа — я в Варшаве".

Где-то музыка в теснинах,
Снегопадом занесенных.
Ах, каток! Оркестр не хуже,
Чем в альпийских пансионах.

Что мне эти небоскребы
С облаками вместо крыши,
Если вижу только небо,
Потому что небо выше.

Эмпайр-билдинг с Уолл-стритом
Застилает пеленою.
Остаются снег и звезды
И величие ночное.

1. Ор-От — псевдоним Артура Оппмана (1867—1931), полковника Войска Польского, поэта и публициста, обретшего наибольшую известность стихами о старой Варшаве (сборники "Старе Място" и "Песнь о Рынке и заулках") и мемуарами "Моя Варшава".

И внезапно свет в окошках,
И заснеженные крыши,
И домишки двухэтажны,
Да и музыка потише.

Наяву рассыльный Лукаш,
Дом от Рынка недалече,
Милый голос: “Спи, сыночек”,
Наши кафельные печи.

Бьют на ратуше куранты,
И отрадны, как салазки,
И сапожник, и торговка,
И солдат из детской сказки.

Рождество, звезда на древке,
Маски ломятся в ворота,
Все старо, смешно и мило,
Как наивный стих Ор-Ота.

И мгновенно вижу китель
И нашивку золотую,
Догоняю: “Пан полковник!”,
Встал во фрунт и салютую.

И басок как перед строем
На подходе к каждой роте:
“Вы сегодня как огурчик,
Продолжайте в том же роде”.

То, как долго, тень былого,
Тень той жизни, смытой мраком,
Я искал тебя в потемках,
Не случайным было знаком.

Да, я знаю тех поэтов,
Что шумят подобно морю,
Но тоскуя по Варшаве,
Я твоей свистульке вторю.

Ибо тон ее неброский –
Сорванец, а не зануда,
Потаенный дух Варшавы,
О поэт простого люда!

Ты постиг их, тех же самых,
Что за друга лезли в драку
И навстречу верной смерти
Поднимаются в атаку.

Знать не знавшие, что дорог
Каждый дворик и насколько,

Умирать за этот город
Шли, насвистывая польку.

Перед остовом столицы
На колени Польша встала,
Но не плач оттуда несся,
А лишь песенка витала.

Снег завеял пепелище,
Но над гарью омертвелой
Эта песенка бодрила
Нас надеждою и верой:

“Испытания Господни
Непосильны только слабым.
Все вернется. Черт не страшен
Ни сапожникам, ни бабам”.

И в нездешнем мире вторил,
Поднимая к небу склянку,
Пан Артур: “Уже недолго,
Так что грянем Варшавянку!”

Монте-Кассино[1]

В Сомосьерру туристы идут как на рынок,
Суетятся свои и заморские гости,
Вопрошая: — Купили бы польские кости,
Где торгуют и нет ли каких-то новинок?

Кстати череп, застрявший в грязи мелководной,
Крик: “Умрем!” погребен лягушачьей икрою.
Дамы крестятся: “Вечная память герою!
Вот достойный конец и такой благородный!”

И — к музеям, купив по дороге букеты
Неизвестному, как говорится, солдату.
А в ночи из расщелин выходят скелеты,
Безнадежно за кровь нашу требуя плату.

Тост

Пусто, ни следа былого шквала,
Умерла листва и откружилась,
Все, что волновало, — миновало,
Все, что совершалось, — совершилось.

1. Монте-Кассино — старинная горная крепость в Южной Италии, на штурм которой в 1944 г. в составе союзных войск были брошены польские части, ценой огромных потерь открывшие дорогу на Рим.

И лишь месяц серебристокрылый,
Как бы долго в мире ни светало,
Скрашивает траур над могилой,
Где земля покоится устало.

Что ж, поднимем на прощанье чаши,
Скорбь уже смешна и глуповата.
Нам — земля, земле — останки наши,
Нашему могильщику — лопата.

Все. Да успокоит безголосье
Нас, велеречиво сумасбродных,
И взойдем, как мудрые колосья,
Черный хлеб, насущный для голодных.

Энрике Вила-Матас
Такая вот странная жизнь

Перевод с испанского и вступление Н. Богомоловой

Печатая этот небольшой роман Энрике Вила-Матаса (р. 1948), мы продолжаем знакомить наших читателей с самыми известными испанскими прозаиками сегодняшнего дня. Добавим, что и на этот раз знакомство — первое, так как произведения Вила-Матаса до сих пор на русский язык не переводились.

Литературная карта Испании начала XXI века из России выглядит расплывчатой, и речь следовало бы вести не столько о белых пятнах, сколько о белом фоне, на котором, к счастью, начали прорисовываться некоторые очертания.

На традиционный вопрос: "Что почитать из нынешнего?" — испанцы почти наверняка назовут вам последние книги Вила-Матаса, проявив при этом редкое единодушие. И критика в данном случае вполне солидарна с читательским мнением. Публикация каждого нового романа Вила-Матаса для прессы большое событие: в газетах и журналах тотчас появляются интервью с автором, десятки рецензий, отзывы собратьев по перу. Его называют "лучшим", "значительным", "оригинальнейшим" и — "странным". Потому что Вила-Матас не вписывается в национальную традицию (даже если ее понимать предельно широко) и учителями своими называет не великих испанцев-классиков, а Кафку, Перека, Пессоа, Рульфо, Джойса, Вальзера и Беккета. Потому что легко ломает жанровые границы и пишет романы, которые одновременно можно назвать литературоведческими исследованиями (упомянем самые известные: "Бартлби и компания", удостоенный нескольких премий, или "Болезнь Монтано" — премия Эральде, Национальная премия критики, премия Медичи за лучшую иностранную книгу). Да и судьба большинства его героев на первый взгляд тоже кажется "странной" и необычной, во всяком случае она вдруг избирает некую боковую и "неправильную" тропку, уводя от привычек и комфортных условностей существования и заставляя взглянуть на себя совершенно по-новому.

Название "Такая вот странная жизнь" — во многом символично для творчества Вила-Матаса в целом (не случайно именно так было озаглавлено несколько рецензий на последующие его книги). Символична и главная тема романа: смешение обыденности и литературы, жизни и искусства, реальности и вымысла, — которая здесь превращается в основу для увлекательного и остроумного сюжета, истории о том, как вполне успешный писатель по прозвищу Сирано за один-единственный день сумел поменять свое художественное кредо. Попав в экстремальную ситуацию, совершил поступок, сделал выбор. А дальше? Об этом судить читателю, когда он прочтет этот роман. Во всяком случае, отношение Вила-Матаса к

© Enrique Vila-Matas, 1997
© Н. Богомолова. Перевод, вступление, 2004

своему герою-писателю можно определить известной строкой: "Каждый пишет, как он дышит..." И наоборот.

> В любви бывает два типа постоянства: один порождается нашей трусостью, страхом перед одиночеством или же ощущением опасности; другой — тем, что мы гордимся собственным постоянством.
>
> Мануэль да Кунья *Шпион с улицы Лиссабон*

Я проснулся в тот приятный час, когда сон еще бродит где-то поблизости, но день уже проглянул; и мне сразу открылась картина замечательная и невероятная: наш сын Бруно сидит на кровати, на нашей кровати, рядом со спящей матерью, и молча, во все глаза смотрит вверх — на стеклянные подвески люстры, — смотрит и время от времени как-то очень деловито посмеивается.

А я привык к тому, что сын почти никогда не поднимает глаз от пола, и поэтому мне не удалось сдержать крик изумления, или даже паники, который и разбудил Кармину. Наверное, именно в тот миг у меня мелькнуло предчувствие, что начинающийся день запомнится мне на всю жизнь. Потому что уже через минуту я стал свидетелем не менее странной реакции Кармины: она сразу же попыталась все поставить с ног на голову и, причесывая Бруно на прямой пробор, упрекнула меня в том, что я ненавижу, да-да, именно ненавижу нашего сына. Ее реакция была совершенно необычной, и, повторяю, мне следовало тогда же сообразить, что день начинается слишком странно: ведь в глубине души и она тоже ненавидела Бруно, поэтому ее упрек прозвучал нелепо и, пожалуй, даже цинично. Никогда прежде она не упрекала меня за то, что я с досадой и тревогой наблюдаю за поведением нашего ненормального ребенка, нашего несчастного сына с пустым взглядом.

Раньше меня, понятное дело, не мог не волновать вопрос, что именно Бруно с таким упорством разглядывает на полу, но когда я, проснувшись, увидел, что он впервые за всю свою жизнь как завороженный смотрит вверх, это оказалось еще хуже. Необычная реакция Кармины окончательно выбила меня из колеи, поэтому я решил ничего ей не отвечать. Мне оставалось просто ждать, пока они уйдут из дома, и я знал, что при этом на лицах у них, у бедных, застынет сердитая утренняя гримаса; я же в тот час, в отличие от жены и сына, обычно предавался мечтам и с наслаждением наблюдал — вернее, подглядывал — за рождением нового дня. Кармина спешила на работу, в администрацию Музея науки, где ее ждала куча дел, а Бруно шел на встречу с "сеньоритой сопровождающей", которая отводила его — вместе с другими детьми, жившими поблизости, — в школу, и там он либо принимался громко рассказывать небылицы, либо с упорством — иногда в буквальном смысле идиотским — сверлил взглядом пол.

Они ушли и оставили меня в покое, так что в восемь утра я, как всегда, уже точил карандаши и одновременно оттачивал замысел статьи

для газеты — а статьи я писал каждый день, вкладывая в это дело всю душу и получая от работы колоссальное удовольствие, потому что в текстах такого рода я без зазрения совести все выдумывал из головы, и они писались быстро, минут за тридцать, с лихвой вознаграждая меня за жертвы, приносимые во имя тех строгих законов социального реализма, которым я следовал, когда работал над своей трилогией о жизни обитателей нашей улицы Дурбан, очень реалистическими романами про окружающих меня людей — обиженных судьбой и неприкаянных с улицы Дурбан, униженных и оскорбленных, — короче, про *тех, кто внизу* [1].

Покончив со статьей, я, как всегда, испытал чувство легкой грусти, той грусти, что посещает нас под конец удавшихся праздников жизни; затем я решил заняться своей трилогией, но тут на меня внезапно накатил приступ лени. Я уже давно возился с четвертой главой второго тома и в этой главе слегка увяз: там появился персонаж по имени Висенте Гедес, парикмахер с улицы Дурбан, на глазах у которого машина сбила жену и сына; но Висенте Гедес был человеком очень замкнутым, и я все последние дни пытался разузнать какие-нибудь подробности из его трагической жизни, но так ничего и не разузнал и, совершенно отчаявшись, даже начал склоняться к недостойной мысли: а что, если взять да и выдумать всю его жизнь... Висенте Гедес никак не желал приоткрывать мне свой внутренний мир, не желал рассказывать о случившихся с ним несчастьях; и своим молчанием, вернее своей скрытностью, он вымотал мне всю душу, а ведь за последние дни я не раз подкатывался к нему, ради чего регулярно навещал парикмахерскую — под одним и тем же предлогом, что, дескать, у меня сломалась бритва и мне все недосуг купить новую.

Итак, до половины двенадцатого я описывал жизнь Висенте Гедеса — по большей части эту жизнь придумывая. Обычно я работал над трилогией до полудня, потом делал первый перерыв — спускался вниз за почтой, потом шел за газетами в киоск, который находился в самом конце улицы Дурбан. Но в тот день, едва коснувшись дверной ручки, я заметил, что кто-то подсунул под дверь письмо. Удивленный и заинтригованный — и с куда большим интересом, чем минуту назад, когда тщетно силился удержать перед глазами загадочное лицо парикмахера и его суровую гримасу, похожую на судорогу боли, — я нагнулся, поднял нежданное письмо, и тут изумление мое возросло стократ: я узнал так хорошо мне знакомый округлый почерк Роситы.

В своем коротком и безжалостном послании она сообщала, что вечером непременно явится в зал на улице Верди на мою лекцию "О мифической структуре героя", и что это будет наша последняя встреча перед пяти- или даже шестилетней разлукой, и что, раз я наотрез отказываюсь бросить все и бежать с ней, она решила уехать со своим мужем-аптекарем — они откроют новую аптеку где-нибудь подальше от Барселоны. Кончалось письмо так: "Все это я уже говорила тебе, но повторю еще раз. Как было бы чудесно уехать вместе! Но ты трус и предпочитаешь и дальше оставаться с Карминой и этим ужасным мальчишкой. Что ж, твоя воля. Я приду на твою лекцию, потому что обещала, но как только ты закончишь пудрить нам мозги дурацкими рассуждениями о мифической структуре героя — фу, чушь какая! — я исчезну — будь уверен! — из

1. "Те, кто внизу" (1916) — роман мексиканского писателя Мариано Асуэлы (1873 — 1952). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

твоей жизни, как сделала это пять лет назад, и ты, дорогой пустомеля, снова не увидишь меня лет пять, а то и шесть. Плохо тебе будет без меня, понимаешь, плохо, и каждый твой день будет похож на нынешний, вернее, на нынешнее утро. Только вообрази себе такую картину: я сейчас стою за твоей дверью, а ты об этом даже не подозреваешь и увидеть меня не можешь. Мы совсем рядом — и в то же время страшно далеки друг от друга".

Когда в моей жизни случается что-нибудь очень важное, первая моя реакция всегда бывает совершенно идиотской и абсурдной. И тот день, тот зимний день, не стал исключением. Прочитав письмо, я снова нагнулся — как последний кретин, как лунатик, — и хотел подобрать с пола хлебную крошку, но так и не подобрал, вспомнив на полпути, что крошка осталась там с эпохи динозавров, с той поры, когда сутки насчитывали двадцать три часа. Несколько секунд, которые показались мне вечностью, я простоял в этой нелепой позе, совершенно обалдевший, так и не коснувшись рукой ни пола, ни доисторических времен, потом наконец вернулся к реальности, к трагической реальности того зимнего дня.

Росита решила меня бросить, и в серьезности ее намерений можно не сомневаться. И мне будет очень трудно пережить разлуку, потому что после ее внезапного и нечаянного возвращения я возмечтал о том, что отныне мы будем видеться постоянно, что она, как и прежде, будет моей любовницей, а я, как и прежде, буду тайком подглядывать за ней, потому что в былые дни она мне это позволяла: когда мы находили тайный приют в нашей гостинице, на меня накатывало лихорадочное возбуждение, и я смотрел на нее; она зажигала мне сигарету и с улыбкой поглаживала мой огромный нос — а этот нос, надо признаться, всю жизнь доставлял мне кучу неприятностей: из-за него меня называют Сирано, и мне это обидно, — но она очень ласково поглаживала мой нос, приговаривая: "Ах ты чертов вуайерист!"

Но сегодняшнее решительное письмо, разумеется, рушило все мои планы, и я знал: теперь никакая сила не способна удержать ее; одно утешение, хотя, конечно, и грустное: меня она бросала не как остальных мужчин, то есть не навсегда, а всего на пять-шесть долгих-предолгих лет, почти на целую вечность. И я ничего не мог с этим поделать. Даже если отыщу ее перед началом лекции и буду на коленях умолять: не бросай меня, не исчезай на столько лет, — она не дрогнет, и помешать ей уехать можно только одним способом — поступком, а не уговорами и мольбами: я должен немедленно бросить Кармину, чего я делать вовсе не собираюсь, даже ради того, чтобы удержать Роситу — большую специалистку по части бросания мужчин, свидетельством чему служат три развода и толпа отвергнутых поклонников, которые в отчаянии разбрелись по всему белу свету с мыслями о самоубийстве. Я не сомневался, что аптекаря ждет та же участь, Росита не проживет с ним и года, непременно бросит. Но это ничего не меняет: меня она решила наказать — в отличие от других, всего лишь наказать, — потому оставила надежду на новую встречу. И ведь выполнит обещание — то есть на ближайшие пять-шесть лет превратится в невидимку. Не стоит себя обманывать: если я убегу с ней, долго мы вместе не проживем. Росита обожает уводить чужих мужей, а потом, и очень даже скоро, посылает их ко всем чертям. Кармина — другая. Кармина поклялась мне в вечной любви и клятву выполнит. В день нашей свадьбы она произнесла фразу, которую я никогда не забуду: "Я хочу умереть вместе с тобой".

Иначе говоря, с какой стороны ни глянь — а глядеть с разных сторон я умею, — дела мои приняли дурной оборот, и, по сути, у меня остался единственный шанс — надо околдовать Роситу своими речами, в данном конкретном случае — своей лекцией. И хотя разрыва, по всей видимости, нам не избежать, я вполне могу добиться другого: не дам ей себя забыть, чтобы наше многолетнее молчание, которое последует за сегодняшней лекцией, наполнилось если не отдельными словами из моего выступления, то хотя бы отчаянным эхом этих слов.

Итак, я понял, что выбора у меня нет: надо действовать на манер Шехерезады, сыграть роль банального златоуста, который якобы верит, будто способен остановить время, а значит, отсрочить исполнение вынесенного Роситой приговора. Я понял, что хочу тронуть ее душу своим красноречием, и пусть эхо моих слов жарким шепотом кружит вокруг нее все долгие годы нашей разлуки.

Наверное, такой прием кому-то покажется слишком пафосным, но другого я не находил. Поэтому, не тратя времени на сомнения, решил сочинить совершенно новую лекцию, которая будет от начала до конца отличаться от задуманной прежде. Итак, послав куда подальше "мифическую структуру героя", я буду говорить о чем-нибудь позанятнее и, кто знает, может, о чем-нибудь очень даже интересном для Роситы. Например, о том, как всю свою сознательную жизнь я за кем-нибудь шпионил. А еще о том, как много общего у шпионов с писателями. О том, что и шпионам, и писателям суждено вечно подсматривать, вечно подслушивать, вечно вести погоню — поэтому они и попадают в запутанные и странные ситуации, — короче говоря, вечно ищут идею, которая способна всему на свете дать объяснение.

Я решил, что вступление к лекции должно быть интеллектуальным. Но если внезапная перемена темы не понравится ни публике, ни устроителям, я облеку лекцию во вполне серьезную форму — а именно это, как ни странно, до сего дня остается непреложным требованием к такого рода чтениям — и начну с ученейшего вступления, просто до жути интеллектуального: скажем, поведаю публике об эндогамности отношений между шпионажем и литературой. Ага, это подойдет, нечто подобное всегда считалось серьезной научной проблемой, по крайней мере с виду. Еще несколько минут назад я собирался пойти прогуляться по улице Дурбан, но теперь вернулся к себе в кабинет, чтобы заняться новым делом — сочинением высоконаучного пролога к собственной лекции. Я немного поразмышлял о том, в каком тоне следует его выдержать, чтобы сразу внушить к себе уважение, но так ничего и не придумал; напротив, я быстро сообразил, что нужного тона мне найти не удастся по весьма простой причине: сам я ни в малейшей степени не принадлежу к числу интеллектуалов. Честно признаться, и эту свою лекцию о "мифологической структуре героя", которую за последние несколько лет я повторял всякий раз, когда меня куда-нибудь приглашали, и эту лекцию я целиком и полностью передрал из книги португальского эрудита Мануэля да Куньи. Значит, надо передрать и высоконаучный пролог... Была у меня на примете одна статья с блестящими разглагольствованиями на эту тему — ее написал один мой коллега и, между прочим, ровесник, — я хранил ее, заложив между страницами самого знаменитого из его романов.

Я пил на кухне кофе и заучивал наизусть лучшие фразы из статьи собрата по перу, прозаика, который отличался немалым интеллектуальным ростом и малым физическим, то есть был мелковатого телосложения, из-за чего нередко вел себя как педант и культивировал особого рода старомодность в манерах, что, как он полагал, поможет ему скорее попасть в академики.

Зазубрив самые умные фразы, я вдруг подумал: нет, так дело не пойдет, я должен с первых же слов почувствовать полную раскованность и уверенность в себе, поэтому лучше начать с каких-нибудь фраз собственной выпечки и только потом, в нужный миг, то есть когда возникнет очевидная потребность в приправе из эрудиции, а также интеллектуальной мишуры, пустить в ход чужие мысли и слова.

Сказав себе все это, я долго — кажется, куда дольше, чем следовало, — сидел и всеми силами души ненавидел своего блестящего и старомодного коллегу — старался навсегда стереть из памяти его грязные и липкие следы, старался обмануть себя, заставив поверить, будто выученные наизусть фразы всегда были моими и только моими.

Отогнав последние сомнения и прочно уверовав в то, во что уверовать хотелось, я выбрал для лекции такое начало: "Дамы и господа, я пришел к вам сегодня в это историческое место, где обычно собираются жители улицы Верди, чтобы сделать признание: всю свою жизнь я шпионил, шпионил за всем и за всеми, но это не должно вас особенно удивлять, ведь шпионское ремесло сродни писательскому. Именно об эндогамных отношениях между литературой и шпионажем и пойдет речь в моем сегодняшнем выступлении. Как вы поняли, я решил отказаться от ранее объявленной темы. Видите ли, почти перед самым началом лекции я послал ко всем чертям классического героя с его мифической структурой".

Тут мне пришло в голову, что после таких слов хорошо бы сделать краткую паузу и свирепо — а это я умею — обвести взглядом слушателей, пристально, внушая трепет, всмотреться в их лица и только потом остановить нежный взор на Росите. После чего продолжить: "Сперва я хотел бы рассказать, как когда-то шпионил за художниками. За художниками в широком, разумеется, смысле. Не знаю, замечали вы или нет, что и сами нередко ведете себя так же: сейчас, к слову сказать, вы наблюдаете за мной, за художником слова. А каждый художник, дамы и господа, твердо уверен в одном: литература и шпионаж являют собой нерушимый союз. Возьмем, к примеру, романы, ведь шпионят не только их авторы, но и читатели; короче, шпионят абсолютно все. Автор, пока пишет роман, узнает довольно много разных вещей и о себе самом, в том числе и такое, о чем прежде не подозревал, потому что, работая, бедняга ни на миг не перестает наблюдать за собой".

Тут я опять обведу взглядом публику, а потом, вперив взор в Роситу, продолжу: "Автор, завершив роман, утверждает: это чистый вымысел; но читатель имеет полное право заподозрить, что в основе повествования лежат реальные факты; и поэтому читатель на протяжении всей книги с весьма близкого расстояния следит за автором, стараясь его уличить и разоблачить, а еще он выжидает удобный момент, чтобы тигром кинуться на писателя с криком: 'Искренне сожалею, но я вас застукал, и теперь у меня не осталось ни малейших сомнений — все, предъявленное вами в качестве вымышленной правды, на самом-то деле есть правда подлинная'".

Я решил, что, дойдя в своем выступлении — или вступлении — до этого места, постараюсь показать публике, насколько я спокоен и насколько хорошо владею собой, для чего медленно выпью стакан воды, который организаторы, разумеется, не забудут поставить на стол перед несчастным лектором. Церемонно выпив воду — что требует немалой выдержки, ведь все остальные, поскольку не пьют сами, в напряженной тишине следят за каждым твоим движением, не упуская ни малейшей детали, — я продолжу, наверно, так: "Да, дамы и господа. Читатели в большинстве своем только ради этого и берутся за романы, скажу больше, на свете практически не бывает читателей, которые никогда не испытывали соблазна пошпионить за автором. Мало того, читатели обычно полагают своим долгом шпионить, так сказать, втройне: во-первых, они следят за тем, что автор рассказывает, во-вторых, за тем, чего он не рассказывает, а в-третьих, они следят за собой — за тем, как именно они следят и за первым, и за вторым. А писатели? Работая над своими романами, они отправляются на улицу и начинают подсматривать; в первую очередь их интересует жизнь других людей, чем и объясняется присутствие в автобусах и вагонах метро странных пассажиров — это писатели, которые вышли на поиски жизненного материала для своих книг, они подсматривают за пассажирами и подслушивают их разговоры".

Тут я задумался, уместно ли будет после этого пуститься в более пространные объяснения того, почему именно столько писателей в крупных городах разъезжают в автобусах или метро. Или, допустим, я говорю: "Все мы, рассказывающие истории, — шпионы и соглядатаи, ведь жизнь слишком коротка, чтобы самому успеть пережить нужное количество разных событий, а значит, их надо украсть".

Я размышлял над этим довольно долго и наконец решил, что последнее замечание оставлю при себе, ибо сей вывод может оказаться слишком тонким и мудреным для Роситы, которая поначалу, конечно, изумится и даже восхитится моим умением складно рассуждать о высоких материях, да еще на публике, а потом, пожалуй, и заскучает, затоскует, и у нее, пожалуй, даже мелькнет желание улизнуть, не дождавшись конца.

Я решил, что не стану завершать вступление такими чересчур витиеватыми рассуждениями.

Хорошо и коротко — вдвойне хорошо. Еще я подумал, что лучше не перегибать палку и не слишком умничать, ведь даже самые робкие попытки покрасоваться и распустить хвост могут испортить дело; ясно как день: если в самом начале я завязну в "сюртучном" занудстве, Росита решит, что и вся моя лекция будет похожа на доклад в академии наук. Или заподозрит меня в гнусном плагиате.

Я покинул кухню и вернулся в кабинет, чтобы продолжить работу над планом своей лекции на улице Верди. Мне подумалось: после пролога следует словно бы ненароком, но очень искусно, сменить ритм — и сделав молниеносный маневр, вставить что-нибудь забавное, даже фривольное, чтобы наверняка завладеть вниманием Роситы, она ведь особа легкомысленная и обожает всякие разговоры, якобы привязанные к нашей дурацкой реальности, — как те, что нам ежедневно выливают на головы информационные телепередачи.

Мне подумалось: тут будет лучше всего пойти на мелкую уступку, то есть вдруг опуститься до грубой прозы, то есть прицепить к прологу разговор о заметке, которую я накануне вырезал из газеты и где речь идет об ужасном психозе — мании шпионства, затронувшей в последнее время многих испанцев.

Я сходил за вырезкой, перечитал ее и понял, что трудно найти более подходящий материал для достижения нужного мне театрального эффекта, а нужно мне будет всего лишь вырвать у Роситы два-три смешка, чтобы она — как это нередко с ней случается, когда я рассказываю на людях что-нибудь забавное, например анекдот, — своим смехом заразила остальных и невольно стала моим вернейшим союзником, помогая установить контакт с аудиторией, а значит, и успешно прочесть лекцию.

В заметке рассказывалось о недавно развернутой в Мадриде и Барселоне сети небольших магазинов под названием "Дом шпиона", где продаются всякие шпионские штуки: похожие на муху микрокамеры, которые можно спрятать в цветке, галстуке или собачьем ошейнике и которые размером не превышают кончик шариковой ручки; аппараты, изменяющие голос, очень удобные для одиноких женщин, потому что они превращают женский голос в мужской или в голос орангутанга; подслушивающие устройства для контроля за строптивыми подчиненными и так далее.

Я представил себе эти вожделенные смешки Роситы, и они воодушевили меня на продолжение работы. Тут в коридоре зазвонил телефон. Я совсем не хотел получать заказ на еще одну газетную статью, предложение провести занятие в литературном кружке или прочитать очередную лекцию. С каждым днем меня все больше раздражали такого рода задания, к тому же плохо оплачиваемые, но тем не менее — из-за дурацкой скромности — у меня никогда не хватало духу отказаться. Я не стал брать трубку — пусть заботливый автоответчик потом поведает мне о коварных планах звонившего. И вдруг я почувствовал, что просто умираю от голода, и, двинувшись на кухню, чтобы приготовить себе яичницу, услышал телефонный голос Кармины: она интересовалась, дома ли я. Она спросила об этом три раза.

Утолив внезапный голод, я вернулся в кабинет и снова принялся воображать себе два-три легких смешка Роситы, потом подумал: если она и вправду засмеется, то лучшим способом удержать ее внимание будет переход к теме, которая впрямую ее касается, — надо вспомнить какой-нибудь эпизод из жизни Роситы, какой-нибудь очень приятный эпизод, например, из тех времен, когда она жила и работала в Милане, а я оставался в Барселоне; несмотря на разделявшее нас расстояние, мы предчувствовали, что связь наша возобновится, а чтобы предчувствие оправдалось, решили встретиться в Антибе, то есть на середине пути между нашими тогдашними домами: каждый из нас — как она, так и я — должен был провести в поезде ровно восемь часов. Дело было седьмого февраля.

Я расскажу публике, что мы решили встретиться и тайно понаблюдать друг за другом, пошпионить, дабы собрать доказательства тому, что возникшие у нас обоих подозрения верны и любовь наша еще жива. Потом я расскажу, как в семь утра того самого седьмого февраля, добравшись до Антиба, узнал на вокзале, что поезд из Милана опаздывает на

два часа, и, чтобы не сидеть эту пару часов в холодном и унылом зале ожидания, решил пройтись по городку — совершить своего рода ознакомительную прогулку.

В то февральское утро ноги прямиком привели меня на площадь перед "Кафе мира", которое — о чем я прочел в поезде — никогда за все время своего существования не соответствовало такому "мирному" названию: это был ночной бар, обычно закрывавшийся где-то к полудню, отвратительный бар — из месяца в месяц, изо дня в день его посетители испытывали терпение жителей ближайших домов, и больше всего гневался один весьма и весьма знаменитый человек по имени Грэм Грин; он жил в Антибе и нередко терял это самое терпение, в результате чего принимался швырять в посетителей бара всем, что попадало ему под руку; и однажды дело дошло до того, что он использовал в качестве метательного снаряда французский орден Почетного легиона.

Честно говоря, я вовсе не собирался идти туда, просто какой-то далекий шум, доносившийся с той стороны и слышный даже у вокзала, пробудил мое любопытство и заставил направить стопы к пресловутому заведению. По мере того как я спускался по улицам Антиба к порту, крики делáлись все громче и громче и наконец стали совершенно дикими.

Когда до бара оставалось метров сто, я спрятался за дерево, так как клиенты заведения — преимущественно обслуга с яхт — словно только меня и ждали, чтобы превратить потасовку в настоящее сражение: в ход пошли кулаки, полетели бутылки и раздались душераздирающие вопли раненых. Я довольно долго простоял в своем укрытии за деревом, в ужасе наблюдая за кошмарным массовым побоищем, его не смогли прекратить даже прибывшие на место полицейские — их встретили с такой бешеной яростью, какой мне в жизни не доводилось видеть.

Наконец драка стала утихать, и я рискнул покинуть удобный наблюдательный пункт. Тут-то мне и вспомнилось, что где-то совсем рядом находится дом, в котором живет Грэм Грин — один из самых любимых моих писателей, автор "Настольной книги шпиона" и многих других романов про двойных агентов, запутавшихся в лабиринтах секретных служб.

Я принялся убеждать себя, что поиски его обиталища помогут мне весьма полезно и приятно скоротать время, но в этот миг я, к огромному своему изумлению, увидал, как из бара, который полицейские заперли на семь замков и где, как я был уверен, не осталось ни единой живой души, через боковую дверь вышел тучный мужчина, упакованный в роскошное красное пальто; он с торжествующим видом закурил гаванскую сигару и, улыбаясь, поглядел в сторону яхт, стоявших в порту на якоре.

На мгновение я пожалел, что рядом нет дерева, за которое можно было бы снова спрятаться, — дерево осталось далеко позади. И тут я каким-то нелепым и совершенно детским жестом поднял руки и закрыл лицо, вернее часть лица. Словно ждал, что вот-вот случится что-то ужасное, и не хотел этого видеть. Но сквозь раздвинутые пальцы я продолжал следить за тем, как тучный мужчина беспечно приближался ко мне, как он с недоумением глянул на меня и спокойно проследовал мимо.

А я принялся раздумывать над вопросом, почему повел себя таким странным манером, и мне показалось, будто загадку я разгадал. Скорее всего, в памяти у меня внезапно и подсознательно всплыл некий эпизод

из романа про русских шпионов, организовавших целую цепочку заговоров. Эпизод был такой: личный советник царя сидит и спокойно курит, но миг — и картина меняется, лицо его залито кровью, он откидывается на спинку кресла, часть его головы разворочена взрывом; оказывается, в проклятой сигаре был спрятан крошечный взрывной механизм — человек взял кончик сигары в рот, и прямо во рту у него произошел взрыв.

Получается, что я внезапно испытал страх за тучного человека, закурившего гаванскую сигару. Поразмыслив над этим, я снова решил отыскать дом, где живет Грэм Грин. Задача оказалась куда легче, чем я ожидал, святилище писателя располагалось в двух шагах от бара. На табличке рядом с домофоном можно было прочесть его имя: красные буквы на зеленом фоне составляли простое слово "Грин".

Мне нестерпимо захотелось позвонить и выдать себя за журналиста, который явился к нему с рекомендательным письмом, допустим, от Энтони Бёрджесса. Мне нестерпимо захотелось проникнуть в дом Грина и пошпионить за ним, понаблюдать тайком за его привычками, узнать, как он живет, как пьет, что говорит, над чем смеется. Но в самый последний миг верх одержала робость, и я совершенно по-мальчишески схулиганил: трижды надавил на кнопку звонка и пустился наутек.

Я успел услышать громоподобный, ужасно сердитый голос, шедший из домофона. Мне захотелось рвануть еще быстрее, но тут случилось то, чего я в жизни не забуду: что-то просвистело совсем рядом с моим левым ухом, даже слегка его задев, — снаряд был очень метко пущен из мансарды. Это оказалась чернильница марки "Пеликан", которая, разбившись о брусчатку, залила мне брюки своим содержимым.

Как я уже говорил, если случается что-то непредвиденное, моя первая реакция бывает совершенно идиотской и абсурдной. Тот день не стал исключением: я словно последний дурак нагнулся, чтобы рассмотреть марку чернильницы, потом, почти не соображая, что делаю, опустился на колени и тут же вспомнил знаменитые невидимые чернила, которые так часто фигурируют в шпионских романах, — обычно их делают из нескольких капель лимонного сока, в сок следует окунуть идеально чистое перо и можно писать письмо; когда сок высохнет, на бумаге ничего не будет видно, но лишь до тех пор, пока хитроумный контрразведчик не приложит к листу какой-нибудь раскаленный металлический предмет, тогда появятся едва различимые буквы светло-коричневого цвета.

Я продолжал раздумывать о невидимых чернилах, все еще испытывая оторопь и растерянность, но через какое-то время медленно повернул голову в ту сторону, откуда прилетел снаряд, и отважился поднять глаза к мансарде Грина. Тут-то я увидел и его самого. Он стоял не шелохнувшись, почти как манекен, и опирался руками о синие перила — неправдоподобно неподвижный, неподвижнее самого невозмутимого из всех американцев, почти окаменевший, с сигаретой во рту — думаю, это был "Benson", — в пухлых алкоголических губах; и Грин следил за мной со своего удобного наблюдательного пункта — сильно нахмурив брови, пылая гневом, вперив в меня бешеный и очень пристальный взгляд.

Совсем оробев, я поспешил убраться прочь, правда, не забыл прихватить в качестве сувенира — или фетишистского трофея — черную крышку от чернильницы, брошенной королем шпионских романов, и эту крышку через час подарил Росите; а она, принимая подарок, пару раз нежно и обворожительно хохотнула. В ту пору меня пленяла эта ее

манера смеяться, и я самым позорным образом обманывал себя, стараясь закрыть глаза на реальность, в которой присутствовали какие-то там разводы, толпы покинутых возлюбленных, пытавшихся свести счеты с жизнью и теперь потерянно бродящих по свету, — я видел красоту там, где была только лисья хитрость, я верил, что от Роситы мощным потоком исходит чистота, что она хорошо воспитанная, простодушная женщина, которая умеет нежно и обворожительно смеяться, женщина, которая не знает жизни и не устает изумляться всему вокруг.

Хитрая бестия — вот кто она такая на самом деле. И тут меня пронзила дрожь, хотя до этого я спокойно сидел в своем кабинете на улице Дурбан, и приступ был явно не последним, ибо я вдруг отчетливо понял, как жестоко заблуждаюсь: мне никогда больше не заставить Роситу засмеяться, как прежде, — мягко и нежно. Да и вообще, разве способна она сейчас смеяться, как прежде? В первые дни нашего знакомства она даже стеснялась своей наивности и чистоты, но годы изменили ее: мягкий смех стал таким же, какой стала и она сама, — невеселым, пошлым и порочным.

Едва я понял, что ситуация складывается тупиковая, как у меня мороз пробежал по коже, а ведь в разгар зимы даже намек на озноб выбивает человека из колеи. Второй и куда более сильный приступ озноба случился у меня, когда я с отчаянием подумал, что, во-первых, смех Роситы уже давно перестал быть мягким и нежным и что, во-вторых, я совершил непростительную ошибку, вообразив, будто история, случившаяся в Антибе, сможет хоть в малейшей степени ее позабавить.

Как могла позабавить ее история с чернильницей-фетишем или история нашего любовного свидания на Лазурном берегу, если все закончилось так неприятно? Вспоминать подобные происшествия — значит бередить старую незаживающую рану. Да, мы с Роситой целых три дня являли собой влюбленную пару, но в последний миг все было испорчено самым скандальным и мерзким образом. А дело было так: когда она уже собиралась подняться в вагон, который доставит ее к миланским туманам, и мы целовались и проливали прощальные слезы, я снова наотрез отказался бросить Кармину по возвращении в Барселону. И тогда Росита замыслила самую изощренную и жестокую месть: она исчезла из моей жизни, и исчезновение ее продлилось больше пяти лет; потом мы встретились, но она была замужем — третьим браком — за аптекарем, скорее похожим на попрошайку с паперти; а еще она только что родила дочку — бледное создание, чью головку несколько лет спустя украсили безобразные локоны.

Что за проклятый внутренний голос надоумил меня извлечь на свет божий из небытия воспоминание о нашем любовном свидании в Антибе? Я понял, что лучше побыстрее забыть ту злосчастную историю и подыскать другую, которая наверняка вызовет у Роситы желание дослушать лекцию до конца, то есть помешает ей встать и уйти. И почему мне сразу не пришло в голову, что, предаваясь подобным воспоминаниям на публике, я серьезно рискую: сегодня же вечером кто-нибудь позвонит Кармине и перескажет мои пылкие откровения?

Я встал из-за стола, вышел из кабинета и в задумчивости побродил по гостиной. Надо вспомнить, не шпионил ли я еще за какой-нибудь творческой личностью, но чтобы тот, в отличие от Грина, не пробудил дурных ассоциаций в объекте моих, так сказать, сексуальных грез, то бишь в Росите. Что-то мешало мне набрести на нужный эпизод, словно

внезапно на моем пути выросло какое-то препятствие. Совершенно постороннее воспоминание. Что меня отнюдь не удивило, чего-то подобного и следовало ожидать. Память — загадочная область нашего мозга, давно и глубоко похороненные воспоминания — к тому же порой абсолютно банальные — часто и без всякой видимой причины вдруг начинают атаковать нас. Вот и сейчас в голове у меня всплыл день, когда я зашел в лавку, чтобы купить галстук, и продавец, давний мой знакомый, весело поздоровался и сказал: "Здравствуйте, доктор"; мне пришлось объяснять ему, что он ошибся и что я никакой не доктор, но он тем не менее на прощание снова назвал меня доктором.

Отогнав непрошеное и всплывшее на поверхность откуда-то из самых глубин воспоминание, я посмотрел в окно, которое выходило на улицу Дурбан. Мне довольно часто доводилось пользоваться подзорной трубой, чтобы подглядывать за поведением соседей, и многие из них стали героями моей трилогии; но в тот день я ограничился картиной, доступной невооруженному взгляду, и через несколько мгновений почувствовал себя фотоаппаратом с открытым затвором; правда, сперва я сравнил себя с повествователем из романа "Прощай, Берлин"[1], который буквально потряс меня в ранней юности; потом, против собственной воли, я превратился в фотокамеру — неподвижную и фиксирующую любую деталь.

В мой объектив попал мужчина, который брился у окна напротив, потом — женщина в кимоно из соседнего окна, она мыла голову. Трудно сказать, сколько времени я простоял в полном оцепенении. Очнувшись и снова обретя способность думать, я решил, что неплохо было бы когда-нибудь проявить эти снимки, затем старательно наклеить на бумагу и все до одного перенести в мою трилогию, посвященную безрадостной жизни обитателей нашей улицы. Размышляя над этим, я запечатлел еще и душераздирающий образ сеньоры Хулии, хозяйки старого винного погребка, тоже расположенного на улице Дурбан; несмотря на зимнюю пору, она сидела у дверей своего заведения и выглядела еще безумней, чем обычно, — витала в облаках и наверняка думала о муже, но я вдруг по чистому наитию подумал, что, наверное, он недавно, всего несколько дней назад, умер, хотя никто и ничего мне не сообщал; но ежели я попал в точку, это создаст новые серьезные затруднения, ведь в мои планы входил долгий и задушевный разговор с ним, во время которого, используя мою обычную тактику, я попытался бы разузнать подробности его трагической жизни и вставил бы их потом в трилогию.

Я зажег сигарету, и дым мгновенно закрыл всю панораму, но моему воображению это пошло только на пользу: я вспомнил тот день, когда шпионил за Сальвадором Дали. Я закрыл окно, через которое в комнату проникал холод зимнего дня, постарался отогнать образ безумной сеньоры Хулии, сидевшей у дверей своего погребка, потом улыбнулся почти счастливой улыбкой, радуясь чистоте и прозрачности чудом всплывшего воспоминания о том дне, когда я шпионил за Дали. И он тоже, как годы спустя Грэм Грин, швырнул мне сверху некий предмет, хотя обе сцены, подумалось мне, никоим образом нельзя даже сравнивать.

1. Роман английского писателя Кристофера Ишервуда (1939).

Сразу поясню, что, шпионя за Дали, я был подростком и действовал отнюдь не по своей воле, как много позднее в истории с Грином. И было бы хорошо рассказать на лекции, подумалось мне, что сперва-то, конечно, я выполнял прямой и недвусмысленный приказ матери, но вскоре вошел во вкус и шпионил уже вполне сознательно, потому что быстро смекнул, какое огромное наслаждение таит в себе подобное занятие. Я расскажу, подумалось мне, что, шпионя, человек испытывает восторг и возбуждение, сравнимые лишь с азартом игрока, шпионить чудесно, и, по-моему, ничего лучше в жизни не бывает.

Это мать открыла мне, какое бесконечное наслаждение приносит подглядывание. Она, если говорить честно, всегда испытывала тайную склонность к шпионству. Она унаследовала ее от отца, который в последние годы жизни с несокрушимым прилежанием и самозабвением шпионил за всем, в чем угадывал божественное присутствие. Видимо, моя мать у него переняла страсть к подглядыванию за теми, в ком воплощено нечто божественное. Этим, надо полагать, и объяснялась история, случившаяся в тот день, когда мы вместе — мать, отец, мой брат Ма́ксимо и я — ехали на нашей новенькой сверкающей "шестисотке" и когда самые темные силы мира, объединившись, заставили нас повернуть к Порт-Льигату, расположенному неподалеку от Кадакеса. Мы захотели взглянуть на место, где обитает Сальвадор Дали.

По мере приближения к Порт-Льигату я наблюдал, какие бурные эмоции овладевают матерью, но, по правде говоря, и нас охватил не меньший восторг и волнение, когда мы увидели Дали — он обедал вместе с гостями на террасе своего дома. А ведь матери и в голову не могло прийти — нам и подавно, — что так просто увидеть гения Ампурдана и так просто вблизи понаблюдать, что он делает на замечательной террасе, увенчанной двумя гигантскими яйцами.

По велению матери отец резко остановил машину у последнего поворота дороги, спускающейся к Порт-Льигату. Это был удивительный и незабываемый миг. Мать, отец, брат и я, сидя в нашей "шестисотке", шпионили — молча, благоговейно, не упуская ни одной мелочи, — за трапезой, протекавшей под гигантскими яйцами. Вся сцена, казалось, была срежиссирована специально для нас.

Мы шпионили довольно долго, пока мать — хрипловатым, как всегда, голосом — не объявила, что не сдвинется с места, пока не узнает, правда ли, что все существование гения — сон гения, работа его кишечника, его ногти и насморк, его кровь, жизнь и смерть — по самой природе своей отличается от того, что свойственно простым смертным.

— А как, скажи на милость, ты собираешься это узнать? — спросил отец.

И тогда она вместо ответа принялась бешено сигналить, лихорадочно давая мне наставления:

— Скажи ему, что тебя зовут Марселино. Это его позабавит, я уверена.

Застыв от ужаса, я пытался угадать, что еще взбредет матери в голову, но тут совершенно неожиданно мы увидели, как Сальвадор Дали, словно уразумев, что именно к его мировому гению взывают из скромной испанской легковушки, театрально приветствовал нас, энергично ткнув тростью в сторону неба.

Мать заявила, что этого мало, что это ни в коей мере нельзя считать убедительным доказательством тому, что Дали и вправду гений, а не са-

мый заурядный человек, не такой, как почти все прочие смертные. И тогда, ласково оглядев нас, она сказала, что именно мне предстоит определить, на самом ли деле жизнь предполагаемого гения, который сидит на террасе, увенчанной парой гигантских яиц, отличается от жизни остального человечества.

— Ты должен вырвать из его уст одну-единственную фразу, — сказала мать. И велела мне подойти поближе к террасе, словно я хочу спеть Дали серенаду, а потом задать вопрос, любой пришедший мне на ум, какой угодно, ведь о чем бы я ни спросил, Дали ответит, и ответ его покажет, на самом ли деле он всегда и во всем гениален или у него тоже бывают периоды расслабленности, и он опустится до банальности, отвечая мальчику, который клянется, что его зовут Марселино.

У меня задрожали поджилки при одной только мысли, что я должен выполнить столь экстравагантное и сложное задание, но, помнится, я почувствовал еще и восторг, какой знаком только тем, кто испытывает острое наслаждение, шпионя за другими людьми.

В фигуре художника Дали мне вдруг почудилась волнующая тайна. Пожалуй, именно это и придало мне сил, заставило вылезти из машины и приступить к первой в жизни шпионской операции.

Я медленно приблизился к дому, встал под самой террасой и стоял там довольно долго, слушая разговоры, которых не понимал. Мне не удалось удержать в памяти ничего из сказанного Дали и его гостями, кроме одной фразы, хотя и ее тоже я тогда не понял; эту фразу Дали я решил записать в свой американский блокнот, куда записывал все, чего не понимал, с тем, чтобы потом спросить разъяснения у родителей.

Фраза, которую я не понял, но записал, звучала так: “Завтра я займусь яйцами на торсе Фидия”.

Я записал фразу и продолжал подглядывать, оставаясь незамеченным, пока до меня наконец не дошло, что пора все-таки выполнять задание. И тогда я, набравшись духу, прокричал три раза подряд:

— Сеньор Дали! Сеньор Дали! Сеньор Дали! Пожалуйста, посмотрите сюда!

Первым выглянул сам Дали, который пожелал выяснить, что же там внизу происходит.

— Меня зовут Марселино, — промолвил я. — И я хочу задать вам вопрос, только один вопрос, сеньор Дали.

Дали, чью голову украшал венок из лавра, оливы и роз, уставился на меня слегка ошарашенно, потом посмотрел очень пристально.

И тут я задал ему первый пришедший мне на ум вопрос, а именно:

— Я хотел бы спросить, сеньор, не будете ли вы так любезны и не дадите ли какой-нибудь сувенир для нашей семьи?

— Нет и нет, — сказал кто-то.

А Дали, быстро заморгав, посмотрел на меня как-то странно, и я увидел, как сильно переменилось выражение его лица — удивительная перемена, словно передо мной был уже совсем не тот человек, что миг назад. Он вдруг исчез, но через несколько секунд появился снова, и теперь лицо его опять было таким же, как в минуту, когда я попросил у него сувенир.

Без лишних слов, очень театральным жестом он бросил к моим ногам пресс для бумаги в форме носорога.

Мой обратный путь к нашей “шестисотке” был воистину незабываемым, просто фантастическим. Брат зарыдал от избытка чувств, увидев

то, что мне удалось добыть всего за несколько минут. Отец сказал, что я повзрослел за один этот день и что он по-настоящему мною гордится. А вот мать, напротив, не только не выглядела счастливой, но ее как будто даже разочаровал этот носорог, который с тех пор является частью нашего семейного достояния. На самом деле мать интересовал лишь ответ Дали на мой вопрос.

А так как он ничего не сказал и я не решался покаяться и признаться в провале задания, я сунул нос в американский блокнот и сообщил матери, что Дали ограничился следующим ответом: "Завтра я займусь яйцами на торсе Фидия".

— Кошмар кошмарный, — сказала мать и перекрестилась.

С тех пор она никогда больше и слышать не хотела об этой истории. Словно в тот самый миг, когда я зачитал ей фразу гения, испытала глубокое потрясение и решила навсегда отказаться от дальнейших расследований.

Моя мать никогда больше не возвращалась к этой теме — в крайнем случае презрительно кривила губы, заметив в газете фотографию Дали, — зато мне та давнишняя история теперь придется весьма кстати, потому что она убедительно показывает, каким образом я приобщился к искусству шпионажа. С воспоминанием о Дали было связано только одно "но": если не ошибаюсь, Росита не раз слышала его от меня, хотя проблему можно решить — надо постараться рассказать сей анекдот поизящнее, а потом быстренько пристегнуть к нему что-нибудь и вправду поразительное, например, сделать какое-нибудь совершенно неожиданное признание.

А может, взять да и заявить, что в молодости я служил агентом британской разведки? Заявление и бьющее в цель, и совершенно неожиданное. Интересно, поверят мне слушатели или догадаются, что я тут приврал? Придется изготовить вещественное доказательство — короткую записочку, якобы врученную мне еще в шестидесятые годы официантом в "Ритце", которая и помогла мне спастись от когтей агентов Москвы. Я написал на листе из блокнота: "Остерегайтесь Дзиги Левински и Марины Угрюмовой, которые сидят напротив вас. Они меломаны, это правда. Но они забыли вам сказать, что они еще и вражеские агенты".

Я покажу записку публике и даже пущу по рядам, чтобы люди удостоверились, что она на самом деле существует.

— Это очень дорогой для меня документ, — скажу я. — Он спас мне жизнь. Официант ловко подсунул мне записку вместе с dry martini.

Поверят или нет? Разве похоже, что я когда-нибудь был тайным агентом? Нет, не похоже. На лекции ходят все же не полные идиоты. Слишком неправдоподобная история. Я окончательно утрачу их доверие, ежели рискну подсунуть им подобный бред. К тому же Росита слишком хорошо меня знает и чего доброго решит, что я уже и соврать-то как следует не способен. Ясно одно: если я отважусь на такую смехотворную ложь, моя лекция непременно закончится провалом.

Нет, лучше расскажу им о том, что случилось со мной в поезде Мадрид—Лиссабон, где я познакомился со странным типом, который признался мне, что раньше был тайным агентом. Я всегда интересовался разведкой, но встретить настоящего шпиона — разумеется, если он меня не обманул, — мне довелось впервые...

Я решил, что расскажу на лекции об этом единственном шпионе, которого знал самолично, расскажу, как все началось. Когда ночной поезд уже тронулся и я успел порадоваться, что вторую полку никто не занял, в купе вошел мужчина. Он суетливо поздоровался. Никакого багажа, кроме небольшой сумки, при нем не было. Он проверил номер свободной полки, чтобы убедиться, что это его место, потом вынул из кармана белый платок, протер очки и поинтересовался, имеется ли в поезде вагон-ресторан. Я ответил, что ресторан в поезде есть, правда, идти туда не стоит, потому что еда там дорогая и не слишком хорошая. Но он таким тоном переспросил, уверен ли я в этом, что у меня появились легкие сомнения. Мужчина был примерно моего возраста, очень любезный, с чересчур лощеными манерами. Минут за пять он сумел уговорить меня пойти с ним поужинать. Заявил, что за вино будет платить он. Я объяснил, что не пью. Он улыбнулся и глянул на меня так, будто не поверил моим словам.

— Тогда позвольте мне заплатить за ужин, не хочется идти в ресторан одному.

— Хорошо, — ответил я, — я пойду с вами. Но при условии, что платить за себя буду сам.

В поездах порой случаются самые невероятные знакомства. Я писатель, и упустить такой случай было бы для меня непростительно. Тогда я еще не начал работать над реалистической трилогией. Но все рассказы, которые я довольно плодовито выпекал, замешивались исключительно на правде жизни. Я надеялся, что в конце концов объединю их в том и эта книга непременно откроет мне двери в издательский мир. Так оно, кстати, и вышло. Короче говоря, я рассчитывал услышать от нового знакомого какую-нибудь интересную историю. Тогда я принадлежал к числу людей — принадлежу и теперь, но, пожалуй, в меньшей степени, — которым нравится слушать других; тогда мне по крайней мере казалось, что для выбранной мной профессии необходимо в первую очередь это качество. Я принадлежал к числу людей — принадлежу и по сей день, но в меньшей степени, — крайне бестактных и нескромных и старался ничего не пропускать мимо ушей, когда путешествовал в поезде, сидел в кафе либо просто шагал по улице. Некоторые пойманные на лету фразы или выслушанные истории затем ложились в основу рассказов. Так что я тоже относился к разряду тех странных пассажиров, о которых упоминал выше, то есть был человеком, который, готовясь написать рассказ, выходит на улицу или садится в поезд — и начинает подслушивать, подглядывать за окружающими.

— Хорошо, — повторил я, — согласен, давайте поужинаем вместе.

Чем-то он меня крепко зацепил. Попутчик не только был одного со мной возраста, но и внешне мы оказались похожи. Немного различались только стилем одежды и манерами — у него они были куда более светскими. В остальном же, если дать волю воображению, его можно было принять за моего двойника. Вероятно, он тоже заметил наше сходство, хотя не собирался, как, впрочем, и я, комментировать сей странный факт.

Я никак не мог предположить другого: что в истории, которую жаждал рассказать попутчик, речь пойдет о том, как в Париже он встретил своего двойника. Иногда в поездах случаются удивительные вещи. Как такое забудешь? Стоило мне подумать, что новый знакомый мог бы быть

моим двойником, как сразу после ужина он заговорил о своем двойнике, но только, разумеется, не обо мне, а о каком-то португальце из Парижа.

Ужин прошел не совсем спокойно. Первые минуты были посвящены традиционному ритуалу знакомства:

— Меня зовут Хуан Риверола, я агент по продаже недвижимости, — произнес он.

После такого вполне нейтрального и вежливого начала странный попутчик принялся наливаться вином — бокал за бокалом. Не помню почему — видимо, потому что я назвался писателем, — ему захотелось поведать о своих любимых книгах: только такие книги я и читаю, веско заявил он, забыв уточнить, что же это за книги. Пока наконец, после моих настойчивых расспросов, не раскрыл тайну:

— Я читаю только романы про Джеймса Бонда. По-английски, понятное дело. Меня привлекают изысканные вещи, наверное, таким образом я стараюсь компенсировать вульгарность собственной профессии — агента по недвижимости, ведь это довольно незавидное и ничтожное занятие. А я принадлежу к богатому роду, теперь, правда, обедневшему. — Риверола опьянел и говорил не очень внятно. — Я привык жить, не утруждая себя работой, но в некий момент был вынужден взяться за это жалкое дело — просто не оставалось другого выхода.

— А почему только про Джеймса Бонда? — спросил я.

Он несколько секунд пристально глядел на меня. Он уже был довольно пьян. Затем попросил официанта принести еще бутылку вина и очень тихо, едва ли мне не на ухо, проговорил:

— Дело в том, что я был шпионом, только недолго, меня очень скоро турнули. Но я успел познакомиться с полковником Жуве. И работал я, как вы, наверное, уже догадались, на французскую разведку.

Когда официант принес вино, Риверола заставил и меня выпить бокал. Я решил не отказываться. Он же с каждой минутой приходил все в большее возбуждение, в нем проснулась какая-то неистовая сила, а ведь мне, о чем я ни на миг не забывал, предстояло провести ночь с ним в одном купе, поэтому я счел за лучшее не перечить и попытаться сохранить добрые отношения.

— Да, меня турнули, то есть дали пинка под зад, — повторил Риверола, — и очень даже скоро. Самое удивительное, что мне так никогда и не довелось узнать, за что я получил от них этот пинок. Загадка. И вечная заноза у меня в душе. Я мечтал избавиться от службы в агентстве недвижимости. Однажды я приехал по делам в Париж, и на Монпарнасе меня завербовали в шпионы — это вселило в мою бедную голову безумные надежды, но кончилось все полным крахом. Меня завербовали и почти сразу же дали пинка под зад. А все так хорошо начиналось. Крошечный вьетнамец, тайный агент, повел меня в логово таинственного полковника Жуве. Да, все начиналось просто прекрасно.

Он рассказал, что тайное логово людей, считавшихся мозговым центром шпионской сети, всегда рисовалось ему в виде подземного помещения, а тут он попал в дом, расположенный под Дренси, — там и скрывался полковник Жуве. Обнаружил Риверола и еще нечто, идущее вразрез с традиционными представлениями: оказалось, что мозговой центр всей шпионской сети находился не в подземелье, а в самой верхней части здания. Вьетнамец на лифте поднял его до мансарды, там они вышли и начали подниматься по лесенке — такой узкой, что человек крепкого

сложения мог бы там и застрять. Эта удивительно узенькая лесенка переходила в другую, куда уже первой, и эта вторая лесенка привела их на крышу, они миновали маленький металлический мостик и попали в очередной лабиринт, от которого у Риверолы закружилась голова, и он даже спросил своего вьетнамского проводника, на самом ли деле они идут в какое-то определенное место или это просто дурная шутка. Ответа он не получил, и вскоре они увидели двуцветную черно-красную дверь в самом конце зловещего коридора, по которому надо было двигаться пригнув голову. Вьетнамец робко постучал в дверь, и она медленно открылась — вероятно, под действием пружины. Они вошли в комнату размером примерно в пять квадратных метров; там, невозмутимо покуривая трубку, сидел под картой Тонкинского залива седобородый человек в форме полковника французской армии.

Когда Риверола завершил описание логова полковника Жуве, наш ужин тоже подошел к концу. Я уже утомился, и, кроме того, меня беспокоило состояние собеседника — слишком он много выпил. Я сказал, что уже поздно и я хотел бы лечь спать.

— Подождите, сейчас будет самое интересное, — прервал он меня.

Глаза его сверкали, а лицо под горевшей в вагоне-ресторане неяркой лампой казалось бледным. До того момента я слушал всю историю с интересом, но плохо себе представлял, как облечь ее в литературную форму и превратить в рассказ. А вдруг самое интересное и вправду ждет меня впереди, как он и обещает? Поэтому я безропотно согласился посидеть с ним еще несколько минут.

— Ладно, я вас слушаю.

Я стоял у своего письменного стола в квартире на улице Дурбан и раздумывал над вопросом: а имеет ли смысл во время лекции слишком подробно пересказывать историю полковника Жуве, может, лучше ограничиться тем, что поведал мне Риверола после моих слов “Ладно, я вас слушаю”? Я раздумывал как раз над этим, когда женщина в кимоно, жившая напротив, включила, как всегда по утрам, радио, и после пары пошлых шлягеров зазвучала песня, пробудившая во мне бурные чувства, песня, с которой у меня было связано много воспоминаний, — “Такая вот странная жизнь”.

Острой болью пронзил меня голос Амалии Родригес, и зимнее утро тотчас накрыло волной глухой тоски, потому что песня эта напомнила мне ночи, проведенные с Роситой: мы танцевали, и она говорила, что если я уйду от ее сестры Кармины — да, я ведь забыл сказать чуть ли не самое главное и теперь, пусть с некоторым опозданием, должен сообщить, что Кармина и Росита — родные сестры, да, они сестры, но в то же время они как день и ночь, как святая и блудница, — короче, они такие разные, что легко забыть об их кровном родстве, а следовательно, и трудно заставить себя об этом вспомнить. Итак, мы танцевали, и Росита говорила, что, если я уйду от ее сестры Кармины, мы поселимся в таком же домике, о каком поет Амалия Родригес, в “маленьком португальском домике”, далеко от шума и суеты, в словно специально для нас двоих созданном месте: в простом португальском домике, где, как пела Амалия Родригес, четыре стены, а на столе всегда есть хлеб, вино и кисть золотого винограда, — “самый обычный и простой португальский домик”.

Я уже говорил, что, как только в моей жизни случается что-нибудь серьезное, первая моя реакция бывает необъяснимо идиотской и аб-

сурдной. И тот день, то зимнее утро, не стали исключением. Я внезапно почувствовал желание, забыв обо всем на свете, словно в экстазе, погрузиться в созерцание капли воды, тонкого волоска или крошечной пылинки... Я почувствовал желание раствориться в созерцании этих крошечных вещей, подаренных нам природой, и таким образом попытаться отогнать тоску, разбуженную песней, которую соседка в кимоно, включив свое радио, запустила и в мою квартиру на улице Дурбан.

К счастью, я вовремя стряхнул наваждение. Чуть позже я спросил себя: неужели мне когда-нибудь и вправду хотелось жить в "самом обычном и простом португальском домике" и видеть одну только Роситу — целый день, с утра до ночи? Я напомнил себе, что Росита интересует меня исключительно как сексуальный объект и у меня нет ни малейшего желания разделить с ней кров и повседневный быт — ни в "португальском домике", ни в бунгало на южных морях. На каждый день у меня уже имеется Кармина, которая, в отличие от своей сестрицы, умна и добра, к тому же она поклялась мне в вечной любви. Но не прошло и нескольких секунд, как я вернулся к прежнему: почувствовал острое желание, неодолимой силы желание, словно до меня долетело запоздалое эхо случайно услышанной песни "Такая вот странная жизнь"; я почувствовал острое и неодолимое желание покорно подчиниться зову страсти и в ту же ночь, после окончания лекции, уехать с Роситой. И тотчас я стал придумывать новые контраргументы, способные образумить меня и усмирить дикий порыв.

Я сказал себе, что правильнее было бы сперва как следует обмозговать ситуацию. Я сказал себе, что сделать такой шаг — большая опрометчивость, ведь повседневная жизнь в "португальском домике" способна за самое короткое время убить любую страсть, охладить самый невиданный любовный пыл — даже такой, какой питал наши с Роситой отношения. Я сказал себе, что будет очень печально наблюдать, как в считаные часы растает мое великое чувство, чувство, которое, как это ни парадоксально, на самом деле подпитывалось разлукой с обожаемым предметом; проживи мы с Роситой вместе хотя бы несколько дней подряд — и конец, при этом, вдобавок ко всему, я утрачу последний стимул, оставшийся мне в жизни.

Я сказал себе: лучшее, что я могу теперь сделать, — это продолжать готовиться, тщательно обдумывая каждую деталь, к вечернему выступлению на улице Верди. Я снова сосредоточился на лекции и вскоре пришел к выводу: главное — на чем я должен сконцентрировать свои усилия — добиться, чтобы лекция понравилась мне самому, тогда я сумею избежать провала, тогда я сумею избежать великого разочарования, если в конце лекции Росита, а этого и следует ожидать, поступит подобно студентке из прочитанного мной несколько месяцев назад рассказа: речь там шла о профессоре-пенсионере, который то и дело устраивал лекции, чтобы соблазнить девушку, свою ассистентку, но та, в отличие от пылкого лектора, с полным равнодушием воспринимала все, что ей приходилось выслушивать, мало того, она старалась всячески подчеркнуть, что ее присутствие на лекциях вызвано отнюдь не собственным желанием или духовной потребностью, а было всего лишь частью обременительных служебных обязанностей — только поэтому она на протяжении часа выслушивала вещи, ничего для нее не значащие, абсолютно ей чуждые, абсолютно лишенные, на ее взгляд, остроумия, научной ценности и новизны, — все это могло произвести

впечатление разве что на горстку бездельников, вечно занимающих первые ряды.

Главное — избежать провала, избежать того, что случилось с этим профессором в конце рассказа, когда на последней из лекций, неожиданной по форме — то есть он специально так все построил, чтобы произвести впечатление на строптивую студентку, — девушка покинула зал с обычной своей презрительной гримасой. Иначе говоря, главное — не допустить, чтобы Росита — а этого вполне можно ожидать — повела себя под конец, как та студентка. Что будет со мной? Сперва я в последнем и безнадежном порыве метнусь за ней следом, но потом отчаянно уроню голову на стол — сломленный горем меланхолик печального образа, влюбленный клоун.

Главное — избежать позорного финала, главное — чтобы наше расставание произошло так, как я замыслил с самого начала: на достойном фоне из слов, которые я произнесу, по крайней мере на фоне отчаянного эха этих слов. Главное — и это действительно самое главное, чтобы вся сцена не превратилась в фарс и чтобы я ни в коем случае не уронил голову на стол и не показал публике всю бездну своего отчаяния — можно показать лишь безропотную покорность судьбе, смирение с временной утратой предмета моего неодолимого желания, но при этом выглядеть надо гордым: дескать, вопреки всему свою лекцию я сумел прочитать очень даже талантливо.

Пока я все это себе говорил, в коридоре зазвонил телефон. Наверное, опять Кармина. Я не двинулся с места и невесть в который раз мысленно повторил как заклинание слова, которые в тот день нельзя было забывать ни на минуту: если мне придется выбирать между вечной любовью и сексом, лучше выбрать любовь — она удобней и надежней.

Телефон все никак не замолкал, и я успел снова и снова посмеяться — правда, смех получился вымученным — над "простым португальским домиком"; потом снова сосредоточился на лекции, придумывая, как бы получше использовать то, что когда-то давным-давно рассказал мне Риверола — после того как я объявил ему о намерении идти спать, а он задержал меня еще на пять минут в вагоне-ресторане, обещая поведать нечто на самом деле интересное.

Риверола рассказал, что после визита к полковнику Жуве несколько дней прошло спокойно — случились очень занятные встречи с тайными агентами-соратниками, — но тут судьба свела его с обитавшим по соседству португальцем Негрейрушем, которого все звали Негрете, потому что он долго жил в Мексике.

Риверола пару раз заходил к этому человеку, и они беседовали об искусстве — португалец занимался живописью и писал ужасные картины, — а еще смотрели в телескопы, установленные на террасе их дома на улице Жакоб. С помощью телескопов португалец разглядывал — иногда с чрезмерным упорством — звезды и бескрайние небесные пространства.

Все началось в тот день, когда они встретились у стойки бара в Меце; Негрете угостил Риверолу рюмкой перно и был чрезвычайно разговорчив — он пребывал в эйфории, ибо его посетило некое озарение. Ученые не сегодня завтра откроют новый глаз, сообщил он. Этот глаз будет совсем не таким, как те, что нам известны, он, этот глаз, будет изучать Вселенную, постигая вещи, которые обычному человеческому гла-

зу недоступны. Это будет не только глаз, но еще и сателлит или телескоп, который действует с помощью ультракрасных лучей, он поможет увидеть даже столкновения между галактиками. Глаз скорее всего назовут Полифемом — руку кладу на огонь, что именно так его и назовут, поверьте, добавил он, ведь я в известной степени пророк.

Чокнутый, подумал Риверола. Он и раньше замечал в соседе некоторые странности, но не думал, что дела так плохи. И не придал их разговору особого значения. В конце концов, вокруг полно сумасшедших. Он простился, слегка подавленный своим открытием и уверенный, что не скоро снова увидит Негрете, но не тут-то было. С тех пор он начал встречать Негрете — шпиона бесконечности, пророка Нового Глаза — каждое утро в кафе "Бонапарте", куда ровно в одиннадцать шел пить чай; и по вечерам он неизменно видел его за одним и тем же мраморным столиком — тот сидел и нервно рисовал что-то в тетради с зеленой обложкой. Риверола приветствовал португальца издали, подчеркнуто избегая разговоров. В первые четыре дня Риверола, пытаясь задавить ростки паранойи, старался думать, что их постоянные столкновения в "Бонапарте" — всего лишь обычная, хоть и забавная случайность, и не более того, но на пятый день он всерьез забеспокоился. Да и любой здравомыслящий человек заподозрил бы неладное, ведь Негрете стал посещать "Бонапарте" точно в те же часы, что и Риверола.

Риверола решил ни минуты больше не оставаться в этом кафе, заплатил и дал себе слово никогда сюда не возвращаться. Его просто бесили и загадочное присутствие Негрете, и тетрадь в зеленой обложке. Заплатив за чай, он двинулся к выходу и бросил последний — прощальный — взгляд на Негрете. И тут до него дошло то, на что прежде он не обращал внимания. Если не брать в расчет лысину, Негрете был почти точной его копией, живым портретом — тот же возраст, тот же рост, схожие черты лица, и нос — точно такой же огромный нос. А уж в профиль они были просто двойниками.

Риверола, ошарашенный внезапным открытием, хотел одного — побыстрее унести ноги. Слишком много совпадений, подумал он. Но не сделал и четырех шагов, как почувствовал болезненную потребность еще раз посмотреть на Негрете. И, остановившись посреди улицы, оглянулся, чтобы снова увидеть профиль, так похожий на его собственный. Негрете торопливо расплачивался с официантом, явно вдруг куда-то заспешив и сильно нервничая. Риверола подумал, что настал час, когда надо прислушаться к собственному шестому чувству — хоть порой это может выглядеть безумием, но именно оно способно открыть нам правду. Любой здравомыслящий человек рассудил бы так же, как рассудил в тот миг Риверола. Да, это выглядело абсурдом, но сомневаться не приходилось: шпион бесконечности покидал кафе "Бонапарте", потому что собирался продолжать шпионить за Риверолой.

Риверола решил сделать вид, будто ничего не заметил, но принять хотя бы элементарные меры предосторожности, чтобы спастись от преследователя: скажем, сделать большой круг, прежде чем войти в расположенный неподалеку мрачный подъезд своего дома на улице Сен-Бенуа. Он долго бродил по району, пока совсем не заблудился, но вдруг понял, где находится: он шагал по улице Старой Комедии: тут ему почему-то захотелось обернуться — и он успел заметить, как Негрете с изрядной прытью метнулся к стене, а затем к витрине антикварной лавки. Риверола опять двинулся вперед, словно ничего не видел, и вскоре, дойдя

до улицы Жакоб, снова молниеносно обернулся, и тут его глазам предстало довольно забавное зрелище: застигнутый врасплох Негрете, пророк Нового Глаза, как вкопанный застыл на углу, так что из-за стены высовывался лишь кончик его длинного носа.

Риверола ускорил шаг, дошел до подъезда своего дома и запер за собой дверь на ключ. Оказавшись в квартире, он задвинул еще и засов, хотя при этом и клял себя на чем свет стоит за позорную трусость и говорил себе, что, если так пойдет и дальше, страх помешает ему нормально исполнять только что обретенные обязанности шпиона. Он поклялся себе впредь не поддаваться панике и постарался заснуть, правда, удалось ему это не сразу. Главное — и дальше вести себя как подобает агенту по недвижимости, который приехал в Париж в командировку и снял маленькую квартирку, но нельзя забывать и о собственной безопасности, раз теперь он заделался еще и шпионом.

Риверола уснул, раздумывая над вопросом: а вдруг Негрете на самом деле просто его ангел-хранитель, тайный защитник, еще один агент той же организации, взявший на себя заботу о нем. Риверола уснул, раздумывая над двумя вопросами: если Негрете не из своих, значит, он вражеский агент, который выдает себя за художника, созерцателя бескрайних пространств и пророка Нового Глаза. Но если он вражеский агент, тогда трудно объяснить, почему он следит за ним почти не таясь. Раздумывая то над первым, то над вторым вопросом, Риверола наконец уснул. Среди ночи он проснулся от чувства могильного холода, сковавшего тело: ему приснилось, будто Негрете — двойной агент и, кроме того, самый похожий на него человек на свете, иначе говоря, не только двойной агент, но еще и его, Риверолы, двойник.

Дойдя до этой мысли, Риверола вдруг покрылся холодным и липким потом, но в тот же миг он услышал шаги и хриплое дыхание за дверью своей квартиры. Он посмотрел в замочную скважину, и ему почудилось, будто с другой стороны деревянной двери, очень близко, но все-таки с некоторого расстояния, на него уставился ледяной зрачок. Он сказал себе: нельзя так позорно трусить, и, решительно отодвинув засов, быстро распахнул дверь. За дверью никого не было.

— За дверью никого не было, — рассказывал мне Риверола в вагоне-ресторане. — Знаете, что значит никого? Так вот. Там никого не было.

У меня уже не осталось ни малейших сомнений: Риверола был вдребезги пьян. Но судя по всему, приближался миг, когда он сообщит мне нечто важное, — под действием вина он, казалось, делался все более откровенным; и я решил повременить еще немного и не торопиться с возвращением в купе.

— На следующий день, — сказал Риверола, — я выбрал другое кафе, подальше от "Бонапарте", и расположился на террасе. Кафе называлось "У Антонина". Я заказал обычный свой чай. В те времена я почти не пил вина. Я заказал обычный свой чай и какое-то время сидел спокойно, пока вдруг не заметил, что в баре напротив стоит, облокотившись на стойку, созерцатель бесконечности. Думаю, вы мне поверите, если я скажу, что мне почудилось, будто он одет так же, как я. Я едва ли не бегом покинул кафе... А почему бы и вам не выпить со мной? Ну совсем немного... Сразу почувствуете себя лучше.

— Спасибо, мне и так неплохо.

— Я убежал, — продолжил Риверола, — и в тот день больше его не видел. Но назавтра, сидя в кафе "Паскаль", — помню еще, что шел сильный дождь, — я пережил такое, чего никогда не забудешь. Я наконец-то обрел состояние некоего блаженства, уверившись, что избавился от своего преследователя. Но вдруг, рассеянно глянув на улицу, увидел мужчину, одетого в такой же, как у меня, плащ; мужчина, укрывшись под зонтом, стоял в портале ближней церкви. Этим мужчиной под зонтом, одетым, как я, разумеется, был Негрете. Я увидел, как он в мгновение ока исчез, удостоверившись, что я его узнал. Ладно, раз так, следует написать обо всем случившемся донесение и передать вьетнамцу, который оставался единственным для меня звеном связи с организацией. Наверное, это было самым разумным решением. Вам не кажется?

— Кажется, — отозвался я.

— Я написал донесение. Ответ был такой: они займутся этим делом, а пока мне необходимо перебраться на новую квартиру — в другом районе. Я перебрался в гостиницу на улице Бенар, у станции метро "Алезия". Я был убежден, что принял все меры предосторожности. И более двух недель и вправду не встречал моего странного преследователя. Но однажды, проезжая на такси мимо вокзала Монпарнас, я увидел Негрете, который стоял, прислонившись к колонне. Хорошо помню, что в тот день тоже шел дождь. Поверьте, я буквально окаменел. Это было мимолетное видение, но впечатление оно произвело очень сильное: Негрете превратился в полного моего двойника, даже нацепил парик, в точности повторяющий мою прическу, костюм и плащ тоже были такими же, как у меня. Я уже не сомневался: по каким-то неведомым причинам — они оставались для меня полной загадкой — созерцатель бесконечности намеренно выдавал себя за меня. Я написал новое донесение, мне ответили, что разберутся. И знаете, что было дальше?

— Понятия не имею, — сказал я, пристально глядя на его нос, который все больше казался мне точной копией моего собственного носа.

— Через три месяца после того, как я увидал его в моем обличье, я узнал из газет о смерти Негрете. Никогда не забуду впечатления от фотографии во "Франс-суар". Словно это меня убили, да, меня. Он сидел на скамейке в Люксембургском саду, в парике, в точности повторяющем мою прическу, одетый, как я, и с пулевым отверстием во лбу — то есть натуральный портрет меня мертвого. На носу его сверкали капли крови, да, на носу, который был копией моего собственного носа. Свидетели происшествия показывали, что он был сражен одним-единственным метким выстрелом, и стрелял в него человек с азиатской внешностью.

Риверола рассказывал, что сам не помнил, сколько времени просидел, уставившись на газетную страницу и не веря собственным глазам; и чем дольше он смотрел, тем больше лицо его напоминало маску человека, застывшего перед зеркалом. Он сам не помнил, сколько времени словно бы исподтишка всматривался в жуткий взгляд покойника и безумную усмешку, застывшую на его губах в миг встречи с неожиданной смертью.

— Не каждому довелось увидеть, — закончил Риверола, — фотографию себя мертвого.

Силы его иссякли — как из-за выпитого, так и из-за напряжения, которого потребовал рассказ.

— Покойником я был не больно-то красивым, — продолжил он, и видно было, что голова его вот-вот упадет на стол.

Я предложил ему отправиться спать.

— Да, не слишком красивым, — повторил он.

Теперь он выглядел совершенно безумным. В конце концов мне удалось втолковать ему, что уже очень поздно. В купе — официант помог мне дотащить туда моего собеседника — он и вовсе отключился. Мы погасили свет, и я начал засыпать, когда он решил завершить свой рассказ. Он что-то бормотал, бросал бессвязные фразы, из которых я узнал, каким образом завершилась его деятельность в качестве тайного агента. Ему назначили встречу в окрестностях Мёдона, там он увидел вьетнамца, и тот молча, не проронив ни слова, вручил Ривероле запечатанный конверт с коротким посланием от полковника Жуве — подписался тот, если я правильно запомнил, как Шевалье де Па. Полковник сообщал, что принимает отставку Риверолы, о которой тот и не думал просить, и советует ему в течение двадцати четырех часов покинуть Париж. Навсегда.

Мне послышалось, что в этом месте Риверола, лежащий на своей полке, горько всхлипнул. Наверное, спьяну. Потом он пытался заставить меня выучить наизусть сложный пароль, который ему самому пришлось запомнить за то короткое время, что он работал шпионом.

На следующее утро, когда мы прибыли в Лиссабон, Риверола был свеж как роза. Прощаясь, он поинтересовался, запомнил ли я пароль, который он сообщил мне минувшей ночью. Да, отлично запомнил — ведь попутчик вдалбливал мне его довольно долго, а я с терпением святого мученика повторял букву за буквой.

— Полковник всегда думал о бромистых соединениях, — сказал Риверола.

— Я ничего, абсолютно ничего не запомнил, — ответил я.

— Так запомните: они работают без перерыва на Морской.

— Потому что у них двусторонние береты.

— Точно, — сияя улыбкой, сказал Риверола. — Прощайте, друг мой. Счастливого пребывания в Лиссабоне.

— Я тихонько войду в парикмахерскую, — ответил я в попытке поразить его на ходу выдуманным паролем. — Или мой отец. Ведь я помогал ему измерять расстояние между аптеками.

— И пусть вас побреет Игорь Смуров, — ответил он после короткой паузы.

Этим новым паролем мне наконец-то удалось сразить его наповал. Он остолбенел.

— Ладно, прощайте, — сказал он, чуть помолчав, и стал спускаться из вагона.

— Прощайте, — сказал я, уже сойдя на перрон. — Вы, конечно, заметили...

— Это еще один пароль?

— Нет. Вы заметили, что мы с вами, то есть вы и я, очень похожи?

— Только нос, один только нос, — ответил он, недоверчиво меня оглядев. И пошел прочь.

А я стоял на перроне и думал: не двинуться ли мне следом? Я видел, как он удаляется уверенным шагом. А я стоял на перроне и думал о том, как все странно сложилось, и о том, что недоверчивость и подозрительность — по сути и есть язык шпионов, и, возможно, именно поэтому раз-

говоры между ними кажутся такими нелепыми и загадочными и напоминают пароли.

Вечером во время выступления на улице Верди я расскажу историю Риверолы. Так я решил, сидя в одиночестве. Потом я вообразил, как сегодня же в половине седьмого буду шагать вниз по улице Дурбан, направляясь читать эту свою проклятую лекцию. Улица Верди находится совсем близко от моего дома — в районе Грасиа. Улица Верди тянется параллельно улице Дурбан. Если я все правильно рассчитал, мне понадобится не больше десяти минут, чтобы добраться до лекционного зала. И, скорее всего, я войду в зал самым первым, и на лице моем застынет выражение неподдельного интереса, словно вовсе не я должен тут что-то рассказывать, а тот, кто появится следом за мной, я же буду сидеть и слушать. Я пойду туда в пальто, из-под него будет выглядывать рубашка с бабочкой — совсем как у Пессоа, будто я, как и он когда-то, тихонько вхожу в лиссабонскую парикмахерскую.

Вечером во время выступления на улице Верди я расскажу историю Риверолы, а потом перейду к рассказу о том, как ребенком шпионил — испытывая глубокую и острую душевную боль — за отцом, тайком подглядывал за его переживаниями. Я перенесусь в сонную пору своего послевоенного детства, когда — как только что упомянул, использовав этот факт в качестве мнимого пароля, — я нередко отправлялся с отцом в верхнюю часть Барселоны, где он с помощью истертой сантиметровой ленты измерял тротуары, чтобы определить, на каком расстоянии от каждой из двух ближайших аптек ему выгоднее втиснуть свою аптеку, на которую ему одолжил денег щедрый родственник.

Измеряя тротуары, он с невыразимой печалью наклонялся к асфальту. А наклонялся он так часто, что в конце концов зародилась некая связь между ним и потаенным, вечно загадочным подземным миром. В итоге бурная и неведомая жизнь этого мира нашла в нем чуткого и неусыпного соглядатая — разом и шпиона, и соучастника.

Я сопровождал отца, совсем как мальчик в "Похитителях велосипедов" — его любимом фильме, наверное, потому любимом, что это был единственный фильм, где он сумел идентифицировать себя с главным героем и не мог сдержать слез. Я сопровождал его и шпионил за его мучительными попытками заработать детишкам на пропитание, а также за муками, которые, казалось, делаются все нестерпимее по мере того, как он устанавливает более тесные контакты с загадочным подземным миром, устроенным, на мой тогдашний взгляд, по каким-то особенным — причудливым и непредсказуемым — моделям невидимого.

Я шпионил за отцом и не чувствовал при этом ничего, кроме боли и глубокой тревоги. В те дни мне и в голову не приходило, что шпионство может нести в себе еще и наслаждение. Я шпионил за отцом с глубокой и острой детской болью и могу сказать: до случая с Дали не понимал, что в шпионстве неисчерпаемый источник наслаждения сосуществует с источником боли — их соединяет странная, но совершенная гармония.

Во время лекции на улице Верди я расскажу, что отца моего постоянно снедали две печали: угроза голода, витавшая над его семьей, и тревога, порождаемая подземными причудами обитателей другого мира — *тех, кто внизу*. Но я расскажу еще и о третьей его печали, самой тяжкой

из всех: ее он прибавил к двум первым, начитавшись Унамуно, и она мучила его все сильнее и сильнее, пока мы весь тот август бродили по улицам района Бонанова.

Третья печаль была очень простой и вместе с тем очень трагичной: отец мой вдруг заподозрил, что мы не бессмертны, и по ночам это мешало ему спать, а днем — измерять тротуарные плиты; он жил в неутолимой печали от сознания собственной смертности; он сломался, что-то в нем обрушилось, как карточный домик его веры в существование Бога. Однажды он, в свойственной ему манере, сообщил мне:

— Неба не существует, — сказал он внезапно, подняв голову от тротуара и застыв с рулеткой в руках.

Мы стояли у роскошного здания в районе Бонанова, в северной части Барселоны.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Твой отец часто читает Унамуно, а это великий испанский мыслитель; так вот, Унамуно жил в неизбывной печали с тех самых пор, как обнаружил то, о чем только что сообщил тебе я: неба не существует. Отсюда, снизу, твоему отцу это ясно видно, то есть видно, что небо — сплошная ложь, и еще, что все вокруг — сплошное дерьмо.

На лице его появилось суровое выражение, похожее на гримасу боли. Сегодня я вспоминаю его тогдашнее лицо, глядя на лицо парикмахера с улицы Дурбан.

— Но я просил бы тебя, — продолжил отец, — храни тайну и не проговорись случайно маме. Пусть себе живет счастливо, она этого заслужила, и я не хочу, чтобы на ее лице застыла вечная скорбь.

— Я ничего ей не скажу.

На краткий миг я почувствовал большую гордость от того, что отец доверил мне такую тайну.

— Есть вещи, — продолжил он, — о которых как дети, так и взрослые должны уметь молчать. И запомни, что сказал тебе только что твой отец, если не хочешь во взрослые лета... — Он обдумывал конец фразы и после паузы повторил уже прозвучавшее чуть раньше выражение, которое явно ему понравилось: — Ходить с вечной скорбью на лице.

У него самого было печальное, даже скорбное лицо — печальней не придумаешь. Я не сводил с него глаз: было очень тяжело видеть эту тоску на его лице. Потом многие годы я винил во всем Унамуно — и даже перестал читать его книги, — но сегодня, сидя в тени вековой шелковицы, где и пишутся эти строки, я уже не сомневаюсь: не меньше повлияли на отца странные контакты с голосами подземного мира, иначе говоря, очень странный способ пренебрегать светом белого дня, странный образ жизни, хотя странным, в свою очередь, было, конечно, и мое понимание того, что неба не существует. Я-то воспринял его слова по-своему — ведь мне, напомню, едва исполнилось девять лет, — я просто-напросто вообразил, будто синева и облака над нашими головами — это потолок, размалеванный людьми.

И всего час спустя я даже почувствовал себя счастливым, шагая вниз по улице Бальмес и держа отца за руку: у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что небо — это всего лишь огромный безрадостно разрисованный холст, который иногда способен двигаться.

Похожее впечатление произвело на меня небо и годы спустя, в Мадриде, когда я уже стал взрослым. Много дней подряд я писал, укрывшись под самой крышей гостиницы, высоко над городом, куда не долетало ни-

каких звуков, иначе говоря, я очутился под самыми небесами, но тут мне пришло в голову поменять комнату — переехать на первый этаж, в номер с окнами на невероятно шумную улицу, где вдобавок ко всему рабочие долбили асфальт. А на первый этаж я переехал, потому что вообразил, будто близость к самым древним и фантастическим голосам подземного мира способна значительно продвинуть вперед мою работу над первым томом трилогии, в полном смысле слова непогрешимо реалистической, где я собирался рассказать о простых людях с улицы Дурбан, о людях, обиженных жизнью.

Иными словами, на протяжении нескольких мадридских дней я сохранял уверенность в том, что сегодня мне представляется полным абсурдом; я убедил себя, будто смогу написать о тех, чья жизнь не удалась, *о тех, кто внизу*, только при одном условии: если буду держаться как можно дальше от непереносимого безмолвия небес.

Обо всем этом я и расскажу сегодня вечером в зале на улице Верди и после беглого упоминания о своих заблуждениях мадридского периода вернусь к тому августовскому дню, когда шагал вместе с отцом вниз по улице Бальмес и даже почувствовал себя счастливым, поверив, что небо — всего лишь расписной потолок, который порой способен двигаться.

И еще я расскажу, как разрушилось детское состояние счастья, едва я начал снова следить за отцом — только краешком глаза — и обнаружил, что он впал в еще большую, нежели прежде, печаль. Вскорости это проявилось со всей очевидностью. Мы остановились посреди пешеходного перехода через Виа Аугуста, потому что ему приспичило немедленно поделиться с кем-нибудь снедавшей его заботой. А так как друзей у него не было, к тому же в тот день он забыл об осторожности, ему не пришло в голову ничего лучше, как перевалить свои печали на мои слабые плечи.

— У меня кризис веры, — выпалил он. — И тебе лучше знать об этом, ты уже достаточно взрослый мальчик и сумеешь понять, о чем говорит отец. У меня появилось подозрение, что Бога нет. Мало того, я заподозрил и куда худшую вещь. А вдруг после этой нашей жизни ничего не будет? Мы умрем — и все...

— И все?

— Боюсь, что да, что на этом все и кончится.

— Значит, мы не попадем на небо?

— Я же сказал тебе, что никакого неба нет.

Произнеся это, он не заметил, что его откровения — но в первую очередь его немыслимая и прямо-таки детская наивность — покончили с моим детством. Зато он сразу же предупредил меня: по воскресеньям мы по-прежнему будем ходить к мессе, чтобы уберечь маму от ужасного огорчения и чтобы на лице ее не застыла вечная скорбь.

— Зачем портить ей жизнь, — добавил он. — Ты должен хранить тайну. И даже если увидишь, что по воскресеньям я молюсь в церкви, знай, это чистое притворство. Ты меня не выдашь?

— Не выдам, — пообещал я удрученно, хотя в то же время испытал и гордость от того, что впервые в жизни принял на себя некое обязательство. — Не выдам, — повторил я.

— Я рад, — сказал он.

Зеленый свет показывал, что мы можем перейти Виа Аугуста, но отец, по всей видимости, этого делать вовсе не собирался. Он крепко

схватил меня за руку и застыл в странной неподвижности, словно все его внимание поглотили скрипучие звуки тайной жизни в подземном мире. Он напоминал лису, подстерегающую добычу; казалось, еще немного — и начнет, как хищник, прядать ушами. Потом он опять спросил, способен ли я хранить тайну. И я уже собирался повторить свое обещание, когда сообразил, что вопрос-то адресовался вовсе не мне. У меня создалось впечатление, будто он ведет беседу с одним из тех голосов, которые какое-то время назад начали преследовать и тревожить его.

Трудно сказать, сколько времени мы простояли, застыв как вкопанные. Мы были похожи на статую, воздвигнутую в честь бессмертной пары — Отца и Сына, только вот ничего бессмертного в нас, как я только что выяснил, не было, совершенно ничего. Мы умрем — и все, сказал мне отец. Слова его еще громыхали у меня в ушах. Мной завладели два чувства: дикий ужас и досада. Досада вперемешку со злостью на отца: ведь мог бы, думалось мне, сперва разобраться что к чему, а уж потом зачать меня — тогда я избежал бы горькой участи, то есть вовсе и не родился бы на этот свет; а теперь приходится узнать, что нам отпущено сколько-то жалких и несчастных лет пребывания на земле, а потом суждено умереть — вот наша единственная судьба, единственный финал того странного образа жизни, который отец — как и любой отец на свете — вздумал мне подарить.

Трудно сказать, сколько времени мы простояли там, перед светофором, едва живые. Помню только, что очень скоро досада моя прошла и осталась только тревога, порожденная видом его неподвижной и горестной фигуры.

— Папа, — сказал я, — ты похож на статую.

И тут случилось чудо. Он ожил, словно мои слова снова даровали ему способность двигаться.

— Главное, чтобы мама оставалась по-прежнему счастливой и ходила в церковь, мы оба должны об этом позаботиться, — сказал он.

И мы перешли через Виа Аугуста, и я крепче обычного держал отца за руку. Я вновь ощутил, как сильно привязан к нему, и испытал чудное смешение чувств — нежность и любовь, которые, сливаясь, порождали печаль: ведь я не мог не заметить, какой у отца несчастный вид.

Вдруг, едва мы дошли до Травессера де Грасиа, отец с растерянной и тревожной улыбкой сказал:

— Ладно, в конце концов, ничего особенного не случилось. В конце концов, смерть — это и есть, когда люди умирают.

Наверное, он сказал это в утешение самому себе, не думаю, что в его словах была хоть капля цинизма. Но, по правде говоря, мне его слова ужасно не понравились. И чтобы побороть неприязнь к отцу, в последующие месяцы я обратил свой гнев на нечто более абстрактное: я возненавидел лето, особенно цепкую живучесть августовских дней с их тягучими сумерками. А среди августовских дней я больше всего возненавидел воскресенья — конечно, только потому, что они были связаны для меня с пыткой бесконечных воскресных церковных служб, когда отец притворялся, будто молится, а на самом деле бормотал что-то, и бормотание его слышал только я, хотя отдельных слов разобрать не мог.

Всю мессу он притворялся, будто молится, а на самом деле всей душой отдавался совсем иному занятию: занудным голосом что-то мрачно бормотал себе под нос и на что-то без умолку сетовал. Я же с трепетом и болью хранил его тайну. И мучился вопросом: неужели он не мог приду-

мать другого выхода, кроме как покорно погрузиться в такое вот состояние — в равной степени и жалкое, и отчаянное? Зато мама продолжала вполне счастливо жить бок о бок со всем этим бредом и не подозревала о драме, которая разыгрывается рядом, и не сомневалась, что отец — самый набожный человек на свете. Я с душевной тоской воспринимал материнскую безмятежность и с не меньшей мукой наблюдал языческий фарс, который сознательно и по доброй воле разыгрывал отец. Стоит ли — с учетом всех этих обстоятельств — удивляться, что мессы казались мне нескончаемыми, ведь к моему тягостному двойному шпионству — за отцом и мамой — добавлялся свинцовый груз проповедей, а потом и причастия, да еще коленопреклонения. Да, тогдашние мессы казались мне бесконечными. В одно из воскресений я решил найти себе какую-нибудь забаву и не придумал ничего лучше, как попытаться все-таки понять, о чем же беседует отец с голосами подземного мира.

До сих пор меня это не интересовало, почему я и не улавливал в угрюмом бормотании отца ни одной связной фразы. А в то воскресенье я взялся за дело всерьез — и с цепким и жадным вниманием стал вслушиваться в невнятное бормотание и ворчанье отца.

Я, как говорится, весь обратился в слух. То есть повел себя как заправский шпион.

Разобрал я только следующее:

— Ну и что делать, если такова жизнь?

И почти следом, словно скорбный стон из могилы:

— Еще бы! Я что, совсем дурак?

На улице шел дождь. Думаю, и по этой причине тоже бормотание отца показалось мне совершенно мистическим. В то воскресенье, выходя из церкви, я решил, что должен прояснить для себя данный вопрос. Воспользовавшись тем, что мать шла чуть позади, я напрямую спросил отца, о чем он разговаривал с крысами из церковных подземелий.

Задав столь непочтительный вопрос, я положился на Господа, хотя и понимал, что Божья помощь мне не понадобится, потому что мой вопрос прозвучал не слишком вразумительно. Ведь в подземельях нашей церкви лежали мумии монахинь. Об этом знали абсолютно все, даже дети. Мой вопрос был не настолько уж странным. Но отец почему-то воспринял его как невероятно странный — услышав его, он буквально остолбенел. Не веря своим ушам, он попросил меня повторить, что я сказал.

— Я бы хотел знать, — повторил я, — почему мумии, спрятанные под полом, называли тебя дураком.

Отец потерял дар речи и не шелохнувшись смотрел, как ветер пытается унести его зонт.

— Дураком? — отозвался он, словно эхо. И застыл в полной растерянности, да еще уперев руки в боки. Он не замечал сильного ливня, хотя потоки воды теперь беспрепятственно обрушивались на него, и было непонятно, рассердился отец до такой степени или только изумился...

Тут подоспела мать и спросила, что случилось. Отец, совсем как во время измерения тротуаров, нагнулся, едва не поцеловав асфальт. Потом поднял зонт. Потом опять выпрямился и с торжественным видом, хотя с него ручьями стекала вода, сказал маме:

— Случилось то, что наш сын сошел с ума.

Я поклялся отомстить ему в один прекрасный день. Я так обиделся на него за притворство — будто не помнит о нашей с ним общей тайне, —

что едва не проболтался. Но все же решил оставаться нем как могила. После этого прошло много дней и много месяцев, и ни одно воскресенье не обходилось без его мрачного бормотанья и тихих, но докучливых стенаний. Я напрягал слух, и иногда до меня долетала какая-нибудь более или менее связная фраза, например такого рода:

— В сердце Венеции гнездится зло.

Весь остаток дня я прокручивал в голове эти слова. И даже всерьез задавался вопросом: а что, если голоса подземного мира уже погубили душу моего отца? А что, если зло на самом-то деле гнездится в его сердце, а не в сердце Венеции? А что, если отец был, как и Венеция, средоточием мерзости? А что, если зло заразно? И любой невинный человек, приближавшийся к моему отцу, даже если он успел вовремя унести ноги, уносил с собой еще и свою уже погубленную душу?

Сознавая, что душа моя бесповоротно погублена, я продолжал шпионить за отцом — воскресенье за воскресеньем. Пока однажды, во время причастия, не увидел, что отец как никогда настойчиво бросает в мою сторону красноречивые взгляды. Я хотел было снова приступить к нему с вопросом: о чем он беседовал с крысами, о чем он беседовал с голосами подземного мира, пока притворялся, будто молится? Но все же удержался и стал с особым вниманием следить за тем, что происходит далеко от того места, где стоит отец. Я был целиком поглощен подглядыванием за тем, как совершается таинство евхаристии, и подглядывал так, как, по рассказам, делал в последние месяцы своей жизни мой дед, отец моей матери, более известный в нашей семье под прозвищем Черная Борода, которого я предпочитал называть иначе — для меня он всегда оставался "шпионом евхаристии".

Когда я, утомившись, перестал шпионить за тем, как совершается таинство, я решил снова заняться отцом и бросил на него еще один испытующий взгляд. Мне показалось, что он страдает как никогда в жизни. Да он и на самом деле выглядел ужасно расстроенным, притворялся молящимся, но думал только о том, что смертен, и умирал от тоски, ибо душой его завладели демоны. Он и на самом деле умирал. Он умер для радостей жизни, для радостной жизни. И вдруг мой взгляд новоиспеченного шпиона, словно луч света, прорезал мрак. Может, потому что я еще злился на отца за то, что недавно он сделал вид, будто не помнит о нашей общей тайне, во всяком случае, вдруг, взглянув на него и услыхав его угрюмое бормотание, еще более мрачное, чем всегда, я разглядел, обнаружил в нем просто-напросто обыкновенного жалкого труса. Иначе говоря — или говоря языком человека, каким я стал теперь, то есть человека, который сидит в тени столетней шелковицы и вспоминает самый важный миг своего детства, — мне было просто мерзко видеть собственного отца: ведь он, дожив до вполне почтенных лет, не решался сказать жене, что верит в одну лишь материю и что вечность для него — не более чем кусок земли, где однажды его похоронят. Жалкий трус.

Не знаю, кто это сказал, думаю, Конрад, что мы, люди, рождаемся трусами, вот в чем наша настоящая беда. На самом деле меня в тот день так возмутила его трусость, что я решил немедленно разрушить всю эту комедию, порожденную страхом.

Я разрушил его языческий спектакль, а сам навсегда расстался с детством. Теперь, сидя в кабинете, я пообещал себе, что непременно рас-

скажу все это нынче вечером на улице Верди, но тут зазвонил телефон. Звонок помог мне очнуться и заставил вспомнить о времени; я взглянул на часы и понял, что оно в буквальном смысле пролетело. На сей раз надо было обязательно снять трубку — наверняка опять звонила Кармина, которая привыкла к тому, что днем меня в любую минуту можно застать дома, ведь мы, писатели, совсем как домохозяйки, трудимся в четырех стенах. Короче, я не ждал никаких неожиданностей.

Прежде чем двинуться в сторону прихожей и снять трубку, я окинул рассеянным взором, словно не желая прерывать подготовку к самой важной в моей жизни лекции, наброски, сделанные за первую половину дня; они лежали разделенные на части, а частей было столько же, сколько листов голландской бумаги: высокомудрый пролог к теме, вокруг которой должна кружить лекция, причудливый и вольный мазок про манию шпионства, поразившую испанских граждан, примеры моей скромной, но неукротимой деятельности на ниве подглядывания за людьми искусства, встреча в поезде с профессиональным шпионом, жалкая трусость моего отца — в духе Унамуно.

Я не без опаски снял трубку. В конце концов, телефон — это всегда русская рулетка. К счастью, звонила Кармина, я узнал ее голос — она говорила в нос, — который не спутаю ни с одним другим.

Я почти не слушал жену, ибо мысли мои все еще занимала предстоящая лекция, — вернее, я пытался сообразить, как лучше связать историю моего шпионства за отцовскими мытарствами со следующей и уже совсем другой историей, чтобы скачок не выглядел слишком резким. А еще я размышлял над тем, откуда, собственно, взять столь нужную мне следующую историю, и поэтому почти не слушал Кармину.

После того как я попросил ее повторить только что сказанное, она не на шутку разгневалась и даже перешла на крик. А я терпеть не могу, когда Кармина так себя ведет, и повесил трубку: от ее визга у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Я подождал, пока она перезвонит, потому что был уверен — она это сделает немедленно. Возникшей паузы мне хватило, чтобы склониться к такому решению: идеальным продолжением истории про то, как я шпионил за трусостью отца, могла бы стать история — раз уж речь зашла о подземельях и церквах — про последние месяцы жизни моего деда, великого основателя горемычной династии шпионов, к коей я принадлежу: во время воскресных месс мой дед шпионил за мельчайшими деталями таинства евхаристии, то есть за гостией, то есть подглядывал за тем, какие странные формы обретает по воскресным дням истинное тело Христово; добавлю, что дед мой при этом всю свою жизнь проработал в сфере торговли оптикой и, выйдя на пенсию, по собственному почину превратился в своего рода коммерческого шпиона, работающего против других городских оптик; и только потом, в самый последний период жизни, дед превратился в человека, шпионящего за гостией.

Снова зазвонил телефон, но на сей раз я и не подумал снимать трубку, а просто подождал, пока на автоответчике прозвучит голос Кармины:

— Ты слышишь? Прости, я понимаю, что не должна была так кричать, но сегодня мы здесь, в музее, все какие-то нервные и издерганные.

Я снял трубку таким резким и решительным движением, словно вытащил пистолет из кобуры.

— Хорошо, а я здесь при чем?

— Прости, пожалуйста, так получилось, я ведь просто хотела напомнить тебе, что сегодня надо на час раньше забрать Бруно из школы.

— Бруно... — сказал я. — Мы с тобой еще не успели это обсудить, но, думаю, ты и сама видела... Сегодня утром он не пялился в пол и не нес обычной своей ахинеи... Дай-то бог, чтобы дело пошло на лад! Может, он и вправду придет в норму.

В ту пору мы очень часто говорили о сыне, мы были ужасно обеспокоены его странным поведением, хотя призванный на помощь психиатр уверял нас, что причин для тревоги нет и наш сын выправится, все это явления временного характера: отторжение окружающего мира, граничащее с аутизмом, но все же не аутизм, и еще стремление убежать от действительности, пожалуй, слишком резко выраженное, что и толкает его к чрезмерным фантазиям; он выдумывает разные истории, чтобы спрятаться от мира, который ему не нравится. Но все это скоро пройдет, заверил нас психиатр, ребенок постепенно обретет душевное равновесие и включится в реальность.

— Он начинает приходить в норму, — сказала Кармина.

— Знаешь, даже когда он выглядит чуть лучше обычного, мне он все равно кажется монстром.

И хотя Кармина тоже находила Бруно ужасным, тут она не преминула меня одернуть, заявив, что я не должен так говорить о ее сыне — ей это слышать невыносимо.

— Он начинает приходить в норму, — повторила Кармина. — К тому же, скажи, а твой собственный отец, он что, был нормальным? Тоже ведь исследовал подземные миры... Ему даже нашлось место у нас, в Музее науки — в качестве исследователя оккультных пространств... Наш сын вечно смотрит вниз? Что поделаешь, порода сказывается... Кроме того, я тебе тысячу раз повторяла: особых причин для беспокойства уже нет, мальчик приходит в норму. Ты же сам сказал нынче утром... В последнее время мы перестали давить на него — и он сразу начал вести себя куда раскованнее, начал хоть чем-то интересоваться... Я ведь всегда говорила: от всей этой дурости не останется и следа...

Если ей не нравился тон, каким я говорил о Бруно, то мне уж тем более не понравился тон, в каком она упомянула моего отца, шпионившего за подземными мирами. И я опять — словно заезженная пластинка — завел речь о Бруно:

— А я тебе тысячу раз повторял, что нам незачем заводить детей, но ты настояла на своем, это твой каприз — теперь сама видишь, каков результат.

— Ладно, — сказала Кармина, — странное ты выбрал время для таких споров. Лучше постарайся не забыть, что сегодня его надо забрать в пять.

Забирать сына из школы было для меня ежедневной пыткой, худшим из всего, что мне приходилось делать ради семьи, ведь иногда я бросал на полуслове свой роман — допустим, в каком-нибудь очень важном месте — и мчался за нашим ужасным сыном. Я поклялся Кармине, что возьму это на себя — сама она ловко избавилась от неприятной обязанности под тем предлогом, что после работы в своем музее желает посещать занятия в школе классического танца. По правде сказать, любому нормальному человеку обязанность забирать из школы и вести домой Бруно была бы неприятна, ибо наш ужасный сын — по определению его тетки Роситы, и она совершенно права, хотя и видела его всего несколь-

ко раз, — ибо наш ребенок — с какой стороны ни взгляни — был ужасен, и так считала вся округа, так считали все, даже его собственная мать не могла этого отрицать; не случайно же она проявила такую прыть, записавшись на уроки танцев, где занятия кончались ровно в шесть тридцать, то есть ровно через полчаса после того, когда это чудовище, наш сын, у которого не было даже намека на потребность шпионить за жизнью, выходил из класса и, сидя на портфеле у дверей школы, поджидал, пока я приду за ним и доставлю домой — доведу прямо до ковра в гостиной, где он и проведет остаток дня, играя или готовя уроки назавтра, — и голова его непременно будет низко опущена; правда, иногда он ее все-таки чуть-чуть приподнимает — например, когда начинает облекать в слова свои ни на что не похожие фантазии.

— Ладно, давай закругляться, я тоже должен работать, — довольно резко бросил я, пытаясь положить конец разговору, потому что у меня оставалось не так уж много времени на подготовку к лекции.

Но тут Кармина пожелала узнать, много ли я успел сделать за нынешнее утро. Я, разумеется, не собирался сообщать ей, что отправил в отстойник "Несчастные лики" и готовился к лекции, которую вечером мне предстоит прочитать на улице Верди. Она нашла бы это весьма странным и подозрительным, потому что отлично знала о моем отношении к таким выступлениям, знала, что исключений тут не бывает и речь я поведу о "мифической структуре героя" — только о ней я и говорил, когда меня приглашали куда-нибудь прочесть лекцию. Сказать ей, что я сижу и готовлюсь к сегодняшней лекции на улице Верди, было бы все равно что сделать себе харакири, то есть навести ее на след, заронив подозрение о планах Роситы явиться и послушать меня.

Я сообщил ей, что написал аж три с половиной страницы о трагедии парикмахера, и она тотчас спросила, какого еще парикмахера и о какой трагедии. Я вспомнил, что и вправду никогда прежде о парикмахере не упоминал, и рассказал ей о Висенте Гедесе, парикмахере с улицы Дурбан, который несколько лет назад потерял жену и сына — их сбил пьяный водитель. Парикмахерская стала для бедняги спасительным убежищем, ничего другого в жизни у него не осталось.

— Какая глупость, — бросила Кармина и больше ничего не добавила.

— Ничего удивительного, — возразил я, разозлившись, — абсолютно ничего удивительного в этом нет и уж тем более ничего глупого. Ты разве никогда не слыхала о том, что некоторые люди переносят свою привязанность с любимого человека на какой-нибудь предмет, животное или птицу, скажем, попугая?

— Какая глупость, — повторила она, и между нами повисло долгое молчание, напряженная пауза, и висела она, пока я, стараясь сгладить впечатление от моего странного, на ее взгляд, рассказа, не пустился в объяснения:

— Все мы испытываем потребность любить кого-то — кого-то или что-то. Парикмахер, например, обратил всю силу своих чувств на парикмахерскую. О таком необычном и, на первый взгляд, странном варианте любви я и писал все сегодняшнее утро.

По-моему, я говорил очень убедительно, но на самом деле, видимо, ход получился не слишком удачным, потому что Кармина, словно почувствовав укол женской интуиции — должен признать, крайне изощренной и острой, — вдруг, к полной моей неожиданности, спросила

прямо в лоб: а не подала ли каких-либо признаков жизни ее сестрица Росита?

Я проклял тот день, когда сам же — исключительно из желания повысить свои акции в глазах жены: пусть, мол, знает, что есть на свете и другие женщины, которые ко мне неравнодушны, — взял да и рассказал Кармине, что ее сестра снова возникла на горизонте, что она позвонила мне и предложила встретиться и вспомнить наше с ней общее прошлое. Теперь я страшно раскаивался в своей глупой болтливости. И какой черт дернул меня за язык?

— Я ничего о ней не знаю и знать не хочу. Сейчас меня волнует только мой роман.

Встревоженный неожиданным — и опасным — поворотом телефонного разговора, я постарался поскорее его закруглить и на ходу придумал повод: якобы на кухне у меня уже давно кипит кофеварка.

— Знаешь, эта твоя история про парикмахера, влюбленного в свою парикмахерскую... Я прямо нутром чую: что-то за этим кроется, что-то здесь не так... У тебя даже голос сегодня не такой, как обычно, странный какой-то голос... Не пойму почему, но у меня возникло подозрение, что дело не обошлось без моей замечательной сестрицы, небось опять начала крутиться вокруг тебя, — заявила Кармина.

Я попытался сменить тему, но не тут-то было. И тогда я сказал, что кофеварка на кухне уже взорвалась, и повесил трубку. Хватит болтать, ведь времени остается совсем мало, а мне еще надо как следует продумать, о чем и как говорить вечером на лекции, если, конечно, не решить проблему иначе: я ведь могу и на самом деле бросить Кармину, а по мере того как день катился к вечеру, мне сильнее и сильнее хотелось поступить именно так, то есть плюнуть на жену с сыном и убежать с Роситой, то есть с предметом моей страсти, хотя, как я знал, это безвозвратно погубит мою дальнейшую жизнь.

После разговора с Карминой я чувствовал себя не в своей тарелке и все никак не мог заставить себя вернуться к письменному столу. Наверное, подумалось мне, лучше будет пойти прогуляться и на улице продолжить обдумывание лекции. Тут снова зазвонил телефон, но я сказал себе, что ни за что не сниму трубку — наверняка это снова Кармина. Я направился в ванную, принял душ и медленно оделся. Потом со всегдашней своей недовольной гримасой оглядел в зеркале собственную физиономию: я все никак не могу привыкнуть к моему огромному носу, хотя живу с ним много лет, вернее, не могу с ним смириться; кстати, за длинный нос меня когда-то давно прозвали Сирано, и теперь все зовут только так, словно забыв, что у меня есть настоящее имя или, на крайний случай, писательский псевдоним.

Пока я опорожнял мочевой пузырь, меня посетило приятнейшее ощущение — и такое, разумеется, случилось со мной не впервые, — будто я принимаю участие в природном течении жизни. Опорожнять мочевой пузырь скучно, и, когда возникает срочная в том потребность, я всегда придумываю, чем бы на это время занять свои мысли. В тот день, как и во многие другие дни, я дернул за цепочку, прежде чем успел закончить мочеиспускание, и завороженно наблюдал, как вода и моча смешиваются в созидательном акте, подобном сотворению мира или сочинению романа.

Когда я почувствовал себя на вершине блаженства, когда мысли мои привели меня в экстаз, когда я почти опорожнил мочевой пузырь, до мо-

их ушей донеслось эхо далекого разговора, который в это самое время происходил во внутреннем дворе. Совершенно машинально, подчиняясь какой-то почти извращенческой профессиональной потребности, я замер и прислушался. Неизвестная мне женщина, находясь, судя по всему, на грани отчаяния, жаловалась, что утром у нее сломалась машина; и со смесью бешенства и горькой покорности судьбе она голосом изображала, какие звуки издавал мотор ее автомобиля, давая сигналы о поломке. Подражание звукам мотора, видимо, подействовало на нее успокаивающе, и она заговорила куда ровнее, словно начала осознавать, что с неприятным фактом надо смириться и ничего тут не поделаешь. Ее собеседница — чуть позже я понял, что это ее мать, — пыталась возражать, но слов я не расслышал — тут способности мои оказались бессильны, — хотя, по всей видимости, слова эти ужасно рассердили первую женщину, ту, что недавно изображала фырчание неисправного мотора. От только что обретенного спокойствия не осталось и следа.

— Не говори глупостей, мама. Тебе главное — поспорить, главное — сказать что-нибудь наперекор.

Опять прошелестели какие-то неразборчивые слова, в ответ — новый взрыв новомодной городской агрессивности.

— Ну, хватит молоть чепуху, мама. У меня нет времени на пустые споры. Мне нужна машина — и точка, слышишь? Мне нужна машина! Машины теперь есть у всех. Да, конечно, существуют автобусы и метро, а можно и пешком ходить... Но мне, слышишь, мне нужна машина. Сегодня же, и обязательно. Нужна. Понимаешь?

Снова неразборчивый ответ матери.

— Что? Ты с ума сошла? Да теперь у всех есть машины!

Я завершил наконец процесс мочеиспускания, в моих ушах, перекатываясь, громыхало слово "машина", и больше я его слышать не желал. Я захлопнул окно, выходившее во внутренний двор, потом причесался, бросил последний взгляд на свой ненавистный нос, из-за которого меня прозвали Сирано, и двинулся к выходу. Проходя по коридору, я нажал кнопку автоответчика и услышал совсем короткое послание от Кармины:

— Ни одна женщина на свете не любит тебя так, как я.

Следом послышались тихие всхлипывания.

Еще не успев дойти до дверей, я почему-то замешкался у окна, из которого была видна улица Дурбан. Мной овладело безумное желание взять подзорную трубу и пошпионить за тем, что происходит на территории, принадлежащей с некоторых пор моему роману. Я пошел на поводу у своего каприза и достал-таки подзорную трубу. Приставил глаз к черному резиновому колечку, очень, надо заметить, уютному, и несколько секунд следил за тем, что происходит на улице. Взгляд мой задержался на унылом остреньком носике бедной сеньоры Хулии, которая по-прежнему сидела у дверей своего винного погребка, уставив взор в облака. С каждым днем я все больше уверялся в мысли, что ее муж недавно умер. Затем я направил полет своего взгляда ввысь и с такой жадностью принялся созерцать какого-то щегла, что, когда птичка дернула скромным клювом в мою сторону, я инстинктивно зажмурил глаз.

Итак, я повел свою лекцию на прогулку.

Сперва спустился вниз по лестнице и забрал почту в комнатке консьержа — пачка оказалась солидной. Но, добавлю, это удовольствие мне приходилось испытывать почти ежедневно. Я сунул всю пачку в карман куртки и поздоровался с хромым консьержем, который вяло повторил следом за мной:

— Добрый день!

Едва я очутился на улице, как меня охватило внезапное и очень бодрящее чувство свободы, я ведь избавился от письменного стола и затхлого запаха литературы, а такое освобождение всегда действовало на меня благотворным образом.

Шагая вниз по улице Дурбан, я решил, что вечером, когда придет время рассказывать о моем деде, будет разумнее начать рассказ с того, что этот шпион за таинством евхаристии всегда считался самым здравомыслящим человеком на свете — да, но только до дня ухода на пенсию. Именно в тот день дали о себе знать первые странности и несуразности, и на некий, весьма непродолжительный, период дед перестал быть нормальным и благоразумным человеком, каким считался всю жизнь.

Именно в тот день — ни днем раньше и ни днем позже — дед восседал во главе стола в окружении родственников, сослуживцев и родственников самых преданных из сослуживцев. Приближался к концу обед, устроенный в честь деда. Дело происходило в саду, где сейчас я пишу эти строки, и тут что-то случилось у деда с головой, легкое помешательство, которое гости и домашние предпочли объяснить либо тем, что он выпил слишком много вина, либо тем, что он чрезмерно радовался, прощаясь с миром трудовых будней после многолетней работы во главе сети магазинов "Отпика Перельо".

На самом деле инцидент выглядел не столь уж безобидно, просто в тот миг никому и в голову не пришло, а может, никому не захотелось придавать этому значение, что прозвучал первый звоночек, возвещавший начало особого отрезка на жизненном пути деда — путешествия по узкому, черному и бредовому туннелю, в конце которого сверкнет свет, который деду покажется фиолетовым, свет мудрой смерти.

И тут надо будет пояснить слушателям, что историю о легком помешательстве деда я узнал от матери, ибо самому мне, когда все это произошло, было года три, не больше.

— Обед, — рассказывала мать, — протекал очень приятно и даже благостно, дед пребывал в прекрасном настроении, много и оживленно говорил. И казалось, ничто не предвещало драматического поворота событий, когда он неожиданно попросил слова, чтобы поблагодарить всех, кто собрался за праздничным столом в столь долгожданный и счастливый для него день. Он вспомнил, как впервые переступил порог фирмы в качестве служащего третьего разряда, как за весьма короткий срок сумел завоевать доверие сеньора Перельо и поднялся до поста управляющего и как целых тридцать лет ему удавалось руководить фирмой, и это были тридцать замечательных и незабываемых лет.

Его слова встретили дружными аплодисментами. То есть, повторюсь, все выглядело наилучшим и наиприличнейшим образом. Гости сидели в тени вековой шелковицы в саду нашего фамильного дома в Премиá, яркий весенний свет и блики на поверхности моря делали картину еще более праздничной. Дед погладил рукой галстук с заколкой в виде

раковины и снова поблагодарил всех, сидевших за столом и отмечавших вместе с новоиспеченным пенсионером знаменательное событие. Закончил он так:

— То, что вы пришли сюда, очень и очень для меня важно, поэтому я даже не слишком огорчен отсутствием сеньора Перельо. Я искренне счастлив видеть вас в своем доме, но хотел бы добавить, что нынешняя встреча не явилась для меня полной неожиданностью — по правде сказать, меня заранее предупредила о ваших планах некая всемогущая повелительница.

Повелительница...

Слово повисло в воздухе — одинокое и внезапное. И никто не смог бы отрицать, что услышал его. Все сидевшие за столом застыли с поднятыми и не донесенными до рта вилками и растерянно переглядывались.

Его предупредила всемогущая повелительница?

Дед побагровел. Потом склонился над тарелкой, обмакнув галстук в клубнику. Несколько секунд за столом царило всеобщее смятение. Но вдруг кто-то робко захлопал в ладоши, возможно от нервного напряжения, и собравшиеся с облегчением подхватили аплодисменты, а к деду вернулось хорошее настроение.

— Я очень, очень рад видеть вас здесь, — сказал он, — и мне, честно говоря, абсолютно безразлично, что сеньор Перельо не удосужился заглянуть сюда вместе со всеми. В конце концов, для меня его отсутствие не стало неожиданностью, потому что меня заранее предупредила об этом... его секретарша.

Сперва все решили, что сейчас он снова заведет речь о какой-то повелительнице, поэтому конец фразы был встречен вздохом облегчения, а затем опять грохнули аплодисменты. Завершился обед вполне нормально — инцидент с повелительницей был почти забыт.

А в последующие дни он был забыт окончательно, потому что с лица деда не сходило выражение счастья от появившейся у него возможности жить в праздности. По утрам он раскладывал бесконечные пасьянсы, после обеда насвистывал песни своей молодости, ближе к вечеру принимал гостей, а потом до глубокой ночи читал и перечитывал книги, где рассказывалось о путешествиях по странам, в которых и ему самому хотелось побывать.

Но оказалось, что начавшийся процесс продолжал развиваться — в скрытой форме. Дед просто не подавал виду, что в душе у него творится нечто весьма странное. Однажды в середине дня бабушка по чистой случайности столкнулась с ним в центре города: дед с подозрительным вниманием разглядывал витрину лавки, где торговали очками. И на вопрос, что он тут делает, без тени смущения ответил:

— А ты разве сама не понимаешь? Не так уж трудно догадаться. Шпионю за конкурентами. Боюсь, что с некоторых пор им удается во всем нас опережать.

В самом скором времени он превратился в шпиона, наблюдающего за заведениями, торгующими оптикой. Его преданность фирме, где он проработал всю жизнь, была безгранична — до такой степени, что он, видимо, был уже не в силах прекратить ревностно служить ее интересам. Он начал регулярно наведываться в разные кабинеты фирмы "Оптика Перельо" и приносил туда — хотя, понятно, никто его об этом не просил — разного рода сведения о торговых делах конкурентов.

Поначалу служащие фирмы, увидав его в офисе, не выказывали ни малейшего удивления, им это казалось вполне естественным.

— Что, решили снова к нам заглянуть?

— Да, снова, — с улыбкой кивал дед.

Ситуация стала осложняться, когда ритм его визитов в кабинеты фирмы "Оптика Перельо" начал угрожающе нарастать. Новый директор — молодой человек, не отличающийся большим терпением, — вскоре убедился, что дед страдает болезнью, которая часто встречается среди пенсионеров: они до самой смерти желают доказывать преданность своей фирме. Сперва молодой директор пытался отделаться от деда со всей возможной вежливостью, затем наотрез отказался принимать его. И тут случилось неожиданное: мой дед, против ожидания, не обиделся и не разгневался, наоборот, подобное отношение как будто даже привело его в полный восторг. В тот день, когда его не пустили в здание, где располагались кабинеты сотрудников фирмы, он, обратившись к швейцару, произнес явно хорошо обдуманные слова:

— Скажите им: больше всего меня огорчило бы, если бы они там почувствовали, как трудно им без меня обходиться.

Моя мать всегда смеялась, рассказывая мне о том дне, когда деда не пустили на порог фирмы; именно в тот день, как ни странно, он почувствовал себя по-настоящему свободным от трудовых будней. То есть для него реальным днем выхода на пенсию стал день, когда его не пустили на порог фирмы "Оптика Перельо", потому что именно в тот день он наконец почувствовал себя хозяином собственной судьбы, полным хозяином оказавшегося в его распоряжении и абсолютно ничем не занятого времени. А до тех пор он никак не мог смириться с назначенной кем-то сверху датой его отставки, он не раз повторял, что подходящий момент должен выбрать только он сам. По сути так и получилось. Иначе говоря, он ушел на заслуженный отдых, когда счел нужным, то есть когда убедился, что в фирме и без него прекрасно справляются. Дед втайне вынашивал план, как умереть спокойно, умереть тихо, чтобы никто из близких или бывших сослуживцев не горевал о нем. Но план, повторяю, был тайным, поэтому многое из того, что он говорил или делал, вызывало у близких и любимых людей изумление, а порой и огорчение. Например, однажды он вдруг ни к селу ни к городу заявил:

— Мы идем по жизни вслепую. И даже не знаем, как именно ведет себя Господь Бог или как движется солнце.

Эта фраза оказалась пророческой по отношению к тому, что вскоре произошло. Впрочем, возможно, ничего особенного и не произошло бы, если бы дедушка с бабушкой не отправились в путешествие. Моя мама уговорила их проехать по Испании с остановками в Сарагосе, Мадриде, Эскориале и Севилье и взяла на себя все хлопоты по организации поездки. Они отнеслись к ее затее с большим энтузиазмом и в конце мая сели в поезд на Французском вокзале. Было это сорок пять лет назад. Провожали их всей семьей. Дед пребывал в отличном настроении и, надо полагать, именно поэтому захотел подпортить его остальным; уже перед самым отходом поезда он произнес одну из своих странных фраз:

— Я размером с то, что я вижу.

— Что ты хочешь сказать, дедушка?

— Я гляжу на тебя и не знаю, вижу тебя или нет.

В Сарагосе дед, который выглядел помолодевшим лет на двадцать, купил себе черные очки — первые в жизни. И вел себя как ребенок, которому подарили новые башмаки. К тому же город вызвал в нем приятные воспоминания, потому что именно здесь была зачата моя мать.

Итак, в Мадрид дед прибыл в своих великолепных черных очках. Он повторял, что окружающая красота буквально слепит его. Мадрид привел деда в полный восторг, прежде всего благодаря переменам, которые случились там с момента последнего его визита, то есть ровно за полвека. Но в Мадриде в нем вновь проснулась неодолимая тяга к витринам, где выставляются очки и прочие оптические приборы, и это сильно встревожило бабушку, так что она поспешила с отъездом в Эскориал в надежде на то, что там внимание мужа будет отвлечено многими другими вещами. Так оно и случилось.

Но случилось и кое-что еще — кое-что весьма странное. Деда по непонятной причине буквально заворожила крохотная, похожая на склеп каморка, откуда король Фелипе II через маленькое, размером с человеческий глаз, отверстие в стене, отделявшей каморку от королевской молельни, следил за ходом мессы и тешил свое надменное тщеславие таким вот, для него одного устроенным, спектаклем; иначе говоря, в одиночестве этой самой каморки он шпионил за таинством евхаристии. И вот мой дед решил не отставать от короля и соорудить у себя в летнем доме — в том самом доме в Премиа, где сегодня я пишу эти строки, — нечто подобное, иначе говоря, он решил, что станет так же, из тайной каморки, шпионить за обрядом причащения, точнее, за поведением облатки, или гостии.

Идея, разумеется, была экстравагантной, тем не менее бабушка подумала, что лучше смириться с любой причудой деда, лишь бы она отвлекла его и помешала взяться за старое, лишь бы он снова не начал самозабвенно шпионить за городскими оптиками. Поэтому была отменена поездка в Севилью, и они спешно возвратились в Барселону, откуда немедленно двинулись в Премиа. Деду не терпелось осуществить свой план. Бабушка помогала ему чем могла. Она полагала, что лучше это, чем какие-нибудь другие и куда более опасные затеи. Но не случайно ведь говорят: порой от лекарства бывает больше вреда, чем от болезни. Деду соорудили каморку, которая невольно получилась мрачнее склепа, и проделали в стене отверстие размером с человеческий глаз. Теперь дед, отгородившись от суетного шума, производимого родственниками, мог сколько душе угодно шпионить за тем, как ведет себя Господь Бог в смежной молельне. Близкие надеялись, что он перестанет докучать им, увлекшись новой выдумкой, которая была хоть и экстравагантной, но совершенно безобидной и безвредной.

Но опять случилось нечто непредвиденное: вскоре после открытия летнего сезона дед обнаружил, что, когда воскресенье выпадает на нечетное число, вокруг облатки вроде бы появляется сиреневое сияние, которое каким-то образом — самым непредсказуемым и, можно даже сказать, радикально анархистским — воздействует на алтарь: оттуда ритмичными волнами начинает исходить световое излучение, потом излучение постепенно тает — совсем как отблески мрачных сумерек на серебряной подставке кубка.

Больше вреда от лекарства, чем от болезни. Потому что самое худшее заключалось не в том, что в воскресенье по нечетным числам он все это своими глазами наблюдал, а в том, что по понедельникам, вторни-

кам, средам и в остальные дни недели после мессы, когда он наблюдал отчаянный анархизм сиреневого ореола, дед с особым пылом и в мельчайших деталях описывал увиденное.

К концу лета наша семья совсем изнемогла, все думали только об одном — как бы дотянуть до последнего нечетного воскресенья в сезоне и избавиться от этого кошмара, вернувшись в Барселону. Но последнее нечетное воскресенье лета стало последним днем жизни моего деда, прежде шпионившего за оптиками, а потом начавшего подглядывать за поведением облатки. В то воскресенье после мессы и скромного обеда дед без умолку твердил — с чудовищным и уже совершенно безумным напором, — что ему удалось проникнуть в пространство, уготованное Божественным Провидением для избранных, ведь мало кто, как он, в непосредственной близости изучил танцевальные па Господа; и теперь дед считал себя обязанным известить всех, что дырка в заднице Пресвятой Троицы глубоко его разочаровала: вопреки его убеждениям, в ней не было ничего скромного и потаенного.

Моя мать, которая позднее обо всем этом мне рассказывала, всегда повторяла: в поведении деда в последние дни его жизни на самом деле — и вопреки первому впечатлению — не было даже намека на безумие, скорее некая странная, очень своеобразная мудрость. По ее словам, дед, подсматривая за таинством евхаристии, и не думал выслеживать присутствие Господа Бога. Он искал секрет *хорошей смерти.*

Что он понимал под хорошей смертью? А вот то и понимал, что последние месяцы жизни должен безжалостно изводить дорогих ему людей. Короче говоря, должен вроде бы ни с того ни с сего превратиться в настоящего дьявола, в несносного старика, и тогда близкие даже с некоторым облегчением встретят его смерть, во всяком случае горевать будут куда меньше.

Смерть настигла деда утром в последнее нечетное воскресенье лета, он был один в своей спальне и готовился выйти на традиционную воскресную прогулку по поселку Премиа.

Что произошло с ним в это последнее воскресенье его жизни? Может, он почувствовал приближение часа смерти, а может, вдруг превратился в самого неустойчивого человека на свете и потерял равновесие, отчетливо ощутив движение, но теперь уже не Господа, а земного шара, — кто знает? С точностью можно утверждать следующее: в последнее воскресенье своей жизни он, уже одеваясь для прогулки, но еще до того как утратил чувство равновесия на этой земле и перестал ощущать собственное присутствие на этой самой земле, успел написать жестокую и странную прощальную записку, из которой явствовало, что на самом деле он старался единственно ради того, чтобы они с облегчением встретили его смерть и не очень по нему горевали.

Он написал: “Что касается Черной Бороды и сеньора Перельо, то никто больше их уже не видел. Они оба ушли на рассвете — ушли украдкой, унося в руках весь свой нехитрый скарб и проклиная тех идиотов, которые надеялись унаследовать их деньги. Они ушли, вознося хвалы униженным, сирым, обиженным жизнью. Эта причуда была последней причудой минувшего лета. Они ушли, потому что больше не желали наблюдать отблески сиреневого круга”.

Его кончина и вправду принесла всей семье облегчение, и постепенно в дом вернулось хорошее настроение; мало того, однажды, следующим летом, когда они все вместе сидели в тени вековой шелковицы, где

теперь я пишу эти строки, на них напал беспричинный и безудержный смех, словно они, исполнив запоздалый ритуал отмщения, окончательно утешились, стряхнули остатки печали, окрестив деда новым прозвищем — Черная Борода, которое дошло и до наших дней. Кажется, они даже принялись передразнивать дедову манеру подглядывать за облаткой: один из моих кузенов изображал деда и отлично пародировал его жесты и голос. Остальные члены семьи в этом импровизированном спектакле между взрывами хохота изображали себя самих и задавали вопросы Черной Бороде:

— Значит, тебя предупредила повелительница?
— Я размером с то, что я вижу.
— Что ты имеешь в виду, дедушка?
— Я гляжу на тебя и не знаю, вижу тебя или нет.
(Новые взрывы смеха.)

Итак, поздоровавшись с нашим хромым и молчаливым консьержем, я вышел на улицу Дурбан. И первый человек, которого я обычно там встречал, тоже был хромым. Он продавал лотерейные билеты, но ко мне понапрасну не приставал. И у меня ни разу не возникло желания включить его в мою трилогию, потому что я терпеть его не мог. Правда, вот уже месяца два, как этот тип пропал, и — странное дело, хотя и такое в нашей жизни бывает, — мне его стало недоставать. Он пропал как-то вдруг, и я поначалу решил, что он заболел, но потом догадался — и хромой консьерж это подтвердил, почему-то криво ухмыльнувшись, — что случилась очень простая вещь: продавец лотерейных билетов, несчастный недотепа и увалень, взял да и умер.

Нет, я не засмеялся, чужая смерть никогда не радовала меня. Мне вообще никогда не нравились чьи-то исчезновения. И всякий раз, когда какая-нибудь физиономия, которую я привык видеть на улице Дурбан, вдруг выпадала из поля моего зрения, мне делалось грустно. Я столько раз видел все эти лица и добавлю: многих людей даже включил в свою реалистическую трилогию, что они стали частью моей персональной географии. Я глядел на них так, словно они в какой-то степени принадлежат мне. Поэтому, когда кто-нибудь вдруг ускользал со страниц, образующих книгу моей жизни, я досадовал, ведь я так прилежно шпионил за ними, потихоньку вытягивая из них какие-то сведения; например, уяснил для себя: они не читают романов и поэтому до них никогда не дойдет, что они превратились в героев реалистической трилогии; мало того, даже заподозрить такое они не способны, хотя бы потому, что улицу Дурбан я переименовал в Манасес, а район Грасиа — в Каэйро; зато во мне росла уверенность, что эти лица — лица *тех, кто внизу*, — успели перенять черты и моего лица. Поэтому, если один из них вдруг исчезал, мне делалось грустно, хотя, подозреваю, в глубине души я печалился только о самом себе, думая, что ведь наступит такой день, когда и я перестану ходить по нашей улице, а другие люди, смутно припоминая мое лицо, вдруг зададутся вопросом: а что с ним, интересно, случилось? Да, именно такое будущее ожидало меня, подающего большие надежды прозаика, или, как говорится, писателя с будущим: да, однажды и я тоже стану всего лишь одним из невесть куда исчезнувших обитателей улицы Дурбан.

Я зашагал вниз по улице Дурбан. Увидел, что собирается дождь, но за зонтом решил не возвращаться. Я раздумывал над тем, почему меня так сильно огорчают исчезновения других людей. Вот и скорое исчезновение Роситы, о котором она предупредила меня в сегодняшнем письме, казалось чем-то неправильным и непереносимым. Хуже чем непереносимым.

Столь же непереносимым мне вдруг представилось и отсутствие — а вернее, исчезновение — Бога. Прежде Он был повсюду, а в нынешнем веке испарился, улетучился. И я неожиданно подумал: Господи Боже мой, так кто же тогда, скажите на милость, на нами за всеми приглядывает?

А потом подумал: ведь и я на свой манер попытался вести себя так, словно был древним христианским богом. На свой манер попытался быть вездесущим, наблюдая за всеми и всем на свете. Такая вот странная жизнь.

Я превратился в человека, шпионящего за самим собой.

В тот день я шагал вниз по улице Дурбан; в тот день мне было одновременно и грустно и весело; в тот день я шагал вниз по улице Дурбан с необъяснимо жестокой ухмылкой на лице и вдруг — невесть почему — повернул назад и заглянул в окно собственного кабинета. Так вот, немедленным следствием этого внезапно накатившего и бессмысленного желания полюбопытствовать и узнать, каков мой кабинет, когда меня там нет, стало весьма неприятное и болезненное ощущение — мне даже пришлось самого себя подбадривать: ничего, мол, особенного не случилось, да, свет в моем кабинете, когда меня там нет, и вправду уныл и тускл, зато печальную картину компенсирует кое-что другое, да, кое-что другое, ибо, шагая по улице Дурбан, я знал: вечером во время лекции я должен буду поставить на кон собственную жизнь.

Игра и шпионаж — да еще писательство — всегда были очень схожими меж собой занятиями и самыми увлекательными из всех, какие только существуют на свете. Об этом я и раздумывал в тот день, шагая вниз по улице Дурбан, но вдруг отчетливо осознал: а ведь на самом-то деле я совершенно не готов нынче же вечером поставить на кон собственную жизнь — и, возможно, проиграть — только ради нее, ради Роситы.

Я не любил ее, я ее только хотел. Росита мечтала об одном — убежать со мной, я же мечтал, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы она была моей любовницей, а я продолжал жить со своей женой, с Карминой, потому что лишь традиционный и привычный уклад жизни давал мне чувство защищенности, то есть гарантировал возможность писать. Для сохранения равновесия мне была совершенно необходима уверенность в себе, а ее обеспечивала только любовь Кармины. Я знал, что без уверенности в себе ничего не достигну и никогда не сумею завершить свою реалистическую трилогию об обиженных жизнью, униженных и оскорбленных с улицы Дурбан.

Послышался гром. Значит, вот-вот хлынет дождь. И внезапно, словно под воздействием громовых раскатов, мне открылось: а ведь я так тщательно продумывал вечернюю лекцию именно потому, что отнюдь не собирался ставить на кон свою жизнь, да и вообще хоть чем-нибудь поступиться ради Роситы; и все равно я с чудовищным цинизмом, словно и впрямь готовился поставить на кон нечто важное, тщательно все продумывал и просчитывал, возмечтав сыграть роль Шехерезады, чтобы заронить в душу Роситы эхо моих речей и таким образом хоть отчас-

ти успокоить свою дурную совесть, ведь я твердо решил сохранить наш с Карминой семейный союз, ради которого, к счастью, не было нужды ничего ставить на кон, твердо решил сохранить эту удобную жизнь — телевизор, тапочки, любимую жену да еще ужасного сына с пустым взглядом и чудными и дикими фантазиями.

Трус. Проклятый трус — вот кто я такой. В трусости я переплюнул собственного отца. Потому что в тот день мне на самом деле больше всего на свете хотелось убежать с Роситой — с объектом, так сказать, моей страсти, забыв обо всем — о дурацком равновесии, традиционных устоях и прочей ерунде. Вот что я говорил себе, пока шпионил за самим собой — за тем, как я спускаюсь по улице Дурбан, снова запутываясь в ужасных сомнениях, хотя совсем недавно вроде бы принял твердое решение: остаться с Карминой и сказать Росите печальное прости — и Шехерезада тоже попрощается с нею.

Тут я, будто споткнувшись, встал как вкопанный перед винным подвальчиком сеньоры Хулии. Словно остановка такого рода должна была помочь мне привести в порядок мысли и наконец-то сделать выбор. И поскорее — нельзя же целый день мучиться сомнениями, как нельзя убить целый день на подготовку к лекции, если еще до ее начала мне вздумается убежать с Роситой.

Вдруг я понял, что хочу только одного — не думать больше ни о какой лекции, бросить все и уехать с Роситой к южным морям; только тогда я почувствую огромное облегчение, потому что докажу себе, что не такой трус, каким был мой отец, и не жалкий неудачник, лишенный даже самой примитивной "мифической структуры", и, главное, что я отнюдь не гожусь на роль классического — и омерзительного — героя нашего времени.

Я задумался надо всем этим, крепко задумался. И, поразмыслив как следует, сказал себе, что самое главное и самое важное — привычка и спокойная любовь, которые связывают меня с Карминой, ведь она в первый же день нашего знакомства поклялась любить меня вечно, а на что большее, чем любовь до гроба, может претендовать мужчина? "Такие женщины, как я, на всю жизнь", — сказала тогда Кармина. Ну и что мне еще нужно? Раздумывая над этой ее незабываемой фразой, я и решил, что пора все-таки идти готовиться к лекции. Вот почему я застыл как вкопанный перед старым погребком сеньоры Хулии, которая по-прежнему сидела на улице и с отчаянием глядела в пространство.

Самое важное, самое главное — это вечная любовь. Приняв наконец решение, я на несколько секунд успокоился, но очень скоро почувствовал, как в душу ко мне заползает смешной червячок, а с затянутого тучами неба начали падать первые капли дождя, то есть я был лишен даже солнца, в котором так нуждался в тот миг. И вдруг я почувствовал себя совершенно несчастным и еще — трусом, героем нашего времени, человеком без зонта, да, безрадостным героем нашего времени, бедным вуайеристом, который остановился как вкопанный посреди улицы Дурбан, той самой улицы, где живут несчастные, как и я, обиженные жизнью люди с печальным обликом, типичным для обитателей района Грасиа, персонажи моей трилогии. Я почувствовал себя лишь еще одним уличным прохожим среди толпы прохожих, которому однажды тоже суждено исчезнуть, еще одним жителем города, тоже несчастным на вид — не в последнюю очередь из-за огромного носа, — одним из многих, кто, шпионя за самими собой, время от времени

исчезают из каждодневного бытия унылой улицы в каком-нибудь дождливом городе.

Легкий дождь, монотонно усиливаясь, завоевывал узкую и мрачную улицу, а я, пытаясь определить, какие именно чувства будят во мне эти темные и раздерганные водяные нити, сверкающие на фоне грязных фасадов и закрытых окон, довольно скоро понял, что чувствую безмерную горечь, ибо вечером должна будет решиться моя судьба.

И тут я прекратил шпионить за самим собой.

Я спросил сеньору Хулию про ее мужа.

Дождь, теперь уже косой, размеренно шлифовал унылый пейзаж.

Сеньора Хулия по-прежнему сидела, бессмысленно глядя в сторону невидимого горизонта. Казалось, она вовсе не намерена отвечать мне, но вдруг голосом, лишенным интонаций, произнесла:

— Он умер на прошлой неделе.

Я снова застыл как вкопанный, как соляной столб, не замечая ни холодного ветра, ни дождя. Хотя холод проник даже в мои мысли. Тут полило еще пуще, и я решил покинуть сеньору Хулию. Я оставил позади сеньору Хулию, которая, не обращая внимания на ливень, невозмутимо сидела на своем стуле, вынесенном на тротуар. Я снова двинулся вниз по улице Дурбан, производя смотр — словно речь шла о боевых соединениях — персонажам моей литературной территории. Надо добавить, что, к счастью, с первых шагов в литературе я решительно и твердо отказался от любых выдумок, от того, что авторы романов обычно измышляют, сидя за письменным столом. Мое — это улица. С первых шагов в литературе. Да, мне тоже нравилось выдумывать, но для этого у меня были статьи, заказанные газетами и журналами, а также дружеские беседы. Две отдушины, которых вполне хватало, чтобы выпустить пар и разрядиться. С романами дело обстояло иначе. Я с удовольствием наблюдал за реальной жизнью. Отодвигал в сторону литературу ради жизни, скажем, ради подлинной истории реальной кассирши из супермаркета.

Шагая вниз по улице Дурбан, устраивая смотр своим персонажам, я убедился, что почти все пребывают на положенных им местах — как мне того и хотелось. Электрик с сыном-аутистом, светловолосая сеньора из кафе, несчастная кассирша из супермаркета, мясник и его чахоточная жена, близнецы из продуктовой лавки, консьержка, которая воображает себя Тересой из романа Хуана Марсе[1], вечно пьяный карлик, служивший посыльным в лавке, где продают птицу, вечно унылый продавец из газетного киоска, общительный торговец лампочками, вдова из галантерейного магазинчика, парикмахер, невеста сына хозяев фруктовой лавки, официант из бара "Марти".

Я зашел в бар, чтобы укрыться от дождя. Заказал русский салат и вытащил из кармана куртки пачку корреспонденции. Интерес представляли лишь открытка от моего брата Максимо, посланная с венесуэльского острова Санта-Маргарита, и маленький серый конверт, к каким я успел привыкнуть за последние несколько лет. Письма в таких, всегда одинаковых, конвертах приходили обычно с большими перерывами, словно отправитель следовал какому-то одному ему ведомому

1. Хуан Марсе (р. 1933) — известный испанский писатель, живет в Барселоне; речь идет о его романе "Последние вечера с Тересой".

графику. Конверты без обратного адреса. Письма без подписи. Тот, кто писал их, обращался ко мне словно к старому школьному товарищу и в каждом письме извещал о разного рода событиях, случившихся у него на работе и дома. Первое письмо пришло пять лет назад и было, пожалуй, самым занятным: "Я живу в том же районе, что и ты, и когда-то мы ходили в одну школу. Порой мы с тобой сталкиваемся на улице Дурбан, но ты не обращаешь на меня никакого внимания, видимо, совсем позабыл. А вот я постоянно слежу за тобой и, надеюсь, очень много чего знаю о твоем житье-бытье. Пора наконец и тебе узнать кое-что о моей жизни".

Затем приходили новые и новые письма, всегда в одинаковых серых конвертах, в среднем штук по пять-шесть в год — в целом их набралось около тридцати, и, по правде сказать, они меня ужасно раздражали. Кроме того, меня злило, что кто-то исподтишка наблюдает за мной, при том что я понятия не имею, кто это может быть.

В первые месяцы письма буквально сводили меня с ума — я подозревал всех подряд и ходил по нашей улице Дурбан, бросая грозные взгляды на каждого встречного: в каждом мне виделся мой аноним. Со временем я, конечно, поостыл. Случалось, даже не распечатывал серые конверты и сразу отправлял в корзину для бумаг.

Новое письмо я начал читать, когда покончил с салатом. И тут же заметил, что официант с особым вниманием, даже назойливо поглядывает в мою сторону; мне, разумеется, и в голову не пришло бы заподозрить в нем автора посланий в серых конвертах, потому что я его очень хорошо знал — он едва умел читать и писать, к тому же ему хватало собственной трагедии, которой, кстати сказать, тоже нашлось место в моем реалистическом триптихе. Официант этот был несчастнейшим из смертных: жена его работала гардеробщицей в ближайшей дискотеке и изменяла ему самым подлым образом со швейцаром из того же заведения. Все это официант как-то раз поведал мне, обливаясь горькими слезами. И поразительнее всего было то, что он ее прощал.

— Я ведь христианин, — сказал он сквозь рыдания. — И протяну ей руку, как только негодяй ее бросит.

"Трагедия святого официанта". Так я назвал главу, посвященную слезам этого жалкого рогоносца.

— Тебе что, очень интересно? — спросил я официанта, заметив брошенный в мою сторону косой взгляд — он исподтишка наблюдал за тем, как я извлекаю письмо из серого конверта.

Он извинился и куда-то исчез. Я нацепил очки на свой огромный нос и прочел: "Я женился только ради того, чтобы она от меня не улизнула, и теперь она целыми днями сидит дома. И деньги, которые я зарабатываю, гробя на это свою жизнь, она забирает в качестве компенсации — покупает на них детские вещички, всякие там посудомоечные машины, электрические грелки и сушилки. Я так больше не могу. Я должен от нее избавиться".

В самом начале, читая эти письма, я не мог сдержать снисходительной ухмылки. Но нельзя было не признать, что в последнем письме мой аноним сумел превзойти себя. Кроме того, он написал то, что вполне мог бы написать и я сам, рассказывая о Кармине и своем угрюмом сыне.

Заметив, что официант-рогоносец опять, правда издали, шпионит за мной, я резко махнул ему рукой, подзывая к себе, и когда он подошел к моему столику, я, не скрывая раздражения, попросил его принести то-

матный сок и закуску из кальмаров. Но стоило ему приблизиться к стойке бара, чтобы передать заказ, как я крикнул:

— В последнее время мне приходят письма, которые мог бы написать я сам.

В парикмахерскую я вошел с весьма приятным чувством.

Когда прекратился дождь, я покинул бар, купил газеты и вошел в парикмахерскую так, как входил всегда, — испытывая удовольствие при мысли, что в хорошо знакомые места можно заходить легко и без всякого внутреннего напряжения. В тот период я почему-то излишне чувствительно и даже болезненно относился ко всему новому — порой оно рождало во мне острую тревогу. Спокойно мне было только в тех местах, которые я не раз посещал. А парикмахерская уже почти что превратилась для меня в такое вот привычное место. Четыре дня подряд я ходил туда бриться, чтобы исподволь выведать подробности трагической, как мне казалось, жизни парикмахера, который потерял жену и сына в автомобильной катастрофе.

Но парикмахер держался очень замкнуто, и вызвать его на откровенность было трудно. Я начал сюда ходить четыре дня назад, но мне не удалось продвинуться ни на шаг, иначе говоря, я не узнал об этом человеке почти ничего нового. При том что я расставлял ему всякого рода искусные ловушки и всячески пытался разговорить, чтобы он в ответ дал выход своему горю и рассказал, как пережил страшную трагедию, унесшую жизни его жены и сына, или на худой конец как он налаживает свою жизнь после ужасного несчастья. Но нет, никакими силами невозможно было вытянуть из него хоть слово, хоть малейшее признание, хоть что-нибудь.

Это был мой пятый визит за последние пять дней, и пока я ничего, абсолютно ничего не добился, но все еще не терял надежды, которая, правда, уже изрядно подтаяла. И теперь, во время ритуала намыливания, я убедился, что дела мои по сравнению с предыдущими визитами не только не идут на лад, а даже вроде бы и ухудшаются.

— Будем надеяться, что дождь не польет снова, — сказал я, чтобы с чего-то начать, с какой-нибудь самой банальной фразы начать разговор, а затем направить его в более интересное и полезное для меня русло.

Но парикмахер не удостоил меня ответом. Он словно догадывался, к чему я клоню, и упрямо не желал помочь заложить первый камень в фундамент нашей беседы, поддержав внешне вполне невинную "погодную" тему, хотя на самом деле я имел целью вырвать у него заветные признания сугубо личного характера. Видя его нежелание вступать со мной в разговор, я решил плюнуть на эту затею, то есть раз и навсегда забыть о трагедии Висенте Гедеса. К черту упрямого парикмахера! Я сказал себе, что у меня и без него достаточно несчастных персонажей, без него достаточно несчастных людей обитает в нашем районе. Терпение мое лопнуло.

Но тут, к полной моей неожиданности, случилось следующее: пока юный ученик парикмахера провожал к дверям только что побритого клиента, Висенте Гедес нагнулся и прошептал мне на ухо:

— Знаете? А мне дождь очень даже нравится. Нравится, когда снаружи льет как из ведра, а я тихо и спокойно работаю у себя в парикмахерской.

Я очень удивился. Уж чего-чего, а этого я никак не ожидал — что он вот так запросто приоткроет душу, выказав мне некую расположенность. Во всяком случае, в настроении его безусловно произошли перемены.

Но больше всего меня удивило другое. Его слова, казалось, подтверждали догадки, которыми я совсем недавно поделился с Карминой: парикмахерская вроде бы и впрямь заменяла ему погибших жену и сына. Нет, ни в чем таком он мне, разумеется, не признался, но его слова можно было вполне истолковать и так, что вместо семьи у него, дескать, теперь парикмахерская. По крайней мере именно такой смысл я уловил в его реплике: он чувствует себя хорошо только здесь, когда занят работой. Я хотел было сказать ему, что работа всегда считалась лучшим лекарством от горя, но побоялся спугнуть едва проклюнувшуюся откровенность, если слишком грубо обнаружу свою заинтересованность, он ведь может опять замкнуться, заметив, что я снова, как и в предыдущие свои визиты, упорно поворачиваю разговор на всякого рода несчастья и трагедии. Поэтому я решил пустить в ход еще одну банальность и воспользоваться тем, что снаружи опять полил дождь.

— По правде сказать, в вашей парикмахерской действительно чувствуешь себя очень уютно, — сказал я.

— Да, но готов поспорить: вам ни за что не догадаться, почему мне здесь так хорошо.

— Догадаться не так уж и трудно. Потому что вы работаете. Вам нравится работать.

— Вот и ошибаетесь! Я же сказал, что вам не понять, почему мне так хорошо здесь, когда снаружи льет дождь. Я радуюсь, от души радуюсь тому, что у меня есть надежное укрытие, когда там, на улице, все эти сволочи мокнут. И я порадовался бы куда больше, был бы просто счастлив узнать, что в кого-нибудь там, снаружи, попала молния.

До чего неприятный человек, подумал я, хотя, вполне возможно, характер парикмахера резко переменился после гибели двух самых любимых и близких ему людей. Так или иначе, но теперь у меня не осталось никаких сомнений: Гедес ненавидит все человечество.

— А вот я никому на свете не желаю зла, — бросил я.

— Да? А вот я, напротив, искренне радуюсь при одной только мысли, что многим из множества омерзительных людишек, которые живут в нашем городе, приходится несладко. Вас это возмущает? Признайтесь!

Я ничего не ответил, но его слова и на самом деле меня возмутили. Такого я действительно не ожидал.

— Как поживают ваши книжки? — вроде бы ни с того ни с сего спросил парикмахер.

Такого вопроса я тоже никак не ожидал и очень даже удивился. Выходит, ему известно, что я пишу романы.

— Хорошо поживают, отлично, — ответил я после короткой заминки.

— И о чем же вы пишете теперь, позвольте спросить?

Я, разумеется, не собирался признаваться, что как раз теперь пишу главу, целиком посвященную его собственной несчастной жизни, и что эта глава из-за его упрямого нежелания мне помочь безнадежно забуксовала.

— Я пишу роман про жизнь человека, который за всеми шпионит, — ответил я.

Он чуть помолчал, словно мои слова каким-то образом его задели.

— За всеми, говорите? — переспросил он наконец.

— Да, за всеми. За собственными родителями, а еще за писателями и художниками, а в годы холодной войны он шпионил за русскими шпионами, потом — за соседями и за тем, что происходит в магазинах оптических приборов, потом — за тем, как совершается обряд причастия, потом — за парикмахерами, да-да, за парикмахерами, с которыми ему доводится иметь дело, — короче, буквально за всеми.

— И за парикмахерами тоже?

Я понял, что не следовало упоминать его собратьев по ремеслу, но отступать было поздно.

— А что? — ответил я. — Коли уж человек шпионит за всеми подряд, то почему бы ему не включить в круг наблюдения и парикмахеров?

Последовало долгое молчание — видимо, он переваривал мои слова. Во мне же пробудилась легкая тревога: я заметил, как стала подрагивать у него рука, когда он принялся за мой левый висок. У меня не шло из головы его недавнее признание о любви ко злу. Но тут я понял, что именно вызывает раздражение Гедеса, и сразу успокоился. В парикмахерской не осталось других клиентов, кроме меня, и юный ученик позволил себе расслабиться — слушал наш разговор и ничегошеньки не делал. Мало того, он буквально пожирал нас глазами. И тогда Гедес прикрикнул на него:

— Ну чего уставился? Так и будешь на нас глаза пялить? Нечем заняться — ступай к Муньосу, принеси мне кофе. Или хочешь получить по уху? А то ведь и вообще могу тебя отсюда турнуть... Запомни, мне не нравится, когда меня вот так фотографируют, понял? Я совсем как те негры из Африки, которые считают, что тот, кто их фотографирует, крадет у них душу.

Я услышал быстрые шаги молодого помощника, когда тот выскочил на улицу Дурбан, чтобы бежать за кофе для хозяина.

— Эй, бестолочь, зонтик возьми! — крикнул ему вдогонку Гедес, и я по звуку шагов понял, что парень резко развернулся, схватил зонтик и снова ринулся наружу.

Тут парикмахер неожиданно доказал, что и он не лишен чувства юмора.

— Этому парню нравится бить баклуши, и, сдается мне, он обожает подслушивать мои разговоры с клиентами. То есть я о чем говорю? Вы, видать, правы: и за нами, за парикмахерами, тоже вполне можно шпионить.

Чтобы снова не повисло молчание, способное парализовать достигнутый вроде бы успех, я, пытаясь найти какую-нибудь зацепку, которая поможет вытянуть из парикмахера хоть самую ничтожную подробность его трагической жизни, решил поддержать начатую им тему:

— Между прочим, история знает сколько угодно случаев, когда и сами парикмахеры были шпионами. Вам это известно?

У меня вдруг забрезжила надежда, что и он может рассказать что-то про шпионов, и вечером я использую это в своей лекции.

— Если вы намекаете на меня, то ошибаетесь... А вот в том парне, моем ученике, в нем действительно что-то такое есть, но он, как ни поверни, пока всего лишь любитель. Вы ведь, полагаю, не станете утверждать, будто среди парикмахеров были и профессиональные шпионы — я, честно признаюсь, ни про одного такого не слыхал.

— Что, и про гамбургского парикмахера не слыхали? — начал я сочинять на ходу.

Я заметил, как у него снова мелко запульсировала жилка на запястье. Это пугало меня с каждой секундой все больше, особенно при мысли, что бритва вот-вот окажется совсем близко от моего горла.

— Нет, никогда не слыхал, — ответил Гедес.

— Да? А он, между тем, прославился в годы Второй мировой войны. Даже странно, что вы о нем ничего не знаете.

— У меня дома, к вашему сведению, имеются разные энциклопедии, да и про войну я много всего читал, но про этого парикмахера мне никогда ничего не попадалось. И на кого же работал ваш герой?

По тону вопроса было легко догадаться, что он не слишком мне верит. Я решил, что лучше перемешать вымысел с реальными фактами, то есть воспользоваться излюбленным приемом двойных агентов, чьи донесения всегда содержат долю правдивой информации, чтобы фальшивые сведения выглядели достовернее.

— С самого начала ему поручили найти некое конкретное лицо, враждебно, как было установлено, настроенное по отношению к собственному правительству. Парикмахер потратил на это задание очень много времени, и вдруг обнаружилось — по чистой случайности, — что нужный человек живет рядом с ним, в соседней квартире.

— И что же это была за случайность?

— В один прекрасный день кто-то перепутал двери и позвонил в квартиру парикмахера, назвав фамилию типа, которого тот безуспешно искал по всему городу, — вот так он и выполнил задание.

Гедес несколько секунд помолчал, видимо, обдумывал услышанное. Потом спросил:

— Вы только не сказали, на кого работал ваш парикмахер. Ведь это самое важное...

Я чуть помедлил с ответом, не понимая, почему именно это казалось Гедесу самым важным.

— Он работал на оба лагеря, — выпалил я наконец. — Он был двойным агентом. И союзники, и нацисты считали его своим. Правда, как вы можете догадаться, кончил он плохо, очень даже плохо.

— Еще бы не догадаться, — ответил он. — Его разоблачили, а потом расстреляли.

— Точно. В Брауншвайге.

— А кто его расстрелял?

— Союзники.

После короткого молчания этот поборник зла вдруг заявил с непонятной яростью:

— Союзники были бандой негодяев.

Он уже какое-то время орудовал опасной бритвой у самой моей шеи, так что я из осторожности решил не вступать с ним в спор. Возвращение молодого помощника с чашкой кофе совпало с окончанием процедуры бритья. Я вздохнул с понятным облегчением. Никогда еще лосьон и похлопывания по щекам не казались мне такими божественно приятными. Когда я поднялся и уже хотел расплатиться, Гедес угостил меня сигаретой, которую я принял не столько из вежливости — чтобы не обидеть его, — сколько потому, что почувствовал: он собирается еще что-то рассказать мне, и это что-то может быть весьма интересным. Так оно и вышло.

— Хочу рассказать вам кое-что, — произнес он, уже подойдя к самой двери. — Кто знает, вдруг сгодится для вашего романа про шпионов. Дело в том, что я и сам знавал одного. Одного жалкого хлыща, несчастного юнца, которого красные внедрили в наш батальон — еще тогда, в гражданскую войну.

— Хлыща, говорите?

— Тот, кто его к нам послал, прекрасно понимал, что мальчишке не сносить головы, что задание будет стоить ему жизни, но все красные — сволочи, твари без стыда и совести... Мальчишка был еще безбородым... даже пушок на лице не пробился, а на лбу — белое такое пятно, ну знаете, какое бывает у капризных младенцев, когда они сердятся и готовы вот-вот разреветься. Понятно, о чем я?

Нет, мне было непонятно. Я никогда в жизни не видел никаких белых пятен на лбу у младенцев. И я хотел было попросить, чтобы он подробнее остановился на своих занятных и удивительных наблюдениях. Но счел за лучшее сделать вид, будто отлично знаю, о чем идет речь. Просто мне не хотелось терять время, мне надо было поскорее выяснить, подойдет или нет эта его история про младенца-шпиона для моей вечерней лекции.

— Понимаю. Круглое белое пятно, несчастный младенец-шпион...

— Вы полагаете, я шучу... Напрасно, напрасно... Он не был младенцем, он был милисиано, жалким переодетым милисиано, мальчишкой, который шпионить-то как раз и не умел.

И тут он начал рассказывать, как самолично обнаружил, что мальчишка был красным шпионом, и никто, кроме него, до поры до времени об этом не подозревал. Гедес случайно встретил его на улице Теруэль, и тот совершил вроде бы пустяковый, но с головой выдавший его промах. Гедес среагировал мгновенно: пока охваченный паникой мальчишка то краснел, то бледнел, Гедес ударил его с такой силой, что он кубарем покатился под горку, к ручью, образовавшемуся после дождя. Гедес подождал, пока парень встанет на ноги, и снова ударил его — удар был страшный, резкий и безжалостный, в левое ухо. Мальчишка снова рухнул на землю и стукнулся головой о камень, так что у него лопнула барабанная перепонка еще и в правом ухе.

Когда юный красный шпион с лопнувшими барабанными перепонками смог наконец приподняться, Гедес с помощью знаков постарался ему объяснить, что тот очень скоро будет отправлен в мир иной, в мир немых и глухих, и больше никогда в жизни не услышит ни одного человеческого слова. И что с этого самого дня тот будет самым безвредным шпионом на свете.

— Мало того, — закончил Гедес с противной ухмылкой, с очень мерзкой, надо заметить, ухмылкой, — я постарался объяснить бедолаге, что когда его поведут на казнь, он и тогда ничего не услышит, зато легко вообразит себе свист пуль, готовых впиться в его детское тело. Вы и представить себе не можете, какую он скорчил рожу. Нет ничего смешнее шпиона, который оглох и больше ничего не слышит — все равно как футболист без мяча.

Я решил, что больше мне тут делать нечего, и поспешно шагнул через порог, чтобы выйти на улицу Дурбан, где дождь лил как из ведра — я мгновенно промок до нитки и вынужден был вернуться в парикмахерскую. Я глянул на Гедеса. Было совершенно очевидно, что он редкая мразь.

— К вашему сведению, пули не свистят, такое бывает только в романах, — сказал я.

— А, так вы еще не ушли? Я, по видимости, ранил нежную душу сеньора сочинителя...

— Да, ранили. Мне отлично известно, что на войне случаются страшные вещи, но похваляться этим... Как можно? Вы ведь с особой гордостью живописуете, как погубили мальчишку...

— Вы вроде уже расплатились? Вот и топайте отсюда, и чтобы духу вашего здесь больше не было. Ненавижу красных... К тому же я все никак не могу сообразить, чего это вы в моей парикмахерской вынюхиваете? Но в любом случае запомните: не на того напали, ищите дураков где-нибудь еще.

— А чего их искать, если один и так стоит прямо передо мной. Если вы уверены, что пули свистят...

— Я вам вот что сейчас скажу. Те пули и взаправду свистели. И такое тоже в жизни бывает. Те пули по-настоящему свистели. И одна пуля попала мальчишке прямехонько в левое ухо. А я, когда его добивал, когда он уже валялся на земле, пустил ему еще одну — в правое, чтобы, значит, всю голову разворотить.

Если бы Гедес после этого не загоготал — злобно и с наглой издевкой, — наверное, ничего бы не произошло. Но его фашистский смех, его презрение ко всему и вся, его ненависть ко мне — все это вместе взятое привело меня в бешенство. К тому же я и так пребывал не в лучшем состоянии духа — сильно нервничал, потому что никак не мог решить, как держать себя, встретившись с Роситой. Да, я вспылил, я не смог совладать с собой. Сперва я медленно и беззвучно зашевелил губами, чтобы он подумал, будто я что-то говорю, мне хотелось, чтобы он наконец-то понял, каково это — быть глухим. И когда Гедес переспросил, что я сказал, я, набравшись храбрости — той самой храбрости, которой мне всегда недоставало, например, чтобы нынче же вечером исполнить самое заветное свое желание и убежать с Роситой, — сказал ему, что он мерзавец и сволочь, каких свет не видывал.

Храбрость. Мне тут же захотелось забыть о том, что я сделал и произнес миг назад, забыть о том, как храбро я бросил оскорбление в лицо этому фашисту. И я на какое-то время отрешился от происходящего, задумавшись о природе храбрости: в каждом из нас есть хотя бы чуточка трусости, и, как ни странно, именно по ее наущению мы принимаем некоторые очень важные — жизненно важные — решения.

Вот ближайший из примеров: в тот день, как я понимал, должна была решиться моя собственная судьба, по крайней мере на несколько последующих лет — ни больше ни меньше, и все зависело от того, как поведет себя сидящая во мне доля трусости. Не каждый день наша жизнь зависает на тоненькой ниточке, не каждый день человек должен принимать решения, которые сам считает поворотными и после которых жизнь его должна пойти по одной из двух дорог, ведущих в разные стороны.

Обо всем этом я успел подумать за несколько коротких мгновений, после чего словно очнулся и тотчас услышал, как до глубины души оскорбленный парикмахер отреагировал на мои грубые слова: подталкивая меня к выходу на улицу под проливной дождь, он приговаривал:

— А ты, долбаный Сирано, ты ведь, выходит, тоже из красных, как я и думал. Конечно... Да еще таскаешься в мою парикмахерскую, шпио-

нишь тут за мной, уж не знаю, зачем тебе это надо. Впредь пусть мать твоя тебя бреет...

Больше всего меня взбесило не то, что он помянул мою матушку, а то, что он назвал меня Сирано. Выходит, он знал мое прозвище. На меня накатило неукротимое желание оставить его на всю жизнь глухим. Я тряхнул мокрыми волосами и дотронулся до кончика своего носа, словно это был ритуальный знак — объявление войны, потом я показал ему раскрытую левую ладонь и влепил крепкую затрещину — по правому уху, а он ответил мне ударом левой снизу, отчего у меня сразу закапала из носа кровь, и я решил, что должен вытрясти из него душу. Наша рукопашная схватка происходила прямо посреди улицы, под дождем, бой был коротким, но жестоким, даже свирепым, и в конце концов нас растащил ученик парикмахера; к тому времени мы уже выдохлись, хотя обе стороны сражались с остервенением; к тому же мы промокли до нитки и перемазались кровью, а, значит, некоторые удары и вправду попали в цель.

Я шел вверх по улице Дурбан, в сторону дома, шел под дождем, измазанный кровью. К счастью, в этот час наш консьерж обычно отсутствовал. В лифте я глянул в зеркало и до смерти перепугался, увидев свою избитую физиономию — со свернутым набок носом, зеленую, как у покойника, и словно покрытую могильной плесенью. Я открыл рот, чтобы закричать, и тут у меня вырвалось беззвучное: Росита.

Отперев дверь квартиры, я стоял на пороге и раздумывал над тем, что, пожалуй, проклятый парикмахер вполне заслужил такую кару — потерю жены и сына. Затем я отправился обрабатывать свои раны, и тут на меня надвинулась зловещая тень, вернее зловещая мысль: а вдруг и сам я в глубине души желаю того же — остаться без жены и сына, — и желание это посетило меня в два часа сорок пять минут того странного дня, когда все словно предвещало, что в жизни моей могут случиться серьезнейшие перемены.

Моя жизнь протекала, можно сказать, очень даже спокойно — жизнь писателя, который работает дома, пишет реалистические романы, читает, сидя в удобном кресле, газеты, а также слушает оставленные на автоответчике сообщения, шпионит за соседями, вооружившись подзорной трубой, и время от времени по вечерам ходит с женой в кино.

Простая жизнь, несуетливая и почти что приятная. Дни идут за днями, и происходит это столь же быстро, сколь монотонно, удручающе монотонно. Только вот тот зимний день, когда малая частичка засевшей во мне трусости могла повернуть так или иначе все мое дальнейшее существование, вдруг оказался совсем другим, и я готов был согласиться с Гёте, который изрек: жизнь коротка, но долог день. Да, пожалуй, я готов был согласиться с Гёте, как и с Мэрилин Монро, которая, словно вторя Гёте, пела в каком-то фильме: “One day too long, one life too short...”

Я принадлежу к числу людей, чья жизнь не богата особо памятными днями. Но тому зимнему дню, видимо, суждено было стать совершенно особенным, тот день, видимо, обещал стать одним из таких, какие по прошествии времени мы начинаем вспоминать как бесконечно долгие и даже воссоздаем их на бумаге — что на протяжении вот уже нескольких дней, собственно, и делаю я здесь, в Премиа, сидя в тени вековой шелковицы; да, мы воссоздаем их на бумаге, ибо нас не отпускает мысль: именно тогда и всего за несколько секунд решилась наша судьба; и еще

потому, что у нас не осталось ничего лучше воспоминания о том дне, и мы обещаем себе не забывать его никогда. Мы уже, по сути, и не живем, а только воссоздаем на бумаге тот день — такая вот странная жизнь.

Часто жизнь складывается так, что человек начинает мечтать о мести. Стоило мне сформулировать эту мысль, как я принял решение раз и навсегда забыть свой роман, забыть свою реалистическую трилогию, раз и навсегда выкинуть из головы типов вроде парикмахера, которые вызывают у меня неодолимое отвращение. Но я не принял бы такое решение, если бы неодолимое отвращение вызывал у меня один только парикмахер Гедес. Честно признаться, я был вообще сыт по горло всеми этими обиженными жизнью, хотя многие из них — идеализированные самым абсурдным образом — превратились в героев моей трилогии. Чем лучше парикмахера были электрик с сыном-аутистом, вечно пьяный карлик, служивший посыльным в лавке, где продают птицу, или невеста парня, чьи родители владеют фруктовой лавкой, уж не говоря об идиотке, которая воображает себя Тересой из романа Хуана Марсе?

Я решил, что прямо сию секунду должен послать к чертовой матери и свою трилогию, и свою нелепую верность реальности. Между прочим, меня уже давно грызло подозрение, что за любым реальным образом кроется еще один — куда более реальный и подлинный, а за ним — еще один, еще более реальный и подлинный, и так до бесконечности — до того единственного образа, абсолютного и тайного, который никто и никогда не сумел различить и который не дано выследить и распознать даже самому лучшему шпиону всех времен и народов.

Я переоценил *тех, кто внизу*, то есть людей, обиженных жизнью, — короче, долгие годы я старался всем им быть братом, пока не обнаружилось, что на самом-то деле родители у нас разные. Кроме того, я слишком долго заблуждался, полагая, будто достаточно знаю о персонажах реальной жизни, чтобы вводить их в свои романы.

Ты полагал, сказал я себе, что знаешь их как облупленных, а потом вдруг обнаружил, что душонки у них мелкие и ничтожные, низкие душонки, и, кроме того, описывая их, ты, как ни старайся, не можешь вспомнить даже того, какой зубной пастой они пользуются или какого цвета ночные рубашки надевают, укладываясь спать.

Я внезапно понял — и это озарение перечеркнуло все сделанное раньше, — что на самом деле мне интересны только персонажи, рожденные воображением, одним словом, целиком выдуманные. А все прочие, то есть реальные, в лучшем случае достойны того, чтобы однажды я их сфотографировал и в таком виде сделал второстепенными героями повествования.

Короче говоря, обрабатывая раны, я успел написать в уме первые строки романа, где абсолютно все будет придумано. Да, в тот день — вот так запросто — я взял и поменял свой литературный метод. Вошел в парикмахерскую с тайным умыслом, провел там около получаса и вышел, не сумев извлечь из посещения никакой пользы. И хотя боль еще не утихла, я чувствовал себя восхитительно чистым и выбритым, а главное, свалившим с плеч тяжкий груз, ведь реальность всегда была для меня очень тяжкой, почти неподъемной ношей... Итак, я молча порадовался, что спихнул с плеч этот груз и что больше мне не придется корпеть над подробными описаниями прыщиков на заднице обитателей нашего рай-

она. Да, я порадовался этому молча, говоря себе, что, раз жизнь показала, какова она есть, я начинаю мстить.

Внезапно я вспомнил Рамона Руиса, вечно печального друга моего брата Максимо, и тотчас решил включить его историю в нынешнюю лекцию. Рамон часто захаживал к нам в гости. Это был странный мальчик, он мечтал стать музыкантом. По его словам, он умел великолепно играть на гитаре — исключительно благодаря силе воображения. Мы с Максимо глядели на его руки, и нам казалось, что это вполне может быть правдой, о чем мы ему и говорили, и наша доверчивость явно радовала его: он заливался почти что счастливым смехом, хотя смех всегда был недолгим и заканчивался приступом уныния, которое, пожалуй, идеально соответствовало и чертам его лица, и его повадке замкнутого и всегда настороженного подростка. Он был слабого сложения, можно сказать, хилый. И слегка сомнамбулического вида. А ему нравилось подначивать нас и толкать на поступки, которые могли обрушить на наши головы родительский гнев, застукай они нас на месте преступления, — например, мы втроем курили, высунувшись зимой в открытое окно. Он говорил, что любит опасность, но в его устах — при его хилости и даже некоторой женственности — это звучало не очень правдоподобно. Однажды он выразился куда определеннее:

— Я люблю опасность так же, как ее любит мой отец.

Услышав это в первый раз, мы не придали его словам никакого значения, попросту пропустили их мимо ушей. Хотя фраза прозвучала более чем странно: ведь отца-то у Руиса не было, и он жил с матерью, хозяйкой магазина, расположенного неподалеку.

Поначалу Рамон считался другом одного только Максимо — в школе они сидели за одной партой, — но он так часто бывал у нас дома, что стал вести себя по-приятельски и со мной, несмотря на то что я был на три года младше — а в таком возрасте подобная разница кажется пропастью. Мало-помалу он пробудил во мне огромный интерес — и он сам, и те истории, которые он нам рассказывал, когда мы у открытого окна курили сигареты "Румбо". Выдуманные истории.

Чуть позже он во второй раз повторил, что любит опасность так же, как любит ее отец, и мы с Максимо молча уставились на него, изобразив на лице нечто, означающее: твоя фраза звучит более чем странно, куда правильнее было бы сказать: "Я люблю опасность так же, как любил ее мой отец". Отец его умер четыре года тому назад.

Он тотчас понял смысл нашего и на самом деле очень красноречивого молчания, и, швырнув непотушенную сигарету в окно, принялся рассказывать о том, что именно случилось однажды ночью четыре года назад. Итак, в ту ночь он долго ждал, пока мать заснет, чтобы неслышно одолеть тридцать ступенек — то есть спуститься из жилых комнат в магазин — и попытаться стащить у отца несколько сигарет. Ему было просто необходимо совершить эту гнусную кражу. В школе все товарищи смеялись над ним — ведь, достигнув вполне солидного возраста, он еще не сделал ни одной затяжки. Так что, взяв лампу, Рамон спустился по лестнице, прокрался в магазин и завладел двумя пачками сигарет "Румбо", но тут ему пришлось быстро нырнуть под прилавок, потому что за дверью, выходящей на улицу, раздались шаги, потом послышался скрип ключа, повернутого в замочной скважине, потом голос — голос отца, который произнес, обращаясь к двум мужчинам:

— Проходите, господа, но, пожалуйста, постарайтесь не шуметь, мои домашние спят наверху.

Руиса больше всего удивил тон, каким говорил отец, чем-то отличавшийся от обычного. Там, за прилавком, обмирая от страха, мальчик понял, как мало знает собственного родителя: оказывается, кое в чем они были похожи, и отцу тоже нравилось тайком делать что-нибудь запретное.

— Хорошо, вот донесение, — произнес голос отца.

— А почему оно подписано английским именем? Зачем вам понадобилось придумывать какого-то Hugh Green? Почему вы не выбрали любую распространенную испанскую фамилию?

— Потому что это может провалить все дело, — очень сердито возразил отец, — Господа, мне кажется, вы ничего не поняли. Ваша задача — передать бумаги, и не более того, пожалуйста, не задавайте лишних вопросов. Не вам судить, тем ли именем они подписаны.

— Извините, мы просто спросили...

— Хорошо, теперь можно идти, — сказал отец.

— А вы не хотите попрощаться с семьей?

— Жена и сын спят, думаю, не стоит их будить. В конце концов, я ведь когда-нибудь вернусь. Во всяком случае, надеюсь, что вернусь...

— Задание опасное, сеньор Грин. Но нам известны ваши храбрость и смекалка, поэтому мы верим, что удача вас не покинет...

Они вышли из магазина на улицу, а бедный Руис, все еще дрожа от страха, сидел в темноте за прилавком и курил свою первую в жизни сигарету "Румбо". А потом он взял аж целых сто пачек сигарет и оттащил к себе в комнату. Он ведь знал, что кража никогда не обнаружится, потому что на следующий день отца в магазине уже не будет и некому будет заметить пропажу.

Удар в нос, полученный от парикмахера, заметно подпортил мне физиономию, правда, остальные раны удалось замаскировать, стоя перед зеркалом в ванной комнате. Потом я направился прямо на кухню, и хотя это может показаться странным — ведь я только что решил поменять ни много ни мало как собственный литературный метод, а такое случается с человеком не каждый день, — но в данный момент меня занимали вещи вполне прозаические, вернее, даже совсем ничтожные: я думал о косидо, которое Кармина оставила для меня в холодильнике.

Я только что принял важное жизненное решение, и тем не менее все мои мысли занимало это вполне тривиальное блюдо. Что поделать, такова наша природа. За миг до гибели, когда нас, например, уже затягивает в пучину, мы вдруг вспоминаем какую-нибудь ерунду, скажем, то, как в далеком детстве услышали в полутемной комнате хруст материнских пальцев.

Итак, смотря спортивные новости по каталонскому телевидению, я быстро управился с косидо. Потом переключил канал и попал на прямую трансляцию концерта старой знаменитости — певца, которого я давно уже не числил в живых. Выплывший из небытия, он пел play-back[1] свою самую скучную песню, которая в моей памяти принадлежала какому-то далекому-предалекому лету: "Chérie je t'aime, chérie je t'adore"[2].

1. В записи (*англ.*).
2. "Дорогая, я люблю тебя, дорогая, я обожаю тебя" (*франц.*).

На меня напала необоримая сонливость, вероятно, это было как-то связано с количеством съеденного косидо. Я нехотя полистал газеты, потом вдруг с непонятной жадностью принялся читать заголовки, но почти ничего не понял, потом прочел несколько заметок и почувствовал растерянность: большинство имен, там фигурировавших, были для меня пустым звуком. Я отыскал свой гороскоп, и можно было подумать, что его написала Росита: "Сегодня Луна сближается с Сатурном и Овном, из-за чего всплывают на поверхность некоторые обстоятельства, способные заставить вас принять решения, которые изменят вашу жизнь". Я снова пробежал глазами новости — с тем же результатом: я почти ничего не понял, кроме того, что похищены секретные документы испанских разведывательных служб. Уже почти засыпая, я задался вопросом: неужели это только что свершившийся разрыв с реальностью привел меня к столь печальному замыканию на себе самом? Я снова уставился на экран телевизора, и меня буквально загипнотизировал мультфильм про человека, который, шагая куда-то, до такой степени съежился, что стал напоминать высохшее в ореховой скорлупке ядро. Подумав, что человек этот похож на меня самого, я в душе посмеялся и еще раз послал реальность ко всем чертям. Хватит! С этим раз и навсегда покончено! Я выбрался из плена чужих трагедий — точнее, трагедий обитателей нашего района. Я сказал себе, что поступил совершенно правильно, бросив их всех на произвол судьбы и таким образом, словно бы мимоходом, нарушил и без того хрупкое равновесие, свойственное реальности. Я сказал себе это, и вдруг мне показалось, будто я слишком уж съежился — короче, превратился в пленника самого себя. Мало того, я стал похож на своего отца, когда тот склонялся над асфальтом и разговаривал сам с собой или с подвальными крысами, и делал это всегда едва слышным и таинственным голосом, раскручивая тысячу и одно умозрительное рассуждение. Так что же получается: распростившись с реальностью, я превратился в высохший орех? Короче, я совсем запутался. Еще пара зевков. Сон в прямом смысле слова валил меня с ног. Я попытался вновь установить связь с реальностью, для чего опять прилип к телевизору. На платном канале показывали плывущую морскую свинью. От неожиданности — или от сонливости — я окаменел, сидя в своем кресле. Потом голова моя упала на грудь, что тотчас вывело меня из состояния бесчувственности. Морская свинья продолжала плыть.

Мне стало ясно: надо немедленно что-нибудь предпринять, иначе сон сморит меня. И тогда я двинулся на поиски книги Вирджинии Вулф, в которой, как мне помнилось, рассказывается история лондонского шпиона, который носит черные перчатки и не расстается со смертоносным красным зонтом.

Я знал, что засыпать мне нельзя, и вообще нельзя ни на миг расслабляться, ибо очень важно завершить подготовку к лекции. Найдя нужный том, я сдунул с переплета пыль забвения. Четверть часа спустя меня охватила легкая растерянность — вернее, меня до глубины души изумило, насколько плохо я помню книгу, прочитанную всего два-три года назад. При всем старании мне не удалось найти даже намека на историю про шпиона. Да и на самом деле этот роман меньше всего подходил для появления на его страницах шпиона. Ведь если в книге появляются шпионы, значит, там есть действие. Оно обязательно есть, даже если шпион неподвижно стоит у окна и за кем-нибудь наблюдает. А в романе Вирджи-

нии Вулф имелось все что угодно, кроме действия, и он напомнил мне театральную постановку, виденную в юности, суть которой сводилась к показу того, "что происходит, когда не происходит ничего": в романе описывался обычный день из жизни Клариссы Дэллоуэй, дамы из высшего лондонского общества. Начинался он солнечным июньским утром 1923 года – с покупки цветов и прогулки Клариссы по центру города – и заканчивался вечером того же дня, когда ее дом покидали последние гости; банальные и совершенно незначительные события составили историю того дня, на протяжении которого так ничего и не произошло.

Я провалился в сон, сраженный Вирджинией Вулф и съеденным недавно косидо. На некоей площадке, расположенной на склоне холма, я неподвижно сидел в плетеном кресле и созерцал край залитой светом пропасти, там летали птицы – больше мне ничего не было видно, – я дремал, и за мной шпионили две большие тени, мои собственные тени – хорошая и плохая; они были сестрами и, несмотря на это, уже много лет не разговаривали меж собой.

Жара стояла нестерпимая – как внутри сна, так и снаружи. Из пропасти, дна которой было не разглядеть, доносилась музыка. Песня, популярная в то лето: "Как жаль, я уже ничего не понимаю, / ни того, что ты делаешь, ни того, о чем говоришь. / И в мире, который ты якобы посетила / и в который я не верю, / никогда ничего не случается".

Музыка играла на деревенской площади. Люди танцевали. Налетел ветер, и стоявший поблизости огромный бук зашумел ветвями и разбудил меня.

Вынырнув из сна, я глянул на часы и с ужасом увидел, что уже перевалило за пять. Мне давно пора было отправляться в школу за Бруно. Меня прошиб пот, едва я попытался вообразить, что может происходить с сыном в этот самый миг. Нет, лучше ни о чем таком не думать. В любом случае ничего хорошего там происходить просто не могло. Я пулей вылетел на улицу Дурбан. Попытался поймать такси, но как назло рядом ни одного не оказалось, и, решив идти пешком, я прибавил шагу. Повернул на улицу Марти и пошел вниз по улице Верди, на полной скорости промчавшись мимо того места, где в восемь вечера мне предстояло прочесть лекцию, затем повернул на улицу Дос Сеньорес и вскоре попал на площадь Жуливерт. Там и находилась школа.

Я полагал, что скорее всего найду Бруно сидящим, как обычно, на своем портфеле, со взглядом, опущенным долу, хотя, возможно, и с заплаканными глазами. У меня совсем вылетело из головы, что в то утро нашему сыну вздумалось глядеть в потолок.

– А я встретил очень плохого человека, и этот человек сказал мне, что он мальчик, – сразу же выпалил Бруно.

Говоря, он глядел мне прямо в глаза. Но куда более странным оказалось другое: я обнаружил его довольно далеко от школы, он сидел на площади у фонтана.

– А теперь объясни, что ты тут делаешь?

– Я потерялся, – был ответ. – Что это у тебя с носом?

– Ты потерялся или убежал?

– Это был очень плохой человек. Он повел меня к машине и обещал показать собачек, которым только что расчесали шерстку. Потом пришли три сеньора в черном. И увели того человека.

– И куда же они его увели? Погоди, они что, были из полиции?

Пожав плечами, он ответил:

— Откуда мне знать. Они его увели, и еще забрали с собой собачек. А тот человек на прощание опять сказал, что он мальчик.

Вся эта история была скорее всего чистой выдумкой. В чем я и убедился всего через несколько минут, побеседовав с директором школы. У Бруно случился один из его внезапных приступов неуемной фантазии. Разница была только в том, что, рассказывая все это, он без малейшего страха глядел мне в глаза. Я не нашел в себе сил на то, чтобы отругать его, как поступал всегда, когда у него случались подобные отвратительные приступы. Втайне я даже немало позавидовал его способности к фантазии и выдумкам.

— Ладно, — сказал я, — пошли домой, считай, что больше никто не попытается тебя украсть.

Мы медленно двинулись вверх по улице Верди, при этом Бруно держался за мою руку, как много лет назад сам я держался за руку отца, когда мы ходили по городу, измеряя расстояния между аптеками. Мы шли медленно, словно у меня было еще сколько угодно времени на подготовку к лекции. Когда мы дошли до дверей того самого зала на улице Верди, на сына накатила охота добавить еще что-нибудь к вороху своих лживых историй. Наверное, тут какую-то роль сыграло и то, что я вдруг приостановился перед входом в зал, пристально разглядывая двери.

— Человек, который сказал, что он мальчик, — заявил Бруно, — заставил меня сесть к нему на колени, чтобы я получше разглядел собачек. Потом он рассказал сказку про Белоснежку и еще обозвал меня девчонкой. А что у тебя с носом?

Как мне показалось, Бруно слишком далеко зашел в своих выдумках, но я прикусил язык: в конце-то концов, нет ничего плохого в том, что он так нахально врет и фантазирует. Разве сам я совсем недавно не решил — и очень твердо — целиком и полностью довериться воображению? Кроме того, если хорошенько разобраться, нет ничего дурного и в том, что Бруно наконец-то хватило духу посмотреть вверх, а затем глянуть на своего отца. Да, ничего дурного не было, если хорошенько разобраться, в том, что наконец-то он поборол свою отрешенность. Ведь до сих пор он сосредоточенно разглядывал собственные башмаки или ковер — и тут не существовало никаких смягчающих обстоятельств, это не казалось забавным, как у его деда, который, по крайней мере, подслушивал голоса, доносящиеся из-под земли.

Я совершил ошибку. Мне не следовало так пристально смотреть на дверь, ведущую в актовый зал на улице Верди. Мой сын Бруно, продолжая молоть какую-то ахинею про Белоснежку, тотчас уловил, что меня мучает неведомая проблема, связанная с этим залом. Но, к сожалению, я совершил не одну эту ошибку. Второй ошибкой стал ответ, который я дал Бруно, когда он спросил, чего это я разглядываю чужую дверь.

— Понимаешь, через два часа твой папа будет читать здесь лекцию.

— А про что ты будешь рассказывать?

Третья ошибка:

— Про жизнь шпионов.

Вот этого я не должен был говорить. Бруно издал вопль дикого восторга. А я все никак не желал понять, какие тяжкие последствия обрушатся на мою голову, я видел лишь эмоциональную реакцию Бруно. И вдруг — четвертая ошибка — сын показался мне совершенно чудесным

существом, чего я упорно не замечал все минувшие годы. Так же неожиданно — пятая ошибка — я, сияя блаженной отцовской улыбкой, стал раздумывать: почему это мне, собственно, втемяшилось в голову, будто иметь детей — удел посредственностей, людей чувственно неразвитых, сексуально безграмотных, короче, людей, пожалуй, даже в какой-то степени безответственных.

— А что ты расскажешь про шпионов?

Шестая и самая грубая ошибка.

Я принялся объяснять ему, как шпионы уходят от преследователей, пользуясь приемом, известным под названием "зигзаг". Выпрыгивают из такси у входа в метро, потом из второго такси — у второго входа в метро, садятся в вагон, когда поезд трогается с места, выпрыгивают на перрон, когда двери поезда уже начинают закрываться, потом проходят туда-обратно через дом с двойным выходом, потом — еще через один такой же дом, садятся в другое такси, и оно доставляет их в совершенно пустынное место; вот так шпионы, запыхавшись и обливаясь потом, всякий раз добираются до своей квартиры, хотя при этом отлично знают, что на самом деле любые хитрости и уловки напрасны; попав домой, в свои квартиры, шпионы тихо плачут — как, надо полагать, умеют плакать только настоящие мужчины, — потому что чувствуют себя одинокими, старыми и отработавшими свое и еще потому что сами не могут понять, зачем ведут такую странную жизнь.

— Папа, я тоже хочу пойти на твою лекцию.

Тогда и только тогда я понял, сколько ошибок совершил. Зная упрямство Бруно, легко было предугадать, в какую жуткую ситуацию я сам себя загнал — исключительно по собственной глупости. Мальчишка вполне мог упросить мать, чтобы она отвела его на лекцию, а там она нос к носу столкнется со своей дорогой сестричкой. Просто замечательно!

— Бруно сказал, что ты будешь рассказывать про шпионов. Как странно! — скорее всего бросит Кармина.

— Ничего подобного, это я просто так зачем-то брякнул, — холодея от ужаса, отвечу я.

— Какая разница! Главное, мальчик умирает от желания послушать тебя, а это уже огромный шаг вперед, подумай сам: просто замечательно, что ему впервые захотелось пойти на твою лекцию. Понятно, я пойду вместе с ним.

Прекрасная перспектива, подумалось мне.

У меня вырвался вопль отчаяния.

— Что с тобой, папа? — тотчас спросил Бруно.

— Ничего, абсолютно ничего.

— А нос? Что у тебя с носом? Ты так и не сказал.

— И с носом ничего, — я вдруг рассвирепел. — А теперь послушай меня внимательно. Ни на какую лекцию ты не пойдешь. Ты разве забыл, что тебе надо делать уроки? К тому же ты наказан за то, что убежал из школы.

— А я хочу пойти на лекцию, ну разреши мне, пожалуйста.

— Я запрещаю тебе выходить из дома до завтрашнего утра.

Никогда в жизни я не совершал столько ошибок за столь короткое время. А может, на самом-то деле я совершил их нарочно, чтобы к концу дня у меня не было другого выхода, кроме как остаться с Карминой?

Я раздумывал над этим вопросом под вопли Бруно, и мне, разумеется, захотелось переключиться на какие-нибудь пустяки, как я всегда поступаю, оказавшись в трудной или деликатной ситуации; поэтому, свернув на улицу Марти, я поспешил поймать за хвост первую же ерундовую мысль, которая заскочила мне в голову, а именно: мне в голову заскочило воспоминание о рекламном календаре, недавно виденном на стене в парикмахерской на улице Дурбан, — там были изображены два белых зайца на заснеженном швейцарском поле.

Настоящая швейцарская белизна и настоящие припорошенные снегом зайцы, воскликнул я, мысленно, само собой разумеется, воскликнул. Я шел, твердя эту дикую белиберду, когда навстречу нам попался — черт бы его побрал! — Камило. Этот бесприютный молодой человек, местный попрошайка всегда выводил меня из себя — несчастный пропойца, законченный наркоман, который вечно ходил с таким видом, словно искал виновника своих бед.

Начнем с того, что Камило напоминал мне посыльного из закусочной, который в пору моего детства целый год — целый нескончаемый год — издевался надо мной, день за днем поджидая у дверей нашего дома. И еще Камило напоминал мне о том, что и сам я мог бы когда-нибудь стать точно таким же, как он, если бы поддался приступам тоски, которые меня преследовали. Я боялся сойти с ума, если, конечно, это уже не случилось, потому что страсть лишает разума самого здравомыслящего человека, хотя часто она, наоборот, сумасшедших превращает в здравомыслящих. В душе я таил надежду на то, что, отказавшись от Роситы, спасусь от безумия — иными словами, оставшись с ее нежной сестрой и будучи уже не вполне нормальным, впредь стану самым здравомыслящим человеком из всех, кто нашел убежище в тюрьме семейной жизни.

Тут надо добавить, что у меня имелся еще один повод для горестных раздумий. Я старался их отогнать, но именно Камило настырно напоминал мне при каждой встрече — уже самим своим видом, ибо при жизни превратился в человеческие отбросы, — что и мы, нравится нам это или нет, и мы все тоже когда-нибудь должны пройти через подобную метаморфозу. Такие вот горестные мысли уже давно стали определять мой жизненный путь, толкая на отчаянный и неустанный поиск хоть какого-нибудь места, пусть самого убогого, в любой Системе: во Вселенной, в страховой фирме, в приюте для писателей-лунатиков, в тюрьме семейной жизни, которую можно было бы счесть меньшим злом, чем одиночество или рискованная авантюра.

Бездомный парень протянул руку и, нагло выпрашивая подачку, бросил фразу, которую я уже выучил наизусть:

— Эй, послушай, можно тебя на пару слов. У меня к тебе дело.

Он произносил ее так, словно никогда раньше меня не видел, никогда раньше ничего подобного мне не говорил, и меня дико бесила его безнадежная тупость. Этого, еще молодого, человека наркотики превратили в старика, в ветошь, и теперь он только и был способен, что просить милостыню на выпивку и прочие гнусности. Я всегда старался обходить его стороной. Я терпеть не могу, просто ненавижу, когда посреди улицы меня останавливает какой-нибудь недоумок. Хотя в равной степени ненавижу сограждан, которые вырастают у меня на пути, предлагая подписать какие-то воззвания против наркотиков. Но избежать встречи с Камило было не так уж и просто, вернее, практически невозможно; а

встреча с этим отбросом человечества всегда требовала великого терпения – можно даже сказать, это было великим испытанием – попасть в цепкие и дурацкие когти молодого старика Камило.

– Эй, послушай, у меня к тебе дело.

Он повторил свою излюбленную фразу – сколько раз я слышал ее прежде? – и смотрел на меня своим единственным глазом, как Полифем, а этот его единственный глаз был очень грустным и каким-то блеклым, только с самого края оставался чуть более яркий ободок, зато в самом углу глаза что-то жутко пульсировало – таким был единственный стариковский глаз этого молодого человека.

– Эй, послушай, у меня к тебе дело.

Понятно, почему обитатели нашего района с каждым днем относились к нему все хуже и хуже, кроме того, они все чаще сравнивали его с попугаем: Попка-дурак – так в шутку прозвала его андалузка с улицы Марти, девушка из булочной, которая внешне была здорово похожа на Роситу и еще на Кармину – недаром же они с Роситой сестры, хотя одна была сущим дьяволом, а вторая – воплощением добродетели и верности. В данный момент андалузка, как и всегда, резала хлеб, наблюдая с обычным своим задорным видом, как на меня наседает Камило.

Я всегда изрыгал себе под нос проклятия, когда, выйдя на улицу, имел несчастье столкнуться с этим бездомным парнем, потому что заранее знал, как трудно – трудно всем, но мне особенно – будет от него отвязаться. Главная проблема при таких встречах – то самое терпение, которого непонятно где следовало набраться. В молодости я не раздумывая, и даже с готовностью, дал бы ему несколько монет и даже дружески похлопал бы по плечу, потому что в ту пору я был сердит на весь мир и больше всего ненавидел класс, к которому сам принадлежал, – буржуазию. Если бы я встретил Камило тогда, я протянул бы ему руку – пролетарии и обездоленные вызывали у меня сочувствие. С годами я поумнел, и гнев мой начал распространяться почти на всех окружающих людей независимо от их социальной принадлежности; исключение я делал только для обездоленных с улицы Дурбан, потому как считал, что их жалкие образы могут мне пригодиться – и не ошибся – для укрепления собственного морального авторитета, который, в свою очередь, поможет мне сделать успешную писательскую карьеру.

Когда в тот день я увидел перед собой Камило, гнев мой распространился на весь мир, уже почти без всяких исключений. Бедняга не мог выбрать худшего момента, чтобы прицепиться ко мне. Первое, о чем я возмечтал, завидев его, это чтобы мерзкая рожа – а она была до того мерзкой, что я даже решил не использовать ее в своих "Несчастных ликах", – вдруг взяла бы да и растаяла в воздухе, подобно смутному воспоминанию о лице какого-то случайного встречного.

Ничего не получилось. В тот зимний день, когда я шагал по улице Марти, держа за руку сына, рядом с хлебной лавкой я понял, что сделать лицо Камило невидимым, стереть его с окружающего пейзажа будет очень трудно. Я бросил беспомощный взгляд на андалузку, которая напоминала – вернее, была идеальным скрещением двух сестер – и Роситу, и Кармину. Она улыбнулась мне одновременно и ангельской, и развратной улыбкой. Бруно, напуганный настырностью одноглазого человека, изо всех своих детских силенок сжал мою руку. Тогда я гневно глянул на докучливого попрошайку, и меня вдруг ошеломила очевидность простой истины, которой прежде я почему-то не улавливал. Мне внезапно

открылась совершенно очевидная вещь: на самом-то деле Камило вызывал во мне не только бешенство, мне всегда было больно; да, именно это слово подходит тут как нельзя лучше: больно встречать взгляд глаза, заблудившегося среди развалин его лица.

И следом мне открылось, почему из всех обитателей нашего района я один так сильно раздражался при встрече с Камило: он не только оживлял в моей душе горькую тоску — желание найти для себя какое-нибудь, пусть самое убогое, место в любой Системе, — но еще и переносил меня в мир неизбывной боли. По неведомым мне причинам — а они и до сих пор остаются неведомыми — я необъяснимо остро реагировал на его взгляд, в котором отражалась сильная боль, этот взгляд имел надо мной странную власть, он пронзал меня насквозь, превращал в комок боли — уже моей боли.

Камило, видимо, каким-то образом уловил это и приставал ко мне нахальнее, чем к другим обитателям нашего района. Но в тот день на улице Марти он не учел того, что я был целиком поглощен множеством разных проблем и уже самим своим появлением он вывел меня за границы всякого человеческого терпения, оно было не бесконечным.

— Отойди, — сказал я ему. Мне очень хотелось двинуть ему по роже, и, чтобы справиться с собой, я кинул взгляд на милую андалузку, и та ответила мне взглядом, сопроводив его широкой улыбкой, которая напомнила, что всего через пару часов я увижу в зале среди публики Роситу, а ведь я еще не успел — бездомный парень в тот момент показался мне главной помехой — подготовиться к лекции.

Если бы несчастный Камило знал, в каком раздражении я пребываю, он, думается, не посмел бы снова ко мне подступить.

— Сказал тебе — отойди, — повторил я.

И тут случилось самое худшее. Мой сын сообщил, явно не понимая значения своих слов, что Камило и есть тот человек, который назвал его девочкой. Даже сам Камило, плавая в алкогольном тумане, сумел-таки уловить, насколько серьезно это обвинение. Я сделал вид, будто поверил Бруно, но все же переспросил, правду ли он говорит и уверен ли в том, что узнал этого человека. Бруно почесал затылок, потом сказал:

— Очень даже уверен. Он еще говорил, что у меня локоны, вот что он говорил.

Я просто взбесился, у меня случился приступ паранойи, хотя я никогда не был к ней предрасположен. Локоны — это вроде бы косвенный намек на дочку Роситы. Опасаясь, что вот-вот у меня окончательно откажут тормоза, я попытался взять себя в руки и как можно трезвее взглянуть на ситуацию. Бруно упомянул про локоны, но даже в бреду нельзя заподозрить, что он имел в виду локоны девочки, которую никогда в жизни не видел, хотя она и приходится ему двоюродной сестрой. Я старался усмирить расходившиеся нервы, но это не очень-то получалось, и в поиске выхода из положения я зачем-то оглянулся назад. Вернее, я словно оглянулся в прошлое, вернулся в тот день, когда познакомился с Роситой, увидел ее в толпе на Рамблас, когда она, покорно отдавшись на волю праздничному людскому потоку, позволяла нести себя куда ему заблагорассудится; Росита шла, взяв под руки двух подруг; одна была в белом платье, вторая — в небесно-голубом; у Роситы волосы свободно падали на плечи; и еще на ней не было чулок; она глянула на меня — и сразила наповал; в Барселоне только что прошел дождь, и закатные лучи всеми цветами радуги переливались в лужах. Да, я влюбил-

ся с первого взгляда, и судьбе было угодно, чтобы час спустя я снова увидел девушку в каком-то ресторане. Но я бы громко расхохотался, скажи мне тогда кто-нибудь, что у этой взбалмошной и легкомысленной девушки имеется сестра, на которой я вскоре женюсь.

Я оглянулся в прошлое и вспомнил свою первую встречу с Роситой, потом вернулся в настоящее и бросил очередной взгляд в сторону булочной, и андалузка сказала мне "прощай", улыбнувшись как всегда загадочно.

Этот неожиданный знак прощания — может, он служил предвестием того, что в тот же вечер после лекции я потеряю Роситу? — а также безудержная и злая фантазия моего сына, и еще жуткая тоска, и прилипчивый взгляд молодого попрошайки — все, казалось, объединилось против меня, и я с каждой минутой раздражался сильнее и сильнее.

— Эй, послушай, у меня к тебе дело.

Мы уже дошли до улицы Дурбан и как раз проходили мимо парикмахерской; взгляд Камило стал еще прилипчивее. Никогда еще он с такой очевидностью не олицетворял в моих глазах все мои горести, тоску, которая грызла меня из-за того, что я не знал, как же закончится нынешний день, когда по всем признакам должна решиться моя судьба. А Бруно, далекий, как и все дети, от родительских проблем, подливая масла в огонь, продолжал тянуть свое:

— Папа, этот сеньор сказал, что у меня нет того, что есть у всех мальчиков.

— Ты не придумываешь, Бруно?

— И еще он сказал, что и ты тоже девочка.

— Эй, послушай, у меня к тебе дело, — теперь попрошайка повернулся к Бруно.

В очередной раз повторив эту фразу, он добился того, что в голове у меня, так сказать, заискрило. Он обратился к Бруно — и этого я уж никак не мог стерпеть.

— Эй, послушай, у меня к тебе дело, я ничего такого не говорил, о чем это ты, а? — бормотал он, еле ворочая пьяным языком. — Послушай, мальчик: "Boogie-woogie..."

— Нет, ты говорил, — возразил Бруно.

И тут Камило протянул к нему руку. Я сказал себе, что это уже предел всему, и с угрозой показал попрошайке открытую ладонь. Он удивленно глянул на мою руку, потом вдруг захохотал, словно ему удалось прочесть свою несчастную судьбу по линиям чужой ладони. Я не сдержался, я сделал шаг вперед и снова замахнулся. Камило отступил и потерял равновесие, потом во весь свой пьяный рост опрокинулся назад, едва не разбив стеклянную дверь парикмахерской. Бруно от неожиданности онемел и окаменел; вполне возможно — подумалось мне в тот миг, — через несколько лет мой сын будет описывать этот эпизод, сидя на диване у психиатра.

Но тут на улицу вышел парикмахер — взглянуть, что происходит; никогда не забуду ошарашенный вид проклятого Гедеса, который увидел распростертого на земле Камило — от удара у того отключились последние мозги, он лежал и в беспамятстве бормотал "boogie-woogie", — и еще он увидел меня с поднятым кулаком и зверским выражением лица. Парикмахер настолько изумился, что ничего не спросил, он просто остолбенел, не поверив собственным глазам, он стоял, схватившись рукой за

подбородок, словно думал обо мне в таких приблизительно выражениях: “Черт! Нынче этот тип решил передраться со всей округой”.

Сам не знаю, как это получилось, но, возобновив путь домой, поднимаясь по улице Дурбан, круто идущей вверх, и пребывая в самом дурном расположении духа, я задался вопросом: а если в итоге окажется, что сегодняшний день не столь уж и важен, как мне видится? Если поменяв собственный литературный метод и стиль, я так-таки ничего и не переменю в своей жизни, а ведь по сути лишь это имеет значение. И тут же у меня в голове составилась некая теория, которая позволила мне выйти из тупикового состояния; я подумал: а вдруг на самом деле вся эта любовная дилемма нужна мне для того, чтобы чувствовать себя живым и чем-нибудь занять голову, иными словами, я подумал: а может, все мои любовные метания на самом деле защищают меня от куда более серьезного зла, от зла, на которое пришла пора взглянуть честно, оно сводится к следующему: когда мне придет пора умирать, со мной вместе умрут мои сомнения и борьба с самим собой, и та вечная любовная дилемма, которая разрывает меня на части, и еще со мной вместе умрут — сказал я себе — все до одной мои страсти и склонности, любопытство и тяга к шпионству; иначе говоря, со мной вместе умрет все, а польза от этого будет одна, одно хорошее — с моей смертью мир станет гораздо проще.

Но и эта теория — средство, на которое я уповал, чтобы заглушить тревогу из-за любовной дилеммы, стоявшей передо мной, и это средство на деле, разумеется, было — в чем я тотчас и убедился — куда хуже самой болезни, и тогда я продолжил восхождение по улице Дурбан, и стало мне еще горше, чем прежде.

— Ничего, — сказал я себе, вспоминая слова отца, — на самом деле ничего особенного не происходит. В конце концов, смерть — это когда умирают. Вот и все.

Но в тот миг что-то все-таки происходило. По правде говоря, я чувствовал себя хуже некуда; продолжая шагать вверх по улице Дурбан, я чувствовал себя самым несчастным из всех несчастных.

Мне повезло.

Хорошо известно, что все привратники — как, впрочем, и таксисты — шпионы. Наш же консьерж, надо заметить, был исключением из правила. Когда в тот день я снова переступил порог своего дома, он даже не поднял глаз от книги — на сей раз от романа, и, как это ни парадоксально, назывался роман “Всегда все те же ценные бумаги — со времен Мата Хари”. Поэтому он и не заметил моего покалеченного носа.

— Добрый день, — механически ответил он на мое приветствие. Он был не слишком словоохотлив и редко с кем вступал в беседу. Только один раз, как мне помнится, я застал его за оживленным разговором. Он болтал с моим соседом по лестничной площадке, и я навострил уши, чтобы незаметно подслушать, о чем идет речь; так вот, привратник рассуждал о месте, на котором построен наш дом, оно, мол, имело весьма загадочную историю.

— После войны здесь стояла обсерватория, — услышал я его голос, — а вы разве не знали?

Оказавшись дома, я собрался было поскорее завершить подготовку к лекции, но не смог не ответить на призыв автоответчика, который ми-

гал в темном коридоре. Я нашел там два сообщения: Кармина тревожилась из-за нашего с Бруно отсутствия, второй звонок был из Сории – мне предлагали сто тысяч песет, "не облагаемых налогом", за лекцию на тему "Смерть романа". Сто тысяч песет – совсем даже недурно. Заодно полюбуюсь золотистыми тополями и Дуэро, потом заеду в Нумансию. Только вот что, черт побери, я должен им говорить о пресловутой смерти романа? И что нам скажет напоследок сам роман – одной ногой шагнувший в могилу? Я вообразил себе этот бедный несчастный роман: словно он рассуждает, как актер из вестерна Николаса Рея, который перед смертью произнес такие слова: "Какая разница, что я могу вам сказать, если я всего лишь второстепенный персонаж?"

Меня это позабавило – я представил себе название будущей лекции в Сории: "Роман как актер второго плана". Потом я задумался: а есть ли шпионы в Сории или все они скрываются в руинах Нумансии? Я зажег сигарету, и мне почудилось, будто я сделал это характерным шпионским жестом. Плащ, черные очки и скромный смертоносный зонт. Лишь это мне и надо, чтобы нарядиться шпионом, к тому же такой маскарад пойдет лекции только на пользу. Основа шпионажа – обман, поэтому, если я пойду читать лекцию в маскарадном костюме, он сделает ее еще убедительнее. Я решил, что в Сорию тоже поеду не просто так, а в костюме актера второго плана или в костюме золотистого тополя. Ну это мы еще обдумаем... Итак, впредь я буду непременно кем-нибудь наряжаться, какой бы ни была тема лекции, которую мне предстоит читать. Вот о чем я размышлял, когда заметил, что Бруно молча наблюдает за мной, застыв на пороге своей комнаты. Его взгляд, казалось, воплощал в себе всю наглость, свойственную детям, когда они по своему обыкновению упрямо стоят на пороге и этим своим вызывающим и даже бунтарским стоянием бесят взрослых, но взгляд Бруно был в какой-то мере даже сочувственным, словно сын угадал, какие планы я только что строил.

– Не забудь, что ты наказан, – сказал я ему.

Тут я подумал о бездомном парне, и передо мной очень легко, вмиг и словно само собой нарисовалось продолжение вечерней лекции. Мне даже не пришлось запираться в кабинете. Продолжение мне подарила улица Дурбан, как до сих пор щедро дарила трагические и при этом совершенно правдивые истории. Пожалуй, я сообщу уважаемым слушателям, состоящим сплошь из обитателей улицы Верди, что в нашем районе, если судить по навязчивой рекламе, проплаченной неким банком, имеется все что угодно – имеется даже некий молодой человек, который изображает из себя нищего, чтобы воздать таким образом долг памяти первому шпиону в истории литературы – барду по имени Одиссей, ведь это он в четвертой главе сочинения Гомера переодевается нищим и добывает в одном троянском городе весьма ценную информацию. Но раз уж о том зашла речь, почему бы не пофантазировать и дальше, – у меня, между прочим, болел разбитый нос, и я жаждал мести, – почему бы не поведать собравшейся в зале почтенной публике, что рекламный календарь на стене в парикмахерской на улице Дурбан – с белыми зайцами и очень швейцарским снегом – выдавал безмерную тоску парикмахера: его мечте не суждено было сбыться – он так и не стал начальником службы контрразведки ЦРУ, не стал главой знаменитой части "Супер-сверхсекретный глубокий снег".

Там же, стоя в темном коридоре рядом с телефоном, я припомнил день — об этом я тоже расскажу на лекции, — когда беседовал о футболе с одним мексиканским другом, который оказался проездом в Барселоне, лет пять тому назад; тогда случились какие-то помехи на линии и неожиданно мы присоединились к странному — на мой, во всяком случае, взгляд — разговору между двумя незнакомцами.

— Тарантини?

— Да, это я.

— Это вы?

— Да, это Тарантини.

— Слушайте внимательно. Палома. Повторить?

— Нет, не нужно. Палома. Понятно. Вы узнали что-нибудь новое про эту женщину?

— Ничего. Шлюха, как мы и полагали.

— Я тоже так думал.

— Двенадцать, сорок три, два. Повторить?

— Да, пожалуйста.

— Двенадцать, сорок три, два.

В этот миг мой мексиканский приятель прервал свои рассуждения про Уго Санчеса и сказал, что сейчас перезвонит — чужие голоса не дают нам спокойно поговорить. Когда он перезвонил, я упрекнул его за то, что он не дал мне дослушать их разговор.

— А о чем они говорили? — спросил он. — Я, по правде сказать, ничего не понял. Что-то про Палому, потом номер телефона...

— Разве телефонный номер может состоять из пяти цифр? Нет, это была шифровка.

— Ба! Ты сошел с ума! Или решил посмеяться надо мной? — воскликнул он и снова вернулся к Уго Санчесу.

— Это было шифрованное послание, нет никаких сомнений...

— Как вижу, ты не потерял чувства юмора.

Но я-то и не думал шутить. Я записал номер в блокнот. Потом резко оборвал болтовню про футбол, которая почему-то разом перестала меня интересовать, и повесил трубку. Я пошел на кухню, по дороге заучивая цифры наизусть. Двенадцать — число апостолов, сорок три — мой возраст, два — именно два года исполнилось в тот самый день Бруно. Когда я удостоверился, что крепко-накрепко запомнил шифровку, я устроил себе забаву — решил поиграть в тайного агента. Я сжег бумажку с цифрами в раковине, смыл пепел сильной струей воды и даже отчистил моющим порошком желтые и бурые пятна, оставшиеся на эмали. Потом глянул на часы — было одиннадцать утра, и значит, времени у меня оставалось в обрез. Потому что цифра двенадцать наверняка означала время, когда Тарантини должен собственной персоной явиться в некое место, а приехать туда следовало на автобусе номер сорок три, который отправлялся с улицы Палома, — такой автобус я обнаружил в своем "Справочнике горожанина" и, разумеется, подумал, что таких совпадений не бывает; я почувствовал неописуемое волнение — получалось, что речь идет о некоем месте, куда можно попасть, если выйти на второй остановке от начала маршрута автобуса сорок три.

Я не стал терять времени даром, взял портфель, надел черные очки и направился в сторону улицы Палома — она находилась рядом с Благотворительным обществом. Потом я сел на автобус и вышел на второй остановке, где сливались улица Вены с улицей Гравина, там я увидел бар с

террасой, галантерейную лавку и почему-то закрытый итальянский ресторан. Я уселся на террасе и развернул газету, затем заказал томатный сок, а принесенную с собой папку положил на видное место — на случай, если кому-нибудь вздумается забрать ее, обменяв на свою, и какое-то время я действительно от души забавлялся, чувствуя себя шпионом. Имелся один шанс из ста, не больше, что я верно все угадал, но мне и этого было достаточно, всего одного шанса из ста, даже совсем слабой надежды, чтобы испытать радость и даже, можно сказать, чувство полной реализованности, ведь я знал: мне давно требовалось совершить нечто подобное.

Я караулил любое подозрительное движение и, чтобы занять себя чем-то, воображал, будто случайные прохожие на улице, как и посетители бара, сами того не ведая, являются участниками секретной операции. Любая фраза казалась мне подозрительной, хотя я и понимал: на самом деле ничего подозрительного там нет. Все, что мог, я записывал в свой блокнот. Например, слова сидящего неподалеку одинокого клиента, который пытался завязать разговор с официантом: "Вы меня разорите в вашем баре". Любая фраза могла быть паролем. Скажем, слова, брошенные одним прохожим другому: "Жена скоро вернется домой, и тогда у нас сразу будет слишком много народа". Или слова, сказанные одним посетителем бара другому: "Законы меняются". Даже стая голубей, вдруг появившаяся в небе, а потом начавшая кружить над крышей какого-то дома, — все обретало, раз уж мне так этого хотелось, весьма таинственный смысл.

Проблемы начали возникать после того, как пробило половину первого, а ничего интересного так и не произошло. Дело в том, что я сам вдруг превратился в подозрительного типа. Два томатных сока, русский салат, газета, прочитанная от начала до конца, потом перечитанная снова. Один из клиентов попросил у меня огонька и, по всей видимости, хотел попытаться разузнать, что я тут делаю. Другой вдруг уставился на мою папку, но я быстро успокоился, убедившись, что он вдымину пьян — очень пристальный взгляд часто бывает у людей, которые допились до такой степени, что уже и вовсе перестали что-то видеть. В новой стае голубей я уже не углядел ничего странного и загадочного. К тому же меня вдруг одолела страшная зевота. Я расплатился с официантом, боясь заснуть прямо за столиком, — на этом моя секретная миссия и закончилась. Я быстро прошел всю улицу Гравина и, дойдя до Пелайо, увидел в толпе — чего никак не мог ожидать — Роситу, которая как раз собиралась повернуть на улицу Гравина. Я постарался стушеваться, потом решил пошпионить за ней — и увидел, что она, не замедляя шага, прошла всю улицу Вены и кинулась навстречу молодому арабу — а я уже обратил на него внимание чуть раньше, когда он проходил мимо бара. Они обнялись, поцеловались, со смехом зашептали что-то друг другу на ухо, снова поцеловались и удалились по улице Дель Посо. Что ж, я ведь мечтал провести разведывательную операцию... Вот и провел. Это, правда, не имело никакой связи с подслушанным телефонным разговором про Палому, но именно благодаря чужому разговору я узнал, с кем изменяет мне Росита. В самом дурном настроении я повернул на улицу Пелайо, чтобы взять такси. Поджидая свободную машину, я прокручивал в уме реплики из телефонного разговора:

— Разумеется. А вы узнали что-нибудь про эту женщину?

— Шлюха, как мы и предполагали.

Я решил, что расскажу все это вечером на лекции, но, естественно, назову Роситу другим именем — допустим, Рамоной, это будет даже мило. И пока я раздумывал над такими вещами, застыв посреди коридора, хотя времени на подготовку к лекции у меня осталось кот наплакал, на ум мне почему-то вдруг пришла мрачная забава, которой я предавался минувшим летом, — азартно истреблял муравьев с помощью электрозажигалки для газовой плиты. Почему я вспомнил именно об этом? Ответить невозможно, ведь на самом деле все, что происходит в нашей жизни, происходит без всяких "почему" и "потому что". С тех пор как Бога не существует, с тех пор как мы перестали верить в то, что кто-то постоянно за нами наблюдает, из нашей жизни исчезла побудительная причина. Мой брат Максимо однажды заметил: человек прошлых веков, сохранявший религиозное чувство, верил в некое божество, которое постоянно за ним приглядывает, и в результате этот человек — совсем как футболист под придирчивым взором высшего существа, каковым является для него тренер, тоже своего рода заправский шпион-наблюдатель, — старался придать связность игре, то есть всей своей жизни, чтобы в глазах всевышнего наблюдателя она выглядела достойной. Но теперь ни одно высшее существо на нас не смотрит, и все, что происходит в нашей жизни, происходит без всякого "почему". Вот почему я и не могу объяснить, почему вдруг там, в коридоре, вместо того чтобы спешно завершать подготовку к лекции, я стал вспоминать злодейское увлечение минувшего лета, стал вспоминать о том, как шпионил за муравьями с дозорной вышки смехотворного человеческого величия, и о том, как мне нравилось уничтожать их по одному, чтобы каждый насладился отдельной, собственной смертью, и как некоторым муравьям я, играя роль невидимого для них бога, дарил жизнь или, лучше сказать, оттягивал исполнение смертного приговора: понаблюдав какое-то время за тем или иным муравьем — и если он вдруг завоевывал мою симпатию или сострадание, — я дарил ему еще день жизни.

Размышления об отсроченных казнях — любимое занятие меланхоликов — вернули меня к мыслям о самом себе: ведь я, в зависимости от того, какое решение приму, и от того, что случится нынче вечером, вполне могу оказаться в роли существа, которому не остается ни дня жизни — во всяком случае, настоящей жизни, той жизни, которой наслаждаются люди — так я полагал, — живущие в счастливом согласии с законами своих желаний. Мысли об отсрочке исполнения приговора подвели меня к мысли о том, что надо закончить подготовку к лекции, к той самой лекции, с помощью которой я, играя роль вульгарной Шехерезады, собирался обмануть самого себя и поверить, будто все еще можно отсрочить исполнение вынесенного Роситой приговора, еще можно потрясти ее до глубины души моим выступлением, чтобы эхо моих слов никогда больше, даже долгие годы спустя, не отпускало ее, преследовало жарким тайным шепотом, если, конечно, я не положу к ее ногам, прямо в зале на улице Верди, голову Кармины, — иначе мы никогда больше не увидимся.

Я раздумывал надо всем этим, когда ко мне вдруг подкралось неприятное воспоминание, воспоминание о том дне, когда мы познакомились с Роситой и я сказал ей на террасе кафе:

— Я буду любить тебя вечно.

Глупость, конечно, просто я был от нее без ума. Теперь, по прошествии многих лет, проще всего было бы изречь, что такое объяснение в

любви на самом деле нельзя считать искренним, но и теперь я этого не скажу — своими чарами она сразила меня наповал. Кроме того, в те дни я был особенно влюбчив — я искал женщину на всю жизнь. И с тех пор я не сильно изменился. Да, я утратил наивность, примирился с тусклостью чувств, привык к скуке и разочарованиям, а все равно остался тем же отчаянным влюбленным.

Тогда Росита приблизила свои губы к моим, прежде царапнув их ноготком, и заявила:

— А я буду тебя любить в шесть вечера в следующую среду.

Я изо всех сил старался стереть неприятное воспоминание о том дне, но тут услышал скрежет ключа: Кармина отпирала входную дверь. Я метнулся к себе в кабинет, чтобы сделать вид, будто работаю над реалистической трилогией, и чтобы жена решила, будто я так заработался, что почти забыл о лекции, где мне предстоит говорить о мифической структуре героя.

Сидя в кабинете, я продолжал терзаться неопределенностью ситуации, в которую попал; почти теряя рассудок от собственного безрассудства, я с жадностью ухватился за новую мысль: мой рабочий кабинет должен быть совсем не таким, как сейчас, он должен быть завален секретными документами, всякого рода шифрованными сообщениями, а окна должны быть всегда накрепко закрыты, шторы — задернуты. В тот миг я отдал бы что угодно, лишь бы именно так оно и было, лишь бы в моем владении оказались, скажем, разные донесения о жизни, особых приметах и примечательных поступках как минимум шести миллионов человек — например, жителей всей Каталонии. Иными словами, я хотел быть настоящим шпионом, а не жалким подглядывателем и истребителем муравьев.

Повторюсь: я терял рассудок от собственного безрассудства, полагая, что моя судьба решится в ближайшие два часа, и я не мог отвязаться от вопроса: чем порадует меня фортуна, хотя на самом-то деле решение должен принимать я сам. Тут на память мне пришла фраза, однажды произнесенная Карминой: "Чем больше мужчина любит женщину, тем ближе он к ненависти". Что именно она хотела этим сказать? Может, имела в виду мое плохо скрываемое увлечение ее сестрой?

Я сел за письменный стол, решив сделать вид, будто занят особенно трудным куском реалистической саги о несчастных обитателях улицы Дурбан. Я действительно сделал вид, что пишу, но на самом деле продолжал заниматься своими мыслями — мыслями о том, как было бы здорово, превратись этот кабинет в обиталище настоящего шпиона. Хотя, по правде сказать, трудно отыскать что-либо менее похожее на обиталище настоящего шпиона. Окно было открыто, и в него запросто мог мимоходом заглянуть любой прохожий. Нет, мой кабинет не был тайным шпионским логовом. Тогда я встал перед зеркалом и решил изобразить из себя заправского секретного агента. Незадолго до того я уже принес в кабинет плащ, черные очки и смертоносный зонт. Что еще нужно? Пожалуй, нужна только Мата Хари в качестве невесты. Или нужно стать настоящим секретным агентом. Но ничего постыдного в том, что агентом я не являюсь, тоже не было.

Я вообразил, как через полчаса буду спускаться по лестнице собственного дома, раздираемый сомнениями: какой выбор сделать и что требуется для моей жизни. Я вообразил, как шагаю вниз по улице Дурбан, спрятав в портфель, с которым обычно хожу на лекции, все, что на-

до, чтобы нарядиться шпионом. Я переоденусь в туалете на улице Верди. Я буду читать лекцию, не снимая черных очков и плаща, а смертоносный зонт положу на стол. Лекцию я закончу, обретя уверенность в себе — и во многом именно благодаря этим атрибутам тайного агента, то есть человека заведомо решительного, — потом подойду к тому месту, где будет сидеть Росита, и, прежде чем мы с ней убежим, распрощаюсь с публикой какой-нибудь остроумной сентенцией про любовь. Я скажу им: "Даю вам честное слово шпиона, долговечность наших чувств так же мало зависит от нашей воли, как и продолжительность нашей жизни".

Я вообразил эту сцену, сидя у себя в кабинете, потом вдруг подумал, что был абсолютно прав, предполагая, будто настоящие писатели должны быть умелыми шпионами. И еще я подумал, что сам в этот миг являю собой отличный тому пример: ведь я живу двойной жизнью, как нормальный двойной агент, — жизнью шпиона и жизнью влюбленного писателя, вдобавок влюбленного в двух сестер одновременно, в двух очень разных женщин, разных, как две вражеские территории.

Я закрыл окно и задернул шторы — снаружи уже стемнело, а значит, стемнело и в моем кабинете. Я все больше входил в роль шпиона. И мне подумалось, что да, разумеется, так оно и есть: многие писатели, совсем как настоящие шпионы, ведут странный образ жизни, потому что они чувствуют себя очень одиноко в своих мрачных кабинетах, на своих наблюдательных башнях, воображая — при плотно задернутых шторах — бесконечные ловушки, которые уготованы им снаружи.

И тут в кабинет влетела Кармина, таща за руку Бруно. Она была явно взвинчена, чем-то озабочена.

— Почему ты задернул шторы? — И, не дожидаясь ответа, добавила: — Бруно хочет, чтобы мы с ним пошли на твою лекцию, говорит, что ты будешь рассказывать про шпионов. Это правда?

Я, уже начиная выходить из себя, повернулся к ним. Я притворился, будто они оторвали меня от важнейшего эпизода в романе.

— Прости, что ты сказала?

Видно, она что-то заподозрила.

— Я сказала, что мы пойдем на лекцию. Мы с Бруно. Ты ведь будешь рад... Я никогда не хожу на твои лекции... А про шпионов с удовольствием послушаю...

Она произнесла это с наигранным ехидством, интуиция нашептывала ей, что в зале может оказаться Росита или будет поджидать меня у выхода. Не случайно же Кармина уже успела поинтересоваться, не слышно ли чего про ее сестрицу.

— Ради бога, Кармина, я работаю, — сказал я. — Какие еще шпионы?

— Бруно сказал, что лекция будет про шпионов, а мне это очень даже интересно. Ты что, собираешься рассказать о том, как я пообещала шпионить за тобой вечно, всю жизнь?

— Бруно наказан, — сказал я самым что ни на есть суровым голосом, — потому что целый день выдумывает всякие глупости. Я запретил ему выходить из дома до завтра. Он заслужил строгое наказание.

Бруно зарыдал. Как только вернулась домой Кармина, он стал вести себя по-прежнему — опять смотрел в пол. Даже заливаясь слезами, он упорно смотрел в пол.

— Пусть еще скажет спасибо, что не получил хорошую взбучку. Представь, он договорился до того, что его изнасиловали. По-твоему, это нормально? — спросил я внушительно.

Мои слова прозвучали достаточно убедительно.

— Значит, ты не собираешься рассказывать про шпионов?

— Господи, ну подумай сама, какие еще шпионы? Как ты могла в такое поверить? Он ведь уже не знает, чего еще придумать.

Тут Кармина обратила внимание на мой красный распухший нос.

— А это еще что?

— Сама видишь: я несчастный избитый писатель.

Таким я и остался: несчастным избитым писателем. Здесь, сидя в тени вековой шелковицы, которая слышала, как однажды шпионивший за облаткой дед произнес слова "великая повелительница". Здесь, в Премиа, где я уже несколько недель записываю свои воспоминания о самом важном дне в моей жизни. Не бывает более странного образа жизни, чем у писателя, пишущего книгу, особенно если все воспоминания касаются одного-единственного дня, когда он спустился по лестнице и двинулся вниз по улице Дурбан, и прочел лекцию, и ему хватило часа, чтобы вынести окончательный приговор всей своей жизни. Странную жизнь ведет тот, кто одержимо пишет об одном дне, когда он прочел лекцию, полагая, будто вот-вот все изменится в его жизни, но ничего не изменилось. И если правда, что в тот день лектор поменял, например, свой литературный стиль, не меньшая правда заключается и в том, что в целом тот день принес весьма мало нового, день, который писатель всегда считал решающим. Просто-напросто он боялся, как бы в зал на улице Верди не ворвались его жена с сыном, и потому говорил исключительно о мифической структуре героя, и Росита посреди его скучного выступления вдруг встала, подошла к нему и поцеловала — да еще как поцеловала! Но это был прощальный поцелуй, который оставил его душу в плену воспоминания о том дне, который писатель до сих пор оплакивает.

— Прощай, — сказала она. — Спой им напоследок "Такую вот странную жизнь".

И лектор, сокрушенный тем, что не послал ко всем чертям классического героя, остался один на один со своими изуродованными мифическими текстами — он уронил голову на кафедру, не закончив лекции. Потом бедный Сирано с разбитым носом вернулся к родному очагу и спросил, что сегодня на ужин. Ему дали куриные крокеты, и за едой он сказал своему сыну, едва сдерживая слезы, что снимает с него наказание.

И сегодня здесь, в Премиа, когда Кармина с Бруно возвратятся из кино, мы опять будем есть крокеты, сидя в тени вековой шелковицы. Мой сын не просто перестал пялиться в землю — теперь он даже хочет стать кинорежиссером. Мы будем есть крокеты, и они расскажут мне про фильм, и я буду самым восхитительным образом скучать и маяться, пока они будут делиться со мной своими идиотскими впечатлениями от того, что, как заправские шпионы, подсмотрели на экране. И я вспомню другой день, не менее памятный, чем тот, о котором втайне от них пишу вот уже несколько недель, другой день, когда тоже ничего не произошло, но который я тоже не забыл, ибо в тот день я обнаружил: есть женщины, способные сделать мужчину счастливым — главное суметь понять, как долго это счастье продлится.

В тот день у меня было назначено свидание с легкомысленной девушкой, девушкой по фамилии Онетти. Я долго ждал ее, пока вдруг ко мне не подошла другая девушка по фамилии Онетти, очень похожая на

первую, но все-таки чуть-чуть другая, иначе говоря, совсем не та девушка, которую я ждал.

— Сестра просила передать тебе, что она заболела и прийти не сможет.

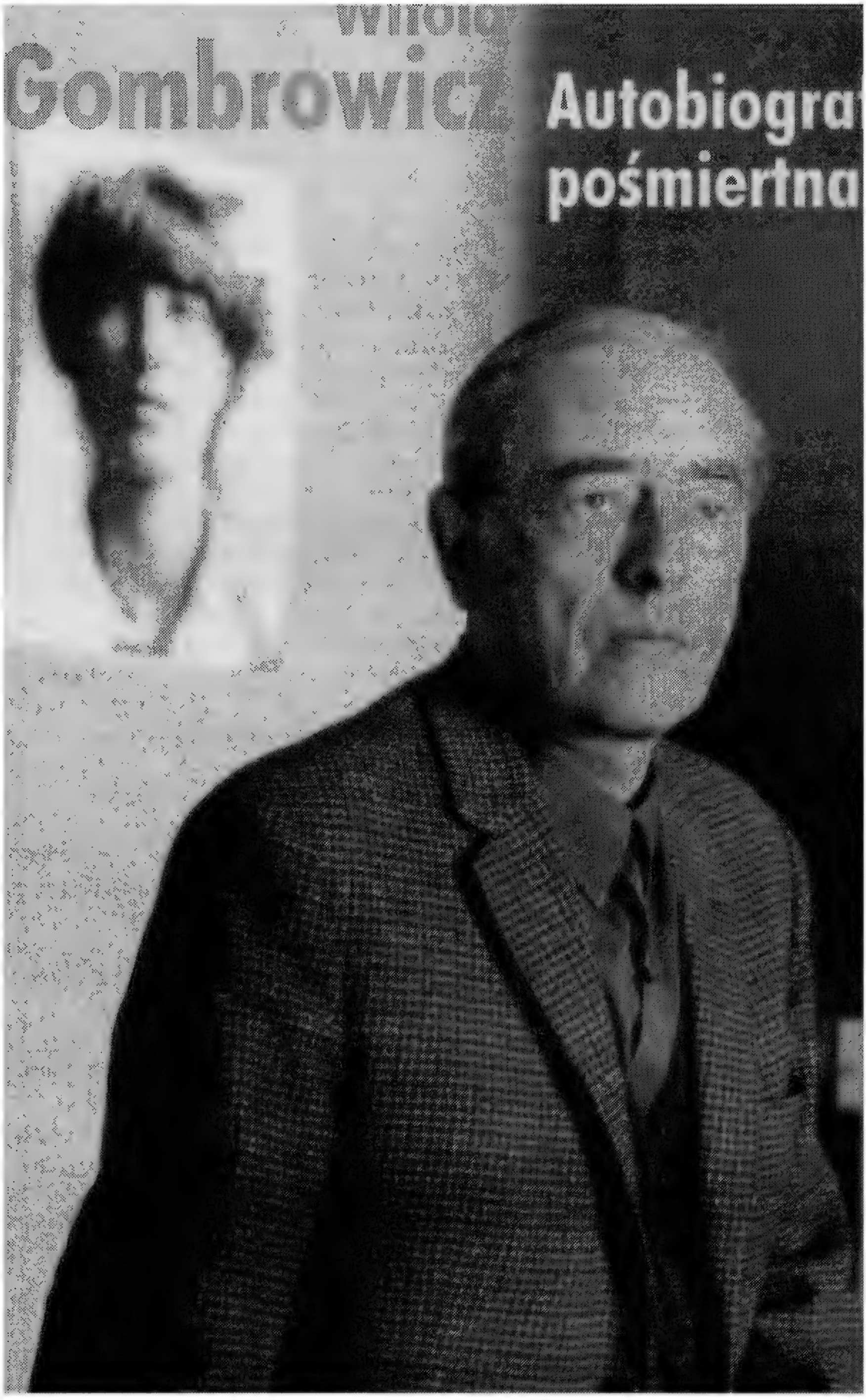
— Зато пришла ты, — сказал я.

— Пришла, но я не из тех женщин, что годятся на один день.

— А на сколько?

— На всю жизнь, — ответила Кармина.

Витольд Гомбрович



От составителя

"Вам Лев Толстой не мешает писать?" — спрашивал Блок знакомого литератора и, вздохнув, признавался: "Мне — мешает". Такой великой "помехой" в великой польской словесности XX столетия был и во многом остается Витольд Гомбрович. "Без него я стал бы беднее, — передавал свои разноречивые чувства тридцать с лишним лет назад Славомир Мрожек. — А рядом с ним мне трудно быть собой". Это одна сторона дела: такой крупный и вместе с тем неподражаемый писатель хочешь не хочешь заслоняет, парализует и хорошо если не вовсе обеспложивает современников.

Есть и другая. Бруно Шульц называл Гомбровича разведчиком и именователем областей неофициального, непризнаваемого, замалчиваемого в жизни и в сознании, сопоставляя его с Фрейдом (я бы добавил здесь имя фрейдовского ученика Эрика Эриксона, который ввел само понятие "кризис взросления"). Роль, что ни говори, для большинства окружающих малосимпатичная, и надеяться на их благодарность или хотя бы благожелательность в ответ на откровенность диагноста, понятно, не приходится. Тем более что Гомбрович был привередлив и неприятен, привык провоцировать и любил задирать, делал это каждым словом, каждым поступком, каждой новой вещью. От него доставалось и самым близким (тому же Шульцу или Милошу), а о более дальних и говорить нечего. Приглашаю читателей, вовсе не знакомых с гомбровичевским "Дневником" или только что пробежавших переведенные на русский отрывки, обратиться к публикуемой ниже рецензии, написанной еле сдерживающим ярость Пазолини, и оценить, какую неприязнь мог Гомбрович вызывать у других, как он умел "достать".

Но такой "неприятный" писатель не просто тяжел для окружающих. Окружающее тяжело для него самого, вот в чем дело; правда для него — всегда "одиозная" (по выражению грибоедовского персонажа, "...хуже всякой лжи"), признания — всегда "тягостные" и "невольные". При этом он своим дьявольским зрением сразу видит ахиллесову пяту собеседника и метит в самые болезненные для него, а потому упорней всего защищаемые точки — гордыню и жертвенность, стадность и самодовольство, похвальбу и раболепие... Если говорить о двух сквозных традициях польской культуры — пророчески-мифотворческой и нигилистически-иконоборческой, — то Гомбровича можно считать главной представительской фигурой, прародителем и покровителем второй из названных линий — линии беспощадной национальной самокритики; он бы, впрочем, в ответ отрезал, что представляет только себя. Думаю, сатирические фильмы Мунка или абсурдистские драмы Мрожека — на той же смысловой оси, и статус подобных авторов (вспомним, к примеру, наших Щедрина или Зощенко) не назовешь исторически надежным, непоколебимо классическим.

Классика ведь всегда в центре, она и олицетворяет центр, столицу, устои. Гомбрович же, как и Шульц, защищал, можно сказать, "права провинций" — в этом они писатели даже не XX века с его бунтом мировых окраин, но уже послевавилонского XXI столетия, в котором, по старинному богословскому выражению, центр повсюду, а окружность нигде. Классика, добавлю, тяготеет к величию, почему и становится великой; Гомбрович (и опять-таки Шульц) восстанавливает достоинство незначительного, малого, завалящего — героя-молокососа, как это делает Гомбрович, хлам повседневности, как поступает Шульц. Главная фигура в классике — автор, всезнающий и всевидящий, вездесущий и неподвижный бог этого гелиоцентричного мира. Несущее начало центробежной прозы Гомбровича и литературы "гомбровичевского" склада (например, гениального "Падения" Ка-

© Борис Дубин. Вступление, составление, 2004

мю или беккетовского "Безымянного") — рассказчик, подвижная, ускользающая от самого́ говорящего точка зрения, фигура и интонация бесконечно неутолимой и бесконечно сбивчивой речи.

Характерны "авторитеты" Гомбровича (поостережемся, однако, простодушно принимать их на веру). Откликаясь в 1960 году на просьбу берлинской газеты "Тагеблатт" перечислить пять книг, оказавших на него наибольшее влияние, Гомбрович назвал "Братьев Карамазовых" Достоевского, "Веселую науку" Ницше, "Волшебную гору" Томаса Манна, "Короля Убю" Альфреда Жарри и "Дневник" Андре Жида. Величавой классики тут, по-моему, и близко нет, а герои и авторы всех названных текстов — явно сводные братья Юзека из "Фердыдурке" (а кто-то назовет джойсовского Стивена или томасовского "художника во щенячестве"). Они существа заведомо "незрелые", душевно незаскорузлые, но именно потому этически уязвимые и не успокоенные. Недаром Милош не колеблясь причислял Гомбровича к старой семье европейских моралистов, видел в его шутовстве стоический выбор и советовал вперемежку с ним читать Паскаля.

И последнее. Все романы и большинство новелл Гомбровича на русский переведены, за последние пятнадцать лет они не раз в разных переводах издавались, открыта для знакомства его драматургия, большими фрагментами представлен "Дневник". Но "русского" Гомбровича ни как катастрофического толчка к самоосмыслению, ни как фокуса острой полемики, ни как разворачивающегося события собственной жизни, по-моему, до сих пор нет. Не видно усилий к его пониманию: писатель, о котором на всех уважающих себя языках мира написаны книги, не удостоился на русском ни одной самостоятельной, принципиальной статьи без ученической или поучающей позы (если это вообще не одно и то же) — одни дежурные "сопроводиловки" и "врезы", приличествующие "беспроблемному" классику. Между тем мы у себя в стране снова и снова, я убежден, наступаем на те самые грабли, которые колотили по лбу общество и человека, воссозданных Гомбровичем. Так что́ его от нас или нас от него заслоняет? Родные лень и нелюбопытство? Привычные спесь и самозащита? Несколько представленных ниже статей, кажется, позволяют оценить, чем могут стать фигура и слово Гомбровича, если не закрывать глаза и не затыкать уши. Среди лично заинтересованных Гомбровичем авторов публикуемых эссе — не только поляки, что вроде бы естественно, это и аргентинцы (ну, допустим), и американцы (им-то что эта Гекуба?), а ведь можно было взять немцев и венгров, испанцев и французов — отбор для публикации шел жесткий, многими пришлось пожертвовать. Как бы там ни было, среди них нет и трудно представить русских. Или я ошибаюсь?

Витольд Гомбрович

Дневник. 1957–1961

Фрагменты книги

Перевод с польского Юрия Чайникова

IX

Воскресенье, Сантьяго-дель-Эстеро

ВЧЕРА поздно вечером я добрался до Сантьяго, добрался после многочасовой гонки и тряски — сначала через зеленые низменности Параны, потом напрямик через всю провинцию Санта-Фе, пока наконец (после многих, многих километров, отмеченных быстро убегавшими столбами там, где поезд мчится неподалеку от загадочного озера Мар-Чикита в северной Кордове), итак, пока наконец не открылось пустынное пространство, поросшее карликовыми деревцами, — большое белое пятно на карте, расползшееся на десятки тысяч квадратных километров и означающее, что здесь между далеко отстоящими друг от друга поселениями нет ни единой живой души. Поезд мчится. За окнами вагона, плотно закрытыми от всепроникающего песка, не видно ничего, кроме тощей травы и этих растущих прямо из песка жалких деревьев. Уже ночь, но и сейчас, стоит мне ладонью закрыться от бликов на стекле, все так же мелькают убегающие деревья. Сколько же еще часов ехать и по каким просторам? Не знаю. Я заснул.

Наконец — Сантьяго.

Один из старейших городов Аргентины. Основан Франциско Агирре якобы 23 декабря 1553 года. Начала здешней истории мистичны, далеки и фантастичны, даже безумны — почти как сон. В начале XVI века в населявшие эту землю кроткие индейские племена (а назывались они хурис, люлес, вилелас, гайкурес, санавиронес) ворвался ослепленный мечтами о золоте и драгоценных камнях испанский завоеватель, чья голова кипела от легенд. Маньяки и насильники, злодеи и герои безумно смело нырнули в неизведанное пространство, не ставившее преград фантазии. Четырнадцать солдат, одурманенных байками о городах-сокровищах, отделились от экспедиции Себастьяна Кабота в форте Санкти-Спиритус и первыми оказались где-то в здешних местах, открыв заодно соседнюю провинцию Тукуман, которую сегодня называют “аргентинским садом”. Всё искали мифический клад, какие-то “дворцовые сокровища”. Потом были Диего де Рохас в 1542 году, Франсиско де Мендоса, отправившийся к сказочным городам, которые звались Трапа-

© Юрий Чайников. Перевод, 2004

ланда, Юнгуло, Лефаль, за ним – капитан Николас де Эредиа, капитан Франсиско де Вильягра и еще десяток других. Впрочем, это относительно недавнее прошлое уже праистория, смутные начала, растворенные в запутанной, непонятной или неизвестной географии, в скоплении кочевых племен на громадном, холодном и безграничном пространстве, по которому носилась фантазия покорителей, мрачная, упрямая, ожесточенная... и оторванная от Испании, отделенная от нее водной громадой, словно на другой планете, в одиночку, хоть и на коне, который для местного населения был созданьем неизвестным и страшным.

Комнатка в отеле "Савой" досталась мне скверная, без окна, с дверью в коридор – даже днем надо жечь свет. Я умылся в "персональной ванной комнате", которая изо всех удобств имела только кран и душ. Ужин вполне приличный: прекрасная курица под соусом и графин густого красного вина.

Понедельник

И вот что еще хочу добавить: позавчера, до того как лечь спать, со мной произошло что-то... что-то столь туманно-неясное... столь непонятное, что я просто потрясен...

После ужина в гостинице я вышел на площадь. Сел на лавку в гуще деревьев и кустов, а над головой – раскидистые веера пальм, слегка ошарашенный (ведь я все еще пребывал во влажной зиме Буэнос-Айреса, ведь меня продолжал согревать мой теплый пиджак!) легкостью наряда жаркой звездной ночи, ее смехом, ее обнаженными плечами. Перемена ощутимая: там было строго и холодно, а здесь – чувственно и, казалось, легкомысленно... будто я резко погрузился в Юг (здесь он называется "Север", потому как в южном полушарии).

Площадь, словно карусель, кружила веселой субботней толпой, из которой в меня стреляли огромные глаза... черные, воронова крыла волосы... заливистый смех... танцевальная легкость ног и рук... веселые, свободные и добродушные голоса... Но что это? Что это? Площадь заблестела белозубыми улыбками какой-то далекой-далекой молодежи... словно я не здесь, а где-то в другом месте... моя отстраненность (потому что я все еще продолжаю видеть толпы на Корриентес и слышать гудки автомобилей) отстраняла их от меня; хоть они были тут же, передо мною. Разве что меня здесь *все еще* не было. А я смотрел на все это так, будто права на то не имел, будто подглядывал...

Тишина звенит в ушах. Немыслимая тишь далеких мест – как в фильме прошлых лет, все звуки немы: ничего не слышно. Звук замер на пороге реализации...

И в этой вот тиши безмолвное напряжение шествия по площади растет и выливается в телесное великолепие, в ошеломляющую игру очей и уст, рук и ног, а танцующая змея переливается красотами, каких до сей поры не видывал я в Аргентине, и, потрясенный, я спрашиваю себя: откуда все это взялось здесь, в Сантьяго?

Но тут же обнаруживаю, что *ничего этого нет*, что во всем доминирует привкус неприсутствия, что я словно подкошен каким-то небытием и безнадежно потерян в неосуществленности...

Воскресенье

О красота! Ты там взойдешь, где тебя посеют! И будешь такой, какой тебя посеют!

(Не верьте в красоты Сантьяго. Это неправда. Я все это выдумал!)

Понедельник

Солнце, слепящее и разноцветное, словно просочилось через витраж; кажется, что это оно насыщает красками предметы. Блеск и тень. Назойливая голубизна неба. Отягощенные огромными золотистыми pomedos, деревья усыпаны красным и желтым цветом... Народ ходит без пиджаков.

По улице, с одной стороны черной от тени, а с другой — белой от солнечного света, направился я к мадемуазель Каналь Фейху, сестре писателя, живущего в Буэнос-Айресе. Пожилая дама, переполненная (видно с первого взгляда) тем недоверием, с каким домохозяйки относятся к ресторанным блюдам, которые "неизвестно из чего приготовлены", и к скитальцам, которые тоже "неизвестно с чего живут". Однако мою просьбу посодействовать контакту с местными литераторами восприняла очень любезно. "Como no![1] — сказала она быстро и четко. — Их здесь несколько, даже журнал издают, сейчас я позвоню... Мой брат всякий раз, как бывает здесь, посещает их".

На обратном пути я старался перепроверить мои впечатления прошлой ночи. Они были экзальтированными! Мне все это причудилось... Конечно, и здесь заметна та "красота", которой хватает в Аргентине, здесь ее так много, может даже больше, чем где бы то ни было... есть также какая-то индейская специфика, некий колорит, с которым я до сих пор не сталкивался... но чтобы так чувственно... хотя, какая это чувственность! К тому же извечная проблема контакта с новым городом, новых знакомств заняла меня целиком и вытащила из состояния экстаза.

Вторник

Пополудни в кафе "Идеал" рандеву с Сантучо (один из литераторов и редактор журнала "Дименсьон").

Пахнет Востоком. Пронырливые карапузы то и дело суют тебе под нос лотерейные билеты. Потом старик с семьюдесятью тысячами морщин делает то же самое — тычет тебе под нос те же самые билеты, будто ребенок. Старуха, чудно одетая на индейский манер, входит и сует тебе билеты под нос. Какой-то ребенок хватает тебя за ногу, предлагая почистить ботинки, а другой, с жутко взъерошенной индейской шевелюрой, предлагает тебе газету. Мягкая, жаркая, гибкая чудо-дева-гурия-одалиска ведет под руку слепого между столиками, кто-то сзади трогает тебя за плечи — нищий с мелким треугольным лицом. Не удивлюсь, если в это кафе забредет коза, мул, осел.

Официантов нет. Самообслуживание.

Возникла ситуация немного унизительная, которую мне, однако, трудно обойти молчанием.

1. Конечно! (*исп.*)

Я сидел с Сантучо, человеком коренастым, с лицом упрямым, смуглым, человеком страстным, и устремленным в прошлое, и уходившим туда корнями: он без умолку разглагольствовал... об индейской подоплеке этих мест. Кто мы такие? Не знаем. Мы не знаем себя. Мы не европейцы. Европейская мысль, европейский дух — нечто чуждое, напавшее на нас, как когда-то испанцы; наша беда в том, что у нас культура этого вашего "западного мира", которой нас пропитали, как краской, и сегодня мы вынуждены пользоваться мыслью Европы, языком Европы из-за того, что мы утратили индейско-американские корни. Мы выхолощены, потому что даже о себе вынуждены думать по-европейски! Я слушал эти рассуждения, в чем-то подозрительные, посматривая на сидящих за два столика от нас "чанго"[1] с девушкой: они пили, он — вермут, она — лимонад. Они сидели спиной ко мне, и я мог гадать, как они выглядят, лишь по таким случайным признакам, как расположение тел, недвижная игра конечностей, эта труднопередаваемая внутренняя свобода гибких торсов. Сам не знаю почему (может, это был какой-то отдаленный отзвук моей "Порнографии", недавно законченного романа, или результат моей в этом городе возбужденности), но и немногого увиденного мне хватило, чтобы понять, как эти незримые лица, должно быть, красивы, даже прекрасны и, наверно, по-киношному элегантны, артистичны... мне на мгновение показалось, будто там между ними достигнут высший накал, вспышка красоты здешних мест, Сантьяго... который казался даже более реальным, чем физически ощутимые очертания этой пары, как она представлялась с моего места, при том, что вид их был сколь веселым, столь же и изысканным.

В конце концов я не выдержал. Извинившись перед Сантучо (рассуждавшим о европейском империализме), я пошел вроде бы выпить воды, но на самом деле заглянуть в глаза тайне, мучившей меня, заглянуть им в лица — и я был уверен, что передо мной раскроется эта тайна, как видение с Олимпа, и в своем хитросплетении, и в божественной жеребячей легкости! Увы! Наш чанго орудовал во рту зубочисткой, что-то там говорил своей девушке, которая подъедала у него орешки, поданные к его вермуту, и ничего больше — ничего — ничего, причем до такой степени ничего, что я, как подрубленный в моей влюбленности в них, чуть не упал!

Среда

Море детей и собак!

Никогда не видел такого количества собак — и таких добродушных! Здесь если собака и залает, то лишь в шутку.

Детвора дико растрепанна и задириста... никогда не видел детей, которые больше этих были бы что называется "как с картинки"... и таких великолепных! Передо мною два мальчугана: идут обнявшись и секретничают. Но *как*! Один мальчик показывает что-то пальчиком вытаращившей глазенки группке детей. Другой поет торжественную песнь палке, на которую водрузил конфетный фантик.

Вчера я видел в парке: четырехлетний карапуз навязал боксерский поединок девочке, которая о боксе и понятия не имела, но была поплот-

1. Слуга, мальчик, прислуживающий в доме; ласкательное: паренек. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

нее и покрупнее и молотила его почем зря. А несколько одетых в длинные рубашки малышей двух-трех лет, взявшись за ручонки, время от времени подскакивали и скандировали в ее честь: "Но-на! Но-на! Но-на!"

Четверг

Странное повторение позавчерашней сцены с Сантучо в кафе — правда, в другом варианте.

Ресторан в отеле "Plaza". Сижу за столиком с доктором П. М., адвокатом, который здесь, в Сантьяго, представляет величие собранной в его библиотеке мудрости; с нами его barra, то есть группка приятелей по кафе: один врач, несколько торговцев... Я, исполненный лучших намерений, вступаю в разговор о политике, и тут... о!.. меня уже схватило... вон неподалеку сидит парочка как из сказки... и тонут один в другом, словно озеро в озере! Снова belleza[1]! Но я должен за своим столиком поддерживать дискуссию, в супе которой плавают трюизмы южноамериканских националистов, приправленные ненавистью к Штатам и паническим страхом перед "происками империализма", да, к сожалению, я обязан что-нибудь ответить этому типу, хоть я всматриваюсь в творящуюся рядом красоту и прислушиваюсь к ней — я раб, смертельно влюбленный и страстный, я — художник... И снова спрашиваю себя: как это может быть, что такие прелести сиживают в этих ресторанах в шаге от... другой, говорливой Аргентины?.. "Мы всегда требовали нравственности в международных отношениях...", "Империализм янки, вступив в сговор с британским, пытается...", "Мы больше не колония!.." Все это вещает (не первый день) мой оппонент, я же не могу понять, не могу понять... "Почему Штаты дают займы Европе, а не нам?.."

"История Аргентины свидетельствует, что достоинство мы ставили превыше всего!.."

Ах, если бы кому-нибудь удалось вытравить из этого в сущности симпатичного народца всю его фразеологию! Какие же нытики эти буржуа, попивающие здесь вечерами вино, а в течение дня — мате! Если бы я сказал им, что по сравнению с другими народами они живут как у Христа за пазухой в этой своей прекрасной эстансии размером с пол-Европы, и если бы я добавил, что им не только грех жаловаться, но что Аргентина — это estanciero[2] среди других народов, что она — "олигарх", горделиво восседающий на своих прекрасных землях... Они бы смертельно оскорбились! Лучше воздержусь... А потому выкладываю им все! Вот только зачем? Мне какое до этого дело?

Там, у другого столика, там — покорившая меня Аргентина: тихая, но несущая в себе великое искусство, а не та, что здесь, говорливая, праздная, политизированная. Почему я сижу не там, не с ними? Мое место там! У той девушки, что как букет черно-белой дрожи, у того юноши, похожего на Рудольфо Валентино!.. Belleza!

Что, собственно, происходит? А ничего. До такой степени ничего, что я до сих пор не могу понять, что и как от них долетело до меня... может, обрывок слова... интонация... блеск глаз... Короче, до меня вдруг кое-что дошло.

1. Красота (*исп.*).
2. Крупный землевладелец, помещик (*исп.*).

Вся эта belleza была точно такой же, как и все остальное! Как стол, стул, официант, тарелка, скатерть, как наша дискуссия, она ничем не отличалась от всего этого, была такой же самой — из этого же мира, из той же материи.

Четверг

Красота? В Сантьяго? Откуда, черт побери, ей там взяться?

Четверг

Что может произойти с тобой, когда поезд увезет тебя в далекий... провинциальный... неизвестный... цветастый... городишко-городок?

Что может с тобой приключиться в не противящемся тебе городке... слишком добродушном... или слишком робком... слишком наивном?

Что может с тобой приключиться там, где ничто тебе не противостоит и ничто не в состоянии положить тебе предел?

Суббота

Сначала изложим факты.

Я сидел в парке на скамейке, рядом сидел чанго, видимо, из Эскуэла Индустриаль (Промышленного училища), и его старший товарищ.

— Если бы ты пошел к б... — объяснял чанго спутнику, — они раскрутили бы тебя самое малое на полсотни. Так что и мне полагается столько же!

Как все это понимать? Я уже убедился, что в Сантьяго все может иметь двойной смысл — и крайней невинности и крайней распущенности; и я не удивлюсь, если услышанные мной слова вдруг окажутся просто шуткой в разговоре школьников. Но не исключено и нечто более извращенное. Не исключена та самая архиизвращенность, в которой при том, что все сказанное — правда, слова тем не менее невинны... а в таком случае самая большая скандальность как раз и состояла бы в самой совершенной невинности. Этот пятнадцатилетний чанго был, по-видимому, из "приличной семьи", его глаза так и лучились здоровьем, добродушием и весельем, и говорил он не развратно, а с глубокой убежденностью человека, защищающего справедливость. Впрочем, он смеялся... ох уж этот здешний смех, хоть и не порывистый, но такой обволакивающий...

Лицо худое, подвижное, колоритное, смешливое...

Не поддаюсь ли я иллюзии несуществующего порока? Трудно хоть что-нибудь понять... здесь все вдруг становится дремучим лесом, по которому я блуждаю...

Вот девочка, совсем подросток, идет под ручку с солдатом 18-го пехотного полка.

Другой чангито через пять минут знакомства со мною стал рассказывать, как недавно умирал его отец, — и если он делал это (как могло показаться), дабы развлечь меня интересной историей, значит, он слав-

ный и приветливый мальчик... убеждаюсь в то же время, что он — чудовище...

Чудовище?

Прозрачный, многоцветный и ослепительный солнечный свет везде — в пятнах между деревьями, в световых струях и каскадах между стенами и кронами деревьев. Доброта Сантьяго. Добродушие. Спокойное, улыбчивое. Восемь детишек и три собаки под пальмой. Дамочки заняты покупками. Деревья, покрытые фиолетовым или красным цветом, выглядывают из-за стеночек, а посреди проезжей части движется "мотонета". Эти добрые взгляды индейских глаз. Стада велосипедов. Солнце заходит. Улицы скрываются за далеким пейзажем темной зелени.

На скамейке сидит нинья: точеный стан, лодыжка, мягкая переливающаяся волна волос... к тому же она прекрасно и удивительно стройна, откуда это в ней, из какого сочетания рас... ее ухажер лежит здесь же, на скамейке, голова — на ее коленях, смотрит в небо, на нем белая ветровка, и лицо прекрасно-молодое. Безгрешное. И даже если бы они совершили преступление на этой скамейке, оно оказалось бы в другом измерении. Слишком высокий тон, слишком напряженный, чтобы я смог уловить его? Тишина.

Воскресенье

Это еле слышное безумие, этот невинный грех, эти кроткие черные очи... Я льну к безумию, иду навстречу ему — я, в мои-то годы! Катастрофа! Но совсем другое дело, если не возраст причиной тому, что я льну к этому безумию... ожидая, что оно воскресит меня таким, каким я был, во всей моей творческой чувственности!

С распростертыми объятьями принял бы я тот грех, который стал бы для меня вдохновением, потому что искусство родом из греха!

Вот только... нет тут никакого греха... Все, кажется, дал бы за то, чтобы поймать этот городок с поличным! Все напрасно. Солнце. Собаки.

Ох уж это их проклятое тело...

Понедельник

Проклятое их тело покладистое!

Может, оно досталось им в наследство от наготы племен, так легко подставлявших свои спины под кнут? Когда в разговоре с Сантучо я жаловался, что тело здесь "не поет" и что вообще ничто не хочет взметнуться, взлететь, он мне заметил:

— Это месть индейца.

— Какая еще месть?

— А вот такая. Сами видите, сколько всего индейского сидит внутри каждого из нас. Обитавшие здесь прежде племена хурисов и люлесов были обращены испанцами в рабов, слуг... Индеец был вынужден защищаться от превосходства господина, он жил одной лишь мыслью — не поддаться этому превосходству. Как он защищался? Высмеивая высокое, издеваясь над господами, он вырабатывал в себе способность посмеяться надо всем, что имело претензии возвыситься и господствовать, он требовал равенства, усреднения. В каждом взлете, в каждой искре видел

он жажду власти... И вот результат. Теперь здесь НОРМОЙ стало такое отношение ко всему.

Но как он ошибается, этот упрямый коренастый князек из Сантьяго. Все, что творится здесь, все без греха, но и без насмешки, издевки, злобы, иронии. Шутки здесь добродушны, даже в самом тоне языка чувствуется доброта. Вот только... Загадкой Южной Америки останется то, что сердечность, доброта, простота становятся агрессивными и даже опасными! Я обнаружил, что, когда их добродушие невзначай достает меня откуда-то сбоку смехом своим или же на меня устремлены эти бездонные кроткие глаза раба, я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке, будто столкнулся со скрытой угрозой.

В*торник*

Ослы... Козы... Часто вспоминается Италия или южные Пиренеи, вообще Юг.

Отсюда мысль, что, может быть, в моем диалоге с Южной Америкой страхов северянина больше, чем чего-то иного. Этот шок от столкновения Севера с Югом, которое уже столько раз доставало меня в Европе, когда метафизика Севера ни с того ни с сего вдруг сваливалась в телесную конкретность Юга.

Неправда, неправда... и самое время выявить безумную чувственность Севера. Вот я, например... разве я — метафизика... разве я не соглашался на тело?

О! Я до смерти влюблен в тело! Оно для меня решает практически все. Никакой дух не компенсирует телесного убожества, и физически непритягательный человек для меня всегда будет представителем расы уродов, будь он хоть самим Сократом!.. Ах, как же сильна моя потребность в освящении телом! Человечество для меня делится на телесно привлекательных и телесно отвратительных, причем граница между этими категориями такая четкая, что не перестает меня поражать. И хотя я могу любить кого-то некрасивого (например, Сократа), я никогда не буду в состоянии *влюбиться физиологически,* то есть втянуть себя в круг очарования, без пары рук божественно телесных, притягательных... обнимающих тебя...

А хотите от меня, северянина, еще одну исповедь? Моя метафизика существует для того, чтобы скатываться в тело... постоянно... практически безостановочно... как лавина по наклонной плоскости вниз... Дух? Скажу, что самая большая моя гордость как художника вовсе не пребывание в царстве Духа, а как раз то, что наперекор всему я не порвал с телом, и мне больше льстит то, что я чувственен, чем то, что имею отношение к Духу, и моя страстность, греховность, сумрачность мне ближе, дороже, чем мой свет. Еще? Еще перед вами исповедаться в том и в этом? Ладно, скажу вам, что самое большое художественное достижение моей жизни — вовсе не те несколько написанных мною книг, а то, что я не порвал с "беззаконной любовью". Ах! Быть художником значит быть влюбленным страстно, неизлечимо, смертельно, но также и — дико, беззаконно...

"И слово стало телом"... Кто в состоянии исчерпать всю содержащуюся в этом высказывании непристойность?

Вторник

Тело индейца — это больше, чем тело, или меньше? Больше ли телесности в их рабском теле? Рабство — ближе ли оно к любви вне закона?

Вот те вопросы, которые ты, Сантьяго, топишь в птичьем гомоне.

Четверг

Зачем я приехал в Сантьяго?

Затем ли, чтобы убежать от влажной зимы Буэнос-Айреса, из-за скверного состояния моих бронхов?

А может быть, все-таки...

Витольд Гомбрович направился в Сантьяго-дель-Эстеро, чтобы убежать от влажной зимы Буэнос-Айреса. Но тут неожиданно выяснилось, что здоровье было лишь предлогом, а истинная, тайная цель путешествия другая. Находясь под постоянной угрозой приближающейся старости, Гомбрович срочно пустился на поиски спасения и знал, что, если в течение ближайших нескольких лет он не сумеет **вступить в контакт с молодостью**, *ничто его не спасет. А потому делом жизни и смерти стало найти какую-то новую, неизвестную доселе связь со свежестью начинающейся жизни... безумная идея, поскольку была продиктована крайней ситуацией, не предоставлявшей возможности другого выбора. И действительно, в первый момент нашему путешественнику показалось, что здесь даже самый фантастический сон может сбыться, таким покорным и доброжелательным оказался Сантьяго... таким податливым... Впрочем, вскоре эта податливость показала свои зубы... даром что белые!*

X

Пятница, Сантьяго

(Приехав в Сантьяго, Витольд Гомбрович ощутил прилив волны запоздалого эротизма, возможно того самого, из прошлых лет... но теперь приправленного миазмами города, по жилам которого течет индейская кровь, города легкой красоты и жаркого солнца. И вот эта волна, тем более скандальная, чем позже она накатывает, снова утащила его в пучины смехотворности и стыда! Однако его мастерство, как всегда в подобных случаях (ставших его специальностью, ибо художник всегда должен действовать на стыке стыда и смехотворности), снова засияло... именно тогда, когда он, вместо того, чтобы пассивно предаться безумию как простой пьяница, взял это безумие в руки и принялся придавать ему форму, чем превратил пьянство в драму. А это, в свою очередь, стало возможным благодаря заявлению, что, дескать, он, Гомбрович, эдакий доктор Фауст, прибыл в Сантьяго с целью сделать великое открытие, что он решил наконец отыскать способ **состыковать** *пожилой возраст с молодостью, чтобы уходящее поколение могло на склоне лет зачерпнуть из молодежи то, что пока только пробивается в ней, еще раз прильнуть к истокам... и как знать, друзья мои, не в нашей ли власти найти тот волшебный ключ, что открыл бы нашему умиранию возможность вкусить напоследок новой жизни, соединиться с нарождени-*

ем! Подумайте только, ведь сразу видно, что если и существует возможность спасения, то лишь в этом она и может состоять!

Заявление, думается, слегка лживое... ибо, между нами говоря, не с этой целью приехал он в Сантьяго и не эта фаустовская фанфаронада могла показаться чем-то реальным его трезвости, напрочь лишенной иллюзий. И тем не менее он без колебаний вознес до небес эту ложь и развернул ее над собой как знамя, исходя из такой вот калькуляции: прежде всего, эта ложь перестает быть ложью из-за ее наивной и обезоруживающей очевидности; во-вторых, хоть заявление и лживо, но оно содержит в себе нечто столь истинное и не противоречащее естеству, что труднее противиться этой мистификации, чем многим из непреложных истин. Поэтому с возгласом "Даешь молодость! К молодости! Добраться до нее, познать ее, смести возрастную преграду!" он еще раз бросил в безумную атаку свои стареющие силы!)

Суббота

...Голая спина под кнутом, кучерявая черная голова, втянутая в плечи, скошенные глаза, уши ловят свист плетей... Вот тот яд, что отравляет меня в Сантьяго. Это у них в крови! Во взгляде. В улыбке.

Копья, мечи, шпоры, латы, плюмажи бородатых белых завоевателей, ворвавшиеся 300–400 лет тому назад в обнаженную безоружность этих самых хурисов, люлесов, вилеласов... А сто лет тому назад? Генерал Пас описывает в своих мемуарах, как в 40-х годах прошлого века губернатор приказал, чтобы каждый день резали по два индейца... их выбирали из кучи заключенных, гнивших в ямах... выводили на заклание... генералу часто приходилось видеть их глаза... Садизм и мазохизм все еще мерцают в разноцветном воздухе, все еще танцуют на улицах — и этот чад отравляет меня. Вот оно — извращение Сантьяго!

Добавьте немного раба к самому простому из городов и получите... Впрочем, может, я ошибаюсь.

Воскресенье

Тандиль! Ах, Тандиль! Это наваждение! Сантьяго похож на Тандиль: то же самое каре площади, похожие улицы, та же самая кондитерская, та же церковь, тот же банк, разве что расставлены в другом порядке. Там, где в Тандиле был Banco de la Provincia, здесь отель "Палас". Я иду по привычке в банк, но упираюсь прямо в отель, словно я в Тандиле, который уже перестал быть Тандилем, а как назло стал изощренно запутанным, превратился в ловушку...

Тандиль, с его холодным океанским ветром, с его каменными амфитеатрами!..

Тандиль для автора "Порнографии" становится наваждением и бегством от назойливых и искусственных страхов Сантьяго.

Мои несовершеннолетние друзья из Тандиля! Вчера пришло письмо от Дипи. Трудно передать, как дышу я им... в Сантьяго!.. Привожу его здесь, чтобы дать вам представление о тоне моего общения с ними, об одном из тонов... и что его сообщение, что, мол, Гиже (он же Киломбо) te adora (обожает тебя), для меня ценно. Этот Дипи (он же Асно) в свои

16 лет уже автор романа (неизданного), пьесы (ее поставил театр в Ла-Плате) и нескольких рассказов.

Труп!

Я был в Ла-Плате и разговаривал с режиссером моей пьесы. Я еще не сообщал тебе о ней. Это, как говорят, добротно выстроенный в театральном смысле фарс. Как литература, считаю, она слишком проста, слишком легка. Как театр, может быть, и приятна, но теперь я ощущаю, что она — *не вполне...* мне польстила бы ее постановка, но радости от нее я не испытываю.

Твое эпилептически-эллиптическое письмо скрутило всем нам головы винтом. Киломбо поклялся отомстить.

Гиже работает, одержимый "Фердыдурке". Если у него выйдет гениально, тем лучше! Но боюсь, как бы ты его не переделал на свой лад, в Гомбровича. Ты знаешь, что Киломбо лихорадочно-страстный и что он обожает тебя. Он без остатка отдался твоему — ха-ха! — "гению". Не пугайся этих кавычек, я считаю тебя гением, но ты знаешь мой цинизм, мою склонность сомневаться, отрицать, высмеивать... Вот и над тобой я тоже смеюсь (вспоминая твои шуточки в мой адрес), но это все равно как если бы я смеялся над самим собою. Помнишь, как мы неожиданно поняли друг друга в то мгновение минутной слабости, когда ты был подавлен арестом Гиже. А теперь не крути и не отступай! Что касается Гиже, то он уже и двигается по-польски, и думает по-польски, того гляди заговорит по-польски. Он на самом деле очень "артистичен", может быть, даже больше, чем ты думаешь. Хочу поделить время на эпохи — "довитольдову" и "поствитольдову"; впрочем, это преувеличение, хотя, признаюсь, что много почерпнул в этой "витольдовой" эпохе. Твоя критика, трезвая, стихийная, напористая и чуток лживая (не волнуйся!), многому научила меня.

Напиши, я хочу знать, как там у тебя, ведь я до безобразия любопытный. Хоть и становлюсь все более рассудительным (пусть по-детски, но от детства пока не хочу отказываться), но все равно любопытствую, что происходит с твоей подыхающей жизнью. Да, я в себе и спрашиваю тебя, хоть это и покажется тебе странным... но дело в том, что разум подчиняет меня приличиям и заставляет спросить, как там у тебя... потому что если по-честному, то, сам понимаешь, это меня не слишком интересует, потому что хоть я и уважаю тебя, но не обожаю, я далек от обожания а-ля Гиже. Вижу, что этот кусок витиевато вышел, это от усталости. Тебя все еще любят все твои женщины? Мог бы мне уступить одну, у меня, бедняги, столько нет, если не считать Фучи, Пучи и Тучи.

Прискорбно, что ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ пишет "holla" вместо "olla"[1]. Стыд, позор, после которого ты должен ЗАКРЫТЬ РОТ — мы покатывались со смеху, все мы и десятки людей, читавших твое письмо. Чао! Твой Осел

Осла зовут Хорхе ди Паола. Ослом (asno) я окрестил его в приступе сарказма, и с тех пор он стал им для своих друзей, искренне этому обрадовавшихся.

Не знаю, хорошо ли я сделал, что привел это письмо...

(Зачем он его поместил? Не для того ли, чтобы похвалиться своим успехом в Тандиле? Нет, существует более изощренная цель – возвыситься, выделиться, цель, которую можно сформулировать так: ку-ку! Ну что, взрослые, видите теперь, что мои отношения с молодежью более доверительны, чем с вами! И что

1. Олья — горячее блюдо из мяса с овощами (*исп.*).

это письмо, в котором ничего такого нет, для меня важнее, чем ваши самые изысканные послания...

Опять Гомбрович предстает перед нами в роли того, кто ни за что не хочет занять свое место в обществе и постоянно вступает в сговор с чуждыми стихиями, чуждыми средами и фазами развития.)

Среда

Много раз перечитывал я это письмо. Сомневаюсь, будет ли понятно, что вместе с другими письмами из Тандиля оно стало для меня бегством из Сантьяго и защитой от него. "Ты знаешь, что Киломбо обожает тебя". Эти слова прозвучали прелюдией надежды, это было явление молодости, выступающей в другой, менее жестокой роли... и даже дружественной... А стало быть, говорил я себе, наше взаимное "обожание" не так уж и невозможно.

Киломбо, он же Гиже, называемый также Колимбой (что на простонародном наречии означает как воинскую службу, так и новобранца). Сближение между мной и этим Колимбой было результатом обстоятельств сколь незначительных, столь же глубоко и тонко артистичных. Во-первых — моя слабость. Когда я познакомился с ним в Тандиле, в кафе "Рекс", мне было слегка не по себе от начинавшейся ангины, и моя чувствительность трепетала в болезненном напряжении. Во-вторых, заикание. Дело в том, что он заикался... Я поначалу все никак не мог понять, почему он так симпатичен, и лишь на второй день до меня дошло, что из-за дефекта речи он был вынужден стараться говорить четко, а это при его живом, как приключенческий фильм, испанском лице делало парня исключительно компанейским.

Приступ ангины с температурой под сорок уложил меня в постель. Я жил один в маленьком домике недалеко от Кальварио, за городом, и не помню более тягостных дней, чем дни моего выздоровления. Полная безнадега. Я знал, что спасенья нет. Дни стояли дождливые и ветреные, из окна виднелись горные вершины, разрываемые тучами, а может, и наоборот — это вершины разрывали тучи. Один день был особенно страшным — он наступил после ночного ливня, да и на день-то не был похож, превратившись в воду, холод, туман, ветер и белую влажную темноту; все время я видел за окном одно дерево, с которого лило, и стояло оно, окутанное туманом, какое-то смазанное, нечеткое, беспрерывно поливаемое дождем и скучное... В этот день мое неврастеническое отчаяние достигло такого накала, что, если бы у меня под рукой оказался какой-нибудь способ тихо уйти из жизни, как знать, может, я и покончил бы с собой. Я знал, что болезнь миновала, но я знал также, что здоровье мое ужаснее болезни: я дошел до такого состояния, при котором здоровье не менее отвратительно и даже более отвратительно, потому что оно подтверждает уже зараженное смертью и обреченное на смерть существование.

Затем стук кулаком в дверь, и в кухню вваливается Колимба, с которого течет вода! Пробрался через потоки, что льются с неба, и через те, что — еще хуже — несутся по улице, вброд по хлюпающей жиже, и, верный друг, добрался в конце концов сюда, под аккомпанемент дождя, ветра и стужи! Витольдо, che, como estas?[1] Его лицо, как приключенческий

1. Как дела? (*исп.*)

кинофильм, акробатически перескакивало из драмы в шутку, из страха в радость, из поэзии в дебош, из умиления в озлобленность, оно сразу заполнило собою все помещение, и я, наверное, испытал самое сильное впечатление, поняв, *что потенциал радости другого человека отнюдь не недоступен, что в чужую радость, если она молодая, можно проникнуть*! Что молодостью, оказывается, можно овладеть (вот только не надо на эту тему глупых шуток!). Как если бы некая неведомая Волновая Механика вдруг дополнила и расширила мое самоощущение, я почувствовал себя не только конкретным индивидом, обреченным на погибель, но и волной... током, распятым между поколениями — грядущим и уходящим. Иногда в моей безнадежности вспыхивает искра предчувствия, вполне ощутимой уверенности, что *спасение отнюдь не невозможно.* Именно это почувствовал я, когда Гиже готовил еду и откупоривал принесенную бутылку.

Хоть он ни словом не обмолвился об этом... я тоже... Я знал, что причина его прихода — в интересе ко мне, и даже в восхищении... В очаровании! В зачарованности! Более того, я знал: даже то краткое свободное время, что он посвятил мне, он отбирает у девушки, которая была ему вовсе не безразлична... Вот как смешно получается: я, мужчина в годах, оказался для этого молодого человека более сильным магнитом, чем прекрасная девушка, и мои чары перевесили любовь! Что же такое во мне могло сравниться с прелестями девушки?

Из-за отвратительного и издевательского комизма такого сравнения я предпочитал думать о нем лишь частичкой мозга, но и этого было довольно, чтобы понять, что именно в этой отвратительности — источник моей самой большой радости. Ибо когда старший смотрит на младшего, ему вообще трудно понять, что у младшего может быть собственный вкус и собственные потребности — совершенно независимо от того, что́ в нем старший считает самым важным и характерным. Так, например, пожилому может показаться, что молодости под стать только молодость, красивому — только красивая... а тут вдруг оказывается, что молодости как раз старость нравится... или какой-то особый вид уродства... что, словом, понравилось ей что-то совершенно неожиданное и даже не соответствующее ее сущности (какою она видится старшему). В первую минуту нас это шокирует и оскорбляет, будто произошла измена и, более того, какая-то порча идеала и надругательство над ним, но вскоре нас переполняет дикая радость, и мы начинаем понимать, что в этом случае не все потеряно! Вот так мы одновременно и отталкиваем все это с отвращением и принимаем с радостью, как чудо или благодать.

Чтобы адекватно оценить омерзительно свинский аспект этой радости, следует уразуметь, что по отношению к Гиже я был чем-то вроде старой женщины, обрадованной, что голод молодого человека может оказаться сильнее испытываемого им отвращения... я вызывал в нем игру сил притяжения и отталкивания... А с другой стороны, для того чтобы оценить все щедрое великолепие так устроенной природы, надо понять, что никому не дано судить о собственной привлекательности, что это вопрос исключительно чужого вкуса. Если я был для него привлекательным, значит, просто был, и точка... был, потому что обладал техникой, стилем, уровнем, горизонтом, качествами, о которых он в его годы и мечтать не может, которые ослепили его, ибо каждым оборотом речи, каждой гримасой, каждой шуткой, розыгрышем я выводил его на доселе невиданный им и неслыханный уровень превосходства. Что с того, что

мое ничтожество было известно мне? Я очаровывал его! Еще один пример из области телесного, дабы нагляднее представить адскую скользкость такого вывода. Представьте себе, что у вас некий дефект — например, ослиные уши. Прекрасно, ну а если эти уши восхищают принцессу и она влюбляется в вас из-за этих ушей? Что тогда? Если вы отрежете их, эти столь ненавистные вам уши, то перестанете нравиться тому, кто нравится вам. Что выбрать? Что важнее: нравиться тому, кто нравится вам, или нравиться себе?

И если действительно существовала в нем — для меня — возможность спасения... то не в этом ли она состояла?

Я понял: его пленяло мое "существование", тогда как меня в нем восхищала жизнь in crudo. Мне нравилась в нем свежесть и естественность, ему во мне — то, что я смог сделать из себя, то, чего я добился на пути развития, и чем больше приближался я к смерти, тем больше ему нравился, потому что тем больше ему открывалось из этого моего существования, уже приближающегося к концу. А значит, понимание между нами было бы возможно при том условии, что свойственный молодости сильный, нетерпеливый голод существования будет заменен на жажду жизни, которой отмечено старение... Заменить существование жизнью?.. Стоп, в этом что-то есть; может, в этом направлении что-нибудь сделать? Подумай, не дай мысли пропасть...

Четверг

(Вот так в итоге ему в голову пришла спасительная мысль замены существования (то есть жизни осуществленной, такой, какою человек ее сделал) на пассивно-естественную жизнь в ее первоначальном, молодом состоянии.

*Эта мысль всколыхнула его до основ. И, пожалуй, не будет преувеличением представить все его творчество как поиск эликсира молодости. Уже в "**Фердыдурке**" (ему тогда и 30 не было) он предается запретному наслаждению: сотворению одного человека посредством другого, более молодого, не так ли? Вот и способ омолодиться. В "Венчании" он до дна вычерпывает ту специфическую щедрость, которая более молодому велит отдаться в руки старшего... убить себя во имя старшего. В "Порнографии" он распаляет себя тем, что молодость существует **для** стариковства – и наоборот.*

А поскольку ни один из миров не нуждается в молодости до такой степени, как нуждается в ней гомбровичевский мир... то можно сказать, что этот мир строится "с учетом молодости". И если раньше он искал спасения в насилии, проявляемом более молодыми ("Фердыдурке"), или, наоборот, в насилии со стороны старшего ("Венчание"), или, наконец, в равностепенности этих двух насилий ("Порнография"), то сейчас, в Сантьяго, он охвачен родившейся в Тандиле мыслью о возможности устроить обмен 'жизнь – существование', что просто означает, что есть два вида человеческой экзистенции, которые жаждут обладать друг другом...)

Четверг

Да... но это наше сближение стало возможным прежде всего благодаря, что называется, стечению обстоятельств... причем мелких... Если бы не

его заикание и не марш-бросок сквозь ненастье... если бы он не застал меня больным...

К этому добавилась магия имен. Гиже — мне понравилось это уменьшительное имя, оно годилось для патетической апострофы, и я с удовольствием и с большим чувством восклицал: "Гиже!"

Все это придавало нашим беседам изысканность и блеск. Как-то раз я обмолвился и вместо Колимба произнес Киломбо, что по-испански означает "бордель", хоть и звучит не так вульгарно, и потому это слово можно было использовать как шутку, к тому же оно имеет переносный смысл: неразбериха, сумасшедший дом. В качестве имени собственного оно становится в высшей степени забавным и бесконечно поэтичным. "Che, Quilombo, como estas?" — говорил я с подчеркнутой любезностью, и между нами устанавливалась такая дистанция, которая облегчала сближение.

Без помощи Формы, вне рамок Формы я бы не смог приблизиться к нему. И он, будучи также художником (страстно увлекавшимся рисунком, хотя в его возрасте пока не известно, талант это или талантик), также требовал от меня Формы.

Но как тронул меня этот отрывок его письма из Тандиля: "Веришь... Каждый раз, как только я вспоминаю лето... тот домик, девочек... твою несносную ангину, когда некий ангельский *Киломбо* ухаживал за тобой... мне делается грустно от воспоминаний".

"А потом твой переезд на Парковую Гору и моя "мнимая", как ты ее назвал, ангина... и выздоровление... твои разговоры... прогулки под солнцем... мои рисунки... Это лето я никогда не забуду. Никогда!"

Я ответил ему: "Ах, незабвенный Киломбо! Такие мелкие события ты сумел поднять до уровня мифа и легенды..."

Вторник

Вчера состоялось мое выступление "О современной проблематике". Я решился на него отчасти со скуки, но и чтобы вступить в контакт с интеллигенцией Сантьяго, и не предполагал, что все окончится столь демонически.

Я попытался дать характеристику современного мышления и сказал, например, что оно "редуцированное" и что постепенно осваивается с "двойной интерпретацией", что мы ощущаем его как нечто "преобразующее не только то, что вовне человека, но и то, что внутри него, как созидающее того, кто мыслит"; я ссылался на науку, на кванты, на Гейзенберга и волновую механику, на Гуссерля и Марселя — боже мой, я говорил как обычно, как говорят даже самые знаменитые, то есть делая вид, что я на своей территории и что это для меня хлеб с маслом, в то время как на самом деле первый же вопрос в лоб положил бы меня на обе лопатки. Но я уже так привык к мистификациям! И мне прекрасно известно, что подобного рода мистификациями не брезгуют даже самые знаменитые! Поэтому я разыгрывал свою роль, и у меня даже неплохо получалось. Но тут я заметил в глубине зала, за первым рядом, покоющуюся на колене руку...

Другая рука, та, что была ближе и принадлежала другому человеку, то ли опиралась на подлокотник кресла, то ли цеплялась за него... и вдруг обе эти руки будто схватили меня, я аж испугался, дух перехвати-

ло... и во мне опять заговорило тело. Я присмотрелся повнимательнее: то были руки студентов, приехавших из Тукумана, и это сразу успокоило меня, передо мною снова возник образ Тандиля, я знал, что нет причины опасаться — руки благосклонные, дружественные; я снова оглядел зал, все руки были руками друзей, и, будучи, скажем так, телесными, они были на службе Духа, то были руки интеллигенции... Это скопление одухотворенных рук сотворило со мною чудо. Наверное, впервые в жизни я освободился от того актерства, бахвальства, показухи, которые наросли на моем духе. Серьезность и существенность моего положения как учителя внезапно перевесили всю мою неподготовленность. Я понял смысл моей задачи: речь шла о чем-то более важном, чем академическая лекция, "культурная работа", артистическая, литераторская подача себя; здесь я боролся за самого себя, пытаясь вытащить все наносное из тела, превратить в экзистенцию; моя судьба зависела от того, насколько я сумею завоевать их и притянуть к Духу, ведь только это могло спасти меня! И я начал говорить со страстностью, к которой сам прислушивался с недоверием, настолько всамделишной была она...

Потом началась дискуссия, но их робкие и взволнованные голоса лишь стали трамплином для моего метафизического голоса. Я был так силен, что впервые в жизни понял, какой бы я мог быть силой, если бы верил в себя так же, как верили святые и пророки. В конце встал какой-то юноша и громко поблагодарил, потом ко мне стали подходить другие. Было ясно, что благодарят меня не за интеллект, а за нечто более важное — за преодоление тела, телесности, физичности... Я попросил стакан воды. Тут же бросились выполнять мою просьбу. Минуту спустя вошел "чанго" с графином на подносе. Я испугался и притих. Этот чанго...

Но каким же порядочным было тело этого неграмотного... это была сама порядочность... это обыкновенное, спокойное, свободно живущее, легко движущееся, тихое тело, оно было самим приличием, самой нравственностью... причем так ярко, так совершенно, что по сравнению с ним это наше "духовное" собрание оказывалось каким-то чересчур высоким, как натужный писк... Не знаю... Святая простота грудной клетки, а может быть, волнующая искренность шеи; или эти руки, едва умеющие выводить буквы, руки шершавые и настоящие от физического труда... Мой Дух испустил дух. Полный провал. Я ощутил вкус помады на губах.

Тем временем индеец (в нем наверняка было много индейской крови) наливал мне воду осторожными движениями раба, делая это руками, созданными для служения и лишенными гордости и значения. Взрыв этих тихих рук был тем страшнее, чем тише они были, ибо этот чанго, как каждый слуга, был quantité négligeable[1], был "воздухом", но именно поэтому, то есть из-за своей незначительности, он становился явлением иного порядка и подавляющим этой своей ничтожностью! Выставленная за скобки, его незначимость там, за скобками, становилась значимой! Я попрощался и вышел. Мне не хотелось продлевать мой тет-а-тет с чанго. На улице было уже темно, многоцветный закат Сантьяго погас, и резкий зимний холод, появляющийся сразу же после захода солнца, заставил меня надеть пальто. Я еще обменивался прощальными любезностями с провожающими, когда чанго... прошел в нескольких шагах от меня.

1. Незначительная величина (*франц.*).

Неужели тот самый чанго? Он? Они все так похожи друг на друга... что любого можно заменить любым, практически идентичным... а потому я был склонен допускать, что это другой — брат, друг, товарищ... не все ли равно? Он медленно шел в сторону реки Рио-Дульсе. Я пошел за ним. Пошел за ним потому, что было абсурдно и невообразимо, чтобы я, Гомбрович, шел за каким-то там чанго лишь потому, что он был похож на чанго, налившего мне воды. Но опять его полнейшая неважность прогремела громом на задворках всего того, что у нас считается важным. И я пошел за ним, будто выполнял самую святую из моих обязанностей!

Я шел встревоженный... Ибо давно уже забросил прогулки в Ретиро и по Леандро-Алем (о которых раньше писал), а теперь, в Сантьяго, опять неожиданно возвращалась самая таинственная, самая существенная и самая болезненная из всех моих реакций: я шел за простецким парнем из низов. Но на этот раз появилась какая-то новая черта в ситуации, а именно, в игре были не красота и не молодость, а мораль: я шел, увлеченный той, *иной* честностью, добросовестностью, простотой, чистотой, которые подорвали и уничтожили мою одухотворенность. Я шел за его прямой спиной, такой нескрываемой, за его спокойными руками! А мой недавний триумф улетучился — фюить, и нет его!.. Но отчаянно пускаясь в этот мой новый марш к фиаско, я, стиснув зубы, решил, что на этот раз доведу дело до конца... каким бы он ни был... Так дальше продолжаться не могло! С этим надо было кончать. И сам не знаю почему, может из-за той навязчивости, с которой мне в глаза лезло тело, мне вдруг поверилось, что если я сумею разгадать физическую форму события, если найду физическое решение ситуации, то смогу с ее помощью прийти и к духовному решению. А пока что я шел за этим чанго в сумрак, понимая, что это мое следование за ним есть прежде всего формулировка ситуации: я и он, я, идущий за ним, я с ним в качестве проблемы, которую необходимо решить...

А проблема тем временем росла... прирастала той особой мощью, какой иногда набухают ничего не значащие вещи. И вот уже гудит у меня в ушах, стучит в висках это мое неожиданное шествие! Теоретически я знал, почему маячившее передо мною тело такое правильное, в противоположность той искривленности, что отличала нас, интеллигентов. Прозрачность тела! Честность тела! Ибо это тело делало игру потребностей и ценностей простой, ясной, для этого чанго ценностью было то, что удовлетворяло его телесные потребности, обычные потребности здорового тела, а потому он был по сути просто полем игры природных сил, был всего лишь пассивной природой и ничем больше — и потому он сиял передо мной в сумраке, чистый и прозрачный. Нравственный, как пес, как конь! Нравственный, как обычное здоровье! А я? А мне подобные? О, мы порвали с логикой тела и были продуктом сложных факторов, берущих начало не в природе вообще, а в специфической человеческой природе, мы — продукт человечества, продукт его "второй природы", человечности. Мы были извращением, утонченностью, усложнением, мы, несчастные, были Духом!.. Не мог же я смириться с той ситуацией, в которой я как бы иду за ним, волочусь, исполненный обожания... это было бы равнозначно фиаско... а потому, резко оторвавшись, я свернул в первую же улочку направо. Я порвал связь и теперь шел один... И, взбудораженный, говорил себе: "К черту! Не забывай, кто ты! Он — всего

лишь тело, ничего не значащее, одно из множества, навоз! Ты — неповторимый, единственный, оригинальный, незаменимый!"

И все-таки то, что я не был телесно ни таким честным, ни таким прозрачным, как он, имело настолько важное значение, что я напрасно распевал гимны в свою честь. Они были приправлены горечью, и вокруг разносился запах гниения. На этой пустынной улице я почувствовал, что другого выхода нет, что придется кого-нибудь убить, и я шел, готовый на убийство. Я должен был поставить его в один ряд с животными и остаться в одиночестве в своей человечности; двойственная природа человечества — его и моя — больше не допускалась: либо мне превратиться в чудовище, либо ему — в животное, иного выхода не было... Эта очевидность шла в паре с другой, а именно: я не должен был отходить от него и позволять ему оставаться одному, передвигаться тайком. Поэтому я решил догнать его и расправиться с ним. Далеко ли успел он уйти? Наверное, нет, он почти наверняка, дойдя до парка, свернул направо и пошел по параллельной улице; и тогда я представил себе, что догоняю его и снова иду за ним... Нет, только не это! Да и нападение на него сбоку, из-за угла было бы недостаточным... а потому я решил прибавить шагу, опередить его и выйти ему навстречу из следующей поперечной улицы лицом к лицу... Вот что пришло мне в голову! Не сзади, не сбоку, а прямо и лицом к лицу!

Не сзади.

Не сбоку.

А прямо и лицом к лицу!

Так выглядела физическая формула победы. Это давало возможность атаковать. И мне была нужна война с ним, превращавшая его в моего врага, делающая его внешней реальностью. Я чуть ли не побежал, и уже сам по себе этот нацеленный на него бег менял ситуацию в мою пользу. Потом я резко свернул. Замедлил шаг. Теперь я шел по улице с редкими фонарями, по одной стороне которой стеной стояли большие черные тихие деревья парка, а он шел на приличном расстоянии, растворяясь в блеске мерцающего света. Он приближался, а моя враждебность выталкивала его из меня, как лихорадку, он был там, предо мною. Убить. Честно, я хотел убить его. Будучи уверен, что без этого убийства *я никогда не смогу оставаться в рамках морали.* Моя мораль стала агрессивной и убийственной. Быстро сокращалось расстояние между нами; само собой, я не собирался убивать его "физически", я лишь внутри себя жаждал убить его и был уверен, что стоит мне его убить, как я сразу же уверую в Бога, во всяком случае стану на сторону Бога... Это было одно из мгновений моей жизни, в которое я ясно понял, что мораль дика... дика... Когда мы поравнялись, он улыбнулся и поприветствовал меня:

— Que tal? [1]

Я узнал его! Это был один из тех чистильщиков, что вертятся на площади, случалось, он чистил ботинки и мне. Знакомый! К такому обороту событий я не был готов! Столкновение, такое убийственное, — и сорвалось... Я кивнул ему, крикнул в ответ: Adonde vas? [2] Мы разошлись, и от всех этих страстей ничего не осталось, только обыденность, обыденность как высший тон, как регулировщик всех событий!

1. Как дела? (*исп.*)
2. Куда идешь? (*исп.*)

(Стало быть, у него опять катастрофа. Опять влезла проклятая обыденность в тот момент, когда перед ним уже во всю развернулась драма, – и снова все утекло, как вода сквозь пальцы, как будто та, "другая сторона" просто не хочет играть ни в какой драме... и наш Фауст погряз в текучке. Оставили его в дураках! Лишили драмы – единственного утешения в борьбе с молодыми...

Но из этой несостоявшейся битвы при нем останется, видимо уже до самого конца, растущая убежденность в том, что добро имеет кулаки и умеет убивать, что мир моральный и духовный подчинен всеобщему закону жестокости. Вопреки всем его усилиям разлад между духом и телом становится все меньше, они, эти миры, проникают друг в друга, сопрягаются...

Вот что вынес он из залитого солнцем Сантьяго.)

Чеслав Милош
Кто такой Гомбрович?

Перевод с польского Т. Казавчинской

Пророк

Выразительная, но неприглядная картина открылась нашему взору после кончины Гомбровича. Всемогущая банальная Форма вознесла его бесплотные останки, закружила и унесла вдаль — туда, где обитают гении былых времен. Если своим лирическим некрологом и я тому способствовал, мой долг — как можно скорее восстать против засилья Формы. При жизни — шут, после смерти он стал королем-призраком (ибо спрос на королей-призраков огромен). При жизни — сумасброд, гордец, сноб, грубиян, после смерти он тем не менее стал кумиром дирижирующего хором профессора Пимко[1], который возвещает: "За что нам следует любить Витольда Гомбровича? За то, что он был пророком". Эта высмеянная в свое время Гомбровичем игра в пророков навязывает свои неизменные, от века установленные правила. Казалось бы, человек оставил после себя выдающиеся творения, чего еще? Какое там! Пророк должен быть личностью светлой, возвышенной, героической, а если он и был при жизни малость горбат, те, что ваяют ему памятник, это искусно замаскируют. Те же, что позволяют себе усомниться в пророческой роли писателя, интересуются не его творчеством, а подробностями биографии. <...>

Уважение к Гомбровичу, к великой смелости его духа повелевает нам избавить писателя от этой убогой посмертной возни. Достаточно вспомнить, сколь будоражащим, вызывающим, непостижимым было все им написанное, как много он оставил неразрешимых загадок и как мало бронзы припас для памятника, ведь Гомбрович не раз открыто заявлял, что возводит постройку на фундаменте собственной слабости. Кто знает, не лучше ли порой оказаться на стороне тех, кто никогда не скрывал, что не понимает Гомбровича, чем на стороне разумеющих, твердящих, что все в его творчестве им ясно. Ибо Гомбрович коснулся того, что нам в текущем столетии, а может, и во все времена понять не дано.<...>

В *господском доме*

Гомбрович был баричем из польского помещичьего дома в то историческое время, когда этот "нормальный" общественный институт превратился в нечто постыдное и смешное. Можно лишь удивляться тому, как долго господский дом был окружен в Польше респектабельно-сентимен-

© Т. Казавчинская. Перевод, 2004
1. Профессор Пимко — герой романа В. Гомбровича "Фердыдурке".

тальным ореолом, ибо считался наиболее укорененным в отечественных традициях укладом. Буквально накануне XX века Сенкевич написал "Семью Полянецких", уже в XX веке появились повести Вейссенхоффа и других певцов дворянских гнезд. Нападки левых на богатых, в том числе на владельцев поместий, били мимо цели. И дело не только в том, что существовавшая на протяжении веков система землепользования и помещичьего хозяйства была системой получения прибыли от труда простых людей. Эксплуатация человека человеком, зависимость слабых от сильных и сейчас никуда не делась, и не нам говорить от имени общественной справедливости. Однако в господском доме обитатели ритуально делились на тех, кто восседал в столовой или гостиной с видом на лужайку, и недочеловеков, Калибанов, гнувших спину на полях и в кухне, причем разделявшая их пропасть вуалировалась сентиментальностью польской культуры. Впрочем, дух истории в течение долгого времени был терпим по отношению к этому социальному устройству. Мы и сегодня мало задумываемся о тех, кто готовил роскошные пиршества в Соплицове. У подобного камуфляжа есть и особая причина: вот газоны, сад, огород и лишь где-то вдали — постройки для слуг. Иначе говоря, усадьба отражала социальную иерархию, которая соблюдалась и на более высоких уровнях. Ведь дворня должна была не просто работать на господ, подчиненное положение заставляло ее ломать шапку, улыбаться, изображая дружелюбие; девкам следовало радостно хихикать, если барин давал волю рукам. Бедный шляхтич заискивал перед крупным землевладельцем и льстил ему, а тот, в свою очередь, пресмыкался перед магнатом. Система эта, видимо, неистребима, коль скоро ее переняла бюрократия, в чем не раз имели случай убедиться те, что обивали пороги польских учреждений и перед войной, и после нее: раболепство по отношению к людям, от которых зависишь ты сам, безучастность по отношению к людям, зависящим от нас.

Говоря кратко, коллизия Гомбровича сводится к следующему: я, Витольд Гомбрович, — человек и желаю быть самим собой, но мне не дают быть человеком и самим собой в силу классовой предопределенности. Я, барич Витольд, принадлежу к высшему сословию, и низшие видят во мне не то, что я есть, а барича. В рассказах об играх с батрацкими детьми и об очарованности людской — ключ ко всей философии Гомбровича. Конечно, не он один вынес из детства чувство стыда за навязанный ему облик, жестикуляцию, манеры. Иные предпочитали бегство из усадьбы и заметание следов. Гомбрович, человек независимого ума, рано пришел к мысли, что горбатому незачем притворяться, будто у него нет горба; напротив, не скрывая своей горбатости, он обретает свою "негорбатую" человечность. Впоследствии писатель так же рассуждал, изображая другой (а может статься, тот же самый) горб — горб польского духа. Все книги Гомбровича вращаются вокруг оси, соединяющей низшее и высшее в неразрывное и взаимоопределяющее целое. Мужики с непокрытыми головами, стоящие под дождем у крыльца господского дома, "подпитывают" превосходство барина, разглагольствующего перед ними в шляпе и под зонтом. Барин лишь до тех пор барин, пока его отделяет от мужика физическое пространство. Стоит мужику дотронуться до барина, и тот теряет свою господскую сущность, свою голубую кровь, которая тотчас вытекает у него из жил. Эту антитезу Гомбрович впоследствии дополнил другими контрастными парами: зрелость — незрелость, уродство старости — красота юности, родина — чужбина, а также игрой

между членами этих оппозиций. Ибо высшее, находясь под спудом собственной фальши — фальши Формы, тянется к низшему, тогда как низшее жаждет стать высшим; зрелое тоскует об утраченной незрелости, а незрелое, несознательное мечтает отдаться зрелому; юноша подражает манерам взрослого, а ненавидящий свои морщины взрослый восхищается юношей. Находясь в гостиной среди взрослых, зрелых, олицетворяющих идею родины, барчук думает о мальчишках из людской и детях батраков, о низших, о чужбине. Даже художник, сознающий, что форма придает ему крепость и дарит неограниченные возможности (ибо она — выбор), тоскует о пошлятине, дешевке, обо всем безвкусном, дурацком, но живом.

Философские притчи Гомбровича (а таково все его творчество) всегда разыгрываются в усадьбе или в кабаке, либо в такой усадьбе, где вот-вот вспыхнет кабацкий дебош, который сорвет с нее флер и обнажит ее истинную сущность.

"Фердыдурке". Школа и квартира супругов Млодзяк воспринимаются как своеобразная преамбула к бегству в подлинную Польшу, где есть угнетенная деревня и чванливый город, есть и усадьба с ее делением на господ и слуг.

"Ивонна, принцесса Бургундская". Помещичий дом — в виде сказочного королевского дворца.

"Венчание". Сон Генрика о том, что его родная усадьба превратилась в кабак, а его невеста — в женщину легкого поведения. Что это, метафора Польши? Усадьба или кабак?

"Транс-Атлантик". Дипломатическая миссия как усадьба. Пыцкаль, Барон, Чюмкала как кабацкие типы. Усадьба Гонзаля как полное соответствие польской усадьбе. <...>

"Порнография". Польская усадьба во время немецкой оккупации. Фон повествования (речь сейчас идет не о сюжетных линиях — они служат другой цели) "нереален", говорят некоторые, но это лишь свидетельствует о том, что они не бывали в деревне во время войны.

"Космос". Пансионат в Закопане, но самое тут главное — пикник как истинно господское празднество.

"Оперетта". Отель "Гималаи" накануне и во время революции, но революции лакеев. Вернее, такой она видится хозяевам усадьбы: бунт челяди, простолюдинов. В первом действии лакеи лижут (в прямом смысле слова) хозяйские сапоги.

К этому следует добавить рассказ "Пиршество у графини Котлубай", где изысканное общество вкушает тело Болека Капусты, сына безземельных крестьян.

Межчеловеческое

<...> Конечно, не подобает сводить произведения Гомбровича к сухому идейному остатку, ибо его ум, как ум каждого истинного писателя, и сам себе прокладывал дорогу, и послушно следовал за тем, что непроизвольно рождалось под его пером. Однако его книги ставят перед современниками определенные вопросы, иные из которых можно "ухватить", но лишь памятуя о том, что понимание многих слагаемых творчества писателя, остававшихся не вполне ясными и для него самого, всегда будет неполным.

У меня, рожденного на свет, хоть я никого не просил об этом, заброшенного в мир, нет никаких оснований утверждать, что существует что-либо помимо моего "я". Мне доступны лишь свидетельства моего разума (Гомбрович всегда твердил: Декарт, Кант, Гуссерль). У меня также нет никаких оснований утверждать, будто имеется некий объективный принцип существования космоса и будто в мире действуют некие "законы", в том числе и закон причинности. Пожалуй, то, что и впрямь принадлежит мне и составляет мою единственную реальность, — это реальность межчеловеческая, ибо я связан с другими людьми и испытываю их постоянное воздействие: люди все время творят друг друга, лишь человек может быть богом для другого человека. Я, Гомбрович, барич и польский литератор, стараюсь быть "самим собой" вопреки маскам, которые навязывает мне мое "дворянство" и польская историческая традиция; но и преодолевая традиционную Форму, я не вполне могу быть "самим собой", ибо каждое проявление несогласия несет с собой новую Форму.

Из всех своих произведений Гомбрович больше всего ценил "Венчание". В этой новой версии "Гамлета" все происходит во сне, а что еще совершается так же "глубоко в сознании", как сон? Генрик участвует в деятельности других людей, или, вернее, они действуют через него, и все, что должно произойти, происходит. Сознание того, что все, что я делаю, бессмысленно, но ничего другого я делать не могу, ибо нахожусь во власти данной мне (и хуже того, существующей у меня в голове) межчеловеческой реальности, — такова самая суть раздвоения XX века, характерного для нашей повседневной жизни: для технологической цивилизации, массовых движений и террора как метода воздействия. Ибо количество садистов среди тюремщиков и охранников концентрационных лагерей ограничено, остальные — просто бюрократы.

XX век подтверждает правоту Гомбровича. Ничто так не угнетает, как самообман людей, которым кажется, что, поддаваясь чувству стадности и заражаясь маниями толпы, они следуют собственным побуждениям, родившимся в глубине их собственного "я", тогда как на самом деле их поистине обезьянью зависимость от пропаганды и рекламы нетрудно было бы вычислить с помощью усовершенствованных компьютеров. Концлагерь, этот экстракт человечества, стал образцом и оправданием нашей прекрасной эпохи. <...>

Без *прикосновения*

В XX веке творчество Гомбровича — явление уникальное, ибо там нет ни одного описания полового акта. Объяснение тому — изысканный, классический вкус писателя и презрение к моде. Отметим, что нет там также и упоминания о прикосновении. Человек прикасается к человеку, чтобы напитаться властью, а других лишить ее ("коснуться" пальцем, "всадить" шпору, вложить персты в рану, всадить нож). О том, чтобы "ощутить прикосновение", мечтает Альбертинка в "Оперетте", но касается ее лишь воришка, подбирающийся к ее кошельку. Так и только так, стиснутые в толпе люди не вступают в контакт, а если и вступают, то ради доминирования, одного лишь доминирования. Причем это относится и к их телам, и к их душам. Короче говоря, Гомбрович, сомневавшийся в том, что существует что-либо помимо свидетельств нашего сознания, уверен был лишь в одном — в боли, и эта чужая боль возвращала

миру реальность. Какого утешения, какой радости ждать человеку, замкнутому в своей боли, если его ближние либо доминируют над ним, либо позволяют ему доминировать над собой, а встречи так и не происходит? И так — на протяжении всего действия романа или пьесы: ни между героями, ни между героями и автором встречи не происходит.

It's all in your mind[1]

<...> В иудеохристианской традиции "мыслящее я" не раз восставало против самого себя и объявляло себе вотум недоверия. Понятие греха совпадает с понятием selflove – любви к себе, которая и есть наша природа, отсюда противопоставление Природы и Милости. Современная литература порой продолжает эти традиции, достаточно вспомнить "Падение" Камю. Кроме идеи греха, есть и другой способ вырвать почву у себя из-под ног: путем нападок на независимость "мыслящего я". Мне кажется, будто то, что я чувствую и думаю, — мое, но на самом деле оно отнюдь не мое, ибо я управляем и детерминирован (с помощью работы подсознания, классовой принадлежности и проч.). Гомбрович рассуждает так же, как фрейдисты и марксисты, только те устанавливают отношения причинности, существовавшие в прошлом (на основании истории болезни, общественной истории и т. п.), а он — исходит из настоящего, из *сегодня* — так сказать, из той фантасмагории, которая разыгрывается в сознании, выставленном на всеобщее, *межчеловеческое*, обозрение и постоянно лицедействующем. Но боюсь, что здесь я перестаю понимать Гомбровича. Всякий, кто вышибает клин клином, иначе говоря, использует сознание, чтобы открыть то, что благодаря сознанию же и происходит, ищет своего рода "спасения". Но можно ли обрести спасение, если Фантасмагория неизбежна, а Форма вновь и вновь рождает Форму? К примеру, кто такой демоничный Фредерик из "Порнографии"? Можно сказать, бесплотный дух, если бы не то, что его неблагообразие как зрелого мужчины и его страдание *из-за отсутствия плоти* навязывают ему роль виновника преступления, интригана, который (путем подтасовки улик) сводит пару молокососов, Кароля и Геню, и, одержимый похотью импотента и жаждой феодальной власти над другими людьми, заменяющей ему физическую близость, разыгрывает в своем воображении целый спектакль, который обособляется от своего создателя, материализуется, становится сам для себя законом, и *для острастки, для симметрии* доводит все до трупов, вроде трупа молодого Скузяка.

Не дело литературы давать ответы на вопросы, достаточно того, что она их ставит. Это понятно. Но ответа ищет автор — если бы не искал, не было бы и вопросов, — ищет ответа и читатель. Между ними книга — как вещественное доказательство. Глумливо-проповеднический пыл Гомбровича, часто выступавшего в роли учителя, которому предстоит провозгласить важные истины, заставляет нас прислушаться к его словам. Из писателей Гомбрович чаще всех упоминал Шекспира и Достоевского. И я очень жалею, что не говорил с ним о Достоевском и уже не узнаю, что он сказал бы в ответ на то, что его писательская манера, равно

1. Это происходит лишь в вашем сознании (*англ.*).

как и главная тема, очень напоминают "Записки из подполья". У Достоевского герой-повествователь бунтует против своей зависимости от "правильных" человеческих поступков и целей, противоречащих его собственной воле. Он предпочитает нищету человека раздавленного – но тогда уж пусть это будет нищета вполне себя осознающая. Причем осознающая все глубже и глубже, вследствие чего лишь яснее становится безнадежная зависимость героя от других людей (а именно против этого он и восстает) и, в частности, от читателя, которого он бранит, с которым заигрывает, перед которым выхваляется. "Записки из подполья", где изображается обезумевшее ego героя, становятся доказательством от противного, это reductio ad absurdum[1]. Для Достоевского то был один из этапов на пути к образам монаха Зосимы и Алеши Карамазова.

Но возможно и другое решение вопроса – акт творчества. Гомбрович-творец выступает как носитель более могущественного сознания, как своеобразный "сверх-Фредерик", организующий постановки собственных сочинений – своих "адских машин". Постановки, безусловно, удачные. Они вели его вперед, как путеводная звезда, и творили его самого, так что к концу жизни он стал полновластным хозяином своей территории. Правда, тут недалеко до манифеста Пшибышевского, до "жреческого служения искусству". Не берусь судить, "спасает" ли искусство. Многое свидетельствует против этого, особенно в наше время, когда само понятие искусства подвергается разрушению. Как бы то ни было, его спасительная мощь проявляется лишь тогда, когда оно не самодостаточно, что, кстати сказать, прекрасно знал Гомбрович. "Литература, которая, к счастью, не есть чистое искусство и которая, к счастью, больше, чем искусство...", – замечает он в "Беседах с Домиником де Ру". <...>

Возвеличение человека обнаженного и молодого – вот, наверное, самое доступное, что есть в творчестве Гомбровича, поскольку сегодня снова вошел в моду noble sauvage[2] Руссо. По всей вероятности, подобное возвеличение льет воду на мельницу некоего преуспевающего психиатра из Лос-Анджелеса, который отправляет толпы нагих мужчин и женщин в бассейн с теплой водой, чтобы они гладили друг друга, касались, обнимали. То есть обращались друг к другу на языке грудных младенцев и тем самым возрождали свою невинность (а заодно и сексуальную потенцию). Однако ничто в произведениях Гомбровича не свидетельствует в пользу оптимистического вывода о торжестве вечно обнаженной молодости. Возвращение в незрелость, к которому принуждает тридцатилетнего героя "Фердыдурке" профессор Пимко, лишь приводит к открытию, что взрослые всегда манипулируют молодежью, причем и когда та подчиняется, и когда бунтует. Представляющие два школьных лагеря идеалист Сифон и похабник Ментус лишь ведут себя в соответствии с заранее известными закономерностями поведения подростков. Существование нахальных нерях оправдывается существованием прилизанных пай-мальчиков и наоборот – подобно тому, как в притче о философах склонный к синтезу Филидор и аналитик анти-Филидор неразрывно связаны между собой и не могут существовать поодиночке; и так всегда у Гомбровича: верящим во что-либо нужны неверящие, а неверящие повисли бы в пустоте, если бы не было верящих. Молодые так же порабощены законами Формы, как и взрослые, и единственное, что сви-

1. Доведение до нелепости (*лат.*).
2. Благородный дикарь (*франц.*).

детельствует в их пользу, — это их мягкость, пластичность, к тому же, в отличие от старших, они несут в себе обещание, но невольное его неисполнение искушает взрослых, которые хотят овладеть молодыми; так Геня и Кароль искушают Фредерика в "Порнографии". <...>

Позволю себе сказать нечто рискованное: в основе успеха на Западе некоторых польских писателей лежит недоразумение. Это не значит, что они не заслуживают успеха, но их ценят не за то, за что следует. Раздеть можно лишь человека одетого, и там, где нет жрецов, не может быть и шутов. Но западный мир "сбросил с себя" Бога, отечество, викторианскую мораль, Разум и даже обычные представления о приличиях, как семья Стомилов из "Танго" Мрожека. После этой прелестной хирургической операции остается лишь нагая жизнь, зрелище не из приятных, ибо имя ей — ничто: nada. Именно поэтому западный мир испытывает сегодня тоску по одеждам, по ритуалу, по новому жречеству, то есть по принципам, которые давали бы ему право убивать себе подобных с чувством уверенности, что именно так и следует поступать. Французские интеллектуалы — вроде тех, с кем встречался Гомбрович, — оказались в ситуации совершенно немыслимой: уже которое их поколение приучается раздеваться не раздеваясь, так сказать, совершать упрощенный якобинский ритуал. Разве Гомбрович не записал в дневнике, что когда однажды на парижском званом ужине стал снимать брюки, присутствующие кинулись врассыпную — убегали кто в двери, кто в окна?

Однако не схватка с интеллектуалами предопределила судьбу творчества Гомбровича. Предопределило другое — неприятие польских обычаев, традиций и незыблемых ценностей, освященных этой традицией. Их силу, укорененность в истории, способность возрождаться в доктринах и абстракциях иностранцам понять трудно. И вот разрывающий путы Гомбрович, этот анти-Филидор, появление которого оправдывается существованием польского Филидора, приходит к зарубежному читателю, который страдает от нехватки подобных пут и готов восхищаться тем, что нас так измучило. Как я подозреваю, подобный читатель, стараясь отнести Гомбровича к тому или иному направлению, видит в его творчестве лишь "следующий шаг на пути срывания и уничтожения всевозможных покровов", "следующий шаг", который поражает новизной и возбуждает настолько, насколько Гомбрович интеллектуально острее, сложнее и насыщеннее своих западных соперников. Но это скорее ошибка: "следующий шаг" — это не Гомбрович как таковой, а Гомбрович, увиденный сквозь призму польской литературы, — опровергающий и протестующий. <...>

Беркли, 1970

Эрнесто Сабато

“Фердыдурке”

Перевод с испанского Бориса Дубина

Впервые я прочитал Гомбровича году в тридцать девятом. Я тогда жил уже в Ла-Плате, где мы вместе с моим другом, астрономом Мигелем Итцигсоном, изобрели особую разновидность параноидального юмора, которую окрестили марготинизмом. Позже я понял, что подобные изобретения — всегда открытия и что наша не совсем обычная реакция на мир, потерявший человеческий облик, была по-своему естественной. Вот тогда-то мне и попал в руки журнал “Папелес де Буэнос-Айрес”, который издавал Адольфо де Овьета[1]. Там я, впав в полное оцепенение, прочитал новеллу “Филидор, приправленный ребячеством” неизвестного мне поляка по имени Витольд Гомбрович и тут же, с номером в руке, бросился искать Мигеля. То, что несуразица (и плод абсолютной случайности) вроде нашего марготинизма могла появиться на другом и таком же затерянном конце света, показалось нам просто чудом.

Не помню точно, когда мы познакомились потом с самим автором рассказа. Я увидел худощавого, взнервленного мужчину, он жадно затягивался сигаретой и презрительно ронял высокомерные, ошарашивающие суждения. Гомбрович казался холодным мозговиком. За подобным панцирем было трудно угадать пылкое человеческое сердце, бившееся в эмигранте, который вряд ли родился графом, но аристократом несомненно оставался во всем.

Я узнал, что рассказ о Филидоре — лишь глава из романа под названием “Фердыдурке”, и загорелся желанием его прочесть. Но тогдашнее положение автора никак не способствовало ни переводу, ни изданию книги. Нищий, в подавленном настроении он служил в банке, скитался по улочкам квартала Бахо, сидел за шахматами в прокуренных забегаловках, и никто или почти никто не видел в этом сомнительном типе замечательного художника; напротив, окружающие по большей части считали его мистификатором или мифоманом. Так все и шло, пока одна женщина (глубокий парадокс для этого иронического противника лучшей половины человечества), Сесилия Дебенедетти, не решила выпустить и не поддержала своими средствами издание романа, за перевод которого на испанский взялась группа поклонников Гомбровича. Когда в 1947 году книга вышла в издательстве “Аргос”, кубинский писатель Вирхилио Пиньера[2], живший в ту пору в Буэнос-Айресе, писал на обложке: “Трудно предсказать судьбу этой вещи — ее ведь не доставили к нам из

© Борис Дубин. Перевод, 2004

1. Адольфо Фернандес де Овьета (1912–2002) — аргентинский литератор, журналист, сын писателя Маседонио Фернандеса; журнал “Папелес де Буэнос-Айрес” (“Буэнос-Айресские записки”), издававшийся им вместе с отцом и братом, выходил в 1943–1945 гг. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Вирхилио Пиньера (1912–1979) — кубинский поэт, прозаик, драматург, с 1946-го по 1958 г. (с перерывами) жил в Буэнос-Айресе, последние годы жизни провел на Кубе во “внутренней эмиграции”, без права печататься в стране и за рубежом, фактически — под домашним арестом. Оставил воспоминания о Гомбровиче, ряд статей о его творчестве.

Парижа. И все же я верю, что несколько моих строк — лишь первый выстрел в сражении, которое рано или поздно дадут миру фердыдуркисты Латинской Америки". Сегодня, когда у В. Г. мировая слава, справедливо вспомнить о заслугах крошечной группы почитателей, которые тогда разглядели и приветствовали его талант.

Слова Пиньеры, к сожалению, звучали пророчеством. Невозможно было поверить, что аргентинская публика признает дар писателя, не получившего предварительно патент в Париже.

С другой стороны, книга была нелегкой для восприятия, особенно в 1946 году. Кто мог догадаться, что в глубине этого гротескного шутовского сна, перемежавшегося неудержимо смешными страницами и вдруг набиравшего раблезианскую силу, в этом царстве, казалось бы, чистого абсурда скрыта своеобразная метафизическая клоунада, в чьей бредовой игре сталкиваются глубочайшие дилеммы человеческого существования?

Автор боялся и предвидел, что будет не понят. Почему и счел уместным добавить предисловие, где попытался объяснить читателю свои основные идеи. Но, по-моему, от предисловий немного прока. Даже если в основе книги большого писателя всегда лежит его Weltanschauung[1], соответствующую картину мира редко удается выразить ясно и отчетливо. В любом случае естественная форма выражения для художника — магия его творчества, которая и больше, и меньше философии, больше и меньше набора понятий: это целостный образ реальности, частью облеченный в понятия, а частью интуитивный, частью плод интеллектуальных усилий, а в большей степени сплав эмоций и магии. Критики, конечно, могут предложить ту или иную интерпретацию идей Кафки, но лишь чтение любой из его новелл представит нам мир писателя (в том числе его идеологию) во всей живой силе, которая недоступна понятийному истолкованию, каким бы пространным и продуманным оно ни было.

Именно это и отличает экзистенциалиста Гомбровича (писавшего роман в 1936 году, не имея ни малейшего представления об экзистенциалистской доктрине) от такого, например, философа, как Хайдеггер. Последний — как мыслитель — может оперировать только доводами разума, в конечном счете неизбежно оставаясь рационалистом, то есть парадоксальным образом представляя собой, в конце концов, разновидность антиэкзистенциалиста. Тогда как писатель наподобие В. Г. — просто экзистенциалист по самому своему складу, по манере видеть и чувствовать.

Речь не о том, будто он не способен мыслить: по "Дневнику" можно судить об исключительном уме и богатстве мысли этого поэта. Речь о коренной неспособности эссе встать на место рассказа и стихотворения — тех проявлений духа, которые не умещаются в границах чистой мысли.

А значит, любая попытка заменить чтение "Фердыдурке" теми или иными объяснениями будет с только что высказанным тезисом несовместима. Как невозможно подменить собственное представление о Париже чужими словами, подсказывающими, что путешественнику непременно нужно остановиться у того или иного памятника, на той или иной улице, том или ином рынке или в том или ином уголке набережной Сены (а новоприбывший перевернут и оглушен многолюдьем, непредсказуемостью, новизной), так бессмысленно предупреждать читателя этой шокирующей книги, чтобы он постарался не упустить за ее внешней не-

1. Мировоззрение (*нем.*).

суразицей основные характерные для экзистенциализма мотивы тоски, небытия, свободы, подлинности, абсурда. И, прежде всего, главную проблему Гомбровича — центральную для его картины мира категорию Незрелости, с которой глубочайшим образом связана другая не отпускавшая его проблема, проблема Формы.

Для Гомбровича главный бой в жизни человека разворачивается между двумя основными силами: поиском Формы и отторжением от нее. Реальность не умещается в форму целиком, человек до такой степени хаотичен, что постоянно нуждается в ограничении формой, и все же хаос оказывается сильней. Ни одна мысль, ни одна форма не охватывают существование полностью (откуда и упоминавшаяся уже невозможность заместить поэтическое или магическое выражение чистой отвлеченной мыслью). Борьба между двумя этими взаимоисключающими началами идет не только в отдельном человеке, но и между людьми: человек живет в обществе, так что существовать означает сосуществовать, и форма несет на себе отпечаток этого неразрывного сосуществования. (Кстати, как подсказывает мне жена, упорная и пылкая потребность Гомбровича в сопричастности отличает его от негативного экзистенциализма Сартра, любопытно и неожиданно сближая с мыслью такого писателя, как Сент-Экзюпери.)

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что борьба, которую имеет в виду Гомбрович, это вековая борьба между дионисийским и аполлоновским началом, и жизнь человека предстает их неустойчивым равновесием, согласно замеченному еще Гераклитом психологическому закону энантиодромии, управляющей крайностями. И точно так же есть все основания полагать, что Незрелость, по терминологии Гомбровича, представляет собой дионисийское начало, скрытую стихию, прорывающуюся изнутри как низшая сила (в психологическом и даже теологическом смысле слова, но не в плане этики), исподволь подтачивая личину, то есть личность, Форму, которую нас снова и снова вынуждает принимать сосуществование с другими и жизнь в обществе, поскольку жить вне личин или форм для нас невозможно. Если Незрелость — это жизнь (а соответственно юность, циркачество, абсурд, романтизм, несоразмерность и барокко), то Форма — это Зрелость, но, вместе с тем, окостенение, риторика и в конце концов смерть — смерть, без которой (по курьезной диалектике существования) мы не можем ни жить, ни понимать себя. Так что даже дионисиец Гомбрович вынужден ей поддаться, пытаясь выразить свой хаос и свою раздвоенность в виде художественного произведения, а оно — как всякое произведение искусства — есть в конечном счете упорядоченность, Форма. Та самая Форма, которая дает Гомбровичу возможность высказаться, вместе с тем предает и стремится ограничить его, как любого художника. Поэтому поэт или романист вынуждены бросаться на создание новой вещи, а за ней — следующей, и так ad infinitum[1]. И всякий раз создатель превосходит им созданное — по крайней мере, до момента своей физической смерти.

Мучительная борьба между предельными противоположностями, глубинный антагонизм человеческого духа и воплощены в "Фердыдурке". Читатель поймет, как в эту картину входит та нелепая, до невозможности уморительная сцена, где профессор Пимко бросается в бой, чтобы объяснить своим ученикам величие поэзии Словацкого и добиться

1. До бесконечности (*лат.*).

от них подобающего преклонения перед окаменевшими останками, которыми полны музеи и истории искусства. Отсюда и страх перед Старением у этого творца, который соединяет в себе тысячелетнюю мудрость с трогательной детскостью (а она есть в каждом творце, поскольку чудо — неотъемлемая черта детства и Незрелости). Отсюда противостояние всех гомбровичевских книг подделкам отвлеченной культуры, дегуманизации современного человека, стерильному эстетизму профессоров и академий; для него это, подчеркну, проблема не просто эстетическая, а экзистенциальная, метафизическая.

И еще одна особенность мысли Гомбровича, делающая его книги тем более важными для нас, аргентинцев. В царстве духа нет ни случайности, ни причинности. Человек в большой мере свободен творить собственную судьбу, и я не верю, будто этот поляк по чистой случайности провел среди нас двадцать четыре года жизни. Допустим, Гомбрович, отзываясь на приглашение посетить нашу часть света, случайно и непреднамеренно отправился в Буэнос-Айрес на польском судне, впервые переплывающем океан. И уклониться от развязанной следом мировой войны Гомбрович был, понятно, не в силах. Но вот пребывание у нас в большой мере продолжалось уже по его доброй воле.

Объяснюсь. Наша страна, как и Польша, принадлежит к тому, что можно было бы, пользуясь гомбровичевским языком, окрестить Территорией Незрелости. И это связывает наши страны с моей старой теорией о так называемой периферии Возрождения. Польша, Россия, Норвегия, Дания, Швеция, Испания, в строгом смысле слова, не прошли через Ренессанс, этот буржуазный процесс машинизации и рационализации, эпицентром которого стали Италия и Франция. Польша и другие названные выше страны сохранили полуфеодальные черты едва ли не до XX века, и неудивительно, что такой герой, как Дон Кихот, почти не воспринятый во Франции, был как родной принят в России. Безрассудство и отсутствие чувства меры можно понимать как пережитки добуржуазного склада ума, характерные для обеих оконечностей Европы. Это сродство усиливается гигантскими пастушескими равнинами Аргентины: никто так глубоко, как мы, не поймет роман "Анна Каренина" с его образованными скотозаводчиками и офранцуженными бюрократами, его помещиками и чиновниками. А вложите в руку знаменитому герою Гончарова вместо его вечной чашки чаю кувшинчик нашего мате, разве не проглянут в нем чуть ли не все черты старого аргентинца? Несобранность, средневековое чувство времени, не измеренного интересом, патриархальная жизнь старинных семейств, французское воспитание, презрение к национальному вместе с национальным чванством — все это объясняет, почему аргентинский студент (по крайней мере до Второй мировой войны) понимал "Записки из подполья" не в пример лучше профессора Сорбонны. Для последнего герои Достоевского оставались интеллектуальными нуворишами, существами едва ли не лишенными разума, неспособными оценить ясные, отчетливые идеи и настолько упорствующими в своей нелепости, что были готовы (вопреки традициям картезианских и бережливых французов) считать, будто два плюс два равно пяти. Забавно, но психологически вполне понятно, что эти московские варвары, равно как и наши аргентинские, преклонялись перед утонченной культурой Запада, его шотландскими быками и французскими романами (ведь мечтал же Достоевский писать как Жорж Санд!), немецкой философией, баден-баденскими лечебницами и казино. Так рус-

ские (и по тем же мотивам, что аргентинцы) становились "западниками" — явление, неотделимое от России и Ла-Платы, как водка и мате, вопреки тому, что думают на сей счет умничающие верхогляды, которые видят в нем признак отчуждения от национального. Европейцы — не западники, они европейцы.

Читая "Дневник" Гомбровича, который уже давно следовало перевести на испанский, я убеждаюсь, что моя теория похожа на правду и наблюдения над аргентинскими интеллектуалами вполне можно распространить на польских. Их, так же как и нас, болезненно задевает проблема интеллектуальной незрелости; они, так же как и мы, предпочитают жаловаться на отставание от Европы вместо того, чтобы увидеть в этом многообещающую и твердую опору своеобразия. Мы, как и они, обладаем преимуществами "варварских" стран, сохраняющих жизнеспособность и неиспорченность, которых давно нет у цивилизации, пережившей Ренессанс. Характерно, что настоящий экзистенциалистский бунт против этой цивилизации охватил как раз упомянутую выше варварскую периферию; чтобы в этом убедиться, достаточно назвать имена Достоевского и Кьеркегора, Ницше и Унамуно. Посреди охватившего наше время кризиса (а в этом кризисе можно видеть своего рода суд) нам, полякам и аргентинцам, предстоит оценить, кто мы на самом деле такие и что представляем собой в сегодняшнем мире. Для этого нам нужно преодолеть в себе две взаимосвязанные и постоянно заводящие нас в тупик страсти: чувство отсталости от Европы и безумную спесь по отношению к ней. Гомбрович совершенно разумно советует в "Дневнике" своим соотечественникам: нужно не соперничать с Западом и его формами, а осознать силу, скрытую в их собственной, еще не нашедшей завершения форме, их собственную, еще не исчерпанную незрелость, а вместе с ней свежесть и непосредственность свободы от мира окаменевших форм. В конце концов он прописывает другим и практикует на себе дионисийское варварство, черпающее в молодости и незрелости силу обновления. И это хороший урок нам всем.

Сантос-Лугарес, июль 1964 г.

Сьюзен Сонтаг
"Фердыдурке"

Перевод с английского Бориса Дубина

Начнем с заглавия. Оно ничего не значит. Героя по имени Фердыдурке в романе нет. Перед нами предупредительный знак о дерзкой выходке, которая затем последует.

Опубликованная в конце 1937 года тридцатитрехлетним автором "Фердыдурке" – вторая книга замечательного польского писателя. Заглавие первой – "Воспоминания времен незрелости" (1933) – скорее подходило роману. Может быть, поэтому Гомбрович предпочел на сей раз прямую тарабарщину.

Та, первая, книга – варшавский рецензент набросился на ее заглавие, увидев в нем постыдное и непреднамеренное признание, – представляла собой сборник рассказов. Они стали появляться в журналах начиная с 1926 года и за два с лишним года были по большей части опубликованы, включая ту пару ("Филидор, приправленный ребячеством" и "Филиберт, приправленный ребячеством"), которую автор вместе с пародийным предисловием использует потом в первых главах "Фердыдурке", как и в своей дебютной пьесе "Ивонна". В начале 1935 года он принялся за роман. Может быть, заглавие сборника причудливых историй показалось ему – по его собственному выражению – неподходящим? Так или иначе, теперь он задумал *настоящую* провокацию. Он напишет эпическую вещь в защиту незрелости. Как заявлял он в конце жизни, "незрелость – именно это вызывающее, неприятное слово я сделал своим боевым кличем".

"Незрелость" (не "молодость") – слово, на котором Гомбрович настаивает. И настаивает потому, что за ним обычно стоит нечто малопривлекательное, нечто, воспользуюсь еще одним его ключевым понятием, "низкое". Страсть, которую его роман описывает и утверждает, это не фаустовское желание заново пережить славные дни юности. Происходящее с тридцатилетним героем, который, проснувшись однажды утром с чувством никчемности собственной жизни и всех своих планов, был отправлен в школу и возвращен в мир безусых однокашников, не назовешь иначе как унижением, крахом.

С самого начала Гомбрович, как писал он позже, решил принять "диковинный, эксцентричный, немыслимый тон", граничащий с "манией, сумасшествием, абсурдом". Вывести из себя (мог бы сказать он) – значит взять верх. Я мыслю – следовательно отвергаю. Молодой охотник за славой в варшавских литературных кругах 1930-х годов, Гомбрович с его непредсказуемыми гримасами и выходками уже успел стать легендой писательских кафе. На каждой странице он хочет добиться от читателя та-

© Susan Sontag, 2001
© Борис Дубин. Перевод, 2004

кого же неистовства в ответ. Грандиозная и сумасбродная его книга — непрестанная провокация адресата.

Тем не менее Гомбрович, кажется, не знал, куда его занесет, когда принимался за роман. "Я хорошо помню, — заявлял Гомбрович в 1968 году, за год до смерти (действительно ли он помнил или укреплял собственную легенду?), — что, приступая к "Фердыдурке", хотел написать всего лишь едкую сатиру и тем самым потешиться над недоброжелателями. Но слова вдруг понеслись в неудержимой пляске, закусили удила и очертя голову бросились неведомо куда с такой скоростью, что мне потом пришлось заново переписывать начало, чтобы придать ему ту же карикатурную чрезмерность".

Однако загвоздка здесь, по-моему, была не в том, что начальным главам не хватало сумасшедшей энергии остальных. Автор еще не предвидел, бремя какого сюжета — сюжета о природе любовной страсти, о культуре и особенно польской культуре — придется нести его повествованию.

"Фердыдурке" начинается сном — перенесением героя в абсурдный мир, где большое делается маленьким, а маленькое чудовищно большим — вроде попочки во все небо. В сравнении с местностью, которую Льюис Кэрролл наворожил для своей незрелой героини, гомбровичевская страна чудес, где все меняется и перекраивается на глазах, буквально бурлит похотью. <...>

В истории Алисы ребенок попадает в бесполый подземный мир, которым правит новая, фантастическая, но по-своему неумолимая логика. В "Фердыдурке" обернувшийся школьником взрослый открывает для себя новую, мальчишескую свободу оскорблять других и отдаваться непристойному желанию.

Роман начинается перенесением и перенесением же заканчивается. Первое (по воле профессора Пимко) возвращает героя в мир подлинных, то есть бесконтрольных, желаний и чувств. Второе представляет героя на воображаемом перелете к так называемой зрелости. <...>

"Фердыдурке" — одна из самых воодушевляющих и откровенных книг о сексуальном желании, и при этом без единой сексуальной сцены. Говоря начистоту, карты тут с самого начала тасует Эрос. Кто бы не поддался зову крестца, ягодиц и бедер, заглушив ропот *таких* общественных приличий? Голова может или хочет приказывать. Но царит попочка.

Позже автор назвал свою книгу памфлетом. А кроме того — пародией на философскую повесть типа вольтеровской. Гомбрович — один из самых непримиримых спорщиков XX века. "Идти *наперекор* во всем, вплоть до мелочей, — заявлял он, — высший долг сегодняшнего искусства". "Фердыдурке" — блистательный философский роман. Философия придает ему вес и крылья.

Автор хулиганит и громит, издевается и шутит, но он совершенно серьезен в одном — в своем проекте переоценки ценностей, в критике ходульных "идеалов". "Фердыдурке" — один из немногих известных мне романов, которые можно назвать ницшеанскими (в сравнении с ним поразительная фантазия "Steppenwolf"[1] Гессе, по-моему, подпорчена сентиментальностью). Ницше сокрушался, видя в славянском мире подъем ценностей, принесенных христианством: он призывал преодолеть скомпрометированные идеалы и достигнуть новых уровней господства

1. "Степной волк" (*нем.*) — роман Германа Гессе (1927).

над собой и другими. Гомбрович же, отстаивая "человеческую" потребность в несовершенстве, неполноте, молодости, заявлял о приверженности к низшим формам бытия. Поросячьи игры юнцов могут оказаться слишком сильным противоядием от самодовольства взрослых, но Гомбрович говорил именно о них. "Моим идеалом навсегда стала деградация. Я поклонился рабу". Это по-настоящему ницшеанский проект срывания масок, разоблачения, сопровождаемый веселым сатировским хороводом противоположностей — зрелого и незрелого, целого и частей, одетого и растелешенного, гетеросексуального и гомосексуального, завершенного и неоконченного.

Гомбрович с удовольствием пускает в ход многие приемы высокого литературного модернизма (позднее перекрещенного в "постмодерн"), который нарушает традиционный этикет романного письма; такова у него прежде всего фигура болтливого и назойливого рассказчика, заходящегося от собственных противоречивых переживаний. Его бурлеск то и дело переходит в пафос. Не прихорашиваясь, он становится отвратителен; не паясничая — уязвим и жалок.

Незрелый рассказчик — рассказчик откровенный, даже если он рисуется тем, что обычно не выставляют напоказ. При этом его не назовешь "искренним": искренность — из тех идеалов, которые в мире откровенности и провокации теряют смысл. "Искренность в литературе ведет в тупик... чем искусственнее мы, тем ближе к откровенности. Искусственность дает художнику подступиться к неприятной правде". О своем знаменитом "Дневнике" Гомбрович говорит:

Читали вы хоть когда-нибудь "искренний" дневник? Да искренний дневник – самый лживый дневник... До чего же, в конце концов, скучная вещь эта искренность! И бесполезная.

Так что же делать? Мой дневник должен быть искренним, но не может быть искренним. Как разрешить эту проблему? У слова, свободного, разговорного слова есть одна утешительная особенность – оно ближе всего к искренности не в том, в чем исповедуется, а в том, к чему устремлено и за чем гонится.

Поэтому я ни за что не должен превращать дневник в исповедь. Нужно показывать себя "за работой", в стремлении некоторым образом рассчитывать на читателя, в желании лепить себя под его взглядом. "Вот каким я хотел бы выглядеть в ваших глазах", а не "Вот каков я на самом деле".

Поэтому как бы прихотливо ни изгибался сюжет "Фердыдурке", каждый читатель понимает: герой и его устремления — лишь переодетый автор с его патологиями. Став Джо Ковальским (так передано на английский польское имя героя-повествователя "Фердыдурке"), писатель Гомбрович — вместе с автором провалившейся, многократно осмеянной книги под названием (вот именно!) "Воспоминания времен незрелости" — позволяет читателю *не* думать о человеке, написавшем этот роман.

Писатель, упивающийся воображаемым отречением от себя и своих привилегий. Писатель, мечтающий перенестись в юность и представляющий это как своего рода киднеппинг, отказ от заранее расписанной судьбы взрослого, вычеркивание себя из окружающего мира.

А потом фантазия становится правдой. (Мало у кого из писателей жизнь до такой степени напоминает судьбу.) За несколько дней до рокового первого сентября 1939 года тридцатипятилетний Гомбрович отправляется в "незрелый" Новый Свет, что окажется неожиданным из-

гнанием из Европы. Переворот всей реальной жизни был столь же решительным, как воображаемое превращение тридцатилетнего героя в сопляка-школьника. Выброшенный безо всяких средств на берег, где никто от него ничего не ожидал, поскольку никто о нем даже не слышал, он получил чудесную возможность утратить свое "я". В Польше он был родовитым Витольдом Гомбровичем, крупным "авангардным" автором, написавшим книгу, которую многие (включая его друга, еще одного замечательного польского писателя той поры, Бруно Шульца) считали шедевром. В Аргентине же, как он признавался, "я был никем и поэтому мог делать все что хочется".

Невозможно представить Гомбровича без двадцати четырех лет его жизни в Аргентине (большую часть которых он бедствовал) — Аргентине, ставшей продолжением его фантазий, его несгибаемости, его гордости. Он покинул Польшу сравнительно молодым, а вернулся в Европу (но не в Польшу) почти шестидесятилетним и десять лет спустя умер на юге Франции. Не то чтобы разлука с Европой сделала Гомбровича писателем: человек, два года назад опубликовавший "Фердыдурке", был художником абсолютно сложившимся. Скорее она стала пророческим подтверждением того, что автор уже знал по своему роману, придав нацеленность и остроту замечательным книгам, которые он написал потом.

Ордалия эмиграции — а для Гомбровича она стала настоящей ордалией — укрепила в нем боевой дух. Об этом говорит гомбровичевский "Дневник". "Дневник" (три тома его английского издания — все что угодно, только не "личная" исповедь) читается как свободное повествование, постмодерный текст avant la lettre[1]; иными словами, он живет по той же программе нарушения приличий, что и "Фердыдурке". Восклицания о поразительном даре автора и остроте его интеллекта соседствуют с беглыми отчетами о неуверенности, несовершенстве и замешательстве, с безбоязненными признаниями в тяжелейших варварских предрассудках. Чувствуя неуважение к себе со стороны литературных кругов Буэнос-Айреса конца 1930-х годов и стремясь в ответ противопоставить себя их оживленному существованию, Гомбрович, видящий среди них лишь одного по-настоящему большого писателя, объявляет себя "противоположностью" Борхеса: "Он с головой погружен в литературу, тогда как я — в жизнь. По правде говоря, я — полная противоположность литературе".

Принимая — по крайней мере на словах — в самоубийственном споре Гомбровича с литературой его сторону, многие сегодня считают его лучшей вещью именно "Дневник", а не "Фердыдурке".

Вряд ли кто не помнит знаменитое начало гомбровичевского "Дневника":

Понедельник. Я.
Вторник. Я
Среда. Я
Четверг. Я.

Выложив эту карточную комбинацию, Гомбрович посвящает пятничную запись тонким размышлениям над прочитанной польской прессой.

1. Раньше изобретения самого этого слова (*франц.*).

Цель автора — задеть своей эгоцентричностью: писатель должен изо дня в день защищать собственные границы. Но писатель — это еще и тот, кто должен забывать о любых границах, и эготизм — предпосылка духовной и интеллектуальной свободы, доказывает Гомбрович. За "я... я... я..." видишь одинокого эмигранта, строящего рожи бесконечному "мы... мы... мы..." Гомбрович никогда не переставал спорить с польской культурой, с упрямым коллективизмом ее духа (известным под именем "романтизм"), с писательской одержимостью страданиями нации, национальным своеобразием. Неутомимая проницательность и энергия наблюдений над культурой и искусством, прицельность нападок на польскую веру, задиристая сварливость в конце концов сделали Гомбровича самым влиятельным за последние полвека прозаиком его страны.

Чувство отчужденности от европейской культуры и от всего западноевропейского у поляков, переживших несколько волн иностранной оккупации, гораздо лучше, чем можно было ожидать, подготовило бедного эмигранта Гомбровича к многолетней и практически полной литературной изоляции. Он без страха взялся за труднейшее предприятие — придать глубокий, освобождающий смысл своему абсолютно не гарантированному положению в Аргентине. Эмиграция стала проверкой его призвания и обогатила его как писателя. Укрепившись в неприязни к националистическому идолопоклонничеству и самоупоению своих соотечественников, он стал образцовым гражданином мировой литературы.

От сугубо польских мишеней гомбровичевской язвительности через шестьдесят с лишним лет после публикации "Фердыдурке" мало что сохранилось. Они ушли вместе с Польшей, в которой он родился и вырос, — разрушенной напастями войны, нацистской оккупацией, советским господством (которое удерживало Гомбровича от возвращения), потребительством 90-х годов. Почти так же устарело и его утверждение о взрослых, которые-де всегда стремятся к зрелости:

В отношениях с другими мы хотим быть развитыми, старшими, зрелыми, почему и употребляем язык зрелых людей, говорим, к примеру, о Красоте, Благе, Истине... Но в нашей собственной, внутренней реальности чувствуем лишь свою неуместность, незрелость...

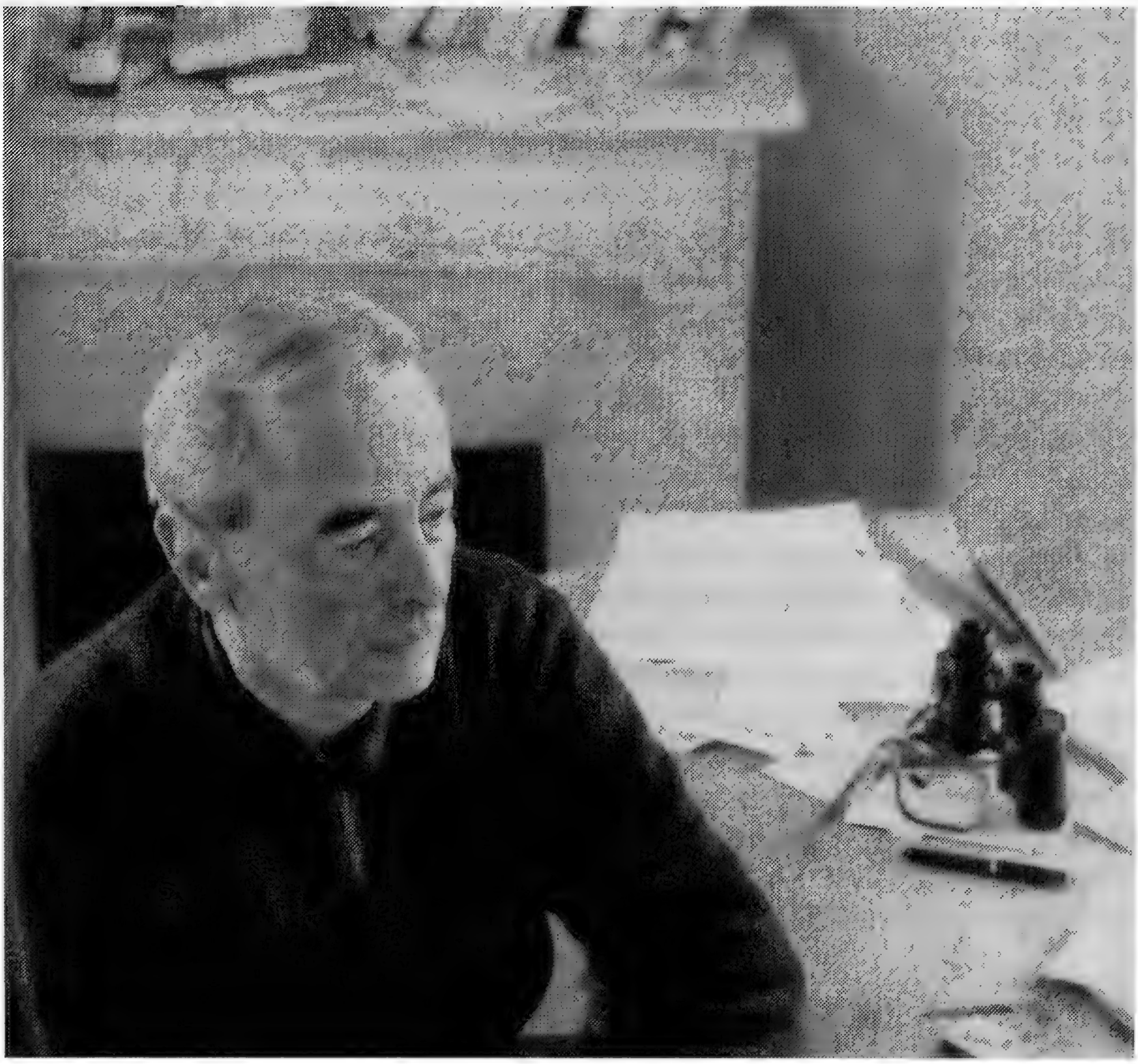
Кажется, эти слова принадлежат другому миру. Как неподходяще они сегодня звучат, насколько обескураживающе неуместными чувствуют себя теперешние люди под прикрытием таких высокопарных абсолютов, как Красота, Благо, Истина. Европейские идеалы зрелости, развитости, умудренности уступили место американскому прославлению Вечно Юного. Дискредитация литературы и прочих разновидностей "высокой" культуры как элитистских и умерщвляющих жизнь — опора новой культуры, где тон задают ценности развлечения. Нескромность в отношении чьих-то сексуальных ориентаций, отличающихся от общепринятого стандарта, — обычная и даже обязательная часть нынешних публичных увеселений. Призывающий возлюбить "низшее" должен был бы теперь отстаивать мысль, будто оно вовсе не низшее, а как раз наоборот — высшее. Заботливо ухоженные мнения, против которых бунтовал в свое время Гомбрович, лишились сегодня всякого ухода.

Так может ли сейчас "Фердыдурке" кого-то задеть? Остался ли роман скандальным? Во всем, за исключением едкого женоненавистничества,

пожалуй, нет. А остался ли он экстравагантным, блистательным, выводящим из себя, смелым, потешным... короче говоря, бесподобным? Конечно да.

Ревнивый страж собственной легенды, Гомбрович и говорил, и не говорил правду, утверждая, что счастливо избежал любых форм величия. Но что бы он там ни думал или будто бы думал на этот счет, сам факт созданного шедевра и его раннего ли, позднего ли признания имеет неустранимые последствия. В конце 1950-х годов роман "Фердыдурке" был, под неусыпным попечительством автора, переведен на французский, и Гомбровича наконец "открыли". Ничего не желал он больше, чем этого успеха, этого триумфа над соперниками и клеветниками, подлинными и мнимыми. Но писатель, рекомендовавший читателям старательно избегать всяческого самовыражения, настороженно относиться к любым собственным верованиям, не полагаться на свои чувства, а пуще всего — никогда не отождествлять себя с тем, как их определяют другие, вряд ли мог и в подобной ситуации не настоять на том, что он, Гомбрович, одно, а *эта книга* — другое. И он в самом деле ниже ее. "Книга, преображенная в культуру, парила в небе, а я оставался внизу". Как гигантская попочка, парящая в небе над бессильным возвращением героя к нормальности на последних страницах романа, "Фердыдурке" вознеслась в эмпиреи литературы. Да здравствует же ее высокое издевательство над любыми попытками приструнить желание... и достигнуть литературного величия.

2000 г.



Пьер Паоло Пазолини
Витольд Гомбрович. "Дневник. 1957–1961"

Перевод с итальянского Елены Балаховской

"Дневник" Витольда Гомбровича — книга-аномалия. Поскольку это дневник, он бы должен был раскрыть нам подлинную внутреннюю жизнь автора, поведать, кто он таков; но поскольку это дневник "обработанный" (а именно так заявлено), текст тяготеет к тому, чтобы дистанция между автором и читателем сохранилась. И все же, если Гомбрович заранее четко подумал, что́ он расскажет о себе, а что нет, осуществить свой план он не сумел: в действительности нам удается узнать о нем больше, чем он намеревался сообщить.

В этом дневнике ничего нет из того, что обычно привлекает в дневниках. Нет даже той непроизвольной красоты, которую сам Гомбрович умел признать и оценить ("... как ни поверни, дневник — это всегда бульон с привкусом реальности, и мне, например, приятно узнать, что 3 мая 1942 года в Венсенском лесу Бобковский учил жену кататься на велосипеде").

"Дневник" Гомбровича ни в коей мере не является дневником экзистенциальным (за исключением, как мы увидим, двух коротких главок). Это скорее ворох впечатлений интеллектуала, пережитое и то, что предстоит пережить, уже стершееся или только намечающееся, как *бережно лелеемый позыв*. Ненормально вот что: подобные переживания, если они находят свое выражение в книге (например, "Космосе", или "Транс-Атлантике" или, прежде всего, "Фердыдурке"), принадлежат культуре, в "Дневнике" же они до культуры не дотягивают! Складывающийся из них образ автора — образ "недоделанного" человека, не только малообразованного, но и неумного, что-то вроде несчастного неотесанного шута, который считает, что истину понять трудно, но произносить ее вслух нужно обязательно, что неуместность можно спланировать, что грубость — составная часть гениальности, а ухмылка — знак превосходства.

Об этом "нежеланном" человеке нам удается узнать очень мало. Убежав в 1939 году из польской провинции, он поселился в провинции аргентинской; не обзаведясь собственным домом, колесил по Буэнос-Айресу и маленьким городкам, поскольку располагал свободным временем, которое можно было тратить как угодно, в том числе и на общение с другими людьми; у него не было альтернативы одиночеству, которое он выбрал вопреки собственному желанию (писатель действительно не любил одиночества, и потому оно ожесточило его и даже сделало более грубым); приезжая в какой-нибудь город, Гомбрович немедленно направлялся к главному редактору местной газеты и просил

© Елена Балаховская. Перевод, 2004

представить его местным интеллектуалам, которых на самом деле видел насквозь, но которых использовал просто для того, чтобы одним и тем же способом удовлетворять свои нарциссические потребности; далее следует навязчивое перечисление всех его словесных побед в кафе.

Строя из себя позднего романтика, постоянно культивируя свой "демонизм", предлагая "иной" взгляд на все, насмешливо разрушая любую возможность критического отношения читателя, которое упреждает дешевой игрой, достойной самоуверенного юного литератора (вроде булгаковского Понырева[1]), Гомбрович не замечает невероятной наивности своего бахвальства, как не замечает и еще более невероятной наивности, с которой говорит о своих произведениях, о своих издателях, о своих польских рецензентах. Это наивность, за которой стоят скорее низменные, чем возвышенные чувства. Он прекрасно сознает, что в сущности весьма банален, но пытается облагородить свою банальность, используя некую метафизическую конструкцию, заимствованную у тех самых латиноамериканцев, по отношению к которым вел себя так снобистски и провокационно (а на самом деле просто пытался вымолить толику внимания).

С болезненной наблюдательностью описывает Гомбрович загадочные мелочи: жуков, лежащих на песке лапками кверху, три камешка на тропинке, висящую руку официанта. Но это "напускная" болезненность, которую автор как раз и оправдывает недостроенными метафизическими конструкциями. В других случаях он с "напускным" ожесточением набрасывается на ту или иную проблему: таковы его яростные нападки на живопись или не менее яростные нападки на Баха. Автор считает себя обязанным быть нарушителем спокойствия и скандалистом; но стоит в Буэнос-Айрес приехать главному редактору французского журнала "Прёв", и он тут же становится воплощением здравого смысла, уважения и благоразумия.

Все, что Гомбрович говорит — весьма язвительно и с непременным восклицательным знаком в конце, — не более чем "эрзац": своего несчастья он не касается никогда. Но не из скромности и не потому, что считает ироническое отстранение необходимым, а потому, что сам о нем не ведает.

Лишь случайно удается нам узнать важные вещи: что он серьезно болел ангиной, практически боялся задохнуться, страдал клаустрофобией и, по-видимому, вуайеризмом. Но это лишь одна, клиническая, сторона его "несчастья", другая сторона, публичная и общественная — изгнание, — еще серьезнее, но о ней он говорит как о чем-то само собой разумеющемся и общеизвестном. Почему? Очень просто: неосознанность его отношения к собственному личному несчастью связана с тем, что он не читал Фрейда, а условно-традиционное описание пережитого им исторического несчастья — с тем, что он не знает Маркса.

Кругозор автора "Дневника" ненормально узок по сравнению с кругозором современного писателя. Возможно, оригинальность Гомбровича как сочинителя объясняется этим огромным пробелом (Фрейд и Маркс), именно этой операцией вычитания, благодаря которой его фантазия обретает необходимое ей отсутствие связей. Но в "Дневнике" подобный пробел непростителен. Аристократизм (в том числе и наслед-

1. Персонаж романа "Мастер и Маргарита", более известный как Иван Бездомный. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ственный), освободивший Гомбровича от свойственной буржуа заботы о том, чтобы стать действительно образованным человеком, сделал его анархистом, бессознательно выступающим в роли реакционера. А доводы, которые он приводит в защиту своей позиции, — это доводы самоучки, человека неприспособленного, неудачника.

Весь его антикоммунизм вызывает жалость, настолько он банален, даже вульгарен. Что касается критики другой системы, капиталистической и католической, то критика эта робка и целиком основана на дешевых парадоксах, на журналистских остротах (быть может, писатель опасался недовольства своих аргентинских хозяев).

Не имея личной жизни, дома, родины, партии и прочего, он сделал литературу единственным смыслом жизни и принял литературный мир настолько всерьез, что сжимается сердце. И никогда ни на мгновение не замечал он несовместимости своего хвастливого анархизма со своей постоянной покорной интегрированностью в общественную систему (даже если она носила космополитический характер и не была скомпрометирована связью ни с какой конкретной властью).

Почему я заговорил об этой неудачной книге (ко всему прочему, также и скверно отпечатанной)? Потому что в ней есть два поразительно хорошо написанных раздела — IX и X (1958 год); они образуют самостоятельный очерк, который мы могли бы назвать "Очерк о чангос".

Речь идет о дневнике путешествия в Сантьяго-дель-Эстеро (здесь, как в обратном кадре, мелькают также очень важные и ранее замалчивавшиеся подробности предшествующей поездки в Тандиль и, среди прочего, потрясающий фрагмент об отношениях с шестнадцатилетним интеллектуалом Гиже).

С самых первых страниц описание Сантьяго кажется подозрительным, он словно чреват таинственной новизной. До сих пор автор представлялся нам чем-то вроде странного, неугомонного клирика, замечающего вокруг лишь литераторов и литературные кафе, но лишенного физического существования. И вдруг неожиданно он начинает воспринимать чувственную красоту и описывать ее в высшей степени точно и выразительно.

Правда, уже на предыдущих страницах Гомбрович долго распространялся по поводу столкновения старости и молодости, которая стала темой его надуманной "Порнографии". Но здесь, в "Дневнике", столкновение его старости и крайней молодости чангос оказывается тревожным, непредвиденным, полным изящества и жизненной силы.

Кто такие эти чангос? Это молоденькие слуги-люмпены, индейцы по происхождению, если я правильно понял. Они неожиданно появляются как важнейшие действующие лица в жизни Гомбровича только в этом разделе "Дневника". Описание их внешности — а оно всегда начинается с кистей рук — исключительно с точки зрения языка; высшее спокойствие наблюдателя соединено с раптусом[1] того, кто в момент интуитивного прозрения мгновенно и до самых глубин постигает невинность и аномалии природы. Эти чангос — создания идеально-поэтические, они противостоят всему как "иное", как то, что мы могли бы назвать молодостью, грацией или красотой, но что на самом деле остается безымянным, потому что автор отделяет чангос от их подлинной реальности, реальности пола.

1. Раптус (от *лат.* raptus) — приступ острого возбуждения, вызванного сильным аффектом.

Весь Сантьяго оказывается под знаком этой не находящей выражения физической красоты, в которую невозможно поверить до тех пор, пока она, внезапно и случайно, не проявит себя через телесность чангос — жалких чистильщиков сапог, рассыльных, гарсонов, разносящих напитки и т. п. Их первое и главное отличительное свойство — то, что они слуги, более того, рабы.

Воодушевление, которое рождается здесь в груди "несчастного" господина Гомбровича, определяет тон всего этого раздела книги. Как по раскаленному песку, под градом горящей смолы, Гомбрович идет и идет по следам этих своих "мальчишек", жалкий преследователь рабов. Но он не смеет ни назвать, ни описать этот факт так, как есть (чего по-человечески можно было бы ожидать от него), а именно — как "педерастию". Но какой тогда смысл так ухмыляться, так неустанно, победно, рьяно ухмыляться за спиной жалких провинциальных польских и аргентинских конформистов?

1972 г.

Рикардо Пиглья
Б*орхес и* Г*омбрович*

Перевод с испанского Бориса Дубина

В “Транс-Атлантике” Гомбровича (начнем с одного из лучших романов, написанных в Аргентине) есть сцена, врезающаяся в память. Речь идет о своеобразной саркастической пайяде[1] между неведомым польским писателем, носящим, ясное дело, имя Гомбрович, и писателем аргентинским, в котором нетрудно угадать черты Эдуардо Мальеа[2], блестящего аргентинского романиста той эпохи. Этот “Мальеа” (а может быть, Мухика Лайнес[3], но первым здесь приходит на ум Карлос Архентино Данери[4]) ведет себя как утонченный ценитель, знаток и буквально шагу не ступит без ссылки на авторитеты. Стоит “Гомбровичу” заговорить, как “Мальеа” объявляет, что его слова давно сказаны другими. Лишившись оригинальности, европейский аристократ и писатель-авангардист чувствует, как его почти незаметно выставили варваром. С этой минуты политика Гомбровича в корне меняется: он избирает тактику грубой иронии и скрытого вероломства — так могли бы вести себя, по нашим понятиям, арауканы в книге Мансильи[5].

Мне нравится эта сцена, я узнаю в ней краски и сюжеты аргентинской прозы: иностранные языки, схватка, страсть к цитатам. В форме игры, как нечто сочиненное, тут представлены проблемы культурной неполноценности. В этом смысле “Транс-Атлантик” — расширенная версия “Фердыдурке”, герой которой теперь — нация: неполноценной, незрелой, все еще недоразвитой в романе выступает героическая и романтическая польская традиция. Как чувствует себя тот, кто принадлежит к второразрядной культуре? Кто пишет на языке захолустья? Гомбрович размышляет об этом в “Дневнике”, и аргентинская культура служит ему лабораторией для проверки гипотез.

В этой точке Борхес и Гомбрович сходятся. Достаточно вспомнить один из основополагающих текстов, дающих ключ к борхесовской поэтике, — “Аргентинский писатель и традиция”[6]. Что такое аргентинская традиция? Борхес начинает с этого вопроса, и его эссе — своего рода манифест, сопровождающий художественную постройку “Алефа”, новеллы об аргентинском типе письма. Как прийти к универсальности, живя в пригороде мира? Как не впасть в национализм, не переставая быть аргентинцем (читай поляком)? Нужно ли оставаться поляком (читай ар-

© Espacios de Critico, 1987
© Борис Дубин. Перевод, 2004

1. Пайяда — так называют в Аргентине и Чили состязание певцов-пайядоров, под гитару импровизирующих перед собравшимися песни в народном духе. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Эдуардо Мальеа (1903–1982) — аргентинский прозаик.
3. Мануэль Мухика Лайнес (1910–1984) — аргентинский писатель.
4. Карлос Архентино Данери — пародийный герой новеллы Борхеса “Алеф”, незадачливый поэт с манией величия, претендующий на национальную премию.
5. Лусио Викторио Мансилья (1831–1913) — аргентинский политический деятель, военачальник и дипломат, участник войн с индейскими племенами Ла-Платы; речь идет о его автобиографической книге “Путешествие к индейцам арауканам” (1879).
6. Публичное выступление Борхеса 1951 г., позже включается в переиздания сборника его эссе “Обсуждение”.

гентинцем) или согласиться на титул "европейца в изгнании", как называли Гомбровича в Буэнос-Айресе? В Коране, как известно, не упоминается верблюд[1], но мир, зашифрованный в "Алефе" (пусть апокрифическом, ложном "Алефе"), может открыться в подвале дома на улице Гарая, в районе Конституции, наводненном итальянцами и китчевыми символами современности.

Главный тезис борхесовского эссе в том, что второразрядные, маргинальные литературы, находящиеся в стороне от больших европейских течений, могут оставаться самими собой и "без почтения" относиться к большим традициям. Как пример подобного местоположения Борхес, наряду с аргентинской литературой, называет еврейскую культуру и ирландскую словесность. Без тени сомнения можно добавить к этому списку польскую литературу — и, в частности, Гомбровича.

Пограничные народы существуют между двух разных историй, в двух разных временах и по крайней мере на двух языках. Одна национальная культура, раздробленная и рассеянная, находится в конфликте с господствующей традицией зарубежной высокой культуры. Для Борхеса (как и для Гомбровича) такое промежуточное местонахождение дает возможность по-особому использовать культурное наследие: отсюда механизмы фальсификации, склонность к заимствованиям, перевод как разновидность плагиата, перемешивание и комбинирование разных регистров, скрещивание различных линий. Это и есть аргентинская традиция.

Говоря "традиция", я имею в виду большую традицию, историю стилей.

Можно представить сцену из "Транс-Атлантика" написанной по-французски (от этого она не станет менее "аргентинской"). Или представить испанский язык Гомбровича. Что произошло бы, напиши Гомбрович свой "Транс-Атлантик" по-испански? Я хочу сказать, что произошло бы, превратись Гомбрович в Конрада, поляка, который, как известно, перешел на другой язык и во многом сформировал язык современной английской прозы? Можно предположить эффект, который произвел бы в аргентинской литературе испанский язык Гомбровича. На ум тут же приходит Роберто Арльт[2]. Желая принизить этого писателя, кто-то сказал, что Арльт объясняется на буэнос-айресском жаргоне лумфардо с иностранным акцентом. Замечательное определение *эффекта*, который производит его стиль. Оно дает понять, как выглядел бы испанский язык Гомбровича: диковинная смесь народных форм со славянским акцентом.

Не раз говорилось, что жизнь на другом языке неотделима от опыта современной литературы: таков уже упомянутый случай Конрада, таков Ежи Косинский, а также Набоков, Беккет или Исаак Динесен[3]. Польский был языком Гомбровича, который он использовал почти исключительно на письме как своего рода идеолект, частный язык. Поэтому первый роман, написанный Гомбровичем в изгнании, "Транс-Атлантик", представляет собой предельный случай соглашения, которое писатель

1. Цитата из названного эссе Борхеса, который, в свою очередь, цитирует английского историка Эдуарда Гиббона (впрочем, верблюдицы в Коране все же упоминаются — например, в суре 91 "Солнце").
2. Роберто Арльт (1900—1942) — аргентинский прозаик и драматург.
3. Исаак Динесен — псевдоним датской писательницы Карен Бликсен (1885—1962), она писала прозу на датском и английском языках; ей будет посвящен один из следующих выпусков рубрики "Портрет в зеркалах".

заключает с утраченным языком. Роман этот почти непереводим, как бывает во всех ситуациях, когда художник разлучен с языком и поддерживает с ним отношения, которые выходят за обычные рамки и в которых ненависть переплетается с ностальгией. А разве замечательные "Поминки по Финнегану " не написаны на языке изгнания? Я говорю так, потому что печатью языкового отчуждения отмечены, на мой взгляд, оба замечательных стиля, которые созданы в аргентинском романе XX века, – я говорю о Роберто Арльте и Маседонио Фернандесе[1]. Их языки кажутся языками изгнания: так, вероятно, звучал бы испанский Гомбровича.

Думая о перекрестке двух языков, конечно же, немедленно вспоминаешь Борхеса, испанский язык Борхеса, точный, ясный, близкий к совершенству. Сам Борхес возводил родословную своего стиля к Полю Груссаку[2]. Этот акклиматизировавшийся в Ла-Плате европеец, в отличие от Гомбровича, сменил язык, перешел на испанский и первым в Аргентине задал нормы литературного стиля. (В этом смысле, можно сказать, что наш Конрад – это Груссак.) Вот у кого Борхес искал "аргентинские" истоки собственного стиля. Мы теперь, понятно, без труда обнаруживаем в написанном Груссаком следы Борхеса (виною чему борхесовское эссе "Кафка и его предшественники").

Стиль Борхеса дает парадоксальный эффект: ему невозможно следовать, но легко подражать, так что манера его письма по-школьному удостоверяет правильность языкового употребления. "Для нас тогда писать значило писать как Лугонес"[3], – говорил Борхес, противоречивым образом определяя собственное место в современной литературе. Как заставить эпигонов замолчать? (Чтобы от них оторваться, и нужно время от времени менять язык.)

Стиль Борхеса задним числом повлиял на историю и иерархию стилей в аргентинской литературе. Груссак, Лугонес, Борхес – эта линия очерчивает область условностей, господствовавших в нашем литературном языке. Для этой традиции стили Арльта и Маседонио – все равно что иностранные языки.

Борхес довел до совершенства стиль, в основе которого отстраненное отношение к родному языку. Конфликт между языком, на котором читаешь, и тем, на котором пишешь, сконцентрирован в одном борхесовском анекдоте (без сомнения, придуманном). Первой книгой, которую я в жизни прочитал, рассказывал Борхес, был "Дон Кихот" на английском языке. Когда я потом прочитал оригинал, он показался мне плохим переводом (в этом анекдоте, понятно, уже заключен "Пьер Менар"). Как читать на испанском, словно это английский? Или лучше сказать: как писать на испанском, имеющем точность английского, но сохраняющем ритмы и тона родного наречия? Разрешив эту дилемму, Борхес создал один из лучших образцов испаноязычной прозы со времен Кеведо.

О гомбровичевском отношении к двуязычию, к скрещению польского с испанским, свидетельствует аргентинский перевод "Фердыдурке",

1. Маседонио Фернандес (1874–1952) – аргентинский писатель, наставник молодого Борхеса; его легендарный образ и биография, стилистика его экспериментальной прозы транспонированы в романе Рикардо Пиглья "Город, которого нет" (1992).
2. Поль Груссак (1848–1929) – аргентинский писатель, выходец из Франции.
3. Леопольдо Лугонес-и-Аргуэльо (1874–1938) – аргентинский поэт и прозаик, авторитетный стилист.

изданный в 1947 году. Немного мне известно литературных экспериментов такой необычности и такой значимости. Первый черновой вариант Гомбрович сделал собственноручно, переведя роман на неожиданный, почти сновидческий испанский язык, который едва знал. Писатель, пишущий на языке, которого не знает либо который едва знает и с которым поддерживает зачарованную связь извне. Или, если угодно, так: выдающийся романист, который разрабатывает не известный ему язык, пытаясь перенести на другой берег океана ритмы своей польской прозы. По рассказам, Гомбрович стремился создать новый язык: не изобретать неологизмы (хотя несколько их, вроде "culeito", незабываемой "попочки", в романе есть), а изменять сам смысл слов, перенося их из одного контекста в другой и заставляя принимать новые значения. Потом над этим исходным материалом начала работать разноголосая, бредовая группа "под руководством замечательного представителя далекой кубинской литературы Вирхилио Пиньеры", вспоминал Гомбрович в предисловии к первому изданию романа. Вокруг Гомбровича и Пиньеры клубилась постоянно менявшаяся компания помощников, среди которых, понятно, были игроки в шахматы и бильярд, завсегдатаи кондитерской "Рекс", делившиеся своими лингвистическими находками, когда спор приближался к точке кипения. Никто в этой группе польского не знал, так что дебаты велись чаще всего на французском, к которому Гомбрович и Пиньера прибегали, если испанский уже не выдерживал их новых вывертов. Кубинское, французское, польское, "аргентинское" — смешение языков, живая материя творчества.

Гомбрович действительно переписал "Фердыдурке" наново, достаточно сравнить этот вариант с английским или французским переводом, чтобы убедиться — перед нами другой текст. Мы знаем, до чего мог дойти Джойс, переводя на итальянский главку "Анна Ливия Плюрабелли" из своего "Финнегана", знаем беккетовские переводы собственных романов на английский, и все же нам трудно представить эксперимент, напоминающий тот, что на улице Коррьентес в Буэнос-Айресе, на верхнем этаже кафе "Рекс", в середине сороковых годов учинил над "Фердыдурке" Гомбрович.

Переводам принадлежит решающее место в истории стилей. "Аргентинская" версия "Фердыдурке" Гомбровича — один из образцовых текстов нашей словесности. Никто не назовет его плохим переводом в том смысле, в котором Борхес говорил об испанском языке Сервантеса. В аргентинском варианте "Фердыдурке" испанский доведен до предела: вывернутый наизнанку, непохожий на себя, он напоминает язык будущего. И звучит как своего рода соединение (скрещивание) стилей Роберто Арльта и Маседонио Фернандеса.

Я бы сказал, так оно и есть. "Аргентинский" текст "Фердыдурке" каким-то таинственным способом связывает главные линии в движении современного аргентинского романа. Сегодня, когда споры о стиле Арльта поутихли, можно сказать, что Гомбрович был среди первых писателей, проложивших путь к пониманию этих новых тональностей языка, которые разительно отличались от твердых норм усредненного и условного литературного стиля. Аргентина, писал Гомбрович, это страна, где в речи продавца газет, рекламирующего новый номер литературного журнала утонченной элиты, больше стиля, чем у всех редакторов этого журнала, вместе взятых. Очевидно, он хотел сказать, что кристаллизовавшиеся формы литературного языка, стилевые манеры и

мании, ставшие абсолютной условностью, убивают музыку речи и что тона новой стилистики можно найти в самых темных и неожиданных местах.

А говоря о Маседонио Фернандесе, стоит добавить, что он был единственным аргентинским писателем, у которого Гомбрович нашел отклик. Маседонио первым опубликовал текст Гомбровича в переводе на испанский. В 1944 году он напечатал в своем журнале "Буэнос-айресские записки" главу из "Фердыдурке" – новеллу "Филидор, приправленный ребячеством". Встречались ли Маседонио и Гомбрович лично? В те годы оба жили затворниками, в бедных номерах, уверенные в собственных силах, но слабо представляя будущее своих книг. Во многих отношениях каждый из них был, возможно, единственным настоящим читателем другого. Можно почти безошибочно предполагать, что Маседонио читал "Фердыдурке": в одной из его неопубликованных пока вещей есть отсылки к гомбровичевскому роману. Что до Гомбровича, то он был единственным потенциальным читателем "Музея Вечной Литературы"[1], единственным, хочу я сказать, кто оказался бы на уровне замысла Маседонио.

Арльт, Маседонио, Гомбрович – аргентинский роман строится на их пересечении (как не исключает он и других сюжетов). Так что лучший аргентинский роман – это роман польский. Я хочу сказать, польский роман, переведенный в буэнос-айресском кафе на будущий испанский язык группой конспираторов во главе с мифическим графом. Всякий подлинный перевод – работа подпольная, он перестраивает прошлое, глядя из будущего, и принимает форму заговора.

Так можно ли сегодня – после всего сказанного – говорить об аргентинском романе? Каким он будет?

Мы, аргентинские романисты, пишем (среди прочего), чтобы ответить на этот вопрос.

1987 г.

1. Роман Маседонио Фернандеса опубликован в 1967 г.

Значительным культурным событием уходящего года стал "Блумсдэй-100" — юбилейное чествование романа "Улисс" Джеймса Джойса. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию эссе, посвященное этому событию, и интервью с Е. Ю. Гениевой — одним из первых отечественных специалистов по творчеству Дж. Джойса, его постоянным публикатором.

Е. Тарасова

"Улисс" forever[1]

В начале XX века ирландец Джеймс Джойс (1882–1941) еще не был широко известен, хотя к тому времени опубликовал и сборник стихов "Камерная музыка", и цикл новелл "Дублинцы", и роман "Портрет художника в юности". Но все изменилось в 1922 году, когда в Париже ограниченным тиражом вышел в свет новый роман ирландца – "Улисс". Он принес своему автору скандальную известность (дальнейшая публикация "порнографического" романа на долгие годы была запрещена во многих странах, в том числе, и в Ирландии) и всемирную славу. Возможно, даже литературное бессмертие. А ведь задумывал Джойс нечто совершенно иное и, вероятно, не столь сенсационное – небольшой рассказ об одном дне дублинского еврея Леопольда Блума (национальность была выбрана неслучайно – евреи в то время считались едва ли не иностранцами в католической Ирландии, и герой, согласно замыслу автора, находясь в самой гуще дублинской жизни, оставался сторонним наблюдателем). Под названием "День мистера Блума в Дублине" он должен был войти в уже упомянутый сборник "Дублинцы". Но вместо несостоявшегося рассказа один день мистера Блума ("география" та же – Дублин), "блумсдэй"[2], увековечен семисотстраничным трудом.

Джойс пошел наперекор существовавшей веками традиции и сделал предметом изображения в романе не какой-то *особенный* день в жизни героев, а просто день, в течение которого почти ничего не происходит, один день жизни. "Джойсоведы" не без основания заявляют, что один день Леопольда Блума – это одновременно и один день мира, в котором аккумулирована вся история человечества, вся история литературы от Гомера до современности. И даже ее будущее, поскольку новаторство ирландского автора, примененная им техника "потока сознания" задали направление развитию изящной словесности на долгие годы – без "Улисса" немыслим не только европейский модернизм, но и куда более близкий нам хронологически постмодернизм.

Блумсдэй, временная координата которого обозначена автором очень четко: 16 июня 1904 года, довольно скоро после выхода романа покинул пределы текста и стал датой общемирового значения.

© Е. Тарасова, 2004

1. Навсегда (*англ.*) (*Здесь и далее – прим. автора.*)
2. "Блумсдэй" от *англ.* Bloom's day – день Блума.

Отмечать 16 июня придумал сам Джойс (у него были причины не только литературного характера, но об этом ниже), ежегодно устраивавший в этот день торжественный обед. Несколько лет спустя, в середине 20-х, для того чтобы разнообразить традицию, друзья писателя изобрели развлечение – гулять 16 июня по Дублину, следуя путем Блума. Позже к ним стали присоединяться и читатели романа. Широкое празднование Блумсдэя началось в 50-х – в то время, когда "Улисс" еще был запрещен в Ирландии, – с курьезного инцидента. 16 июня 1954 года группа известных ирландских писателей отправилась было по привычному маршруту... Но сбилась с дороги – уж слишком много попалось на пути пабов. Пьяный дебош городских интеллектуалов не остался незамеченным простыми дублинцами, и в результате Блумсдэй, что называется, "пошел в народ". В 1960-м состоялось первое ирландское издание романа, и вскоре день 16 июня получил статус официального праздника. Появился и обычай – ни один Блумсдэй в Ирландии не обходится без жареной бараньей почки, которую в романе Леопольд готовит на завтрак, паломничества по блумовским местам в компании актеров, одетых в костюмы начала века, и публичных чтений романа – на улице, по радио или телевидению.

Празднование проходит, несмотря на протесты потомков Джойса, давно выступающих против подобных мероприятий (не всегда безуспешно: Стефену Джойсу, внуку писателя, удалось запретить несколько изданий книги и ряд театральных постановок), и других поклонников "Улисса", заявляющих, что Блумсдэй упрощает роман, сводит его к площадному действу, хороводу ряженых на потребу публике. В этом, юбилейном, году Блумсдэй отмечали с особым размахом – фестивалем под названием "РиДжойс Дублин-2004", в рамках которого состоялось около сотни акций. К тому же, в течение всего лета ирландские телевизионные каналы транслировали программы и фильмы о Джойсе и его творении. Правда, кульминацию торжеств перенесли на 14 июня, чтобы Блумсдэй, как и в романе, пришелся на будни. Поэтому неизменные завтраки с почкой были сервированы в Дублине на О'Коннел-стрит (для всех желающих и совершенно бесплатно) двумя днями раньше.

Юбилейные торжества прошли и в других странах (территория праздника давно уже не ограничивается одной лишь Ирландией) – "блумомания" с одобрения и при поддержке министерства культуры Ирландской Республики завоевала почти полмира. К "джойсофилам" официально присоединились Бразилия, Китай, Австралия, Египет и Россия. У нас сцены из "Улисса" читали по радио, в столичной ВГБИЛ (Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы) была устроена выставка, посвященная писателю, а в театре "Школа драматического искусства" подготовили грандиозный перформанс: в течение суток актеры играли и читали "Улисса" одновременно во всех помещениях театра.

То, что происходит сейчас с "Улиссом", довольно часто сопровождает бытование популярного произведения, благодаря стараниям читателей, тесно связывающих словесность и действительность. Вероятно, День Блума – единственный международный праздник, посвященный произведению искусства, но есть и другие примеры, демонстрирующие способность литературы вырываться из переплета. "Бедная Лиза" Карамзина (поклонники повести еще в конце XVIII столетия собирались у водоема, где по воле автора утопилась героиня); "Приключения Шерлока Холмса", обеспечившие Бейкер-стрит неиссякающим до сих пор потоком "паломников"; "Мастер и Маргарита", на весь мир прославившие

район Москвы в окрестностях Патриарших прудов и сделавшие его постоянным местом встреч ценителей творчества М. Булгакова; "Властелин колец" Дж. Р. Р. Толкиена, почитатели которого уже давно перенесли место действия волшебной трилогии в реальный мир и проч. И все же Блумсдэй – событие исключительное, поскольку речь идет о популяризации произведения, чьи отношения с читателем складываются сложно. Несмотря на сюжетную простоту, "Улисс" – трудный текст, наполненный бесконечными литературными, религиозными, историческими, мифологическими аллюзиями, что превращает его чтение в настоящий подвиг. И подвиг этот готов совершить далеко не каждый.

Первое полное отечественное издание "Улисса" состоялось в "Иностранной литературе" в 1989 году. Перевод стал плодом совместных трудов В. Хинкиса и С. Хоружего, значительно переработавшего имеющийся вариант и завершившего работу после смерти своего коллеги. Комментировала роман Е. Ю. Гениева. Публикацию первого "эпизода" (так сам автор обозначил то, что традиционно именуется частями) в январском номере предваряло вступительное слово академика Д. С. Лихачева, очень точно сформулировавшего суть отношений читателя с этим текстом: "Мне кажется, не следует себя обманывать и думать, что Джойс найдет себе массового читателя. Он не найдет себе такого массового читателя. <...> Почему "Улисс" не может быть прочитан массовым читателем? Потому что не может быть и массового читателя, который бы мог подслушать наши мысли. Ведь мы все мыслим так, как пишет Джойс. <...> Но при этом очень важно помнить, что это мысли, поток мыслей, поток сознания, свойственный высокоинтеллектуальному человеку. Не следует думать, что каждый из нас способен мыслить, как Джойс, <...> проза его потому и сложна, что это мысли, строй мыслей гениального человека".

Так как же, каким образом, благодаря чему, такая книга сумела преодолеть пределы довольно ограниченного литературного и окололитературного пространства и надежно закрепиться во внешней реальности? Не потому ли, например, что Джойс детально и подробно эту реальность описал? Писатель точно запечатлел на страницах "Улисса" едва ли не весь Дублин начала XX века и говорил, что, если город исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по книге. Интересный факт, свидетельствующий о "топографической дотошности" ирландца, приводит П. Вайль в книге "Гений места". Джойс создавал "Улисса" вдали от родины и прислал как-то из Триеста своей тетке открытку с вопросом: "Есть ли за сэндимаунтской церковью Звезды Морей деревья, видимые с берега?"[1]. Так важно ему было соблюсти точность в деталях! И благодарная реальность ответила взаимностью – сохранила "Улисса" даже для не слишком образованных потомков. Говорят, на улицах Дублина, в местах, описанных в романе, в дома и тротуары вделаны плиты с цитатами из книги. Волей-неволей прочитаешь. Но объясняет ли это и всемирную, внеирландскую увлеченность Блумсдэем?

Возможно, дело в другом. Дата "16 июня 1904" выбрана Джойсом неслучайно – считается, что таким образом он решил увековечить время своего первого свидания с Норой Барнакль, будущей миссис Джойс. И "Улисс", в первую очередь, – роман о любви, о жизни. Запечатлев один, ничем не замечательный день человеческого существования во всем его многообразии – от справления естественной нужды до философских

1. П. Вайль. Гений места. – М.: Издательство Независимая Газета, 2001. С. 61.

размышлений, — Джойс как будто заключил в строки своего романа само бытие, бьющую ключом жизнь, так и норовящую вырваться и вырывающуюся из слишком узких для нее литературных рамок. И может быть, парадоксальный прорыв "Улисса" в мир — очередное доказательство тому, что реальность всегда могущественнее своего художественного отражения. Усложненная литературная форма не смогла скрыть истинного содержания романа и удержать заключенную в нем жизнь от слияния с вечным потоком бытия, частью которого она, несомненно, является.

Но есть и другой ответ. Вопреки логике, не терпящей замкнутых кругов в определениях, судьба "Улисса" сложилась так, потому что "Улисс" — это "Улисс". Гениальная книга, созданная, очевидно, гением. А ведь гений и его творение — всегда вне пространства, вне времени, вне контекста. Гениальность каким-то мистическим, не подвластным осознанию простых смертных образом в любые времена находит дорогу в мир, даже вопреки желанию последнего. Почему празднуют Блумсдэй? Потому что.

Екатерина Гениева

О *несостоявшемся священничестве и состоявшемся писательстве*

"Иностранная Литература". В этом году мир довольно активно отмечал юбилейный Блумсдэй. Екатерина Юрьевна, свидетельствует ли это о том, что "Улисс", артефакт элитарной культуры, стал частью "маскульта", заинтересовал наконец широкую публику?

Екатерина Гениева. Я бы не сказала. Блумсдэй остается сугубо ирландским явлением. Несмотря на сложные отношения Джойса с его страной, которые можно определить расхожим понятием "любовь-ненависть", было достаточно и неприятия, и внутренней, чаадаевской, любви. Джойс — очередной блистательный пример ирландской литературы, которая на протяжении веков считалась английской, так как писалась на английском языке; по масштабам он сопоставим со Свифтом, Уайльдом, Голдсмитом. Все они оказали влияние очень глубинное почти сразу и до конца, думаю, не осознанное до сих пор. Таков и автор "Улисса". Это понимали его ученики, Хемингуэй и Фицджеральд, для которых он был мессией слова и революционером метода изображения жизни. Рассказы Хемингуэя, если с чем и можно сопоставить, так это с "Дублинцами" Джойса. После Джойса, по мнению этих писателей, все слова оказались мертвы. В этом смысле он явление сугубо ирландское и одновременно — всеевропейское, всемирное. И, конечно, дерзновенное изображение в литературе одного дня, 16 июня 1904 года, не могло остаться незамеченным в такой маленькой стране, как Ирландия, со всеми ее чаяниями, интересами и амбициями.

Официальное празднование Блумсдэя, публичные чтения "Улисса" начались не сразу после написания романа, ведь с момента его первой

публикации шли бесконечные судебные процессы. Но когда роман разрешили, кто-то из радиорежиссеров додумался прочитать эту – почти по Белинскому – "энциклопедию" ирландской жизни на разные голоса за один день. Действо стало культовым, традиционным, ирландским.

В России начали отмечать Блумсдэй только в нынешнем году. По радио проходили чтения романа. Но сделать это совсем по-ирландски не удалось, так как в русском переводе текст "Улисса" "разбухает" и не умещается в пределы одного дня. Пришлось ограничиться отдельными фрагментами. Да я и не думаю, к вопросу о массовой культуре, что многие в состоянии прослушать весь текст целиком. Хотя радиослушателям было интересно. Но сказать, что "Улисс" проник в массы не совсем правильно. Интерес к нему в России, несомненно, сейчас больше и острее, чем на Западе, если не считать Ирландию. И нам только кажется, что стремление отметить Блумсдэй охватило весь мир.

"ИЛ". Как объяснить наше русское и, как оказывается, довольно специфическое отношение к этой книге?

Е. Г. Дело вот в чем... Мы ведь несчастная, хотя и великая страна, которая, опередив другие науки и культуры во многом, сами себя, как змея свой хвост, съели... Выгоняем писателей и ученых, а затем многое осваиваем снова, с самого начала. Что-то подобное приключилось и с "Улиссом". История советско-российской "джойсианы" достойна пера мастера детективного жанра. Ведь в нашей стране роман начали переводить практически сразу после выхода книги в свет. В 20-е годы в альманахе "Новинки Запада" был опубликован перевод некоторых фрагментов этого чрезвычайно сложного текста. Но потом всех, кто работал над переводом, посадили. В частности, моего родственника Игоря Романовича. Ему было всего 27 лет, и он никому ничего плохого не сделал. Просто занимался "Улиссом". И за это отправился в застенок... И когда в "Иностранной литературе" в 1989 году мы готовили публикацию "Улисса", то долго думали над тем, как лучше преподнести роман читателю, который знакомился с ним заново и будто впервые. Наша сегодняшняя страсть к книге Джойса связана с тем, что ее запрещали, изымали из библиотек. И еще. Джеймс Джойс был очень неприятным человеком. Его переписку с Норой Барнакль, недавно опубликованную, читать просто невозможно. Он был весь какой-то исковерканный, искореженный. Этому есть объяснения. Сам он говорил о себе так: "Spoilt priest is a spoilt priest forever"[1]. Ведь он собирался стать священником, но не стал. От первоначальной идеи осталось иезуитское отличное математическое образование. Прибавьте непростую обстановку в семье, конфликт с фанатичной матерью. Не знаю, было ли это проявлением фрейдистского комплекса или нормальными человеческими отношениями, но самые проникновенные сцены "Улисса" – сцены, связанные с образом матери... Примеров подобной искореженности в нашей литературе масса. И Джойс – мировая фигура в том смысле, что сумел воплотить в книге этот дышащий мир. Как? Он был гением, судя по всему.

"ИЛ". С вашей точки зрения, празднование Блумсдэя отнюдь не свидетельствует о популярности романа. Тогда как он "живет" в наше время? Кто его читает, если читает вообще?

Е. Г. Я думаю, его читают просто образованные люди. И, конечно, писатели. Чего стоит одно то, что два человека, определившие движение

1. "Несостоявшийся священник – так навсегда им и останется" (*англ.*).

отечественного поэтического слова, Анна Ахматова и Осип Мандельштам, внимательно читали роман и взяли для своих произведений эпиграфы из "Улисса". Все наши сегодняшние букеровские лауреаты, а также авторы популярных романов и детективов, складывается такое впечатление, читали "Улисса". Это не значит, что, например, Людмила Улицкая прочитала книгу и следом написала "Казус Кукоцкого". Конечно, не так примитивно. Но влияние Джойса очень глубокое и может быть неосознанное. Он действительно повлиял на огромное количество людей. Известно, что Сергей Эйзенштейн написал раскадровку и "Дублинцев", и "Улисса", но не закончил работу. А почти слепой Джойс, не видевший ничего на расстоянии более полутора метров, смотрел, прильнув к экрану, "Броненосец 'Потёмкин'". Зачем? "Монтаж", — говорил он. Он интересовался произведениями, которые шли после него, ему было интересно отслеживать свое влияние. Блумсдэй — библия современной литературы. Но обычный человек на сон грядущий этого читать не будет.

"ИЛ". Почему? Проблема только в форме этого произведения или и в его содержании тоже?

Е. Г. Давайте подумаем, о чем "Улисс"? О том, как три человека проводят один день, воплощающий весь мир и вечность. Но по-моему, это только канва. Смысл "Улисса" в том, что Джойс, подобно Диогену, ищет человека. И находит его в Блуме, который, в свою очередь, тоже ищет человека. У Леопольда Блума погиб ребенок, и он ищет того, кто заменит его, поможет забыть боль. И находит блестящего и умного Стивена. Встреча в "Цирцее" — встреча двух мятущихся душ. А Мэрион, чего ищет она? Как Стивен и Леопольд, она ищет человека. Того, кто способен согреть... Джойс намеренно удалял из текста все, что могло раскрыть его смысл. Так, в эпизоде "Циклопы" на вопрос одного из циклопов, что такое жизнь, Блум произносил в черновом варианте ключевую для всего романа фразу: "Это любовь между мужчиной и женщиной". И автор вычеркнул ее как слишком "объясняющую". Исследователи, как беспомощные слепые котята, довольно часто попадают в расставленные Джойсом ловушки и, оказавшись в плену джойсовского письма, ищут в романе то, что совершенно верно называется модернизмом, но пропускают то, ради чего умные ирландские режиссеры создают Блумсдэй, — вечную историю человеческой жизни.

"ИЛ". Джойс наполнил "Улисс" столькими загадками, что мы привычно относимся к роману как к шифру. Возможно ли в принципе "расшифровать" его до конца, так, чтобы он стал "прозрачным"?

Е. Г. Оригинальный английский текст никогда не станет прозрачным для тех читателей, для кого это не родной язык. Но перевод — другое дело. Ведь перевод — уже интерпретация или, воспользуюсь вашим определением, уже расшифровка.

"ИЛ". Вы сами комментировали джойсовский текст, но тем не менее задам вопрос о полезности этого жанра. Ведь для многих комментарии — "балласт", лишь утяжеляющий и без того непростой процесс знакомства с "Улиссом". Что, если публиковать роман по западному образцу: комментарии и текст отдельными изданиями?

Е. Г. Думаю, без специальных пояснений не удастся понять и половины. Вряд ли такое чтение имеет смысл. Я комментировала роман для того, чтобы читатель, окажись он, как и я когда-то, в Дублине впервые, попал в город, "знакомый до слез". Затем нужен и Блумсдэй. Ведь это игра, дань уважения, попытка пригласить к чтению.

Александр Генис
Византийская утопия

В последние годы Метрополитен-музей предпринимает чрезвычайные усилия, чтобы познакомить Америку с *другим* христианством — и его искусством. Сперва была теперь уже легендарная (благодаря своему неожиданному, но грандиозному успеху) выставка 1997 года "Слава Византии", показавшая империю в ее зените. О закате Востока рассказывает нынешняя выставка — "Византия: вера и сила", для которой Метрополитен собрал экспонаты из тридцати стран, включая и чрезвычайно ценный вклад России.

Уже входя в первую галерею, нью-йоркский зритель чувствует, что он попал в другой мир, непривычный ему куда больше, чем нам. Метрополитен искусно создал анахронический, а потому и не существовавший в реальной истории огромный византийский ареал из восточной — православной — части Старого Света, бóльшую часть которого составляет Россия. Поэтому, прокладывая путь сквозь ошеломительное великолепие золотой Византии, я все время встречал знакомые экспонаты, щедро одолженные музеями Москвы, Петербурга, Владимира, Новгорода. В Нью-Йорк попали даже иконы из Кирилло-Белозерского монастыря, куда мы еще школьниками две недели добирались на попутных машинах. Теперь я уже сам не могу толком объяснить, чего мы ждали и искали в таких трудных, как паломничество, походах. Но в 60-е, когда метафизическим считался вопрос "есть ли жизнь на Марсе", популярные тогда странствия по старинным русским монастырям дополняли образование, хоть и мешали ему: в университете из всех предметов мне труднее всего давался научный атеизм.

Собранные в музее иконы уже не производят того — прежнего — впечатления. В километровых галереях Византийского музея Афин я так заскучал, что размечтался о велосипеде. Церковное искусство больше любого другого проигрывает от чуждого ему музейного контекста. Икона — объект для медитации, который требует если не одиночества, то сосредоточенности и отрешенности.

Понимая это, кураторы Метрополитен окружили толпу (да еще какую!) антуражем, который погружает зрителя в столь плотную духовную атмосферу, что она невольно заставляет приглушить голос, замедлить шаг и вслушаться в древний лад византийских гимнов, звучащих на выставке.

Помимо икон, здесь есть все, что было Византией: мраморные барельефы болгарских храмов, сербские колокола, чудом уцелевшие от запретивших колокольный звон турок, прибывшие из Кремля облачения константинопольских митрополитов, эти златотканые фантазии на темы церковной архитектуры, сияющие чистыми красками богослужебные книги с Афона, надгробия греческих витязей и, наконец, самый громоздкий, занимающий целый зал экспонат — паникадило. Это — сложное ажурное устройство из кованого железа с подсвечниками и лампадами. Покачиваясь под куполом на цепях, такая, говоря по-нашему, невежественному, люстра не освещала церковь, а лишь бросала отсветы на мозаики храма, создавая эффект неземного, магического пространства, внутри которого царил тот нетлен-

© Александр Генис, 2004

ный и вечный порядок, что ищут в церкви и находят в иконе.

Когда китайцам, впервые увидавшим европейские музеи, указали на Джотто как на родоначальника западного искусства, они сказали, что на его полотнах живопись не началась, а кончилась. Зато в византийской иконе они сразу признали тот бездонный колодец духа, изобразить который всегда пытались и великие китайские мастера кисти.

"Читать", понимать икону — особая духовная практика, отдельное искусство, но выставка в Метрополитен не для тех, кто им владеет. Она — для зрителей, привыкших искать "иконку" на экране компьютера. Именно поэтому для западного любителя искусства, лишенного опыта православной церкви, византийская эстетика — настоящее открытие. Она заполняет многовековой пробел между античностью и Ренессансом.

Взяв у эллинов скульптуру, византийцы отдали итальянцам картину. Святые византийских икон напоминают о греческой статуе своим телом — оно у них еще есть, что выдают виртуозно проработанные складки одеяний или рельефная мускулатура на иконах Страждущего Христа. Эта — последняя — дань плотскому реализму язычества исчезает на русских иконах. Их письмо, заменяя видимый рельеф невидимой глубиной, создает живопись плоскую, как у Матисса. Насколько решителен был этот шаг от реализма к символизму, показывают две трактовки Ветхозаветной Троицы, соседствующие на выставке. Греческая версия еще повествовательна, нарративна, как античный барельеф или ваза. Она рассказывает историю встречи Авраама с ангелами, не пренебрегая деталями застолья, сервировки, всеми мелочами хозяйственной жизни. Русская Троица отбрасывает земные подробности, оставляя нас наедине с ангелами.

Посредники между небом и землей, они невесомы и вездесущи — образ, освобожденный от телесной тяжести жизни. Это поразительное ощущение легкости иконописец одинаково убедительно передает и в движении (святые сидят, ангелы летают), и в статике. Таков архангел Гавриил из сионского монастыря Св. Катерины, чье самое большое в мире собрание икон стало впервые доступно светскому зрителю благодаря упорству директора Метрополитен Филиппа де Монтебелло. Эта непревзойденная по мастерству и изумительная по сохранности икона XIII века воплощает новый, неантичный идеал красоты. Мерой ей служит человек, все черты которого преобразила близость к Богу.

В сущности, это — византийская утопия, призывающая заменить платоновский проект социальной гармонии платоновской же идеей совершенного в своей нетленности существа. Христианство, напоминает нам византийское искусство, стремится переделать не мир, а человека, и ангел — чертеж перестройки, указующий на ее конечную цель.

Нью-Йорк

Романы мысли: творчество Маргерит Юрсенар

Маргерит Юрсенар. Избранные сочинения в 3 т. / Составитель Ю. Я. Яхнина. Т. 1–3. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2003–2004

Французская писательница Маргерит Юрсенар (1903–1987) известна российскому читателю с 1984 года, когда впервые на русском языке вышли два романа – "Воспоминания Адриана" и "Философский камень". С тех пор, уже в 90-е годы, время от времени появлялись другие ее книги – первые два тома автобиографического произведения "Лабиринт мира" – "Северные архивы" и "Блаженной памяти", потом "Алексис". Своеобразным итогом освоения творчества Юрсенар в нашей стране становится трехтомник "Избранных сочинений", выходящий с 2003 года в издательстве Ивана Лимбаха. В первых двух томах напечатаны романы, повести и новеллы ("Алексис, или Рассуждение о тщетной борьбе", "Последняя милость", "Неразменный динарий", "Как текучая вода", "Восточные новеллы", "Воспоминания Адриана", "Философский камень", "Новеллы"), в третьем – эссеистика ("С оговоркой", "Время, великий Ваятель", "Глазами странника и чужестранца", "Обойти тюрьму").

Маргерит Юрсенар, чьи книги стали бестселлерами во всем мире, – автор трудный. Сразу оговоримся: в эпоху, когда от писательницы, прожившей бóльшую часть жизни в США, можно было бы ожидать особой, "женской" прозы, Юрсенар подчеркнуто абстрагируется от нынешней феминистской проблематики. Ее художественные произведения и эссеистика – это проза писателя, философа, сопрягающего человеческое с вечным.

Это сопряжение происходит в парадоксальных формах. Зачастую в созданных Юрсенар сюжетах торжествует то, что считается скандальным, – будь то любовь между мужчинами или инцест. Но дело не в сюжете, а в том, как он воплощен и с какой целью.

Сюжеты Юрсенар, независимо от того, пишет она исторические произведения или повесть о недавних событиях (Первая мировая война в "Последней милости" или эпоха итальянского фашизма в "Неразменном динарии"), всегда связаны с теми или иными культурными традициями. Так, ее ранний роман "Алексис, или Рассуждение о тщетной борьбе" является репликой на написанное в классическом духе эссе Андре Жида "Коридон", которое в свое время наделало много шума, будучи апологией гомосексуальной любви. Но, как говорит Юрсенар в предисловии к роману, это не просто ответ ее старшему современнику – Жиду, но еще и отсылка к другому, более древнему автору – Вергилию.

Отметим также весьма сдержанный способ подачи самих любовных сцен, в которых нет прямых описаний соответствующих утех; при этом автор или герои много рассуждают о теле и телесном. Юрсенар против "техники шока": "Непристойность быстро утрачивает свежесть, вынуждая автора, который к ней прибегает, ее усугублять, но для подлинной правды это еще опаснее, чем намеки прежних времен. Грубость языка часто вводит в заблуждение, прикрывая банальность мысли, и за некоторыми великими ис-

ключениями легко сочетается с известным конформизмом" (Предисловие к "Алексису").

Как это ни парадоксально, ни гомосексуализм, ни инцест в произведениях Юрсенар не связаны, по сути своей, с преодолением запрета. В одних случаях играет роль культурная традиция (как, скажем, в Древнем Риме, описанном в "Воспоминаниях Адриана"), в других — связь с мистическим поиском начала всех начал (как, например, в "Философском камне"), в третьих — воплощение инаковости по контрасту с обыденным миром. В романе "Алексис", построенном в виде исповеди героя перед женой, покаянный тон не что иное, как признание невозможности музыки без любви, причем той особенной любви, которую жена может и не понять. Эротические сцены всегда связаны с постижением чего-то иного, будь то искусство, философия или некое всеобщее жизнеощущение. В эротике Юрсенар есть что-то неизбывно романтическое, в духе Гофмана или йенской школы конца XIX — начала XX века.

Она описывает переживания и рассуждения героев в связи с запретным, но так, как если бы это вовсе не было бы запретным. Юрсенар выбирает "тот лишенный прикрас, почти абстрактный язык, осторожный и в то же время точный, который во Франции в течение многих веков служил проповедникам, моралистам, а иногда и романистам классической эпохи для описания того, что в те времена называли 'заблуждением чувств'" (там же).

Вообще сдержанность — отличительное свойство прозы Юрсенар. Автор стремится к достижению равновесия между высказанным и невысказанным. Так, в своих заметках к роману "Воспоминания Адриана" она говорит: "Я довольно скоро поняла, что описываю жизнь великого человека. А раз так, побольше уважения к правде, побольше внимания, а от меня — побольше молчания".

Другая особенность произведений Юрсенар заключается в том, что можно было бы принять за "морализаторский пафос". Удивят ли современного читателя парадоксы, вроде: "Убивая, ты умираешь сама" ("Неразменный динарий"); "Жорж устал от нее, как устают от тех, кого слишком любили" ("Первый вечер")? Более того, образ благородного и культурного властителя Адриана, воплощение аристократической мечты Юрсенар, может показаться навязчиво дидактичным... Но дидактика эта, так же, как и эротика, важна не только и не столько сама по себе. Морализаторство Юрсенар — это, скорее, риторический ход, дань рациональной форме произведений, которую принято называть классической.

Прозу Юрсенар обычно называют философской. Философствовать же Юрсенар училась у "филолога" Фридриха Ницше — творца мифов и притч. Формы выстраивания ее "философии жизни" отличаются причудливым разнообразием — от стилизаций под античную эпистолярную прозу или средневековую восточную сказку до подражания жанру исторического романа или роману о современности. Юрсенар своеобразно отвечает на главный вопрос ницшеанской философии — "Кто говорит?". Ее ответ — в частом использовании повествования от первого лица, смысл которого Юрсенар раскрывает, например, в своих пояснениях к роману "Последняя милость": "Этим приемом я часто пользовалась, потому что он не оставляет в книге место точке зрения автора или, по крайней мере, его комментариям и еще потому, что он позволяет показать человека наедине с собственной жизнью, пытающегося более или менее честно осмыслить ее и, прежде всего, вспомнить". Нравственный поиск Юрсенар вовсе не в резонерских рассуждениях,

которые могли бы быть прочитаны и в ироническом ключе. Авторская мысль прочитывается на уровне произведения в целом. Более того, как замечает в своем предисловии к трехтомнику О. Вайнштейн, такому прочтению буквально соответствует сам творческий метод писательницы: Юрсенар пробует "вжиться" в образы своих персонажей, пользуясь методами симпатической магии или йоги или совершая что-то наподобие "духовных упражнений" Игнатия Лойолы. Обращаясь к жанру исторического романа, она хочет "сделать изнутри то, что археологи XIX века сделали извне" (заметки к "Воспоминаниям Адриана").

Стилизации Юрсенар столь тонки и разнообразны, что могут повергнуть в отчаяние не слишком искушенного в литературе и истории читателя.

Юрсенар оттачивает искусство передачи исторического колорита до такой степени, что достигается иллюзия достоверности даже заведомо вымышленных героев: так, юрсенаровский Зенон кажется столь же реальным историческим персонажем, что и император Адриан. И в этом еще один парадокс: стилизация исторического повествования, часто используемая Юрсенар, не только помогает читателю вжиться в отдаленную эпоху, но выполняет и функцию освобождения от времени: при внимательном чтении проявляются осознанно рассеянные по тексту анахронизмы, психологическая несовместимость героя с описываемой эпохой. К тому же и сами избираемые ею исторические эпохи сложны или, как писала Юрсенар, "барочны": будь то войны времен Реформации или век императора Адриана.

Знаменитая формула Альбера Камю: "Хочешь быть философом — пиши романы" — применима к Юрсенар в самом изначальном смысле. В ее романах царит атмосфера платоновского диалога (недаром герои повести "Anna, soror..." читают "Пир" Платона). Античная культура является в какой-то степени "подсознанием" творчества Юрсенар, в котором шокирующее и ужасное проходит через призму классической ясности. В чем-то это произрастание из античности напоминает "эллинство", воспетое молодым Мандельштамом. Коль скоро здесь был помянут Камю, необходимо проводить четкое разграничение между его идеализацией средиземноморской культуры и юрсенаровским пониманием "эллинства". Для Камю (и он тут не одинок) Греция и Рим — это прежде всего родина чувственности как культурного явления. Для Юрсенар — средоточие человеческой мысли.

Мышление, по мнению писательницы, самоценно. Жизнь ее героев представляется фаустовским стремлением все познать, интеллектуальным поиском и даже интеллектуальным тренингом, суть которого в постоянном возобновлении. И именно в этом заключена высшая человеческая мораль. Для Юрсенар интеллектуальный поиск как таковой нравственен. К этому приходит один из самых любимых ее персонажей — Зенон ("Философский камень"): "В идеях его также происходил сдвиг. Теперь процесс мышления занимал его более, нежели сомнительный плод самой мысли. Он наблюдал за ходом своих рассуждений, как мог бы, прижав палец к запястью, считать биение пульсовой жилы или вслушиваться в чередование вдохов и выдохов под собственными ребрами".

Читателю текстов Юрсенар, как мне кажется, совершенно необходим комментатор. Издатели русского трехтомника и сопроводили ее собственно художественные произведения большим количеством автокомментариев (предисловиями, послесловиями, заметками); третий том вообще весь посвящен эссеистике, в которой автор раскрывает свое творческое кредо. Такое издание по-

зволяет читателю максимально погрузиться в художественный и философский мир Юрсенар. К тому же трехтомник предваряет академическая, но при этом живо и увлекательно написанная статья О. Вайнштейн и завершает эссе переводчика Н. Мавлевич, создающее еще один "внешний" ракурс рассмотрения творчества Юрсенар. Но, когда читаешь комментарий Г. Кнабе к "Воспоминаниям Адриана" (это единственный пример научного комментария в трехтомнике), возникает желание, чтобы именно в таком систематическом, научном ключе были прокомментированы и все остальные произведения. Разумеется, это не умаляет заслуг переводчиков, которые сделали свои примечания к изданию.

Беглое чтение Юрсенар — довольно бессмысленное занятие. Чтобы получить удовольствие, ее книги надо читать неспешно и вдумчиво и возвращаться к тем или иным, казалось бы, уже освоенным местам, уподобляясь самой Юрсенар, рассказывающей в авторских заметках, как она перечитывала, а иногда и переписывала свои произведения.

Елена Гальцова

"Контекст спора на бутылку шампанского"

Вера Мильчина. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. — СПб.: Гиперион, 2004. (Филологическая библиотека. IV)

Истории русско-французских культурных связей посвящено немало работ. Но очевидно, что книга Веры Мильчиной, одного из крупнейших специалистов в этой области, — явление уникальное. В статьях, вошедших в книгу, подлинный трепет жизни, само дыхание эпохи воспроизведены не в ущерб исключительной фундаментальности. Остававшиеся, как правило, "за кадром" существенные моменты диалога России и Франции 20—40-х годов XIX века восстанавливаются на основе многочисленных документов, сохранившихся в российских и французских архивах: дипломатических донесений, переписки, дневников, а также газетных статей и ныне забытых брошюр, составляющих ежедневную хронику событий прошлого, "идеологическую повседневность", по определению автора книги.

Особая авторская оптика позволяет обратить внимание на неожиданные, зачастую решающие подробности, на закулисное развитие многих событий. Порой по едва намеченному следу восстанавливается совершенно неизвестный эпизод русско-французских контактов. При этом крупные фигуры — Пушкин, Вяземский, А. И. Тургенев, маркиз де Кюстин — обладают теми же правами, что и мало либо совсем неизвестные личности, такие, как французский литератор Ферье де Турет или русский оппонент Кюстина Михаил Волков, которые становятся объектом самого пристального внимания.

Один из основных сюжетов книги — идеологическое противостояние России и Франции в 30—40-е годы. Центральным событием этого времени стала французская революция 1830 года. Несмотря на мрачные предсказания ряда французских политиков накануне революции, Франция в целом представляла собой скорее мирную картину, как это следует из донесения одного российского дипломата, которое наглядно демонстрирует, насколько не поддающимися контролю оказываются исторические события, совершающиеся словно помимо воли людей.

С неожиданной стороны предстает позиция Николая I в эту эпоху. В беседах с французскими послами, подробно зафиксированных в их донесениях, русский император выступает как сторонник верности принятым на себя обязательствам (то есть, по существу, конституционной монархии) и видит причину Июльской революции в том, что французский король Карл X не пожелал соблюдать установленные им законы и тем вызвал недовольство в обществе. Быть может, не только педантизм Николая, о котором пишет В. Мильчина, лежит в основе его позиции по этому вопросу, но отчасти также аристократическое понятие о чести? Красноречивы не только приведенное в книге его письмо к брату Константину: "Месяца не прошло с тех пор, как король дал мне *честное слово*, что *никогда* не отважится на меры противузаконные...", но и слова царя, цитируемые в одном из французских периодических изданий: "Король, если он монарх конституционный, должен быть таковым *искренне*; если же он монарх абсолютный, должен он быть таковым открыто, как я это и делаю".

Примечательно, что Пушкин также был возмущен "государственной изменой" министров Карла X, чьи действия послужили поводом к революции и уничтожению во Франции конституционной монархии. При этом, как отмечает автор, требование самого сурового наказания для экс-министров, непривычная "кровожадность" поэта (о том, что один из министров будет предан смерти, Пушкин поспорил с Вяземским на бутылку шампанского) свидетельствуют о наличии у него "некоего двойного стандарта": к европейским событиям он подходил, в отличие от своих друзей, "просвещенных космополитов" А. И. Тургенева и П. Б. Козловского, "с иными мерками, нежели к событиям 'домашним', прочерчивая, судя по всему, явственную границу между 'своим' и 'чужим'".

Противоречивая фигура Николая I во многом обусловливает развитие двух противоположных политических мифов о России, уходящих корнями в прошлое. В центре либерального мифа — ограниченный, почти безумный азиатский деспот, который правит варварским народом. Другой миф, ставящий акцент на патриархальных устоях российского общества, изображает императора как отца своих подданных, относящихся к нему с неизменным обожанием. Интересно, что вполне в согласии с этой мифологией в сферу притяжения российского властелина попадали в реальности не только его подданные: своеобразное "сращивание" иностранных дипломатов, стремившихся угодить Николаю, с царским двором отмечено в одном из французских донесений 30-х годов, в котором описывается дипломатический корпус и дан, в частности, сложный психологический портрет барона Геккерена.

Этот второй миф развивался в текстах французских консерваторов, приверженцев абсолютной монархии, и В. Мильчина точно называет его (по аналогии с мифическим образом России в сочинениях французских философов XVIII века) "русским миражом" французских легитимистов, уточняя, что он сформировался при Июльской монархии. Автор показывает, как новый русский миф создавался совместными усилиями русских, живших во Франции, и французов, в том числе посетивших Россию. Приводимые тексты напоминают о том, что этот миф был намечен ранее, причем в сочинениях не только монархистов, но и, например, либерально настроенной Ж. де Сталь. В. Мильчина справедливо обращает внимание на ее слова, сказанные Александру I, в которых русский император предстает как человек, несущий

личную, как бы отцовскую ответственность за свою страну: "В вашей империи конституцией служит ваш характер, а порукой в ее исполнении — ваша совесть". К книге Ж. де Сталь "Десять лет в изгнании" (недавно блестяще переведенной и прокомментированной Верой Мильчиной), возможно, восходит фигурирующий в сочинении одного из мифотворцев 30-х годов образ того духовного российского треугольника, который составляют Москва, Петербург и Киев.

Новому русскому мифу, в котором Россия представлена не только как край семейственных отношений между властями и подданными, но прежде всего как последний оплот религии, как страна, облеченная мессианской ролью, суждено было большое будущее и в нашей стране, и в Европе. В то же время, как показано в книге, мессианские устремления и национальные идеи были "слабостью" не одной России: они были характерны и для французской культурной мифологии, формировавшейся прежде всего во французских периодических изданиях, причем "в один и тот же период представители одной и той же нации видят ее миссию в деяниях совершенно противоположных — что лишний раз свидетельствует о 'воображаемом' характере такого понятия, как мессианская национальная идея". Представители всех политических партий, католики и протестанты избирают по отношению к России "одинаковую стратегию: и для тех, и для других на первом месте стояли геополитические соображения и национальные интересы Франции".

Отголоски нового русского мифа встречаются и в таком демифологизирующем Российскую империю сочинении, как знаменитая книга маркиза де Кюстина "Россия в 1839 году" (которая стала доступна русскому читателю также благодаря Вере Мильчиной), где звучит мысль о том, что русский народ "самый религиозный" и что человек живет на земле не для счастья (нельзя не вспомнить в этой связи Достоевского). В то же время книга Кюстина явилась сильным ударом по тому "имиджу", который старательно формировали русские власти, в том числе и с помощью наемных французских журналистов (истории одного из них, Шарля Дюрана, посвящена отдельная статья). В ряде статей книги в мельчайших и интереснейших подробностях восстановлена история предпринятых в России попыток опровергнуть Кюстина. Виртуозно идентифицирован автор неопубликованной французской брошюры в защиту России, который прежде фигурировал в научной литературе как "какой-то Волков" (им оказался знакомый А. И. Тургенева, музыкант и дипломат, бывший декабрист М. А. Волков). В связи с историей несостоявшейся публикации его брошюры затронут важный вопрос о русской литературе на французском языке, о ее восприятии французами и самоощущении русских "французских писателей", вынужденных "сражаться французскими рапирами во французской зале для фехтования" и обреченных на несколько курьезный статус.

Статьи, посвященные литературе, как и статьи, посвященные политике, представляют и вписывают в общий культурный контекст новые факты и открытия, касающиеся оценки Пушкиным творчества А. Карра, причины интереса Е. А. Свербеевой, кузины Чаадаева, к творчеству Друино, а самого Чаадаева — к одному из романов Жюльвекура, подробной хроники выборов во Французскую академию, зафиксированной А. И. Тургеневым. Зачастую литературные тексты также рассматриваются как "идеологическая повседневность". Так, в "Альманахе гурманов" французского литератора Гримо де Ла Реньера гастрономический "код"

используется автором для "виртуального" разрешения социальных и политических проблем. Французский посол П. де Барант "был одним из редких собеседников Пушкина, склонных внимательно прислушиваться к его рассуждениям об угрозе, которую таит в себе крестьянский бунт". Автор книги подробно реконструирует контекст их беседы в салоне Фикельмонов 6 января 1837 года, одной из тем которой была ответственность монархов за судьбы страны. Барант оказывается тем человеком, который входил в число близких и высоко ценимых Пушкиным собеседников-европейцев.

Вера Мильчина называет своим учителем А. И. Тургенева, подлинного мастера штриха, и целый ряд статей книги основывается на его колоссальном наследии: частично опубликованных, а большей частью неизданных дневниках. Трудоемкая расшифровка и публикация записей А. И. Тургенева составляет несомненно большую заслугу Веры Мильчиной. Эти записи, как и другие публикуемые в книге документы, неизменно сопровождаются подробнейшим, в высшей степени основательным комментарием, восстанавливающим скрытую часть айсберга. Можно с уверенностью утверждать, что комментарии Веры Мильчиной отличаются совершенством и в сочетании с общей характеристикой исследуемых материалов ни в чем не уступают теоретической рефлексии (не являющейся целью автора). Это та самая, по собственному выражению автора, "расшифровка стенограмм", без которой невозможно составить из "осколков" целостное мозаичное полотно. Хотя сама Вера Мильчина не претендует на "целостное описание" эпохи, именно такую картину, многоцветную и захватывающую, предлагает данная книга.

Елена Гречаная

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Мур М. *Где моя страна, чувак? Америка, которую мы потеряли* / Пер. с англ. С. Саксина. – М.: АСТ, ЛЮКС, 2004. – 300 с. 5000 экз. (п)

Майкл Мур очень не любит Джорджа Буша-младшего. О том, какой плохой у американцев президент, Мур снял фильм и написал несколько книг. Он очень старался показать, что Буш, с одной стороны, необычайно глуп, а с другой, страшно коварен. Воспользовался трагедией 11 сентября для того, чтобы "превратить всю Америку в Техас". А еще у семьи Буш подозрительно много контактов с семьей бен Ладенов. Но все старания Майкла Мура оказались тщетными: Буша выбрали на второй срок, на американцев его разоблачения почему-то не подействовали...

Видер И. *Сталинградская трагедия. За кулисами катастрофы* / Пер. с нем. А. Лебедева, Н. Португалова. – М.: Яуза, ЭКСМО, 2004. – 384 с. – (История войн) 4000 экз. (п)

Иоахим Видер был офицером, служил в отделе разведки VIII армейского корпуса. В ноябре 1942 года Видер попал в окружение под Сталинградом. Вернувшись из советского плена, написал книгу. В первой части он подробно рассказывает о том, что довелось испытать немцам под Сталинградом, во второй пытается разобраться в причинах этой катастрофы. Долгие споры Видера с Майнштейном совершенно непонятны читателю непосвященному, зато те, кто в теме, почерпнут из них много любопытного.

Элтон Б. *Попкорн*: Роман / Пер. с англ. А. Рябоволовой. – М.: Иностранка, 2004. – 304 с. – (За иллюминатором) 5000 экз. (п)

На один фильм популярного американского режиссера Брюса Деламитри приходится в среднем 57 убийств. Публика в восторге, киноакадемики вручают режиссеру Оскара, а общественные организации обвиняют его в пропаганде насилия. Брюс со смехом отвергает все упреки, а тем временем по Америке разъезжает парочка юных убийц, которые явно копируют действия героев одной из его последних картин. В один прекрасный день происходит столкновение искусства с жизнью. И нельзя сказать, чтобы искусство вышло из него победителем...

Робинсон Дж. *Всемирная прачечная. Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире* / Пер. с англ. А. Шматовой. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 540 с. 5000 экз. (п)

Всемирная история отмывания денег. У вас есть деньги, заработанные нечестным путем, и вы боитесь, что однажды вами заинтересуются соответствующие органы? Обратитесь в одну из прачечных, и там ваши денежки упрячут так, что ни одна ищейка следов не найдет. Путеводитель по офшорным зонам и 17 историй про отмывателей денег и борцов с ними. Книга удачно со-

вмещает познавательность с увлекательностью.

Шульце Х. *Краткая история Германии* / Пер. с нем. В. Брун-Цеховой, Б. Хавкина. — М.: Весь Мир, 2004. — 256 с. — (Национальная история) 3000 экз. (п)

Вся история Германии: от Армения до крушения Берлинской стены. Профессор Хаген Шульце всегда требовал от своих студентов, чтобы они писали коротко, ясно, содержательно, да еще и хорошим языком. Однажды ученики заявили, что им нужен соответствующий образец. Так родилась "Краткая история Германии". Особой красотой стиля книга не отличается, для студентов-историков изложение, пожалуй, слишком беглое, зато для учащихся других вузов или в качестве справочника она — настоящий клад.

Галлигани М., Бигацци Ф. *Кремли. Твердыни русской земли.* — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. — 280 с. Тираж не указ. (п)

Два итальянца объехали чуть не всю Россию, побывали в десятках городов и сделали роскошный альбом с фотографиями русских кремлей. Москва, Новгород, Рязань, Казань, Псков, Смоленск, Астрахань, Серпухов, Тобольск, Зарайск, Тула, Нижний Новгород, Ростов, Суздаль, Углич. Про каждый Кремль — отдельный исторический и архитектурный очерк. Откуда у итальянцев такой интерес к кремлям, понятно. Ведь именно итальянские мастера принимали участие в строительстве русских крепостей.

Каролидес Н., Балд М., Соува Д., Евстратов А. *Сто запрещенных книг: Цензурная история мировой литературы* / Пер. с англ. И. Ивановой. — М.: Ультра-Культура, 2004. — 608 с. 3000 экз. (п)

Книга оставляет двойственное впечатление. Авторы проделали большую работу и собрали под одной обложкой подробные сведения о том, как цензура боролась с сотней выдающихся произведений. Среди прочих речь идет о Библии, Камасутре, "1984", "Мастере и Маргарите", "Дневнике Анны Франк"... Интересно, что нередко взгляды и методы цензоров совпадают, даже когда они стоят на страже разных идеологий: например, роману Оруэлла досталось и от коммунистов, и от маккартистов. К сожалению, книга сделана удивительно неряшливо и еще более неряшливо переведена.

Великобритания

Требуются поэты

Несмотря на все старания поэта-лауреата Эндрю Моушена поднять престиж современной английской поэзии, читатели, как показывают статистические данные, по-прежнему предпочитают классиков современникам. Из всех поэтических сборников, проданных в книжных магазинах Великобритании, на долю последних приходится менее 5 %, причем спрос на современную поэзию из года в год только падает. Не жалуют молодых поэтов и книгоиздатели: счастливчиков, не достигших 40-летия, которым удалось пробиться в одно из восьми крупнейших английских издательств, легко пересчитать по пальцам.

Однако благодаря совместной инициативе Совета по искусству и Поэтического книжного общества у юных поэтов появляется надежда занять более достойное место на книжном рынке и в сердцах любителей поэзии. Дело в том, что эти организации взялись отыскать наиболее яркие дарования и познакомить с их творчеством широкую публику. Начинание не является новинкой: подобная акция уже проводилась десять лет назад. Тогда в числе победителей оказались 20 молодых поэтов, достойных, по мнению отборочной комиссии, стать голосами нового поколения. Но главное, инициатива оправдала себя — поэтическая карьера большинства лауреатов пока складывается довольно удачно.

Кому выпадет честь представлять поэзию начала XXI века, решит жюри, в которое, помимо Э. Моушена, вошли поэт С. Армитидж, прозаик Э. Л. Кеннеди и гитарист группы "Радиохед" К. Гринвуд. По правилам, оказаться в двадцатке лучших может любой поэт, опубликовавший свою первую книгу после 1994 года.

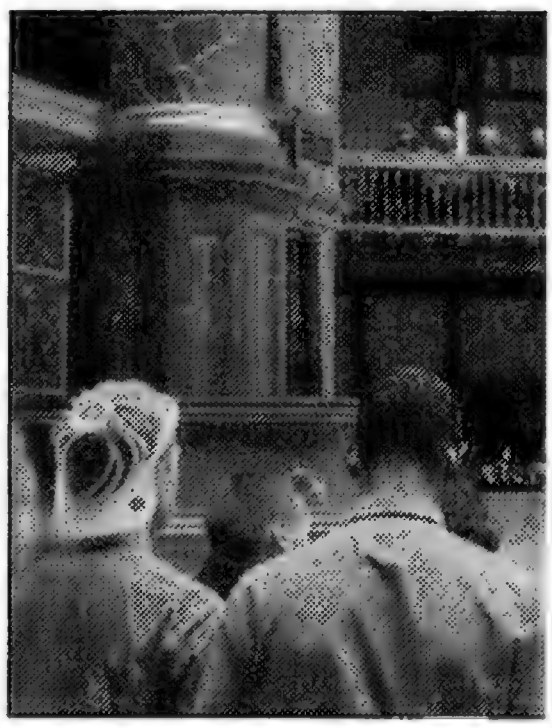
Возможно, эта полумера не изменит радикальным образом общую тенденцию и не подвигнет издательства выпускать заведомо некоммерческую литературу. Тем не менее члены жюри считают, что подобные конкурсы необходимы, в противном случае самобытные авторы рискуют затеряться среди массы посредственных и их творчество так и останется невостребованным.

Быть или не быть Шекспиру

У английских шекспироведов считается дурным тоном сомневаться в авторстве Шекспира, и любые гипотезы, направленные против знаменитого уроженца Стратфорда, принимаются в штыки. Тем примечательнее инициатива театра "Глобус", предложившего посвятить "шекспировской тайне" международный форум и цикл научных конференций, первая из которых состоялась минувшим летом.

К открытию конференции была приурочена выставка, рассказывающая о вероятных "претендентах" на роль Барда — о Мэри Сидни, в замужестве графине Пемброк, Уильяме Стэнли, Эдварде де Вере, семнадцатом графе Оксфордском, Фрэнсисе Бэконе и Кристофере Марло. Незадолго до того в "Глобусе" прошла презентация книги "Загадка Шекспира" Питера Доукинса, в которой научный консультант театра комментирует некоторые известные версии. Сам он склонен полагать, что Шекспир — это псевдоним Фрэнсиса Бэкона, то есть придерживается гипотезы, которая была впервые выдвинута еще в конце XVIII века.

Книга П. Доукинса в скором времени пополнит фонд специализированной шекспировской библиотеки, которая будет открыта при "Глобусе" при содействии "Шекспириан оторшип траст". Эта организация, собирающая материалы о "кандидатах в Шекспиры", уже передала театру



Театр "Глобус"

свое собрание книг — всего около 600 томов.

Дело остается за малым — привлечь внимание спонсоров. А также литературоведов, которые пока относятся к начинаниям "Глобуса" с осторожностью.

Китай

Успехи и надежды китайского интернета

Когда в 1997 году Син Юйсэнь разместил в Интернете свой роман, он и предположить не мог, что станет звездой китайской сетевой литературы. Для преподавателя информатики это было всего лишь забавой, желанием узнать, как читатели отнесутся к его пробе пера. История о любовных передрягах "интернетного червя" (так в Китае называют любителей порыться в сети) столь многим пришлась по вкусу, что некая группа энтузиастов даже выпустила книгу в "бумажном" виде — причем без указания имени автора. Как выяснилось впоследствии, в процессе многократного копирования оно потерялось, что придало роману даже некоторую загадочность. Впрочем, во втором издании справедливость восторжествовала, и Син Юйсэнь пополнил когорту писателей-профессионалов.

В конце 1990-х годов на китайской литературной сцене появилось первое поколение литераторов, получивших известность благодаря Интернету, сейчас на смену им идет следующее, более молодое. По преимуществу это голоса обитателей мегаполисов, которых критика прозвала "растерянными горожанами".

Не обходится дело и без откровенного эпатажа. Так, например, подлинный фурор в сети произвел дневник юной журналистки Му Цзымэй, опубликованный на ее персональном сайте. Интимная жизнь девушки, описанная во всех подробностях, вызвала столь бурную полемику, что страничку пришлось прикрыть.

Всемирная сеть также служит укрытием для работ, которые не могут быть напечатаны по цензурным соображениям. Несмотря на все ограничения, Интернет дарит молодым китайским авторам то, чего были лишены их предшественники: возможность высказать наболевшее. Кроме того, "сетевой" дебют нередко помогает автору отыскать не только читателя, но и издателя. Система, при которой путь к известности лежал чаще всего через литературные журналы, ушла в прошлое.

В этих условиях мостиком между виртуальным и реальным служит сайт "Жуншуся" ("Под священным фикусом"), созданный в 1997 году в Шанхае американцем китайского происхождения Уильямом Чжу. Сегодня сайт объединяет пятьдесят тысяч авторов. Популярность ему принесли такие публикации, как "Дневник смертника" Лу Юцина (история умирающего от рака человека) и "Моя последняя битва" Ли Цзямина (хроника отчаянной борьбы за жизнь инфицированного СПИДом). Однако "Жуншуся" не только и не столько сосредоточен на трагедиях — он служит катализатором идей, укрепляет связь поколений, а недавно принял предложение о создании немецко-китайского совместного предприятия и уже выпускает авторов, сделавших себе имя в Интернете.

Франция

Частная жизнь философов

Родился — жил — умер. Вот, собственно, и все, что среднему человеку в лучшем случае известно о жизни философов. Правда, по мнению Аристотеля, этих сведений хватает с избытком. Главное — знать их труды и доктрины. Преподаватель философии Пьер Риффар, выпустивший исследование "Частная жизнь философов" (издательство "ПЮФ"), очевидно, придерживается иной точки зрения. Изучив огромное количество материала — биографий, восоминаний современников, исторических документов, — исследователь создал своеобразную классификацию философов, объединив их по признакам, не имеющим непосредственного отношения к роду занятия: внешние данные, вкусы, привычки, черты характера, биографические детали и даже, как это ни странно звучит, интеллектуальные способности.

Например, по суждениям некоторых современников, самым недалеким мыслителем был Ксенократ. Самым уродливым — Сократ, самым красивым — Пифагор. Самым богатым — Сенека, обладатель капитала в 400 миллионов сестерций, а самыми бедными — Диоген и Маркс. Самым плодовитым — Хрисипп (автор 705 трактатов, большая часть которых не дошла до нашего времени), а из современных — Лейбниц (его рукописный архив, со-

ставляющий 200 тысяч страниц, хранится в библиотеке Ганновера). Не меньшей работоспособностью отличался Вольтер, написавший в течение жизни 18 тысяч писем. Как правило, философы владели несколькими языками, однако истинным полиглотом был Спиноза, знавший португальский, испанский, иврит, латынь, французский и итальянский. Самым почитаемым при жизни — Бергсон, самым влиятельным в политике — римский император Марк Аврелий (представитель позднего стоицизма), а самыми отверженными — Эпикур и Спиноза. На сегодняшний день самым читаемым в мире остается Платон, хотя в Интернете шире других представлен Ницше.

Многим из будущих мыслителей выдалось тяжелое детство. Эразм Роттердамский был незаконным сыном священника, Платон, Декарт, Паскаль, Лейбниц, Ницше, Сартр и Камю лишились одного из родителей, когда им еще не исполнилось и семи, а Бертран Рассел с шести лет рос круглым сиротой. Еще одно несчастье — болезни. С юных лет слабым здоровьем отличался Паскаль. Юм страдал ожирением, Мальбранш — приступами удушья, Бергсон и Руссо — глухотой, Сартр и Кант были слепыми на один глаз.

Есть в исследовании Пьера Риффара и пункт о семейном положении. Как и следовало ожидать, многие философы предпочитали оставаться холостяками: Платон, Эпиктет, Плотин, Декарт, Паскаль, Спиноза, Локк, Лейбниц, Вольтер, Кант, Шопенгауэр, Кьеркегор, Витгенштейн. Дважды женились Аристотель, Мор, Шеллинг, Камю, трижды — Шелер и Леви-Строс, а Бертран Рассел даже посвятил семейной жизни целую книгу, в которой описал четыре своих брака.

Лишь небольшая группа мыслителей — Сократ, Монтень, Декарт, Шопенгауэр и Кьеркегор — отдавала все свое время философским изысканиям. Все прочие, по собственной воле либо в силу обстоятельств, были "специалистами более широкого профиля". Единицы — например, Спиноза и Спенсер — занимались ремесленным трудом. Основная же масса тяготела к интеллектуальным профессиям: преподавателя, писателя, издателя или журналиста. Сенека, Макиавелли, Бэкон, Грамши проявили себя в политике; Августин, Фома Аквинский, Беркли связали свою жизнь с религией, Эмпедокл и Ясперс — с медициной, Цицерон и Монтескье — с юриспруденцией.

Свой главный труд Юм опубликовал в двадцать восемь лет, Шопенгауэр — в тридцать один, Паскаль — в тридцать три. Но в среднем философы созревали (как, например, Платон, Кант, Локк), когда им было уже за пятьдесят, а порою (как в случае с Лейбницем) — и под семьдесят.

США

Неожиданный бестселлер

Невероятно, но факт: минувшим летом одной из самых продаваемых книг в США был роман Л. Толстого "Анна Каренина". "Что это — эффект глобального потепления?" — иронизирует французский журнал "Лир". На самом деле все значительно проще: роман русского классика вышел под маркой "Опрас бук клаб", одного из самых популярных американских книгоиздательств. Оно было создано в 1996 году Опрой Уинфри, хорошо известной американцам по телепередаче, регулярно выходившей в эфир вплоть до 2002 года.

По отзывам некоторых именитых писателей, ток-шоу Уинфри имело колоссальное влияние на зрителей, практически определяя круг их чтения. Стоит ли говорить о том, что "Опрас бук клаб" не нуждался в дополнительной рекламе — многие его книги расходились стотысячными тиражами, астрономическими не только по американским меркам.

В июле 2003 года, вскоре после возобновления передачи, "Опрас бук клаб" выпустил роман Джона Стейнбека "К востоку от Эдема" — и тот сразу возглавил список бестселлеров. Затем телезнаменитость обратила свой взор к России. "Там нет ничего такого уж иностранного, — увещевала Уинфри. — Обалденная книга, одна из самых потрясающих любовных историй во всей мировой литературе — вроде женского романа из серии "Арлекин", только написанный в XIX веке". Эти слова, очевидно, тронули сердца читателей. И вскоре прозу Л. Толстого стало печатать миллионным тиражом издательство "Пингвин".

По материалам газет "Гардиан" [Великобритания], "Монд", "Либерасьон" [Франция], "Нью-Йорк таймс" [США], журнала "Лир" [Франция].

Авторы номера

Берил Бейнбридж
Beryl Bainbridge
Английская писательница.

Автор романов *Сладкий Боб* [*Sweet William*, 1975; рус. перев. 1994], *Молодой Адольф* [*Young Adolf*, 1978], *Апология Уотсона* [*Watson's Apology*, 1984; рус. перев. 1994] и др. В *ИЛ* был опубликован ее роман *Мастер Джорджи* [*Master Georgie*, 2000, № 7].
Роман печатается по изданию *According to Queeney* [London: Little, Brown and Company, 2001].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *ЗоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Дж. Бэнвилла, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта и Л. Стерна, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Гун овогт Гун-Аажавын Аюурзана
[р. 1970]. Монгольский поэт, прозаик, переводчик. Лауреат национальной премии *Золотое перо* [2003].

Автор поэтических сборников *Передышка* [1997], *Философские стихи* [2001] и др.; романов *Блюз в мире без любви* [2002], *Мираж* [2003] и др. Перевел древнекитайский философский трактат *Дао дэ цзин* [2002] и другие книги из серии *Антология всемирной истории*.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Лидия Григорьевна Скородумова
Литературовед, переводчик с монгольского, доктор филологических наук. В настоящее время — первый секретарь Посольства России в Монголии.

Автор книг *Драгоценные четки. Эволюция монгольского романа* [2001], *Доржийн Гармаа. Биографический очерк* [на монгольском языке; 2002], *Океан света. Языковая картина мира монголов* [на монгольском языке; 2003] и др. В ее переводе опубликованы романы Ванчинбалына Инжинаша *Одноэтажный павильон* [1984] и *Палата красных слез* [1984], Л. Тудэва *Первый год республики* [1981], повести и рассказы Д. Маама, Д. Гармы, С. Эрдэнэ, Т. Юмсурэна, Д. Батбаяра и др. В *ИЛ* напечатаны переводы рассказов Д. Батбаяра [1978, № 3] и Д. Гармы [1979, № 11].

Ян Лехонь [Лешек Серафинович]
Jan Lechoń [Leszek Serafinowicz]
[1889–1956]. Польский поэт.

Автор поэтических книг *Серебряное и черное* [*Srebrne i czarne*, 1924], *Ария с курантами* [*Aria z kurantem*, 1945], цикла стихов *Мрамор и роза* [*Marmur i róża*, 1954], *Дневника* [*Dziennik*, 1967]. После смерти поэта опубликовано несколько его сборников, в том числе *Стихи* [*Poezje*, 1963] и *Избранные стихотворения* [*Poezje wybrane*, 1977]. В *ИЛ* были напечатаны его стихи [1993, № 12].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Энрике Вила-Матас
Enrique Vila-Matas
[р. 1948]. Испанский писатель, лауреат многих литературных премий.

Автор романов *Образованная убийца* [*La asesina ilustrada*, 1977], *Клевета* [*Impostura*, 1984], *Краткая история портативной литературы* [*Historia abreviada de la literatura portátil*, 1985], *Дом навсегда* [*Una casa para siempre*, 1988], *Вертикальное путешествие* [*El viaje vertical*, 1999], *Бартлеби и компания* [*Bartleby y compañía*, 2000], *Болезнь Монтано* [*El mal de Montano*, 2003], а также сборников рассказов и эссе.
Роман печатается по изданию *Extraña forma de vida* [Barcelona: Editorial Anagrama, 1997].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, социолог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], им. Анатоля Леруа-Больё [1996], им. Мориса Вакс-махера [1998].

Автор статей по социологии культуры и книг *Слово – письмо – литература* [2001] и *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004]. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 9, 12; 2000, № 1; 2003, № 10].
В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], эссе И. Бонфуа [1996, № 7] и Ф. Лежёна [2000, № 4], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9] и др,

Витольд Гомбрович
Witold Gombrowicz
[1904–1969]. Польский прозаик и драматург, с 1939 г. жил в Аргентине, с 1963 г. – в Европе [по преимуществу во Франции].

Автор романов *Фердыдурке* [*Ferdydurke*, 1937; рус. перев. *ИЛ*, 1991, № 1; экранизирован Е. Сколимовским, 1991], *Транс-Атлантик* [*Trans-Atlantyk*, 1953; рус. перев. 1994], *Порнография* [*Pornografia*, 1960; рус. перев. 1992, экранизирован в 2003-м], *Космос* [*Kosmos*, 1965; рус. перев. 1991], пьес *Ивонна, принцесса Бургундская* [*Iwona Księżniczka Burgunda*, 1938; рус. перев. 1996; постановка И. Бергмана, 1995], *Венчание* [*Ślub*, 1953], трехтомного *Дневника* [*Dziennik*, 1957, 1962, 1966, рус. перев. фрагментов 1992, 1996]. Собрание его сочинений в 11-ти томах было выпущено в Париже [1969–1977], в 13-ти томах – в Кракове [1986–1995]. В *Библиотеке ИЛ* публиковался сборник новелл Гомбровича *Преднамеренное убийство* [1991]. Пьесы Гомбровича идут в театрах всего мира, оперы по ним поставлены во Франции и ФРГ. Фрагменты *Дневника* публикуются по изданию *Dziennik* 1957–1961 [Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988].

Чеслав Милош
Czeslaw Miłosz
[1911-2004]. Польский поэт, прозаик, эссеист, с 1951 г. – в эмиграции [Франция, затем – США, в 1989 г. вернулся в Польшу]. Лауреат Нобелевской премии по литературе [1980].

Автор книг стихов *Спасение* [*Ocalenie*, 1945], *Город без названия* [*Miasto bez imenia*, 1969], *Гимн о жемчужине* [*Hymn o perle*, 1982], *На берегу реки* [*Na brzegu rzeki*, 1994], многочисленных эссе о литературе, морали и религии. На русском языке опубликованы книги его избранной лирики *Так мало и другие стихотворения* [1993], *Это* [2003], сборники эссе *Личные обязательства* [1999], *Придорожная собачонка* [2002], *Порабощенный разум* [2003]. Стихи и проза Милоша многократно публиковались в *ИЛ* [1995, № 1, 7; 1996, № 12; 1997, № 10; 1999, № 2; 2000, № 6, 8].
Эссе взято из книги *Личные обязательства* [*Prywatne obowiązki*. Paryż: Instytut Literacki, 1972].

Эрнесто Сабато
Ernesto Sabáto
[р. 1911]. Аргентинский писатель и художник.

Автор романов *О героях и могилах* [*Sobre héroes y tumbas*, 1961; рус. перев. 1990], *Аваддон-губитель* [*Abaddón el exterminador*, 1974; рус. перев. 2000], сборников эссе по проблемам литературы, морали и политики *Люди и винтики* [*Hombres y engranajes*, 1951], *Писатель и его кошмары* [*El escritor y sus fantasmas*, 1963], *Роботизация человека* и *другие эссе* [*La robotización del hombre y otros ensayos*, 1981], книги мемуарных фрагментов *Перед концом* [*Antes del fin*, 1999]. В *ИЛ* публиковался его роман *Тунель* [*El Tunel*, 1988, № 6; экранизирован в 1987-м].
Предисловие к аргентинскому изданию романа Гомбровича *Фердыдурке* [1964] взято из публикации в Интернете.

Сьюзен Сонтаг
Susan Sontag
Американская писательница, литературный и ху-

Автор сборника новелл *Я и др.* [*I, Etcetera*, 1978], киносценария *Дуэт для каннибалов* [*Duet for Cannibals*, 1970], романов *Поклонник Везувия* [*The Volcano Lover*, 1992; рус. перев. 2004], *В Америке* [*In America*, 2000; рус. перев.

дожественный критик, режиссер театра и кино.

2004], книг эссе *О фотографии* [*On Photography*, 1976], *Под знаком Сатурна* [*Under the Sign of Saturn*, 1980], *Глядя на чужую боль* [*Regarding the Pain of Others*, 2003] и др. В *ИЛ* публиковались эссе *Против интерпретации* [1992, № 1], *Думать наперекор себе. Размышления о Чоране* [1996, № 4], *На пути к Арто* [1997, № 4], *Болезнь как метафора* [2003, № 8], рассказы *Сцена письма* [1999, № 1] и *Вот так мы теперь живем* [2000, № 2]. На русском языке вышла книга ее избранной эссеистики *Мысль как страсть* [1997].
Эссе о Гомбровиче взято из книги *Где стоит ударение* [*Where the Stress Falls*. London: Vintage, 2003].

Пьер Паоло Пазолини
Pier Paolo Pasolini
[1922–1975]. Итальянский кинорежиссер, писатель, теоретик кино.

Писал стихи, прозу, драмы, эссе. На русском языке печатались его новеллы [в сборнике *Итальянская новелла XX века*, 1969], стихи [*Избранное*, 1984], сценарии, статьи и др. Вышел сборник его прозы и эссеистики *Теорема* [2000].
Рецензия взята из книги Pasolini P. P. *Descrizioni di descrizioni* [Torino: Einaudi, 1979].

Рикардо Пиглья
Ricardo Piglia
[р. 1941]. Аргентинский писатель, киносценарист.

Ему принадлежат сборники рассказов *Вторжение* [*Invasión*, 1967], *Под чужим именем* [*Nombre falso*, 1975], романы *Искусственное дыхание* [*Respiración artificial*, 1980], *Город, которого нет* [*La ciudad ausente*, 1992], *Сгоревшие деньги* [*Plata quemada*, 1997; экранизирован], книги эссе *Безысходная темница* [*Prisión perpetua*, 1988], *Аргентина по частям* [*La Argentina en pedazos*, 1993], *Краткие формы* [*Formas breves*, 2000]. В *ИЛ* публиковались его эссе о Х. Л. Борхесе [1999, № 9] и М. Пуиге [2003, № 10]. Эссе взято из публикации в Интернете.

Екатерина Владимировна Тарасова
Филолог, критик.

Автор ряда публикаций по современной литературе Европы. В *ИЛ* были напечатаны ее рецензии и статьи о творчестве Р. Гари [2001, № 12], И. Бэнкса [2002, № 4], Дж. Барнса [2002, № 7], М. Брэдбери [2002, № 12].

Екатерина Юрьевна Гениева
Литературовед, культуролог, критик, генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. Рудомино.

Автор книги *Трудная дорога к храму* [2004], а также многих статей, публиковавшихся в периодике, в том числе в *ИЛ*.

Александр Александрович Генис
[р. 1953]. Писатель, эссеист. С 1977 г. живет в Нью-Йорке.

Автор книг *Американская азбука* [1994], *Вавилонская башня* [*ИЛ*, 1996, № 9], *Темнота и тишина* [1998], *Довлатов и окрестности* [1999], *Иван Петрович умер* [2000], *Билет в Китай* [2001], *Пейзажи* [2002], *Сладкая жизнь* [2004]. Статьи и эссе А. Гениса неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994].

В ее переводе издавались произведения Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, Б. Маламуда, С. Беллоу, К. Гамсуна, К. Бликсен, Г. Лагерквиста, Р. М. Рильке, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С. Хилл [1978, № 1-2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актов* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* Б. Бейнбридж [2000, № 7] и др.

Евгений Николаевич Колесов
[р. 1951]. Поэт, переводчик с немецкого.

В его переводе издан роман М. Шпербера *Слеза в океане* [1991]. В *ИЛ* в его переводах выходили *Письма в Древний Китай* Г. Розендорфера [1993, № 1], стихи А. Густас [1996, № 2], Саида [2003, № 9], повесть У. Видмера *Рай забвения* [1998, № 9], рассказы М. Сутера [2001, № 10] и В. Хильдесхаймера [2002, № 4].

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993], *Инолиттл* [1995], *ИЛлюминатор* [2001].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. Его переводы многократно публиковались в *ИЛ*.

Наталия Александровна Богомолова
Литературный критик, переводчик с испанского, кандидат филологических наук. Лауреат премии *ИЛ* [1991] и *ЗоИЛ* [2001].

Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур. В *ИЛ в* ее переводе были опубликованы произведения Х. Л. Борхеса [1988, № 10], И. Альенде [1989, № 6], романы *Райские псы* А. Поссе [1992, № 8, 9], *Дон Хуан* Г. Торренте Бальестера [1999, № 1, 2], *Клуб Дюма, или Тень Ришелье* А. Переса-Реверте [2001, № 10, 11], *Карандаш плотника* и рассказы М. Риваса, эссе О. Паса [1991, № 1, 1997, № 7], М. Варгаса Льосы [1997, № 5], Х. Кортасара [1999, № 3] и др.

Юрий Викторович Чайников
[р. 1950]. Переводчик с польского.

В его переводах опубликованы произведения В. Гомбровича, С. И. Виткевича, С. Мрожека, С. Лема, М. Хласко, А. Видемана, З. Крушиньского и др. В *ИЛ* в его переводе напечатано эссе С. Лема *Что остается?* [2000, № 8].

Тамара Яковлевна Казавчинская
Переводчик с английского и польского языков.

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Д. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы из книги *Западный канон* Х. Блума [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12].

Елена Игоревна Балаховская
Переводчик с французского и итальянского языков, преподаватель.

В *ИЛ* опубликован ее перевод статьи У. Эко *Средние века уже начались* [1994, № 4].

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2004 год [1—12]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Аллен Вуди. *Риверсайд-драйв.* Пьеса. Перевод с английского Олега Дормана [7]

Антология рассказа.

Маттиас Альтенбург. *Легкий кайф: Дневник.* Перевод с немецкого Т. Баскаковой.
Клаус Бёлдль. *"Свет очей".* Перевод с немецкого Т. Баскаковой.
Лиана Диркс. *И нету Вилли.* Перевод с немецкого И. Городинского.
Доррис Дёрри. *Конец сезона.* Перевод с немецкого Б. Хлебникова.
Катарина Хакер. *Карл.* Перевод с немецкого М. Зоркой.
Вольфганг Хильбиг. *Книжный дух.* Перевод с немецкого Ю. Шварцман.
Фелицитас Хоппе. *Левая туфелька.* Перевод с немецкого Т. Баскаковой.
Штеффен Копецкий. *Подпись грека.* Перевод с немецкого И. Щербаковой.
Михаэль Крюгер. *Шестеро моих детей.* Перевод с немецкого Б. Хлебникова.
Штефани Менцингер. *Здравствуй, Запад.* Перевод с немецкого И. Городинского.
Моника Марон. *В сущности, мы хорошие.* Перевод с немецкого Л. Есаковой.
Терезия Мора. *Португалия, или Любовь у следопытов.* Перевод с немецкого И. Щербаковой.
Александр Озанг. *Кукла.* Перевод с немецкого Г. Окуловой.
Буркхард Шпиннен. *Выбрав даму сердца.* Перевод с немецкого Л. Соколовой.
Ханс-Ульрих Трайхель. *О половой жизни туземцев.* Перевод с немецкого С. Ромашко.
Майке Ветцель. *Свидетели.* Перевод с немецкого Е. Ботовой.
Юли Цее. *Подаренный час.* Перевод с немецкого Р. Эйвадиса [11]

Ачага Бернардо. *Рассказы из книги "Обабакоак".* Перевод с испанского и вступление Надежды Мечтаевой [10]

Бегбедер Фредерик. *"Windows on the world".* Роман. Перевод с французского Ирины Стаф [9]

Бейнбридж Берил. *Согласно Куини.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц. Вступление А. Ливерганта [12]

Бёлдль Клаус. См. *Антология рассказа* [11]

Бёрджесс Энтони. *Железо, ржавое железо.* Роман. Перевод с английского А. Пинского и Е. Домбаян [1—3]

Битов Андрей. См. Чосич Бора [3]

Бруссиг Томас. *Герои вроде нас.* Фрагмент романа. Перевод с немецкого И. Ланина [11]

"В моем Стамбуле всегда идет снег". С Орханом Памуком беседует Глеб Шульпяков [3]

Вайль Узи. *Это не Хамас, это Смерть, мать твою...* Рассказ. Перевод с иврита Александра Крюкова [9]

Ван Мэн. *Мертвеющие корни самшита.* Повесть. Перевод с китайского С. Торопцева [5]

Ветцель Майке. См. *Антология рассказа* [11]

Гаррисон Джим. *Повести.* Перевод с английского Виктора Голышева [4]

Гордимер Надин. *Кто для радости рожден...* Рассказ. Перевод с английского Инны Стам [9]

Деплешен Мари. *Рассказы.* Перевод с французского Ирины Радченко [1]

Дёрри Доррис. См. *Антология рассказа* [11]

Диркс Лиана. См. *Антология рассказа* [11]

Доктороу Э. Л. *Дом на равнине.* Рассказ. Перевод с английского Ольги Федосеевой [10]

Копецкий Штеффен. См. *Антология рассказа* [11]

Крюгер Михаэль. См. *Антология рассказа* [11]

Малерба Луиджи. *Рассказы.* Перевод с итальянского Ф. Двин [1]

Маркус Бен. *Женская пантомима.* Рассказ. Перевод с английского Вадима Михайлина. Бен Маркус. *"Я хочу испробовать альтернативные варианты..."* Перевод с английского С. Силаковой [4]

Марон Моника. См. *Антология рассказа* [11]

Мендигурен Шавьер. *Фетиш.* Рассказ. Перевод с испанского Надежды Мечтаевой [9]

Менцингер Штефани. См. *Антология рассказа* [11]

Мисима Юкио. *Ее величество Аои.* Из цикла "Современные пьесы для театра Но". Перевод с японского Елены Байбиковой [2]

Мора Терезия. См. *Антология рассказа* [11]

Неруда Пабло. *Дом на песке.* Перевод с испанского и вступление Э. Брагинской. Перевод стихов Ю. Гирина [10]

Нотомб Амели. *Антихриста.* Роман. Перевод с французского Натальи Мавлевич [10]

Озанг Александр. См. *Антология рассказа* [11]

Памук Орхан. *Белая крепость.* Роман. Перевод с турецкого Веры Феоновой [3]

Пуиг Мануэль. *Крашеные губки.* Роман. Перевод с испанского А. Казачкова [2]

Рот Филип. *Людское клеймо.* Роман. Перевод с английского Л. Мотылева [4, 5]

Свифт Грэм. *Свет дня.* Роман. Перевод с английского Л. Мотылева [8]

Симон Яна. *Ведь мы – другие. История Феликса С.* Роман. Перевод с немецкого Н. Федоровой [7, 8]

Тимм Уве. *На примере брата.* Перевод с немецкого М. Рудницкого [11]

Токарчук Ольга. *Дом дневной, дом ночной.* Фрагменты книги. Перевод с польского Ольги Катречко [6]

Трайхель Ханс-Ульрих. См. *Антология рассказа* [11]

Тревор Уильям. *Рассказы о любви.* Перевод с английского А. Ливерганта [6]

Фаст Говард. *Книгоноша.* Рассказ. Перевод с английского М. Лорие. Послесловие И. Бернштейн [1]

Хакер Катарина. См. *Антология рассказа* [11]

Хильбиг Вольфганг. См. *Антология рассказа* [11]

Хоппе Фелицитас. См. *Антология рассказа* [11]

Хюлле Павел. *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу.* Повесть. Перевод с польского Ирины Адельгейм [1]

Цее Юли. См. *Антология рассказа* [11]

Чейбон Майкл. *На прибрежной полосе.* Рассказ. Перевод с английского Олеси Качановой. Майкл Чейбон. *"И родился сюжет..."* Фрагменты интервью. Перевод с английского С. Силаковой [4]

Чосич Бора. *Словарь попа Теодора.* Перевод с сербского и послесловие Василия Соколова. Андрей Битов. *Порядок слов* [3]

Шалев Меир. *В доме своем в пустыне.* Главы из романа. Перевод с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман [7]

Шмитт Эрик-Эмманюэль. *Гость.* Пьеса. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич [6]

Шпиннен Буркхард. См. *Антология рассказа* [11]

Стихи

Абэлуцэ Константин. *Стихи.* Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной [6]

Аюурзана Гун овогт Гун-Аажавын. *Стихи.* Перевод с монгольского Евгения Колесова. Вступление Л. Скородумовой [12]

Биеннале-2003. Стихи участников фестиваля. Вступление Е. Бунимовича [2]

Глик Луиза. *Стихи.* Переводы с английского В. Черешни, И. Мизрахи, Г. Стариковского, А. Нестерова [4]

Даген Алан. *Стихи.* Переводы с английского Дмитрия Веденяпина и Антона Нестерова. Алан Даген. *Вместо послесловия. Из интервью разных лет.* Составление и перевод с английского С. Силаковой [4]

Дераман Азиз. *Четки старого человека.* Стихи. Перевод с малайского и вступление Виктора Погадаева [2]

Лехонь Ян. *Стихи.* Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула [12]

Пенсон Жан-Клод. *Стихи.* Перевод с французского и вступление Александра Давыдова [8]

Рубо Жак. *Изменяется город быстрей, чем сердца.* Стихи. Перевод с французского и вступление Алины Поповой [3]

Стихи детей из Терезина. Перевод с чешского Инны Лиснянской. Составление и вступительная статья Елены Макаровой [5]

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2004 год [1—12]

"Черту под прошлым подвести..." Новые стихи немецких поэтов. Фолькер Браун, Дурс Грюнбайн, Харальд Гриль, Михаэль Крюгер, Гунтрам Веспер, Харальд Хартунг, Марсель Байер, Томас Клинг, Невфаль Кумарт, Лутц Зайлер, Роберт Гернхардт, Катрин Шмидт, Ханс Магнус Энценсбергер в переводах с немецкого В. Агафоновой, Е. Соколовой, В. Куприянова, В. Потапова [11]

Ян Лянь. *Стихи.* Перевод с китайского и вступление Ильи Смирнова [1]

Вглубь стихотворения

Кавафис Константинос. *В ожидании варваров.* Переводы с греческого. Вступительная статья Ирины Ковалевой [8]

Литературное наследие

Бодлер Шарль. *Стихи.* Перевод с французского и вступление Анатолия Гелескула [7]

Зебальд Винфрид Георг. *Пауль Берейтер.* Из книги *Изгнанники. Четыре долгих рассказа.* Перевод с немецкого и вступление М. Кореневой [11]

Из классики XX века

Вулф Вирджиния. *Между актов.* Роман. Перевод с английского и вступление Е. Суриц [6]

Вулф Томас. *О времени и о реке.* Главы из романа. Перевод с английского и вступление В. Бабкова [7]

Гессе Герман. *Пять эссе о книгах и читателях.* Перевод с немецкого Г. Снежинской [10]

Йожеф Аттила. *Стихи.* Переводы с венгерского. Вступление В. Середы [5]

Крлежа Мирослав. *Поездка в Россию.* Главы из книги. Перевод с хорватского и вступление Натальи Вагаповой [8]

Пик Мервин. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Максима Калинина [1]

Хаксли Олдос. *Искренность в искусстве и другие эссе.* Переводы с английского А. Власовой и С. Нещеретова [1]

NB

Вила-Матас Энрике. *Такая вот странная жизнь.* Роман. Перевод с испанского и вступление Н. Богомоловой [12]

Документальная проза

Бонаволонта Джузеппе, Марк Иннаро. *Осада церкви Рождества Христова.* Фрагменты книги. Перевод с итальянского Е. Дмитриевой [9]

Иннаро Марк. См. Бонаволонта Джузеппе [9]

Коновер Тед. *Новичок, или Как я охранял "Синг-Синг".* Фрагменты книги. Перевод с английского Антона Ильинского [4]

Лир Аманда. *Дали глазами Аманды.* Главы из книги. Перевод с французского О. Захаровой [5, 6]

Санчес Ильич Рамирес. *Кто я?* Перевод с французского Е. Клоковой. Послесловие Леонида Радзиховского [9]

Тохман Войцех. *Ты будто камни грызла...* Перевод с польского Ирины Адельгейм. Вступление Сергея Романенко [10]

Хэртлинг Петер. *Учиться жить. Воспоминания.* Отрывок из книги. Перевод с немецкого Н. Федоровой [11]

Портрет в зеркалах

Витольд Гомбрович [12]

Гомбрович Витольд. *Дневник. 1957–1961.* Фрагменты книги. Перевод с польского Ю. Чайникова [12]

Дубин Борис. *От составителя* [12]

Милош Чеслав. *Кто такой Гомбрович?* Перевод с польского Т. Казавчинской [12]

Пазолини Пьер Паоло. *Витольд Гомбрович. "Дневник. 1957–1961".* Перевод с итальянского Елены Балаховской [12]

Пиглья Рикардо. *Борхес и Гомбрович.* Перевод с испанского Бориса Дубина [12]

Сабато Эрнесто. *"Фердыдурке".* Перевод с испанского Бориса Дубина [12]

Сонтаг Сьюзен. *"Фердыдурке".* Перевод с английского Бориса Дубина [12]

Литературный гид

В поисках утраченной поэзии [10]

О современной зарубежной поэзии. Круглый стол [10]

Кляйнзалер Август. *Нет поля для игры, или Мир как кондоминиум по-американски.* Перевод с английского Антона Нестерова [10]

Нестеров Антон. *Поэзия и картография* [10]

Статьи, эссе

Арутюнов Сергей. *Терроризм и цивилизация: змея кусает себя за хвост* [9]

Борисенко А., В. Сонькин. *Литературные премии США – XXI век* [4]

Грюнбайн Дурс. *Цитата.* Перевод с немецкого С. Ромашко [11]

Делиллo Дон. *На руинах будущего.* Перевод с английского Елены Зиминой [9]

Кубацкая-Ясецкая Дорота. *Психологический портрет террориста.* Перевод с польского Л. Гвозд [9]

Кутзее Дж. М. *Он и его слуга.* Нобелевская лекция. Перевод с английского Сергея Ильина [5]

Магрис Клаудио. *Дунай.* Главы из книги. Перевод с итальянского А. Н. [3]

Менанд Луис. *"Я стараюсь писать занимательно..."* Из интервью. Перевод с английского С. Силаковой [4]

Мюнклер Хефрид. *Терроризм сегодня.* Перевод с немецкого [9]

Проуз Франсин. *Жизнь муз.* Главы из книги. Перевод с английского Сергея Нещеретова [3]

Симик Чарльз. *Летопись страха.* Перевод с английского Антона Нестерова [9]

Сонькин В. См. Борисенко А. [4]

Стасюк Анджей. *Сегодня умирают иначе.* Перевод с польского Ирины Адельгейм [9]

Хайн Кристоф. *Два размышления о странствиях и изгнании.* Перевод с немецкого Б. Хлебникова [11]

Хэмпл Патриция. *Чужие секреты.* Перевод с английского Анастасии Власовой [4]

Цветков Алексей. *На долгом перекрестке.* Эссе [4]

Шульпяков Глеб. *Живот архитектора* [3]

Эздамар Эмине. *О чем плачет Ули.* Перевод с немецкого Л. Есаковой [11]

Carte blanche

Гандлевский Сергей. *Странные сближения* [10]

Трибуна переводчика

Баранчак Станислав. *Малый, но максималистский манифест переводчика...* Фрагменты эссе. Перевод с польского И. Киселевой [8]

Мнение политика

Вильпен Доменик де. *Крик горгульи.* Главы из книги. Перевод с французского Нины Кулиш. Вступление Ю. Рубинского [2]

Наши интервью

Григорий Кружков. *Изба-писальня. В гостях у Шеймаса Хини* [2]

Тарасова Е. *"Улисс" forever.*

Гениева Екатерина. *О несостоявшемся священничестве и состоявшемся писательстве* [12]

Возвращаясь к напечатанному

Аннинский Лев. *Переобретение свойств.* О книгах Петера Эстерхази "Harmonia cælestis" и "Исправленное издание". Приложение к роману "Harmonia cælestis" [5]

Из будущей книги

Вайнштейн Ольга. *Три этюда о денди* [6]

Письма из-за рубежа

Генис Александр. *Две выставки* [4]

Генис Александр. *Самураи на экране* [7]

Генис Александр *Византийская утопия* [12]

Карп Мария. *Лондон: вокруг Букера* [3]

Карп Мария. *На лондонской сцене* [8]

Тилькес Ольга. *Кочующий Эрмитаж* [6]

Фрёмке Марина. *Берлин: пепел Кольхааса стучит в сердце* [9]

Галерея "ИЛ"

Гессе-художник [10]

Гессе Герман. *Акварель.* Эссе. *"Рисовать – это чудо".* Фрагменты книги "Магия красок". Перевод с немецкого и вступление Н. Васильевой [10]

Дюпен Жак. *Пространство другими словами.* Перевод с французского и вступление Бориса Дубина [2]

"ИЛ": истоки и история

Вестник иностранной литературы, 1910–1916 [1]

Зрительный зал

Драйтова Э. *Лицедейство – комедия или трагедия?* [1]

Староселькая Наталья. *Мост через бездну* [3]

Среди книг

Балакин Алексей. *Писатель и его тень* [1]

Баскакова Татьяна. *О кулинарном искусстве, убийцах персиков и "неистинности истины"* [7]

Борисенко Александра. *Старые песни о главном* [4]

Визель Михаил. *Гимн повествователю* [3]

Дмитриев Дмитрий. *Простые конструкции Меира Шалева* [3]

Канунникова Ольга. *Примы и фигуранты русского Парижа* [8]

Ковалева Ирина. *Пейзаж с блаженным Иеронимом (о переводах современной американской поэзии)* [4]

Мельников Николай. *Негритюд по-апдайковски* [1]

Мельников Николай. *Жестокий реализм Марио Варгаса Льосы* [5]

Мельников Николай. *Постмодернист при дворе короля Артура* [8]

Попова Ирина. *Семь веков спустя* [5]

Романов Борис. *Магический круг* [3]

Сонькин Виктор. *"Есть целомудренные чары..."* [4]

Сонькин Виктор. *Простые люди* [4]

БиблиофИЛ

У книжной витрины с Константином Мильчиным [1-6, 8—10, 12]

Курьер "ИЛ" [1–6, 8, 10–12]

Открытое письмо

Обзор ответов на читательскую анкету, опубликованную в № 12, 2003 [7]

Авторы номера [1–12]

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ

ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:

- **оптимальные условия подключения,**
- **бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам**

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (– В ЦЕНТРЕ ГОРОДА –) В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.

адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.

подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины нидерландского художника Хендрика Аверкампа [1585–1634] *Зимний пейзаж с конькобежцами у замка* [1608–1609].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolitrinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.09.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2989.
Тираж 8000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[1] 2005

РОМАН ТОМА РОББИНСА “ВИЛЛА ‘ИНКОГНИТО’” / СТИХИ ГЕОРГИСА ПАВЛОПУЛОСА И ДЖО ГРИНА / РАССКАЗЫ ДЖОНА АПДАЙКА / “ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА”: “КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ” СОЛОМОНА АПТА / РАЗГОВОР НА “УЖАС ДНЯ” В РУБРИКЕ “ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ”

Редакция журнала «Иностранная литература»
поздравляет с наступающим Новым 2005 годом
всех читателей, авторов, переводчиков,
а также те организации, которые в минувшем году
оказывали журналу поддержку.

Нам помогали:
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ,
Посольство Федеративной республики Германии в России,
Союз немецкой экономики в РФ,
Фонд культуры Федеративной Республики Германии
и фонд С. Фишера [Германия],
Посольство Франции в России,
Центральный дом предпринимателя.

Мы также благодарим зарубежных авторов,
предоставивших нам права на безвозмездную публикацию
на страницах журнала в 2004 году.
Свои произведения нам и всем нашим
читателям подарили:

КОНСТАНТИН АБЭЛУЦЭ [Румыния],
ДЖУЗЕППЕ БОНАВОЛОНТА и МАРК ИННАРО[Италия],
МИРИАМ ВАН ХЕЕ [Нидерланды].
МЕИР ВИЗЕЛЬТИР [Израиль],
ЛУИЗА ГЛИК [США],
ФРАНК ДЕ КРИТС [Бельгия],
ЯН ЛЯНЬ [Китай],
ШАВЕРЬЕР МЕНДИРУГЕН [Испания],
СИБИЛЛА ПЕТЛЕВСКИ [Хорватия],
ЖАН-ЭРИХ РИОПЕЛЬ [Франция],
ВОЙЦЕХ ТОХМАН [Польша],
ЭДВАРД ФОСТЕР [США].

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-0545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №12, 1-288